

И(фр)
Э-78

ЭРКМАИ
ШАТРИАИ

ИСТОРИЯ
ОДНОГО
КРЕСТЬЯНИНА

БИБЛИОТЕКА ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА







ЭРКМАН-ШАТРИАН

И(орр)

Э 78

**ИСТОРИЯ
ОДНОГО
КРЕСТЬЯНИНА**

РОМАН
в 2-х томах

Том I

Перевод с французского
А. ХУДАДОВОЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
- ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА -
МОСКВА 1967

303569

И (Фр)
Э78

ERCKMANN-CHATRIAN

HISTOIRE D'UN PAYSAN

1867—1870

Вступительная статья
В. ДОРОГОВОЙ

Научная редакция и комментарии
А. П. МОЛОКА

Художник
Ю. ИГНАТЬЕВ

7-3-4
212-68

1925

«ИСТОРИЯ ОДНОГО КРЕСТЬЯНИНА» ЭРКМАНА-ШАТРИАНА

Эркман-Шатриан — так подписывали свои произведения Эмиль Эркман (1822—1899) и Пьер-Александр Шатриан (1826—1890), работавшие в соавторстве долгие годы. Их исторические романы в свое время пользовались огромной популярностью во Франции и в Европе.

«История одного крестьянина», роман о Великой французской буржуазной революции, — один из лучших среди них. В 1867—1870 годы он печатается в парижских газетах и сразу же завоевывает огромный успех, особенно в народе. «Рабочие достают эту газету (в которой публиковался роман. — *Н. Д.*), записываясь на очередь в бакалейных лавках. Некоторые же читают его вслух в мастерских»¹, — пишет Шатриан брату. Во Франции этой книгой были снабжены все школьные и публичные библиотеки. В Париже даже установился обычай награждать ею лучших школьников.

«Историей одного крестьянина» зачитывались и в России, где ее сразу же переводили и издавали. В одном своем письме П. В. Засодимский вспоминает: «Когда я был сельским учителем... два тома Эркмана-Шатриана «История французского > крестьянина»... при мне не стояли в школе, все ходили по рукам»².

¹ L. Schœnhauser, Ercmann-Chatrian, P. 1933.

² П. Якушин, Был ли П. В. Засодимский автором переделки романа Эркмана-Шатриана «История крестьянина»? — «Русская литература», 1965, № 4, стр. 191.

Роман был высоко оценен в передовых журналах того времени. Д. И. Писарев посвящает ему статью в «Отечественных записках»¹. На основе этого романа народникам была издана брошюра, широко использовавшаяся в революционной пропаганде среди крестьян и рабочих в 70-е годы. Ни одна революционная книга не имела тогда такой популярности. Роман издавался и после Октября, в переделках, под разными названиями.

О французской революции 1789—1794 годов написано множество книг, среди которых романы Бальзака, Диккенса, Гюго, Анатоли Франса. Не соперничая с ними, роман Эркмана-Шатриана тем не менее всегда находил себе читателей, сохраняя особую привлекательность. И в сегодняшней Франции книги Эркмана-Шатриана не забыты, их снова издают, снова о них говорят... Их пропагандируют французские писатели-коммунисты как образец реализма и политической смелости, демократизма и любви к родине. Прогрессивный французский критик и журналист Юбер Жюэн говорит, что писатели, которые были «знаменем оппозиции при Второй империи»², не могут быть забыты при Пятой республике.

В чем же такая жизненность произведений Эркмана-Шатриана?

Оба писателя родились и выросли в патриархальной глуши Эльзаса: Эркман — в крохотном городке Пфальцбурге в семье книгопродавца, Шатриан — в деревушке близ Пфальцбурга, где отец его был владельцем стекольного завода. Оба воспитывались на идеалах революции, любви к родному краю. Их первая встреча состоялась в 1847 году; Эркман изучал тогда юридические науки в Париже, Шатриан был учителем пфальцбургского коллежа. В дни февральской революции 1848 года оба они горячие сторонники республики. Однако их республиканизм не шел дальше буржуазно-утолических идеалов. Июньских событий они не поняли. Восстание пролетариата восприняли как заблуждение и призывали правительство к жалости и прощению. После государственного переворота в 1851 году Эркман оказался в списке подозрительных лиц как участник февральских событий в Париже и издатель республиканской газеты в Страсбурге, запрещенной в дни реакции.

Оба друга давно уже мечтали заняться литературой. Их творческое содружество начинается в июле 1848 года, когда они пишут драму «Жорж», посвященную июньским дням.

¹ «Отечественные записки», 1868, № 6.

² «Les Lettres Françaises», 5 févr., 1964.

В 1850 году Эркман и Шатриан поселились в Париже, и их сотрудничество окончательно упрочилось. Первые годы посвящены драмам, которые успеха у издателей не имели. Лишь с 1856 года начинают печататься их фантастические рассказы — «Знаменитый доктор Матеус», «Гюг — волк», «Даниэль Рок» и другие — и приносят им известность. Но реалистический талант писателей находит выражение в исторических романах патриотического содержания, которые составили серию «Национальных романов» (1861—1868). Эта серия, созданная в годы Второй империи, принесла авторам настоящую славу. Большая часть серии («Юродивый Негоф», «Тереза», «История рекрута 1813 года», «Ватерлоо», «История одного крестьянина», «Блокада») посвящена эпохе Великой французской революции и наполеоновских войн. Только «История пролетария» связана с современностью — с революцией 1848 года. После 1870 года исторических романов Эркман и Шатриан больше не пишут. Новые их произведения рассказывают о крахе империи, о событиях франко-прусской войны, о горькой участи Франции и родного Эльзаса, который оказался отторгнутым от Франции, — «История плебисцита» (1870), «Лесничий Фредерик» (1873), «Изгнанник» (1874).

В годы Второй империи, когда буржуазное благополучие было куплено ценой самого циничного предательства демократии, самого откровенного отказа от всяких свобод, Эркман и Шатриан твердо стоят на позициях непримиримой враждебности бонапартизму. Они решительно говорят о своей ненависти к империи, горячо ратуют за республику, за свободу и справедливость. Их произведения немало способствовали разрушению наполеоновской легенды в 60-е годы, когда оппозиция бонапартизму стала особенно активной. Нередко эти произведения подвергались полицейским запретам.

Оппозиционность Эркмана и Шатриана порядкам Второй империи была связана с настроениями мелкой буржуазии того времени. Радикальный республиканизм и антибонапартизм писателей, их революционность и сочувствие пролетариату соединились с расплывчатым гуманизмом и проповедью утопического братства народа. Они naïвно верят, что республика разрешит все социальные конфликты, обеспечит свободу, равенство и братство. Верят в силу воспитания, в то, что если умело убеждать, то идеалы свободы восторжествуют. Посвятив себя литературе, оба писателя хотят воспитывать массы, учить их любви к родине и свободе, ненависти — к врагам свободы. Обращаясь к временам революции, они стремятся воскресить ее идеалы, ее героиню для современников. «Надо писать книги для народа, — говорят Шат-

риан. — «Если народ будет знать историю своей страны, невозможно будет дурачить его и заставить принимать врагов свободы за ее глашатаев»¹.

Еще Д. Н. Писарев в своей статье «Французский крестьянин в 1789 году» говорил об огромном воспитующем воздействии исторических романов Эркмана-Шатриана: «...они помогают ему (французу. — *Н. Д.*) ценить и любить в прошедшем своего народа то, что действительно достойно почтительной любви; они учат его гордиться тем, что, по всей справедливости, должно возбуждать гордость умного и честного патриота»².

Появление «Национальных романов» Эркмана-Шатриана совпало с наступившим кризисом Второй империи. Поэтому, с одной стороны, они вызывают восторженный прием у оппозиционно настроенной публики, с другой — преследования и придирки цензуры. «История одного крестьянина» создавалась и начала выходить в пору обострения общественно-политического кризиса почти накануне франко-прусской войны и Парижской коммуны, когда в стране возникла предреволюционная ситуация. «Мне кажется, что благородный Бонапарт находится уже при последнем издыхании...»³ — пишет Ф. Энгельс в письме к Л. Кугельману 8 ноября 1867 года. Империя предпринимала отчаянные попытки спасти свое положение игрой в либерализм, демagogией, а на деле продолжала ту же политику подавления всяких свобод. В высших кругах царил официальный оптимизм. Но престиж империи в эти годы непоправимо пошатнулся: большая часть нации была охвачена республиканскими настроениями и выступала против режима Наполеона III. У оппозиции выявлялась своя пресса, свои журналы, ораторы, клубы. Революция назревала.

В этих условиях произведения Эркмана и Шатриана приобретали остросовременный смысл. «История одного крестьянина» — это проклятие бонапартизму. Она звучала как урок для современников, которые, как и встарь, позволили новому Бонапарту одурачить себя обещаниями. Когда в 1867 году появилась первая часть романа в газете «Пресса», цензура наложила запрет на его продажу. Газета отказалась публиковать продолжение. Оно печатается в газете «Сьекль» в 1869—1870 годах, когда выходят либеральные законы о печати.

В годы Второй империи обращение к идеям Великой французской буржуазной революции, к ее истории, становится акту-

¹ L. Schönmacker, *Eckmann-Chatrion*, P. 1933.

² Д. Н. Писарев, *Сочинения*, т. 4, Гослитиздат, М. 1956, стр. 402.

³ К. Маркс и Ф. Энгельс, *Сочинения*, т. 31, стр. 476.

альным. К этому времени историография революции насчитывала уже огромное количество трудов. Эти труды представляли собой пеструю картину, в которой находили место самые различные, порой самые противоположные взгляды и оценки — от ультра-реакционных проклятий революции до восторженных аналогий ее в работах социалистов-утопистов. Наиболее значительными работами того времени, написанными с позиций оправдания революции, явились многотомные труды по истории французской революции Луи Блана и Жюль Мишле. Из них-то, по-видимому, больше всего и черпали материал Эркман и Шатриан, приступая к своему роману из эпохи революции. Но это не значит, что они полностью разделяли взгляды Луи Блана или Мишле. Последнее, как известно, не были единомышленниками и далеко не одинаково понимали характер революции, хотя оба стояли на демократических позициях. Эркман и Шатриан, демократы, республиканцы, тоже рассматривают революцию с точки зрения народных интересов. Считая якобинскую диктатуру народным правительством, они, в отличие от Луи Блана, резко осуждают политику Робеспьера. Но и дантолистскую политику примирения с эспрондистами, сторонником которой был Мишле, они полностью не приемлют. В отличие от всех буржуазных историков, Эркман и Шатриан называют Марата подлинным народным вождем, предвосхищая ту оценку, которая стала бесспорной в современной прогрессивной историографии. По общей оценке революции «История одного крестьянина» примыкает к демократической литературе эпохи Второй империи, которая обратилась к якобинству и республиканским идеям.

От начала до конца роман пронизан мыслью, что революция для народа была великим благом.

«Всем... и обман революции, — говорит Мишель Бастьен. — Но будь восемьдесят девятого года, был бы я ниц и паг, всю жизнь батрачил бы на сеньора и на монастырь... И вот я решил написать эту историю, «Историю одного крестьянина», чтобы развеять все злобные наветы и рассказать людям о том, что мы испытали».

Якобинский пафос и убежденность звучат в словах рассказчика. Для авторов, глубоко верящих в прогресс, дореволюционное прошлое Франции — это нищета народа, войны, голод, эпидемия чумы; это страшная для народа пора, когда у него ничего не было, кроме тяжелого труда, нужды и долгов, а у дворян и духовенства было все. «Таков был порядок вещей, одни являлись на свет дворянами, и им дано было все, другие же рождались простолюдинами, и им суждено было пребывать в ярме во веки веков».

Никогда еще история революции не была рассказана так демократично. Впервые политические перевороты, социальные перемены, войны описываются так, как их увидел бы простой крестьянин, так, как он бы их понял и оценил. Поэтому естественно, что автором, как говорит Писарев, «занимает не внешний очерк событий, а внутренняя сторона истории... не то, как и почему случилось то или другое... событие, а то, какое впечатление оно произвело на массу, как поняла его масса и чем она на него отзывалась». Авторы «стараются взглянуть на великие исторические события снизу, глазами той обыкновенно безгласной и покорной массы, которая почти всегда и почти везде молчит и терпит, платит налоги и отдает в распоряжение мировых генетов достаточное количество пунечного мяса»¹.

Описывая предреволюционную, предгрозовую атмосферу в деревне, когда феодальная Франция все услаивала гнет сеньориальных повинностей и всяческих поборов, ускоряя тем самым час неизбежного взрыва, авторы рассказывают, как у забитых крестьян начинает пробуждаться интерес к политике: входит в обычай читать газеты, брошюры, листовки, устраивать импровизированные собрания, митинги, где обсуждаются последние новости и ораторы проносят речи. Освещая эту сторону жизни революционных лет, авторы волей-неволей затрагивают очень важный вопрос: откуда взялись те силы, которые стали революционной Францией? Как задавленный нуждой, измученный голодом, изнемогающий под тяжестью почеловеческого труда, забитый и невежественный французский народ, «вся эта масса, о которой ничего не знали со времен Адама и Евы», как говорится в романе, смог подняться на революцию и стать гражданином, вершителем судеб Франции, сокрушившим вековое беззаконие феодализма? И что революция дала народу?

Реализм романа в том, что, отвечая на эти вопросы, авторы стараются передать все многообразие настроений среди крестьян, раскрывая часто самое противоположное отношение к событиям революции. Одни из них становятся горячими сторонниками революции, другие — уходят в лагерь контрреволюции. В романе мы видим и сторонников якобинцев, среди которых самые близкие авторам — книгоноша Шовель и его друзья (деревенский священник Кристоф, дочь Шовеля Маргарита, простые крестьяне, ставшие солдатами, — Жан Ра, Марк Дивес, старик Сом, который

¹ Д. И. Писарев, Сочинения, т. 4, Гослитиздат, М. 1956, стр. 401 и 398.

воевал до последнего дня республики, якобинец Элоф Коппел). Это самые верные друзья революции и свободы. Кто они?

Шовель — самый образованный среди них и самый убежденный борец за республику, за права человека. Он один из представителей той передовой интеллигенции, из рядов которой выходили идейные и политические вожди революции. Шовель, по типу, — просветитель, ученик Руссо. Накануне революции он ходит по деревням Эльзаса, распространяя среди жителей книги Вольтера, Руссо, Рэйлала и Гельвеция, и народ с охотой их ищет.

Интересна и фигура священника Кристофа. В этом образе — тоже целое общественное явление, характерное для эпохи: из низшего духовенства вышло много видных деятелей революции, защищавших интересы бедняков, так как сами эти священники чаще всего были выходцами из народа, из крестьян или из мелкой буржуазии. И по своему образу жизни они были близки крестьянам и также ненавидели монахов-бездельников. Священник Кристоф учит в школе детей, ткариничает и всем, чем может, помогает беднякам. Он недоволен князьями церкви за их слепь, за их праздную жизнь, за то, что они — тяжелое бремя для народа.

На стороне революции и дядюшка Жан, деревенский богач. Правда, он стоит за умеренность и смотрит на революцию с точки зрения своих выгод, своего материального благосостояния. В лице дядюшки Жана изображается та французская буржуазия, которая, «ухватив лакомый кусок, хотела передохнуть», так как ее несколько не заботило, что народ еще не получил ничего. Дядюшка Жан становится противником решительных требований якобинцев.

Сторонникам революции в романе противопоставлены те крестьяне, которые по той или другой причине оказались в лагере врагов революции. Бесприщипность и привычка к легкому заработку, в бытность солдатом королевских войск, привела Никола, парня из бедняцкой крестьянской семьи, в ряды контрреволюции, сделала его человеком без чести и совести. Но главное зло, которое, по мнению авторов, часто мешало честным людям понять благо революции, было невежество, власть предрассудков, вера в святость королевской власти, слепое подчинение церкви, ее служителям, которые многих крестьян держали буквально в плену. Так фанатична и бессмысленна ненависть к революции у матери Мишеля, полусумасшедшей старухи, которая недоволен своего сына за сочувствие революции. Заблужденным, именно заблужденным, было и все то, что говорил кузнец Валентин о революции, нелепо его богатство в Кобленце. Но так сложен был путь революционной правды к сознанию народа.

Главный герой романа, Мишель Бастьен, — сторонник революции и ее социальных преобразований. При всем том это самый средний, самый обыкновенный крестьянин, в судьбе которого авторы видят судьбу всего французского крестьянства. Мишель — это та безмянная масса, те тысячи, десятки тысяч крестьян, которых революция сделала гражданами. Мишель — это те, кто узнал, что такое третье сословие, кто понял, что от привилегированных сословий ждать нечего и что наилучший способ освободиться от насилия богачей — это ответить им тем же. Он из тех, кто в дни революции откликнулся на ее призывы, кто в 1792 году, когда был брошен клич «Отечество в опасности!», стал волонтером и мужественно сражался на фронтах. Но Мишель — это и та крестьянская масса, которая своей пассивностью и непониманием многих событий и в конечном счете способствовала тому, что победами революции воспользовались «разбойники и дельцы», помогла торжеству Бонапарта. Однако устами рассказчика порою говорят сами авторы, поэтому суждения героя часто выглядят такими глубокими, какие простой крестьянский парень едва ли мог бы иметь. Ведь уже в самом начале революции он понимает, как пагубны те, кто верит в доброго короля. Глубоко и верно судит он о конституции 1791 года, которая сделала мерилом ценности человека богатство, а не действительные достоинства — храбрость и честность.

Во всех рассуждениях рассказчика и других действующих лиц о революции видна авторская позиция. Подобно Луи Блану, авторы в первую очередь интересуются социальной стороной революции, удовлетворением экономических интересов народа и, подобно ему же, многое истолковывают идеалистически. Это находит выражение и в культе Декларации прав человека и гражданина, и в преклонении перед лозунгом «свобода, равенство и братство», которое определяет весь тон романа. Авторы не понимают, что как ни велико значение лозунга «свобода, равенство и братство», он абстрактен, пока не поставлен вопрос об имущественном равенстве, об уничтожении частной собственности. Впрочем, этим абстрактным пониманием свобод и прав человека грешат даже самые демократические труды о революции того времени. В основе большинства идеалистических суждений авторов лежит социальная утопия: единство народа и буржуазия, по их мнению, не только возможно, но является залогом успеха революции и дальнейшего прогресса. Эта иллюзия исторически обусловлена действительно существовавшей во время революции общностью целей и задач, временно объединивших народ и буржуазию в борьбе против феодально-абсолютистского

отроя. С этой утопией связано часто встречающееся в романе противоречивое отношение к революционному террору: авторы то оправдывают террор, то говорят о нем как о ненужной крайности, губительной для революции. Когда рассказчик упоминает о гильотине, введенной во время революции вместо виселицы, то не может удержаться от горестного восклицания: «И это называется прогрессом!» Ужас испытывает Мишель, слушая рассказ Мареско о сентябрьских расправах в парижских тюрьмах («Палачи есть палачи!») или встречая конвой осужденных на гильотину в Париже во время якобинского террора 93-го года («Я был уверен, — говорит Мишель, — что республика гибнет... Нельзя разъяснять народу его заблуждения, отрубая людям головы»). И хотя герои и авторы понимают, что жертвами террора чаще всего были предатели родины, что роялисты всегда были более жестоки, чем республиканцы, они не сознают, что революционный террор был требованием самого народа. «*Весь французский терроризм, — говорит К. Маркс, — был не чем иным, как насильственным способом разделиться с врагами буржуазии, с абсолютизмом, феодализмом и мещанством*»¹. Авторы же обвиняют Конвент и Робеспьера в неразумной жестокости. В романе Дантон все время противопоставляется Робеспьеру. Дантон, которого история знает как сторонника компромисса с врагами революции и якобинцев — с жирондистами, в романе оценивается как действительный друг народа, свободолюбец, а Робеспьер как диктатор.

Это ошибочное представление о Робеспьере противоречит его подлинной роли в революции и в значительной мере объясняется устойчивым влиянием жирондистской клеветы на Робеспьера, в плену которой находилась большая часть буржуазных историков и романистов XIX века.

Идеалистическое толкование истории обнаруживается и в объяснении причин термидора, которые усматриваются не в борьбе общественных классов, а в отношениях Робеспьера к его противникам. А торжество Бонапарта показано лишь как торжество честолюбца, который сумел «одурачить недееспособный народ». В романе все это не выглядит чуждым даже для современного читателя, потому что воспринимается как вполне естественная правдивость суждений рассказчика, простого крестьянина Мишеля Бастьена. В целом же авторская точка зрения — это сложное переосмысление далеких от научного понимания утопических и идеалистических представлений с удивительно верным и трезвым народным взглядом на революцию. Поэтому в «Истории одного

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 6, стр. 114.

крестьянина» многое понято глубже, демократичнее, чем у историков того времени. Мишель Бастьен не только видит, что жирондисты предают интересы народа, а якобинцы их защищают, что конституция 1795 года антинародна, что термидорианский переворот — это конец революции, что в улучшении положения трудящихся масс революция выполнила свою задачу только наполовину, так как, разрешив вопрос с землей, она совершенно ничего не дала городским рабочим, а потому необходимо добиться, чтобы и рабочие «получили такую же долю, как и крестьяне». Обо всем этом говорилось и у Луи Блана. Но вопреки всем буржуазным историкам, даже самым прогрессивным и радикальным, в романе говорится, что истинным другом народа был Марат, что именно он был больше всего популярен в народе своей истинной преданностью революции. От солдат-паризян рассказчик узнает, как они чтут Марата — «Друга народа». «Пока есть Марат, — говорят они, — революция будет продолжаться, если же его не будет, то и остальные разбродятся, потеряют голову, поддадутся жирондистам». Никто из буржуазных историков этого не признавал, все они недооценивали Марата, этого непоколебимого и страстного борца революции, беспощадного к ее врагам.

Немалое достоинство романа в том, что логика описываемых событий опровергает идеи самих же авторов об утопическом братстве. Революция, которая объединила третье сословие в борьбе против общего врага — феодализма, одновременно открыла пропасть между богатыми и бедными, между буржуазией и народом. И это ощущение все растущего отчуждения буржуазии от народа в романе передается очень верно и тонко.

Как различна судьба и интересы дядюшки Жана и семьи Бастьенов! Один — богат, в годы революции стал владельцем большой фермы, которую купил во время распродажи церковного имущества. Бастьены же еле-еле вырвались из кабалы ростовщика, и у них нет денег на покупку даже маленького клочка земли. Поэтому отец Мишеля по-прежнему плетет корзины, а Мишель работает подручным в кузнице дядюшки Жана и его брат Кюд и сестра Матюрин батрачат на ферме того же Жана Меру. Сам Мишель прекрасно понимает, что такие богачи, как дядюшка Жан, поддерживают революцию потому, что она ограждает его право на приобретенные им церковные земли. Когда в 1791 году жирондисты ведут пропаганду войны против контрреволюционной Европы, чтобы отвлечь народ от внутренних дел, а монтаньяры, видя ее несвоевременность, призывают в первую очередь к борьбе с внутренней контрреволюцией, авторы романа понимают, что за жирондистами стоят буржуа, а за монтаньярами — народ.

Дядюшка Жан, естественно, был с жирондистами и подбивал патриотов на войну, ибо боялся опустошения своих земель в случае интервенции. Он был за войну, тем более что защищать его земли шли другие. С иронией Мишель вспоминает, как радостно дядюшка Жан провожал его в волонтеры: «Ведь он-то понимал, что и по-настоящему буду защищать его ферму в Пикхольце... И он был прав: прежде чем тронуть хотя бы один волос на его голове, им пришлось бы изрубить меня в куски». Настоящий защитник народных интересов Шовель, выражая точку зрения авторов, говорит, что «единства нации быть не может, если у одних будет все, а у других — ничего». Это и показала дальнейшая судьба революции, приведшая к расколу ее сил. Богачам, вроде дядюшки Жана, не хотелось упускать своей добычи и делиться ею с другими. Поэтому-то такие, как он, отказались от революции и стали сторонниками конституции Бонапарта, которая сохраняла за ними награбленное добро. Приспосабливаясь к новому режиму, дядюшка Жан разглагольствует о необходимости «восстановить порядок после этой ужасной революции, а о правах человека можно будет поговорить потом». «Теперь, — добавляет рассказчик, — богачи грабили Францию... они приобрели все права, которые народ потерял».

Не укрывается от наблюдательного взгляда авторов и то, что революция, уничтожив привилегии знатности, узаконила привилегию богатства, сделав деньги всеобщим мерилом. Ему подчиняются законодательства времен революции: разделение граждан на «активных» и «пассивных» в конституции 1791 года, имущественный ценз в конституциях 1795 и 1799 годов. С горечью рассказчик говорит: «Деньги теперь заменили все — образование, ум, смелость, честность, все это отодвинулось теперь на второй план и стало необязательным». Авторы понимают, что борьба в Конвенте, разногласия монтаньяров и жирондистов неумиримы, потому что это противоречия между бедными и богатыми, между народом и буржуазией.

В романе нет никакого оправдания, никакого снисхождения к тем, кто был врагом революции, врагом народа и народной власти. И только вандейские крестьяне получают у авторов оправдание, так как их вина лишь в том, что они невежественны и не могут понять истинный смысл революции. Не случайно, что среди многих врагов революции для авторов ненавистнее всех Бонапарт, потому что в нем они видят предшественника Наполеона III. И как ни преувеличена в романе роль будущего императора в термидорианской реакции, в гибели революции, как ни навязно звучат порой некоторые обвинения Наполеону, во многом

угадываются истинные причины, которые привели Францию к империи. Кто поддержал Бонапарта? Почему он смог восторжествовать? Какие обстоятельства помогли его возвышению? В романе много первых наблюдений и рассуждений о том, что обуржуазивание нации создало почву для бонапартизма, для успеха его демагогии. Несколько раз повторяется в романе воззвание Наполеона 1796 года перед походом в Италию: «Солдаты, нас плохо кормят и плохо одевают... Я поведу вас в самые плодотворные в мире земли; там вы найдете почести, славу, богатство...» Богатство. «Но ни о свободе, ни о равенстве Наполеон ни разу не обмолвился в своих прокламациях», — говорит Шовель. Он сравнивает его политику с политикой разбойничьих атаманов, которые привлекают к себе сторонников, соблазняя их грабежом и наживой. Даже некоторые бедняки, некогда преданные революции, заражаются этим духом. Сестра Мишеля и ее муж Мареско из санжозотов превращаются в цувориншей, составивших отряду бонапартистской Франции. Во время итальянских походов они забывают о республике и думают только о своем обогащении.

Роман разоблачает весь демагогический арсенал бонапартизма. Авторы с иронией описывают славословия прессы по адресу Бонапарта, всю эту газетную шумиху, которая дурачила народ. Не менее иронически говорят они и о появившемся у Бонапарта стремлении подражать пышности королевского двора. А «народ существовал только для того, чтобы доставлять Бонапарту деньги и солдат. Ни одна страна никогда не вадала так низко».

Все, что говорится о Наполеоне, звучит как страстная колемия и с буржуазными историками, возвеличившими Первую империю, и как злободневный памфлет против духа бонапартизма, царившего при Второй империи.

«Я знавала писателей, — говорят Мишель Бастьен, — впоследствии прославивших этот образ действий... И с горечью отрицаюсь от человека, который ради своей выгоды убивает великие идеи свободы, равенства, человечности, который проливает кровь своих сограждан, чтобы возвеличить себя и свою семью, и воздвигает себе иедестал из костей двух миллионов пятисот тысяч французов».

Антинародность империи Наполеона разоблачается еще более ярко в других романах Эркмана-Шатриана, посвященных тому же времени в «Воспоминаниях рекрута 1813 года» и в «Ватерлоо».

Что же противопоставит бонапартистской реакции в романе? Идея справедливости, которая всеми забыта и которую надо воскресить. Веры и неизбежность падения несправедливого режима полной империи, неустрашимый исторический оптимизм, основан-

ний на веру в народ, делает такими пылкими, такими призывными слова Шовели, которые он произносит перед избирателями в Лютцельбурге: «Только мы, лесорубы, крестьяне, рабочие и ремесленники, — настоящие суверенные граждане; мы — народ, а ведь правительство должно служить народу, ибо... только народ дает возможность существовать остальным...»

Вся «История одного крестьянина» читается как гимн героической революционности французского народа, противостоящей эгоизму и деспотизму империи. Книга исполнена высокого гражданского пафоса, патриотической гордости и глубокой веры в народ. Пробуждение народа, начавшееся во время выборов в Генеральные штаты, огромный патриотический порыв, охвативший всю Францию в 1792 году, когда по всей стране, в клубах, на собраниях, гремело: «Жить свободными или умереть!», «Отечество в опасности!» — в когда в отряды волонтеров шли все патриоты, описаны с большим волнением. «Какой героизм, какой патриотизм, какое могучее дыхание!» Эти слова Э. Золя, сказанные о романе «Тереза», могут быть справедливо отнесены и к «Истории одного крестьянина».

«История одного крестьянина», как и другие исторические романы Эркмана-Шатриана, представляет собой новую ступень в развитии жанра исторического романа второй половины XIX века. Его основная особенность — дальнейшая демократизация жанра: история революции рассказывается самим народом.

303569
Еще до Эркмана-Шатриана в исторических романах авторы отказываются от того, что Пушкин называет «холодным пристрастием к королям и героям». В романе Эркмана-Шатриана все действующие лица — самые простые люди, самые обыкновенные деревенские жители, каких было миллионы. Простые крестьяне, ремесленники, солдаты становятся участниками великих исторических событий. Демократизация героя была тенденцией всей породовой литературы 50—60-х годов. Братья Гонкуры в своем «Дневнике», этом барометре литературной жизни, записывают в 1858 году: «Все идет к народу и уходит от королей: в романах интерес перешел от королевских злоключений к злоключением простых смертных...»¹ В «Истории одного крестьянина» вся драма эпоха революции входит в сознание читателя через судьбу крестьянского парня и его близких. О взятии Бастилии читатель узнает вместе с жителями Лачуг из письма их односельчанина,

¹ Эдмон и Жюль де Гонкуры, Дневник, М. 1964, т. 1, стр. 177.

депутата Генеральных штатов Шовеля. Письмо это читают, собравшись в деревенском трактире дядюшки Жана. Здесь же в компании друзей читаются и газетные сообщения о казни короля, о деятелях Конвента и т. д. Эта «домашняя» обстановка делает все происходящее таким близким, знакомым, что читатель становится соучастником всего происходящего.

Необычен роман Эркмана-Шатрпана и тем, что авторы не только наизусть отказываются от традиционной для исторического романа авантюрной фабулы с необыкновенными приключенными героями, но, по сути дела, вообще от вымышленного сюжета. В истории Мишеля Вастьена в конце концов нет ничего выдуманного: был бедным настишонком, несчастливо выучился грамоте у сельского священника, подрос, стал подмастерьем деревенского кузнеца, потом солдатом республики, воевал, был ранен, вернулся домой, полюбил бедную, но умную и красивую девушку, женился, обзавелся семьей, домом... Но так в то время могло быть почти с каждым деревенским парнем. Это история самой обычной жизни простого человека, которая проходит на фоне исторических событий. Элемент приключенчества у Эркмана-Шатрпана настолько незначителен, что даже не воспринимается как таковой (неожиданная встреча Мишеля с Николаем в Поневе, с сестрой Длаботой и ее мужем в Пруссии и в Вальдее). Авторы отказываются от всякой искусственности в построении сюжета, обычно используемой в исторических романах ради того, чтобы сделать героя свидетелем всех главных событий, собеседником исторических деятелей. «В романах господ Эркмана и Шатрпана, — говорит Писарев, — великие исторические деятели вовсе не выступают на сцену. В их романах... читатель не встречается ни с Робеспьером, ни с Дантоном, ни с королем Людовиком XVI и вообще ни с одним из тех лиц, которых имя сколько-нибудь известно образованному человеку. В романах из времен Первой империи мы не видим ни Наполеона, ни его маршалов, ни его врагов... Эркман и Шатрпан не пробуют вводить читателя в такие кабинеты, в которые никто из простых смертных не входил, выслушивать такие речи, которых в свое время никто не мог слышать и записать, угадывать такие мысли, желания и душевные движения, которые остались для всего мира глубочайшею тайною»¹.

Идя в ногу с реализмом своего времени, принимавшим только искусство, основанное на наблюдении, на документе, на досто-

¹ Д. И. Писарев, Сочинения, т. 4, Гослитиздат, М. 1956, стр. 400—401.

верлом воспроизведения жизни, авторы «Истории одного крестьянина» рассказывают лишь о тех исторических событиях, которые действительно были известны всем и действительно могли войти в жизнь героя самым естественным образом. Судьба Мишеля переносится со многими событиями революционной эпохи, так как в 1792 году он становится волонтером и с армией Кюстина доходит до Рейна, а потом воюет в Вандеи — в армии Клебера. Роман Эркмана-Шатриана особенно интересен благодаря широте хронологического охвата. Великая французская революция изображена в романе во всей своей последовательности — с момента ее разгара до наступления реакции, прихода к власти Наполеона.

Рассказ Мишеля о виденном и пережитом дополняется рассказами и письмами других действующих лиц: письма Шовеля и Маргариты, письма Никола, Лизбеты и Мареско, рассказы Элофа Коллена и т. д. Некоторые события становятся известны по газетам и листовкам, которые читались в харчевне «Три голубя», а иногда — по толкам и слухам, которые доходили до крестьян Эльзаса или солдат революционной армии (о казни короля и королевы, о сентябрьской расправе в парижских тюрьмах).

В романе широко используются подлинные материалы эпохи (королевские указы, декреты, воззвания, конституция 1791 года), и эта документальность романа, сочетаясь с живым и ярким повествованием, составляет одну из особенностей исторического романа Эркмана-Шатриана.

В «Истории одного крестьянина» мало вымышленных событий. «Все мои романы, — пишет Эркман, — состоят из личных воспоминаний и воспоминаний, услышанных от отца, родственников, друзей, знакомых. Я немного идеализировал их, но ничего не придумал»¹. Часто авторам в детстве и в юности приходилось слушать рассказы старых солдат революции и империи. Отец Эркмана, бывший солдат республиканской армии, любил вместе с друзьями в долгие зимние вечера вспоминать о былых походах. Этими рассказами заслушивался будущий писатель. И многое из услышанного им воскресло потом в его произведениях. Сама форма повествования (рассказ очевидца, который восьмидесятипятилетним стариком вспоминает революцию и приход Бонапарта к власти) придает событиям характер достоверности и живо воскрешает минувшие времена. Рассказчик все время повторяет, что говорит только о том, «что сам видел», о чем помнит так, «как если бы это было вчера».

¹ L. Schoumacker, *Erekmann-Chatrian*, P. 1933.

Атмосфера эпохи передается зарисовками знакомого авторам деревенского быта родного Эльзаса. Песня революции, которые несли по всей Франции в те времена — «Мадам Вето» и «Карманьолю», — в романе поют и танцуют на свадьбе Кристинки Летюме в деревенском трактире. Пфальцбург и его окрестности, югезский пейзаж — вот обычный фон романа. Парочито яркому колориту прежних исторических романов Эркман и Шатриан противопоставляют простоту деревенской повседневной жизни. В одном из своих рассказов авторка говорит о своей неприязни к выдуманному красоте: «Какой-нибудь плетень, лад которым жуужит имель, дорога в рытвинах, по которой взирается толпа лошадейка и тащит телегу, увязавшую в грязи, кнут, свистящий в воздухе, белото с утками... луч солнца на чердаке... меня привлекают гораздо больше, чем ваши колонны, ваши солнечные закаты и ночные пейзажи»¹. И сколько поэзии видит авторка в этом обыкновенном сельском пейзаже, сколько пейзажности вызывает у них какая-нибудь «тропика, то взлетающая вверх, то сбегаящая вниз, старые деревья без листьев вдоль дороги... торжественная зимняя тишина леса. В долине — деревенька... островерхая колокольня, внизу крохотное кладбище, могилы, засыпанные снегом; ветхие домилья, речка, мельница... над быстриной...».

Горичая любовь к свободе и справедливости, к революция, любовь к человеку, задушевность рассказа о простых деревенских жителях, ставших участниками гигантских исторических событий, привлекает в романе Эркмана-Шатриана. Благородство и поэтичность стиля, которые сочетаются с чисто зародной простотой и ясностью, сделали этот роман классикой французской прозы.

И. Дорогова

¹ L. Schoumaeker, Erckmann Chatrian, P. 1933.

Ч А С Т Ь П Е Р В А Я



ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ШТАТЫ



THE FARMER'S FRIEND



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Многие уже рассказывали о великой революции, которую совершил народ и буржуазия, восставшие в 1789 году против знати. Рассказывали обо всем этом люди ученые, умные, заправшие на события с заоблачных высот. Я же — старый крестьянин, и я поведаю только о наших делах. Ведь главное — как следует разобраться в своих делах: то, что ты сам видел — и знаешь хорошо. Пусть это и другим пойдет на пользу.

Да будет вам известно, что до революции Цфальцбургскому приходу и сеньории принадлежало пять деревень: Вильнберг, Миттельброн, Лютцельбург, Гультенгаузен и Гецельбург; что горожане и жители Вильнберга и Гецельбурга были на положении свободного сословия, зато крестьяне остальных деревень — и женщины и мужчины — были подневольными и не смели выходить за пределы сеньории, да и вообще отлучаться без позволения прево *.

Прево творил суд в общинном доме, имел право судить людей и их дела, носил шлягу. И даже приговаривал к виселице.

Когда обвиняемые не желали признаваться в преступлениях, их допрашивали под сводами мэрии, где шло гауптвахта. Судебный служитель и палач пытали их, да так жестоко, что вопли слышались даже на площади. А немного спустя, в базарный день, под старыми вязами сооружали виселицу и палач венная осужденных, важная ногами на их плечи.

В те поры лишь человек, доведенный до крайности, смел задумать какую-нибудь дерзкую выходку.

Право проезда через Ифальцбург обходилось недешево: за подводку с таким товаром, как сукно, шерсть и тому подобное, на заставе платили флорин *, за телегу с кольями, тесом, досками для выделки бочек и прочим деревянным товаром — шесть лотарингских грошей; за телегу, груженную дорогою тканью — бархатом, шелком, тонким сукном, — тридцать грошей; за вьючную лошадь — два гроша; за корзину со всякими товарами — полгроша; за повозку, груженную рыбой, — полфлорина; за повозку, груженную маслом, яйцами, сыром, — шесть грошей; за бочку соли — шесть грошей; за резаль * пшеницы или ржи — три гроша, овса — два гроша; за сотню подков — два, за быка или корову — шесть пфеннигов; * за телку, борова или овцу — два пфеннига, и т. д.

Таким образом, жители Ифальцбурга и его окрестностей не могли ни есть, ни пить, ни одеваться, не отвалив взрядный куш герцогам Лотарингским.

Далее шла соляная пошлина, а это вот что означало: содержатели постоянных дворов, кабаков и харчевен в Ифальцбурге или же в окрестных деревнях обязаны были поставлять его высочеству шесть кувшинов вина либо пива с каждой меры, проданной или припасенной в погребе. Затем его высочеству причиталась пошлина на право продажи ленного владения, а именно: при продаже домов или наследованного имущества — пять флоринов с каждой сотни. Затем шла мерная плата за зерно, а это означало, что со всех злаков — пшеницы, ржи, ячменя, овса, проданных на рынке, — одно су * с каждого резалья полагалось его высочеству.

Далее взималась пошлина за стоянку на ярмарке. В году встарь было три ярмарки: первая на св. Матвея, вторая на св. Модеста, третья на св. Галля. Два досмотрщика устанавливали цену на места в пользу его высочества.

Далее шли городские выборы: одно су с сотин, вырученной за шерсть, муку и прочие товары; далее — штрафы, которые налагал сам прево, но их размеры устанавливали и назначали советники герцога в пользу его высочества; далее плата — за право пасти свиней и собирать желудки, за право рубки леса, за право на валяние сукна и молотьбу; затем — большая десятина, из которой две трети отдавалось его высочеству, а оставшееся — церкви; затем малая десятина зерном в пользу одной лишь церкви — его высочество в конце концов отнял у нее это право, ибо себя он любил еще больше.

Ну а теперь, если кто хочет знать, каким образом столько добрых людей попало под иго его высочества, всех этих прево да бальи*, сенешалов* да советников, пусть вспомнит, что лет эдак за двести перед тем, как стряслась эта великая беда, некий сеньор по имени Георг Богани, курфюрст Пфальцский, герцог Баварский и граф Вельденцкый, который по милости германских императоров владел в наших краях обширными лесами, не извлекал из них ни гроша, потому что некому там было жить, не было ни дорог для перевозки бревен, ни судоходных рек для их сплава, повелел оповестить жителей Эльзаса, Лотарингии и Пфальца о том, что все те, кто переберутся в леса и умеют работать, получают землю и будут как сыр в масле кататься, что он, Георг Вельденцкый, поступит так во славу божью, а поскольку Пфальцбург стоит на перекрестке дорог во Францию, Лотарингию, Вестрих и Эльзас, то ремесленники и торговцы, тележники, кузнецы, бочары, башмачники найдут там хороший сбыт своим товарам, равно как и слесари, жестянщики, кабатчики, ткачи и прочий мастеровой люд, и так как милость божья должна осенить почти всякого важного иредиривтия, то тех, кто переберутся в его город Пфальцбург, он освободит от повинностей, им позволено будет строить себе дома из дарового леса. Для них введут храм, дабы проповедовать в нем чистосердечие, простодушие, честность, построят школу, дабы прививать детям истинную веру, ибо ум у отроков — это дивный сад, где насаждаешь чудесные растения, благоухание коих возносится до самого господа бога!

Он посулил еще несметное множество всяких других благ, поблажек и льгот, слух о которых распространился по всей Германии, так что сюда стекались целые толпы

людей, пожелавших воспользоваться всеми этими благодеяниями. Жилища они построили, поля подняли, поля возделали; ценность лесов Георга Иоганна возросла, и то, что не приносило никакого дохода, стало кое-чего стоить.

И тут вышеозначенный Георг Иоганн, граф Вельденцкий, во имя честности, справедливости и славы божией за четыреста тысяч флоринов продал Карду III, герцогу Лотарингскому *, земли, скотину и народ.

Большинство жителей были лютеране, потому что Георг Иоганн вначале объявил, что в Цфальцбурге будет исповедоваться чистая, безыскусственная, истинная вера по св. Павлу, согласно аугсбургского исповедания; * когда же он прикарманил четыреста тысяч флоринов, причем невыплаченные посулы не помешали ему хорошо спать, его преемник, Карл III, ничего никому не посуливший, послал туда своего любимого верноподданного — государственного советника Дидье Даттели, дабы из христианской любви к ближнему склонить цфальцбургских горожан к вере католической, а если бы кто-либо из них стал упорствовать в своих заблуждениях, то поведеть им покинуть сии места под страхом принудительного изгнания и изъятия имущества.

Одних удалось обратить в иную веру, другие же — мужчины, женщины, дети — двинулись в путь, увозя на тележках свой жалкий скарб.

Наведя порядок, герцоги послали своих любезных и горячо любимых цфальцбуржцев «восстанавливать и чинить городскую вал, на постройку — из тесаных камней и целых глыб — двух ворот у немецкой и французской застав, на рытье рвов, на сооружение общинного дома, предназначенного для судебных заседаний, на возведение церкви, дабы наставить там верующих, а также дома для священника, поближе к новой церкви, дабы он мог наблюдать за своей паствою, и, наконец, на постройку рынка, дабы облагать там товары налогом и взимать пошлины». За сим служители его светлости по своему усмотрению установили права и обязанности, барщину и оброки: и бедные люди впряглись в ярмо и работали так из поколения в поколение, с 1583 по 1789 год, на герцогов лотарингских и королей французских, поверив посулам Георга Иоганна Вельденцкого, отъявленного мошенника, каких на свете немало.

Герцоги узредили также в Цфальдбурге, с помощью жалованных грамот, множество корпораций — своего рода объединений собратьев по ремеслу, которые задались целью воспрепятствовать всем прочим заниматься их делом и, таким образом, без помех обдирали народ сами.

Ремеслу учились четыре, а то и пять лет. Ученик вынужден был щедро платить мастеру, чтобы его допустили к ремеслу, а затем, получив за отлично сработанную вещь свидетельство мастера, сам начинал помыкать людьми так же, как до того помыкали им.

Не представляйте себе город таким, каким он стал в наши дни. Разумеется, расположение улиц и каменные постройки не изменились, но в те времена вы бы не нашли ни единого крашеного дома, они были просто обмазаны известью, и во всех виднелись небольшие сводчатые окна и двери; под низкими сводами за слюдяными оконницами часто, бывало, заметишь портного — сидит, скрестив ноги на столе, кроит сукно либо делает стежки пролкой, а по соседству работает ткач, и в полутьме под его руками слыт челнок.

Гаризонные солдаты в огромных треуголках, белых поношенных мундирах, свисавших до самых пят, были горемычнее всех: ели они всего-навсего раз в день; кухари и кашевары христарядничали по дворам, выиравшая объедки для этой голодной братни. Так было еще за несколько лет до революции.

Народ изголодался, устал; одно-единственное платье по наследству переходило от бабушки к внучке, а баньмаки — от деда к внуку.

Улицы немощные, по ночам — ни одного фонаря; на крышах нет водосточных желобов; оконца с выбитыми стеклами вот уже лет двадцать залезлены клочками бумаги. А среди этой безысходной нищеты шествует и поднимается по лестнице в мэрию прево в круглой черной шапочке, молодые дворяне-офицерки цеголяют в изящных треуголках, белоснежных мундирах с саблею на перевязи, красноносые кануцины с грязными длинными бородами в рясках из грубой шерсти, без рубах, валом валят в монастырь, где в наши дни помещается колледж... Все это встает в памяти, будто вчера было, и я мысленно восклицаю: «Какое же счастье для нас, бедняков, особенно для крестьян, что пришла революция!» Да, если в городе царил безысходная нищета, то что говорить о

деревне! Там творилось нечто совсем невозможное. Крестьяне несли то же бремя, что и горожане, а вдобавок на их долю выпадали еще и свои собственные тяготы. В каждом лотарингском селении существовала помещичья или монастырская усадьба. И все тучные земли принадлежали ей, а скудные доставались людям обездоленным.

Горемыки крестьяне не смели посадить на своей земле что хотели; луга должны были оставаться лугами, пашни — пашнями. Отведет крестьянину пашню под луг — значит, лишит козе десятины; отведет луг под пашню — значит, урежет выгон для скота; засеет он клевер на пару, а запретить помещицкому или монастырскому стаду пастись не имеет права. Земли его были отягчены плодовыми деревьями, которые ежегодно отдавались в пользование сеньору или аббатству. Деревья он не имел права вырубать и даже в течение года обязан был заменять те, что засохли. Тень от деревьев, убытки, которые он терпел при сборе плодов, при да корня, мешавшие возделывать землю, — все это наносило ему большой ущерб.

И вдобавок сеньоры имели право охотиться повсюду: они скакали по нажитым, тонча сжатый хлеб, в любое время года уничтожали урожаи на полях. Зато случись, бывало, крестьянину подстрелить дичь даже на собственном поле — и ему грозил галеры.

Кроме того, сеньор и аббатство имели право пасти скот отдельно, а это означало, что их скот выгонялся на пастбище часом раньше деревенского, крестьянской скотине оставались одни объедки, и она хирела.

Помещичьи и монастырские усадьбы к тому же имели право на голубятни, и всеметные стаи голубей слетались на поля. Приходилось сеять вдвойне конопли, вдвойне гороха, вдвойне вики, чтобы собрать урожай.

Ко всему в придачу отец семейства обязан был в течение года отдавать сеньору пятнадцать четвериков овса, десять цыплят, две дюжины яиц. Он был обязан три дня отработать на своего господина за себя, по три дня за каждого своего сына или батрака и на три дня отдавать сеньору лошадь или телегу. Он был обязан выкосить траву вокруг замка, просушить ее и свезти сено по первому звону колокола в господский сеновал, причем за малейшее промедление взималось по пяти грошей штрафа. Он был обязан также возить камни и лес, нужные для починки хозяйственных построек или замка. За целый день ра-

боты господни выдавал ему на обед ломоть черствого хлеба и зубок чеснока.

Все это и называлось барщиной.

А если б я рассказал вам еще о господской мельнице, господской хлебопечкарне, господской давилльне, которыми народ был обязан пользоваться и, само собой понятно, за денежный взнос молоть зерно, печь хлеб, давить виноград; добавил бы к этому еще и то, что палач имел право на никуру издохшего крестьянского скота; упомянул, наконец, и о десятине, а это было самым тяжким бременем, ибо каждый одиннадцатый свои приходилось отдавать юре, хотя крестьянин и без того кормил целую ораву монахов, каноников, кармелитов и нищенствующих монахов всех орденов, — да если б я вздумал рассказать вам обо всех этих новинностях и о куче других, лежащих на поселениях, конца не было бы перечню.

Правно же, можно подумать, что сеньоры и духовенство словно решили истребить горемык крестьян и всеми средствами добивались этого.

Но и этим дело не ограничивалось.

Мы гнули спину, пока наш край находился в безраздельной власти герцогов, под бременем прав его светлости, сеньоров, аббатов, припоров, женских и мужских монастырей. После же смерти Станислава * и присоединения Лотарингии к Франции прибавилась еще и королевская талья, а это означало, что глава семьи обязан был платить двенадцать су с каждого ребенка и столько же с батрака. К этому присоединялась денежная дань королю — налог на домашний скарб, двадцатая доля королю, а это означало двадцатую долю чистого дохода от урожая. Налог этот взимался только с крестьянина, потому как ни дворяне, ни церковники не платили двадцатой доли. Упоминем и об откупах на соль и табак, от налогов на которые помещики и духовные лица тоже были освобождены; о королевской соляной монополии или о косвенных налогах.

Вот если бы князья, дворяне, монахи да монахини, которые веками владели лучшими землями, принуждая многострадальных крестьян возделывать поля, сеять и собирать для них урожай да вдобавок еще облагая их повинностями, податями и всяческими налогами; так вот, если б они употребляли все эти богатства хотя бы на пропеление дорог, рытье каналов, осушение болот, удобрение земель, постройку школ, больниц, было бы еще полбеды,

но ведь они ивыряди деньги на развлечения, на утехы — и спесь и алчность их все росла. Жил в те времена в Саверне кардинал Луи де Роган *, известный распутник, называемый «князем церкви». Он измывался над порочными людьми и, когда ехал в карете, приказывал лакеям избивать крестьян, понадавившихся ему на глаза. В Невиле, в Буквиде, в Гильдесгаузене дворяне развели фазаньи дворы, оранжереи, теплицы, на протяжении полулье разбили роскошные сады с мраморными вазами, статуями и водометами — на манер Версальского парка. Непотребные девки в шелках разгуливали со знатными повесами на глазах бедного люда, босовогие кармелиты, кордельеры, калуцци бродили шайками, зубоскалили и попрошайничали с первого дня нового года до дня св. Сильвестра. Да, тяжело становилось на душе, как увидишь, бывало, всех этих баллы, прево, сееналов, нотарисуов и всякого рода судейских, помышляющих только о взятках и о том, как бы позаквитаться на счет государственных поборов да на штрафах. А еще тягостнее было оттого, что крестьянские сыновья поддерживали всех этих кровопийц против своих родных, друзей и против самих себя.

Попад в полк, крестьянские парни забывали нищету родных деревень; забывали о матерях и сестрах; признавали лишь своих офицеров и полковников: ради дворян, купивших их, они готовы были разорить отчий край, горюя, что поддерживают честь знамени. Однако ж никому из них не суждено было стать офицером: * ведь «подлая чернь» недостойна была носить эполеты! А получив увечье на войне, они получали лишь право на подаивие! Люди позворотливей, засеv где-нибудь в кабаке, старались завербовать рекрутов за определенную маду. Люди посмелее разбойничали на больших дорогах. Жандармы шой раз целыми отрядами делали на них облаву. Мне довелось увидеть с дюжишу таких вот молодцов на виселице в Ифальцбурге: оказалось, почти все они — бывшие солдаты, отпущенные по домам после Семилетней войны *. От работы они отвыкли, не получали ни аларда пенсциона и, попав на сельский дворянкане на савернском косогоре, были задержаны в Вильцберге.

Ну вот, теперь вы представляете себе старый порядок: дворянство и духовенство имели все, народ же — ничего.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Времена, слава богу, изменились, крестьянам тоже перепала изрядная доля земных благ, и сам я, понятно, не сетую на судьбу. Все местные жители знают ферму папаша Мишеля, его вальтенские луга, отменных швейцарских коров светло-бурой масти, которые пасутся на горных пастбищах в Бон-Фонтенском бору, дюжину могучих быков.

Да, жаловаться мне нечего. Мой старший внук Жак — один из первых учеников в парижской Политехнической школе*, внучка Кристина замужем за лесничим Мартемом, человеком умным и здравомыслящим, вторая внучка, Жюльета, — за майором инженерных войск Форбеном; младший внучек, Мишель, мой любимец (он ведь у меня последний), мечтает стать врачом; в нынешнем году он уже получил степень бакалавра в Нанси; он будет трудиться, все пойдет хорошо.

Всем этим я обязан революции. Не будь восемьдесят девятого года, был бы я ниц и наг, всю жизнь батрачил бы на сензора и на монастырь. А теперь я посиживаю в своем старом кресле посреди просторной горницы и люблюсь, как при свете очага поблескивает старинная фарфоровая посуда на полке над дверью; возле меня моя старушка и внуки. Мой одряхлевший нос растянулся перед очагом и, положив голову между лапами, часами глядит на меня. Из окна вижу я свой сад, цветущие яблони; пчелы жужжат в старом улье; во дворе поют работницы, перепучиваются с девушками. Вот возы отправляются со двора, другие с сеном въезжают; щелкают кнуты, лошади ржут. И, видя все это, я задумываюсь, вспоминаю убогую лачугу, где в тысяча семьсот восьмидесятом году жили мои бедные родители, братья и сестры. Голые, неудобные, неоштукатуренные стены, слуховое оконце, заткнутое соломой; крыша, осевшая от дождя, талого снега и ветра; в этой темной, трухлявой конуре мы задыхались от дыма, дрожали от холода и голода. Я вспоминаю честных труженников — доброго моего батюшку, мать, которая работала не покладая рук, чтобы добыть для нас хоть горсточку бобов. Вот они, перед моими глазами: в лохмотьях, истощенные, жалкие. Дрожь пробирает меня, и, если поблизости нет никого, я, опустив голову, плачу от жалости.

Никогда не заглухнет в моей душе ненависть к тем, по чьей вине мы влачили такое тяжкое существование, к тем, кто выжимал из нас все до последнего ливра. Восемьдесят пять лет прожил я на свете, но ненависть моя не угасла, нет, напротив; я старею, а она все разгорается. И подумать только, что шныре выходицы из народа — остолопы, простофили, брехуны — пишут в своих газетенках, что революция, мол, все погубила; что до восьмидесят девятого года мы жили и честнее и счастливее. Капалы! Всякий раз, как такая газетка попадает мне в руки, я дрожу от негодования. Тщетно увещевает меня Мишель:

— Да чего ты серднишься, дедушка? Никаким ведь платят, чтобы они обманывали народ, чтобы его снова одурачивали. Такое уж ремесло, такой уж заработок у этих мерзавцев!

— Ну, нет, — отвечаю я. — Ведь с девяносто второго по девяносто девятый год мы дюжинами расстреливали людей, в тысячу раз более честных, — дворян и солдат Конде *. Они-то хоть сражались за свое дело. А эти предадут отца, мать, детей, отчизну — лишь бы брюхо было сыто! Как это гадко!

Меня бы хватил удар, когда б я часто читал все эти подлые газетенки. Но счастью, жена причет их, случись им попасть к нам на ферму. Ведь они проникают повсюду, как чума, — искать их нет нужды.

И вот я решил написать эту историю — *«Историю одного крестьянина»*, чтобы развеять все злобные наветы и рассказать людям о том, что мы выстрадали. Задумал я это давно. Жена сберегла все старые письма. Больших трудов будет стоить мне эта работа, но если хочешь сделать доброе дело, так шадить себя нечего. К тому же ведь истинное удовольствие — причинить неприятности тем, кто когда-то досаждал нам, — ради одного этого я готов часами сидеть за письменным столом, пацеляв на нос очки.

Весело, легко будет у меня на душе, как вспомню, что мы прогнали негодяев. А торопиться мне некуда — то одно припомнится, то другое; писать буду по порядку, ведь когда порядка нет, дело не идет.

Итак, я начинаю.

Уж кого-кого, а меня-то не заставят поверить, будто до революции крестьяне жили счастливо. Знаю я это «доброе старое время», как они говорят: помню я наши

прекрасные деревни, помню господскую печь, где только раз в год мы выпекали лепешки, и господскую давяльню, где отбивали барщину на сеньора да на аббата. Помню и крепостных крестьян: худые, изможденные, без сабо и рубах, летом и зимой — в грубой блузе и холщовых штатках. Их жены, почерневшие от загара, грязные, одетые в лохмотья, походили на животных; голые ребятишки, обмотанные тряпьем, ползали у дверей. Даже самих господ, случалось, пробирало, и они писали в своих книгах: «Жалкие эти скотоподобные существа гнут спину под дождем и солнцем, добывая хлеб для всеобщего пропитания, и, право, заслуживают того, чтобы их досыта накормили». Однако господа, вышав так в минуту просветления, после уж об этом и не поминали.

А ведь подобные вещи не забываются: так было в Миттельбронне, Гультенгаузене, Лачугах, так было по всей стране! Старые люди сказывали о делах пострашнее, вспоминали о кровопролитной войне между Швецией, Францией и Лотарингией *. В ту пору крестьян вешали гроздьями на деревьях. Еще рассказывали они о том, как, в довершение всех бед, после войны косила людей моровая язва — сколько бы вы ни проишли тогда лье, не встретили б ни души. Крестьяне зывали к небу, простирая руки: «Господи, спаси нас от чумы, войны и голода!» Но голодали что ни год. Да и попробуйте-ка запасти на всю зиму бобов, гороху, чечевицы при шестнадцати капитулах, двадцати восьми аббатствах, тридцати шести приорствах, сорока семи мужских и девятнадцати женских монастырях в одной только округе да еще с целой кучей поместий! В ту пору картофеля еще не разводили, и бедному люду приходилось довольствоваться сушеными овощами.

Да разве можно было припасти вдоволь съестного?

Бедняк не сводил конца с концами.

А когда крестьянин на господина землю вспахает, засеет, проколет, когда скосят траву, поворонят, перевезет сено, а в краю, где виноградарством занимаются, еще и на сборе господского винограда поработает — словом, после целой уймы работ на барщине, когда погожие дни ушли на уборку урожая для сеньора или аббатства, крестьянину уже ничего не удавалось сделать для себя и своей семьи. Ровно ничего.

Но вот наступал мертвый сезон, и почти изо всех деревень люди уходили просить подалний.

Цфальцбургские капуцины возмущались. Они кричали, что, если все будут заниматься их ремеслом, они покинут край, а это, мол, для религии будет невозможной утратой. И тут прево Шнейдер и губернатор города, маркиз де Таларио, запрещали бедному люду просить милостыню; капуцинам же оказывали вооруженную помощь жандармы (пешие и конные); а при случае — отряды Руэргского, Шенауского и Лаферского полков. Людям угрожали галеры, но жить-то надо, и они ватагами отиравлились на поиски пропитания.

Как унижает людей нищета! Нищета, говорю я, и дурной пример. Да как же беднякам было уважать друг друга, когда на всех перекрестках они встречали капуцинов, монахов францисканского ордена, босоногих кармелитов, адаких рослых, крепко сколоченных молодчиков с длинными бородами да волосатыми ручищами, которым внору было землю копать да тачки грузить, а они денъденской шатались по дорогам и, забывая стыд, просили подаяния, с ужимками выклипчивая лnard-другой.

Да вот беда — просить кусок хлеба, даже когда голодаешь, еще не все, нет, нужно, чтобы у других был хлеб и чтобы они захотели помочь. Но в ту пору принято было говорить:

— Всяк за себя, бог за всех!

Почти всегда на исходе зимы ползли слухи о том, будто шайка разбойников напала на чью-то карету, то ли в Эльзасе, то ли в Лотарингии. Туда отиравлились войска, и в конце концов великое множество людей понадало на шеселцу.

Ну а теперь, представьте себе плетельщика корзинок тех времен, бедняка с женою и известью детьми — за душой у него ни гроша, нет у него ни клочка земли, ни козы, ни курицы, и один у него источник существования — работа. И никакой надежды на лучшую жизнь — ни для его детей, ни для него самого. Таков был порядок вещей: одни являлись на свет дворянами, и им дано было всё, другие же рождались простолюдинами, и им суждено было пребывать в ярме во веки веков.

Представьте же себе такую картину: длинная череда голодных дней, студеные зимние ночи, ни огня в очаге, ни одеяла, вечный страх перед сборщиками податей, перед жандармами, лесничими, соглядатаями... И все же... наперекор всему, весной, когда после долгой зимы солнце,

бывало, возвратится, заглянет в убогую лачугу и, прои- зывая мертвый воздух, осветит паутина между балками, небольшой очаг в углу слева и приступок справа, когда от тепла, приятного тепла, мы согреваемся, когда вновь поет сверчок и вновь зеленеют леса, мы, наперекор всему, радуемся жизни и, прижав к земле у двери, согреваем ру- ками босые попки, хохочем, светим, глядим в небо, кувyraемся в пыли.

Вот отец идет из леса с визанкой зеленого дрока че- рез плечо, с оханкой березовых сучьев и топором под мышкой, приди волос свисают ему на лоб. Он издали уви- дел нас, улыбается, и мы наперегонки мчимся к нему на- встречу. Он откладывает визанку, обнимает малышей, и лицо его светлеет; как сейчас, вижу я его добрые голубые глаза и нос, чуть раздвоенный на конце, большой рот; в эту минуту он кажется счастливецом! Он так добр, так любит нас! А наша бедная мать, в сорок лет уже седая и морщинистая, не теряет бодрости, вечно она в поле, вскапывает чужую землю, а вечерами придет для других лен или коновло, чтобы прокормить свой выводок, упла- тить оброк, налоги, выполнить все повинности. Сколько мужества нужно обездоленному бедняку, который вечно трудится и уповаает лишь на одно владение — вечную жизнь за гробом.

Но это не все. Еще одна беда преследовала бедняков, и была она горше всех других крестьянских бед: долги.

Помню, еще несмышленым ребенком я слышал, как отец говорил, возвращаясь из города, где продал несколько корзин или дозину метел:

— Вот соль. Вот бобы (или рис). И у меня не осталось ни лярда. Господи, а я-то надеялся, что выручу еще не- сколько су и уплачу долг господину Робену!

Робен — негодяй, первейший богач в Миттельбронне, толстяк с окладистой седяющей бородой, в шапке из выдры, с завязками под подбородком; у него крупный нос, желто- ватый цвет лица, круглые глазки. Короткий кафтан сидит на нем мешковато, ходил он пенком, в матерчатых гетрах до колен, с большой корзиной в руке и в сопровождении овчарки. Он обходил весь край, взимая с должников про- центы; ведь он всем одалживал деньги — кому три лив- ра, кому — шесть, а иным по одному да по два лундора. Он входил в дом и, если деньги не были приготовлены, совал себе в корзину все, что попадалось под руку:

поджогны яиц, кусок масла, штофик винивки, кусок сыра — словом, что у кого было, и запасался терпением. Пусть обирает, только бы не появился судебный пристав!

Не счесть на свете бедняков, которых и поныне обирают такие вот разбойники! И сколько бедняков работают из-за проклятого долга, бьются, не видя конца мучениям.

У нас Робену звать было нечего. Он только стучал в окошко да кричал:

— Жан-Пьер!

Батюшка, дрожа, выбегал из дома и, держа в руках шапку, спрашивал:

— Что угодно, господин Робен?

— А, вот и ты! Тут в двух местах надо поработать за меня на барщине — на Геранижской или Ливегеймской дорогах. Придешь?

— Да, да, господин Робен, приду.

— Завтра наверняка?

— Да, господин Робен.

И он шел дальше. А отец бледный-пребледный возвращался, понурив голову; молча, сжав губы, садился он в угол около очага и начинал плести корзину. С утра батюшка непременно отправился на барщину за господина Робена, а матушка заходила с криком:

— Ох, проклятуца коза! Ох, проклятуца коза! Ведь уже в десять раз больше заплатили, чем она стоит! А она взяла, да и подохла!.. и из-за нее все мы погибнем! И забрело же нам в голову купить старую козу! Ох, беда!

Мать в отчаянии ломала руки. Меж тем отец уже был далеко и шел с лопатой на плече. В такой день он не приносил домой ни гроша. Работой он оплачивал месяц отсрочки. Передышка бывала недолгой: только успокоимся, как в одно прекрасное утро Робен снова стучится в окно. Иной раз люди толкуют о недугах, подтачивающих сердце, иссушающих кровь, — так вот он, истинный недуг всех бедняков. Ростовщички только делают вид, будто помогают беднякам. На самом деле они живут за твой счет до самой твоей смерти. Да и после они еще стараются покуражиться над вдовой и детьми!

Как мучились мои родители по милости этого самого Робена, нельзя и передать. Они не знали ни сна, ни покоя, от забот и кручины старели. Одно было у них утешение — надежда, что кто-нибудь из нас, сыновей, попадет

на военную службу — ведь это помогло бы нам уплатить долги.

Было нас четверо братьев и две сестры: Никола, Лизбета, я, Клод, Матюринна и малыш Этьен, убогий калека, бледненький и худенький «Утенок», прозванный так жителями Лачур потому, что он вперевалку ходил на своих кривых топких ножонках. Остальные были здоровяки.

Мать, глядя на Никола, Клода и меня, частенько говорила:

— Не убивайся так, Жан-Пьер: из троих один-то уж наверняка жребий в рекруты вытянет. Ну, тогда берегись, Робен, — как только рассчитаюсь с тобой, рассеку тебе банку топором.

Да, только обездоленному могли прийти в голову такие мысли. Отец молчал, а мы, детвора, находили, что быть проданными — вполне естественно: ведь дети — так мы полагали — принадлежат родителям наподобие скотины. Из-за безвыходной нужды вещи предстают перед тобою в искаженном виде; до восьмидесяти девятого года все отцы семейств, за исключением дворян и буржуа, считали, что дети — их собственность. И все то, что теперь вызывает у иных людей восхищение, все то, что заставляет иных людей говорить, будто уважение к родителям в те времена было сильнее,шло от неразумия.

К счастью, у батюшки сердце было предоброе, не хотелось ему излекать пользу из нас, и бедняга часто плакал, когда в самое голодное время, зимой, ему приходилось посылать нас за милостыней, под стать всем остальным. В метель он никогда, бывало, не выпустит из дома малыша Этьена. Мне тоже не часто случалось просить подавния: помнится, я всего лишь два-три раза выходил на дорогу, ведущую в Миттельброи и деревню Четырех Ветров; с восьми лет меня нанял в настихи мой крестный, Жан Леру, хозяин харчевни и кузнец, живший на другом конце селения, и я возвращался в нашу хижины только к вечеру — почевать.

Давно все это было, а я, как сейчас, вижу на подъеме дороги харчевню, вывеску «Три голубя», а вдали, там, где кончается дорога, — Пфальцбург, будто нарисованный серой краской на фоне неба. Перед харчевней — небольшая закоптелая кузница, позади, на пологом склоне, виноградник, посреди него высокий развесистый дуб, а под ним бьет родник, — пенясь, он струится по большим валунам,



которыми выложено русло, и разливается по густой траве, а дуб осеняет его тенью. Солдаты полка, стоявшего в Боккаре в 1778 году, по приказу майора Бахмана соорудили под дубом скамейку и решетчатые беседки, обитые плющем и жимолостью. С той поры офицеры всех полков взяли за обычай устраивать здесь пирушки, а место это назвали «Тиволи». Жены и дочери городских советников и старини по воскресеньям охотно шли водичу из источника «Тиволи» и танцевали под дубом.

Долговязый шевалье д'Озе из полка Бри поднимал над ручьем бутылку, наполненную водой, и, выкатив глаза, произносил речь по-латыни. Дамы, сидевшие на дужке в роскошных нарядах, затканых цветными узорами, в атласных туфельках со стальными пряжками, круглых шляпках, украшенных маками и маргаритками, слушали, ничего не понимая, и млели от восторга. Затем квартирмейстер де Сенье принимался играть менуэт на маленькой скрипке, покачиваясь из стороны в сторону. И тут офицеры из Синьвиля, Сен-Ферали, Контрадиза, как есть шуты и треуголках лабкрень, векакивали и, выставив ногу вперед, предлагали руку дамам, а те суетливо оправляли складки пышных платьев и вускались в пляс.

Танцевали в те времена степенно, с достоинством. Меж тем слуги, из бывших солдат, отправились в трактир — за корзинами с вином, пирогами и сладостями, привезенными из города на осле.

Головляба из Лануг стоит, бывало, на пыльной улице, уткнувшись носом в изгородь виноградашка, и пялит глаза на важных господ, и уж как хотелось каждому очутиться на месте бар, хоть бы на четверть часика, особенно когда выскакивали пробки из бутылок и появлялись бирочки.

Наконец спускалась ночь. Офицеры брали дам под руку, и все благородное общество не спеша возвращалось в Цфальцбург.

Немало военных побывало в «Тиволи» Жана Леру до девяносто первого года — офицеры Капельского, Руэргского, Шенауского, Лаферского, Королевского овернского полков. Там появлялись и господа бургомистры, синдикки, советники в пануренных париках — широкие черные кафтаны на спине были в пудре, осыпаннейшей с волос. Развеселую вели они жизнь! А вот сейчас из всех тех, кто танцевал да глаза на танцевавших, в живых наверняка остался я один, и кабы я их не вспомню, то и разговору о них не было б — как о листьях, упавших в 1778 году.

У крестного я зажил припеваючи — еще бы, пара башмаков в год, сытная еда. Для скольких парнишек это было бы счастьем! Я хорошо понимал это и всячески старался угодить хозяйну Жану, его жене — тетушке Катрине, даже подручному Валентину да служанке Николь. Со всеми я держался учтиво. На зов я бежал со всех ног — разжечь ли огонь, раздуть ли кузнечные мехи, изобраться ли на сеновал за кормом скотине да подбросить его в стойло; даже кошку не хотелось дразнить. Ведь сидеть за накрытым столом перед миской сытной мучной похлебки и блюдом с капустой, по воскресеньям сдобренной салом, и улетать искусный внешничный хлеб, которого у тебя вдоволь, совсем не то, что уткнуться носом в миску, где плавает горстка недосозревших бобов, сваренных матерью, да считать каждую ложку.

За хорошее место надо держаться. И вот по утрам, летом в четыре часа, зимой в пять, когда в харчевне еще все спали, а скотина в хлеву пережевывала жвачку, я подходил к воротам и тихонько стучал два раза. Служанка тотчас же просыпалась и вскакивала, в темноте отворяла дверь. Я проходил на кухню, ворошил золу в очаге и, вытащив горячий уголек, зажигал фонарь. Пока Николь доила коров, я быстро избирался на сеновал за сеном и овсом и задавал корм лошадям возчиков да торговцев

зерном, почевавших в харчевне в канун базарного дня. Они спускались, проверяли и все находили в порядке. Затем я помогал им выкатывать телеги из сарая, запрягать, подтягивать подругу. А когда они выезжали и принимались кричать: «Эй, Фокс, эй, Реннель», — я, стянув с головы шапочку, желал им счастливого пути; только они, толстомердые возчики да торговцы мукой, мне не отвечали, хотя и были довольны, да и не было у них причин выражать недовольство моими услугами. А для меня это было главное.

Вернувшись в кухню, Николь ставила передо мной миску простокваши, и в мигом ее опустошал. В дорогу мне давали большой ломоть хлеба, две-три луковицы, а иной раз — крутое яйцо или кусочек масла. Я заихивал припасы в суму, перекидывал лямку через плечо и, пощелкивая кнутом, входил в хлев. Коровы, овцы и козы выходят вереницей, в легонько тренью их по шее, и они спускаются друг за дружкой в долину между скал. Я бегу за ними и вполне всем доволен.

Жителям Пфальцбурга, любителям купаться в долине Зорна, знакомы скалистые громады, бесконечной грядой уходящие вдаль; тонкий вереск растет в расщелинах, ручеек, завиваясь, бежит у подножья горы по луговому креслу и высыхает, как только появляются белые июньские бабочки.

Вот туда-то я и гнал скот на пастбище — мы имели право выгонять его после первого укоса в луга, принадлежавшие городу. И только в конце августа, когда молодая поросль, набрав соки, твердела и становилась непригодной для корма, мы отправлялись в лес.

А до этой поры приходилось жариться на солнце.

Пфальцбургский пастух приговял одних лишь свиней, в полдневный зной они выкапывали в песке ямы и громоздились друг на дружку, словно пылята в курятнике, а когда засыпали, розовые уши свешивались им на глаза — тогда хоть шагай по ним, ничем не разбудишь.

Но не так просто было с деревенскими козами: они взбирались на горы до самых облаков. Приходилось бегать за ними, свистеть и посылать собак, а чем больше кричишь, тем выше негодницы лезут. Из других селений сюда тоже приходили пастухи-мальчишки, одни с рыжей подслеповатой клячей, другой — с облезлой коровой, а остальные просто так — кнутом пощелкать, посвистеть или вы-

понасть себе брюкву, репу, морковку, оставшуюся на поле. Полевой стражник, бывало, ловил их, волок в город, пове-сив им на шею крапивый ошейник, но мальчишки на это плевали. Покрепче им доставалось в зависимости от возраста, когда они попадались во второй и третий раз. Тут уж их секли, на площади в базарные дни. Кат стегал их плетью из бычачьей жилы, сдирая кожу с мальчишеских спиц, а если и после этого ребята снова принимались за свои проделки, их сажали в острог.

Частенько, слушая, как богачи клянут революцию, и вспоминая идрут, как драли их бабок да дедов в «добрые старые времена», и меня неволью разбирает смех: много зеленого услышишь в этом мире.

Однако ж, говоря по правде, я сожалею о тех временах, и, разумеется, не потому, что теперь нет палача, прево, господ да монахов. — отнюдь нет! А оттого, что был я тогда молод. Пусть наши правители были дрянные людишки, зато как было прекрасно небо! Ко мне приходил старший брат, Никола, а за ним и вся орава — Клод, Лизбета, Матюринна. Они напали на меня, хватили мою суму с едой, я отбивался, и мы сорвались. Но случись им отнять у меня все, хозяин Жан пришел бы к нам в дачугу и дал бы им забучку. И, зная это, они оставляли мне добрую часть, но дразнили меня «снопом».

Ну, а затем старший брат, Никола, вставал на мою защиту. Дело в том, что в те времена ребята из всех окрестных деревень — Гультевгаузена, Лютцельбурга, Четырех Ветров, Миттельбрана, Верхних и Нижних Дачуг — затевали побоище, пуская в ход камни и палки, и наш Никола в драной треуголке, сдвинутой на затылок, старом солдатском мундире, изорванном в клочья и свисавшем до самых колен, с дубинкой в руках, босиком, выступал во главе мальчишек из Дачуг, как вождь племени дикарей. Он так громко кричал: «Вперед», что слышно было и в Данпе.

Как же мне было не любить его, когда он то и дело говорил:

— А ну, посмей тронуть Мишеля!

Вот только до чего досадно было, что он у меня всегда отнимал луковницу!

Была у нас в ходу еще одна забава: устраивать бои между козами; вот они уперансь рогами друг в дружку, из кожи лезут, а Никола кричит:

— Старая Рыбуха сейчас собьет вон ту! Да нет, та, другая, паподдаст снизу... А ну, смелей, смелей!

Случалось, в схватке козы растягивали себе связки или оставляли рога на ратном поле.

Под вечер мы садялись, опираясь спиной о скалу; смотрели, как ступают сумерки, слушали, как звенит воздух, как поодаль в ручье начинают квакать лягушки.

Пора было гнать скот домой. Никола трубил в рог, и в скалах откликалось эхо. Козы сбегались и, взбивая облако пыли, вереницей поднимались в гору — в Лачуги. Я загонял хозяйский скот в хлев, засыпал в ясли корм и шел ужинать вместе с дядюшкой Жаном, тетунькой Катриной и Николь. Летом, когда работала кузница, я раздувал мехи до десяти часов, а на ночь шел в отцовскую дачугу на дальний конец деревни.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Так протекали два первых года. Братья и сестры непременно побирались; я же изво всех сил старался услужить крестному. В десять лет мне уже зашла в голову мысль научиться ремеслу и зарабатывать себе на хлеб. Хозяин Жан это подметил и то и дело задерживал меня в кузнице. Всякий раз, вспоминая об этом, я будто слышу его голос:

— Держись, Мишель, держись!

У моего рослого, дородного хозяина были широкие рыжие бакенбарды, толстая коса, свисавшая на спину, а усы такие длинные и густые, что он мог их закручивать за уши. В те времена кузнецы, работавшие на гусар, под стать им носили и бакенбарды и косу заплетали, как на парике; вероятно, крестному хотелось походить на гусара. Глаза у него были большие, серые, нос мясестый, щеки округлые, смеялся он громко и раскатисто. Кожаный его фартук застегивался под подбородком, как детский нагрудник; в кузнице он и в разгар зимы работал, засучив рукава.

То и дело он спорил со своим подручным Валентином, высоким, сутулым, тощим парнем, который был всем доволен в этом мире: дворянами, монахами, цеховыми уставами — словом, всем.

— Да, послушай ты, болван, — кричал крестный, — не было бы таких порядков, ты б уже давным-давно стал мастером-кузнецом, как я, жил бы припеваючи.

— Все равно, — отвечал Валентин, — думайте, что хотите, а я стою за нашу святую религию, дворянство и короля. Ведь этот порядок установлен богом.

Тут кузнец Жан, резко передернув плечами, говорил:

— Ну раз ты находишь, что все хорошо, то я и подавно. За работу!

И они снова принимались ковать.

Сроду я не встречал человека, порядочнее Валентина. Правда, нос он всякую околесницу и голова у него формой напоминала сахарную, но в этом он не был виноват, и пенять на него нечего.

Тетушка Катрина на все смотрела глазами мужа, а Николь — глазами хозяйки. Харчевня процветала: хозяин Жан ежегодно получал немалую выручку, и его выбирали сборщиком податей и других налогов, которыми облагали жителей Лачуг. Он числился в окладной книге наряду с дровосеком Кошаром и тележником Летюмье, которые тоже имели доход в три-четыре сотни ливров.

Дело в том, что в ту пору путь эльзасцев — возчиков, фургоныщиков и огородников — в наш город, на базар, обычно проходил мимо Лачуг. Ну, а так как дорога из Саверна в Пфальцбург, что круто поднимается вверх, осыпалась, вся была в рытвинах и ухабах, им грозила опасность перевернуться и докатиться до самого Шанттенбаха. Приходилось виригать, по крайней мере, пять, а то и шесть лошадей на подмогу, чтобы вскарабкаться на гору, вот люди и предпочитали делать крюк; ехали они по долине Зорна, и почти все проездом останавливались в харчевне «Три голубя».

Кузница и харчевня уживались неплохо: пока лошадей подковывали, а телегу чинили, возчики заходили и в



харчевню «Три голубя» — перекусить и пропустить стаканчик белого вина, а в окно им было видно, что делается в кузнице.

В дни ярмарки большая горница кипела народом; у дверей стояли телеги, теснились целые ватаги людей с корзинами и поклажей; на обратном пути они почти всегда, бывало, хватят лишнего, вино ударят им в голову, и они не стесняясь говорят, что думают. И виделось тут нескончаемые жалобы; особенно женщины не могли наговориться и бранили всюю дворян и прево, рассказывали об их безобразных выходках и приходили в бешенство, когда мужья пытались их утихомирить.

Эльзасские торговцы особенно сетовали на дорожную пошлину, которая отнимала почти весь доход, ибо нужно было платить за переезд из Эльзаса в Лотарингию. Несчастные евреи, которых облагали пошлинной на каждой заставе — за них самих и за их ослов, — не осмеливались жаловаться, зато остальные давали волю своим языкам.

Так, отведи душу, то тот, то другой вставал из-за стола со словами:

— Да что уж там — душат нас, это верно... Налоги со дня на день растут. Что поделаешь! Крестьяне остаются крестьянами, а госнода госнодами. Они-то вечно будут пребывать наверху, а мы внизу. Что ж, будь что будет. Ну-ка, тетунка Катрина, получайте по счету. В путь!

И толпа расходилась.

Вот какая-нибудь старуха вдруг начнет громко читать молитву перед дорогой; женщины вторят ей, а мужчины бормочут, понуриив головы.

Впоследствии и нередко думал о том, что, произнося впоследствии ответные слова молитвы, люди отвлекались от раздумий и это приносило им некоторое облегчение. Мысль о том, что надо помочь самим себе, надо избавиться от пошщины на соль, от сборщиков, госнод, монастырей, от кабалы и обратить себе на пользу налоги, пошщины, поборы, как они сделали позже, — мысль эта пока не приходила им в голову. Они полагались на госнода бога.

Суতোлка, громкие жалобы; сконнице евреев, колесников, крестьян в большой горнице по ярмарочным дням, споры о ценах на скот, хлеб, на овес и прочие злаки, и лица людей, когда они ударяли по рукам и при этом закладывали кувшин вина, по старому обычаю обмывая торговую сделку, — словом, все это научило меня постигать

характеры людей, вникать в суть дела — лучшей школы для мальчишки не могло и быть. И я добился успеха в жизни лишь потому, что сизмальства уже знал цены на хлеб, зерно, скот и землю. Научили меня этому старый еврей Шмудь и великан Матвас Фишер из Гарберга: уж они-то, слава богу, частенько спорили и обеуждали цены на съестные припасы.

Мальчишкой я бегал со стаканами и кружками от стола к прилавку и, право, уже тогда все подмечал да наострял уши.

Но больше всего правилось мне слушать, как хозяин после ужина вслух читает газеты. Теперь в любом сельском трактире найдутся газеты; старый «Хромоногий голен» Зильбермана отжил свой век. Теперь всякий хочет знать, что делается в стране, и читает — кто «Вестник Нижнего Рейна», а кто — «Независимый Мэрта», выходящие, по крайней мере, два-три раза в неделю. Теперь-то всякому зазорно в темноте жить, не зная, что творится на свете! А вот до 1789 года народу было не до того, — на то только тебя и хватало, чтобы сносить все повинности, какие угодно было королю взвалить на твои плечи, — любителей чтения не было. Большинство грамоты не знало, да и газеты были предороги, и хоть хозяин Жан жила в достатке, но не пошел бы на такую трату из прихоти.

Но счастье, книгоноша Шовель, низкорослый человек, приносил нам пачку газет, возвращаясь из своих странствий по Эльзасу, Лотарингии и Цфальцу.

Вот еще один образ прошлого — таких людей после революции уже не встретишь — разносчик альманахов, молитвенников, акафистов богоматери, катехизисов, букварей и всякой всячины. Он постоянно в пути — из Страсбурга идет в Мец, из Трира в Нанси, Поит-а-Муссон, Туль, Верден; его встретишь, бывало, на всех проселочных дорогах, в лесной чаще, вблизи ферм, монастырей, аббатств, у деревенской околицы. На нем неизменная куртка из грубой шерсти, гетры до колен с костяными пуговицами и тяжелые сабо, подбитые блестящими гвоздями. Он согнулся — через плечо у него перекинута кожаная лямка, а на спине горой возвышается огромная ивовая корзина. Он продавал церковную литературу, но немало запрещенных книг заодно проходило контрабандой с его помощью — произведения Жан-Жака Руссо *, Вольтера *, Рейналя *, Гельвеция *.

Папаша Шовель был одним из самых дерзких и ловких книжных контрабандистов в Эльзасе и Лотарингии. Был он невелик ростом, черноволосый, худощавый, живой, с крепко сжатыми губами и крючковатым носом. Корзина, казалось, вот-вот раздавит его, но он нес ее легко. Пройдет он мимо тебя, взглянет — и взгляд его черных глаз словно проникнет в самую душу. С первого взгляда он распознавал, кто ты и что тебе надобно, не из жандармской ли ты стражи и нужно ли тебя остерегаться или можно предложить запрещенную книгу. А это было очень важно: ведь за такую книгу грозила ссылка на галеры.

Всякий раз, возвращаясь из своих странствий, Шовель сначала заходил к нам; вечером в харчевне уже бывало пусто, в селении царяла тишина. Он приходил со своей дочуркой, Маргаритой, — они были неразлучны, даже в дороге. Заслышав его шаги в сенях, мы говорили:

— А вот и Шовель! Ну, сейчас узнаем новости.

Николь спешила отворить дверь, и Шовель входил, ведя девочку за руку и кивая головой.

Воспоминание это молодит меня, как бы сбрасывая с плеч бремя целых семидесяти пяти лет. Вот передо мною Маргарита, смуглая, как ягодка черники; на ней старенькое короткое платьице из голубого холста, черные волосы рассыпались по плечам. Шовель подает Николь пачку газет, сам садится у камелька, сажает дочурку на колени, а хозяин Жан громко спрашивает:

— Ну, как дела, Шовель, хорошо?

— Да, сосед Жан, неплохо... Народ раскунает книги... просвещается, смекает кое-что... дело идет, — отвечает нам невеличка Шовель.

Он говорит, а Маргарита смотрит на него внимательно-внимательно и, видно, все понимает.

Они были кальвинисты, истинные кальвинисты, изгнанные из Ла-Рошели, затем из Ликсгейма, и уже лет десять — двенадцать жили в Лачугах. Кальвинистам не разрешалось занимать какие-нибудь должности. Ветхий домик Шовелей почти всегда был наглухо закрыт. Возвращаясь, они отворяли окна и отдыхали дней пять-шесть, а потом снова отправлялись в путь. Их считали еретиками, чужаками, но это не мешало папаше Шовелю знать больше, чем знали все кануцины, вместе взятые, в наших краях.

Хозяин Жан любил этого певзрального человечка: они понимали друг друга.

Крестный, разложив газеты на столе, несколько минут просматривал их, приговаривая:

— Вот утрехтская, вот клеветская, вот амстердамская... Посмотрим... посмотрим. А, вот хорошо, просто здорово. Понци-ка мои очки, Николь, они там, на окне.

Хозяин с довольным видом принимается читать, а я сижу, притаившись в своем уголке. Я забываю обо всем — даже о том, что зимой странно возвращаться домой сплпиком поздно: снег покрыл селенье и стаи волков перешли Рейн по льду.

Уходить мне надо сразу после ужина, давно ждет отец, но меня разбирает любопытство — хочется узнать новости о турецком султанае, об Америке, обо всех странах на свете, и я остаюсь. Десять часов уже пробило, но мне неохота выбираться из своего уголка. Как сейчас, вижу я старые часы на стене слева от меня, справа — ореховый шкаф у дверей в каморку, где спит хозяин. Большой трактирный стол прямо передо мной, возле маленьких чернеющих окон крестный читает, тетушка Катрина — маленькая румяная, в белом чепчике, надвинутом на уши, слушаая, придет. Николь тоже придет; теплый чепец у нее сдвинут на затылок. Дурнушка Николь, рыжая, как морковка, лицо у нее усыпано веснушками, ресницы белесые. Да, все в сборе. Веретена жужжат, старые часы тикают: время от времени гири спускаются и скрипят, часы бьют, и снова раздается тикание. Дядюшка Жан сидит в кресле, нацелив на нос очки с железными дужками — точь-в-точь такие очки теперь ношу я, — уши у него горят, бакенбарды топорчатся, и весь он поглощен чтением газеты. Иногда он оборачивается, взглядывает из-под очков и говорит:

— А вот новости и об Америке. Генерал Вашингтон * побил англичан. Каково, а, Шовель?

— Да, сосед Жан, — отзывался книгоноша, — американцы подняли восстание * вот уже три-четыре года тому назад. Не захотели больше пести всю эту массу повинностей, которые англичане день ото дня все увеличивали, как это делают кое-где и другие. Теперь-то дела у них пошли на лад!

Он усмехался и умолкал, а хозяин снова принимался читать. Иной раз вопрос вставал о Фридрихе II * — эта старая прусская лгса вновь намеревалась припятъся за свои хитроумные дела.

— Вот старая шельма! — бормотал хозяин Жан. — Не будь Субиза *, он бы не отважился. Ну и скотница же этот Субиз! Из-за него нас и побили при Россбахэ *.

— Да, — отвечал Шовель, — поэтому его величество и пожаловал ему сто пятьдесят тысяч ливров пенсiona в год.

Они молча обменивались взглядом, а дядюшка Жан повторял:

— Сто пятьдесят тысяч ливров эдакому остолону! И не выдать ни единого ливра на починку большой дороги из Саверна в Шфальцбург. Ведь чтобы попасть из Эльзаса в Лотарингию, крестьянам приходится делать крюк в целое лье. Хлеб, вино, мясо — словом, все подорожало.

— Ничего не поделаешь! Все это — политика, — замечал вальвинист. — Да мы-то, мы ни черта не смыслим в политике! Умеем только работать да платить. А расходовать — дело короля.

Когда крестный горячился, тетушка Катрина вскакивала, шла в сени и прислушивалась, прижав к дверям. В комнате становилось тихо — крестный понимал, в чем тут дело. Нужна была осторожность: соглядатаи так и пирырили повсюду; слышали б они, что у нас говорится о государях, сеньорах и монахах, нам бы не сдобровать. Шовель со своей дочуркой уходил довольно рано, а я засиживался допоздна, до тех пор, пока у хозяина не складывал газеты. Тут, заметив меня, он, бывало, кричал:

— Эй, Мишель, что ты здесь делаешь? Значит, ты что-то смыслишь в этом?

И, не дожидаясь ответа, говорил:

— Ступай, ступай, чуть свет нас ждет работа. Завтра базарный день, и кузница заработает рано. Ступай же, Мишель!

Тут я вспоминал о волках, бродивших по селу, бродился в кухню и зажигал факел. Зарешеченное оконце, выходявшее во двор, было темным, как чернила. На дворе завывал северный ветер. Я торопился, дрожа от страха; Николь отворяла дверь. И вот, очутившись в темноте, види длинную белую улицу в выбоинах, что поднималась между ветхими домишками, погребенными под снегом, слыша свист ветра, а порою и перекличку волков в долине, я пустился бежать, да бежал так, что дух захватывало. Волосы на голове у меня вставали дыбом; я, как козленок, перескакивал через снежные и навозные кучи. Ветхие соло-

меньшие крыши, пониже — слуховые окна, заткнутые пучками зашнурованной соломы, калитки, закрытые на засов, — все навевало жуть, все было в белых отсветах факела, проносившего мимо и мерцавшего в ночи, как звезда. Все было обьято тишиною, все, казалось, вымерло.

На бегу я все же видел, как в переулках то тут, то там снуют какие-то тени, и мне становилось так страшно, что, подбежав к нашей лачуге, я распахивал дверь словно потерянный.

Бедный мой батюшка поджидал меня, сидя у очага в своей поношенной, сплошь залатанной одежке, и восклицал:

— Как ты поздно, сынок! Все уже спят. Верно, снова слушал, как читают газету?

— Да, отец! Возьми-ка.

И я совал ему в руку ломоть хлеба, который всякий раз давал мне хозяин после ужина. Отец брал хлеб и говорил:

— Ну, ложись скорее, сынок. Да не возвращайся ты так поздно. Волки по селу рыскают.

Я ложился рядом с братьями в большущий ящик, наполненный сухими листьями; покрывался мы ветошью — рваным одеялом.

Братья крепко спали, пробежав за милостыней по селениям и большакам. А я долго не мог уснуть, прислушивался к порывам ветра; порою, среди глубокой тишины, издали доносился невнятный шум: это волки падали на чей-то хлев. Они подпрыгивали на высоту восьми — десяти футов, до самых слуховых окон, и падали в снег; немало погодя раздавались три-четыре пронзительных взвизгивания, и вся стая вихрем неслась вниз по улице: волки тащили собаку и спешили сожрать ее под скалами.

Иногда я дрожал от страха, слыша, как они храпят и скребутся в нашу дверь. Отец вставал, закигал от очага оханку соломы, и голодные звери убирались прочь.

Право, в те времена зимы были длиннее и гораздо суровее, чем в наши дни. Снежный покров иногда достигал двух-трех футов и держался до апреля, благодаря дремучим лесам, которые с той поры были вырублены под напню, и бесчисленным прудам, которые монахи и сеньоры не осушали в долинах, дабы не сеять и не собирать урожая каждый год. Так им удобнее было. Но все эти обширные водоемы и болота поддерживали влажность в наших краях и охлаждали воздух.

Ниле же, когда все поделено, возделано, засеяно, солнце до всего добирается и все зацветает раньше. Такое вот у меня мнение. Так или иначе, но все старые люди вам скажут, что прежде холода наступали раньше и кончались позже и что ежегодно стаи волков нападали на копошны и хватали сторожевых псов прямо со двора.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

На исходе одной из тех долгих зим, недели через две-три после пасхи, в Лачугах произошло преудивительное событие. В тот день я проснулся, как бывает в детстве, и опрометью бежал к харчевне «Три голубя», боясь, что Николь меня разбернит. Мы собирались вымыть щелоком полы в большой горнице, что делали всегда весной и еще два три-четыре в год.

Выгонять на пастбище скотину было рано: снег только начал таять за изгородями, но уже веяло теплом и в домах по всей улице люди распахивали двери и слуховые окна, чтобы все проветрилось. Коров и коз выпустили из хлевов, и оттуда вытаскивали навоз, мыли стойла. Клод Гюра, стоя под навесом, оставял болт в плуг, Пьер Венсан чинил седло своей лошадепки; близилось время полевых работ, каждый готовился исподволь; а старики с любимчиками внучатами на руках вышли подышать чистым горным воздухом и стояли у хижин.

Выдался погожий денек, один из первых в году.

Только я подбежал к трактиру, окна которого на нижнем этаже всегда были отворены, как увидел ослицу отца Бенедикта, привязанную к кольцу в воротах, большую жестяную кружку на ее спине и две ивовые корзины по бокам.

Я решил, что отец Бенедикт, по своему обыкновению, пришел к нам с проповедью — он являлся, когда в харчевне бывало полно чужих, в надежде вытянуть у них несколько диардов. Это был нищенствующий монах из Пфальцбургского монастыря, старый капуцин, обросший рыжей щетиной, жесткой, как пырей, с посом в виде вишневой ягоды, покрытым сеткой сизых прожилок, с приплюснутыми ушами, покатым лбом и крохотными глазками, носивший рясу из дерюги, до того истертую, что можно

было пересчитать все шити в основе, с откидным остро-конечным капюшоном, свисавшим ниже поясицы, в извошенных башмаках, из которых торчали грязные пальцы. Еще и звона его колокольчика, бывало, не слышно, а уже чувствуешь запах вина и похлебки.

Хозяин Жан терпеть его не мог, зато тетушка Катрина всегда припасет для него добрый кусок сала — крестный сердитея, а она возражает:

— Хочется мне и на небесах иметь свою скамейку, как у нас в церкви. Тебе самому будет приятно посидеть рядышком со мной в царствии небесном.

А он, бывало, засмеется и больше про это ни слова.

И вот я вхожу. Вокруг стола в большой горнице полно народу: жители Лачуг, эльзасские возчики, тетушка Катрина, Николь и отец Бенедикт. Все толпятся вокруг хозяина, а он показывает им мешок, наполненный какими-то мясистыми, сероватыми очистками, и говорит, что их прислали ему из Ганновера, что из них произрастают отменные клубни, притом в таком изобилии, что жителям тех краев еды хватает на круглый год. И он призывал посадить очистки и предсказывал, что у нас в Лачугах голода и влomme не будет, наступит истинная благодать для всех нас.

Хозяин говорил с воодушевлением, и лицо его сияло от радости. Шовель стоял позади него, рядом с Маргаритой, и слушал.

Люди брали очистки в руки, разглядывали, пюхали и снова совали в мешок, посмеиваясь, будто говоря:

— Да виданное ли это дело — кожуру сажать здоровому смыслу наперекор.

Кое-кто в задних рядах подталкивал друг друга локтями, насмехаясь над крестным. И вдруг отец Бенедикт, опустив носище и язвительно прищуриль глазки, крохотные, как у ежа, обернулся и начал хохотать, и вся орава разразилась хохотом.

Дядюшка Жан возмутился и сказал:

— Гогочете, как дураки, сами не зная чего. Постыдились бы смеяться да языки чесать, когда вам дело говорят!

Но они гоготали еще громче, а капуцин, только тут приметив Шовеля, крикнул:

— Эге-ге, да ведь это контрабандное семя — ясно!

В самом деле, Шовель и притащил нам очистки из Пфальца, где мпожество народу уже несколько лет сажали их и рассказывали о них чудеса.

— Все это проделки еретика! — вопил отец Бенедикт. — Да разве можно христианам сажать их! Господь бог не даст на это благословения!

— Еще как довольны будете, если под нос вам понадутся мои клубни, когда поспеют, — яростно кричал Жан Леру.

— Когда поспеют! — повторил капуцин, сложив руки с видом сострадания. — Когда поспеют!.. Вот ведь беда, да послушайте же, вам земли не хватает для капусты, репы, брюквы... Бросьте вы эту шелуху, ничего она вам не даст, ровно ничего! Это говорю вам я — отец Бенедикт.

— Много вы всякой чепухи несете, не верю я вам, — ответил дядюшка Жан, убирая мешок в шкаф.

Но он тут же спохватился и знаком велел жене дать капуцину ломоть хлеба побольше: ведь эти попрошайки всюду ихожу, возведут, пожалуй, на вас хулу и причинят неприятности.

Капуцин и наши односельчане вышли, а же остался, огорченный тем, что крестного подняли на смех. Отец Бенедикт кричал еще в сенях:

— Надеюсь, тетушка Катрина, вы-то посадите что-нибудь путное, а не кожуру из Ганновера. Дай-то бог, а то, пожалуй, пройдемь по здешним местам и не нагружайте свою ослицу. О господи боже, буду молить всевышнего, дабы он просветил вас!

Он гнусавил и нарочно растягивал слова. Все остальные хохотали, идя вверх по улице, а дядюшка Жан, глядя в окно, говорил:

— Вот и делай добро олухам, вот тебе и награда!

Шовель возражал:

— Все они обездоленные, держат их в невежество, чтобы заставить работать на благо дворян и монахов. Не их это вина, сосед Леру. Не сердитесь на них. Был бы у меня клочок земли, я бы посадил очетки. Увидели бы они, какой я собрал урожай, и последовали бы моему примеру — ведь растение, повторяю, приносит в пять, а то и в шесть раз больше, чем любой овощ или даже пшеница. Клубни, величиной с кулак, превкусны и весьма сытны. Я их пробовал — белые, мучнистые, на вкус вроде каштанов. Клубни жарят в масле, варят — во всех видах вкусно.

— Будьте спокойны, Шовель, — воскликнул Жан Леру, — не хотят, пусть на себя пеняют. Будет у меня одного. Не четверть участка засажу, а весь участок.

— И правильно сделаете. Всякая земля годится для этого растения, — подхватил Шовель, — особенно песчаная.

Они вышли, толкуя обо всем этом. Затем Шовель вернулся в свою лачугу, Жан Леру пошел работать в кузницу, а мы с Николь начали переворачивать скамьи и столы, ставя их друг на друга, — собирались мыть полы.

Спор дядюшки Жана с кануцином не шел у меня из головы. И вы сразу это поймете, узнав, что мясистая серая кожура, принесенная Шовелем, была рассадой картофеля, которую нам впервые довелось увидеть, того самого картофеля, что ограждает нас от голода вот уже почти восемьдесят лет.

Каждое лето, когда я вижу из окна, как необъятная Димерингенская равнина покрывается на неоглядных просторах, до самой опушки лесов, сочными, зелеными всходами, как они разрастаются и зацветают, каким-то чудом превращая прах земной в пищу человека, когда осенью я вижу в поле несметное множество полных мешков, вижу, как мужчины, женщины и дети с несней весело нагружают ими телеги, когда я представляю себе, как радуются крестьяне даже в самых убогих хижинах, и сравниваю с тем, как мы, простые люди, прозябали до восемьдесят девятого года и как еще задолго до декабря месяца тревожились, предвидя голод; когда я размышляю о том, как все изменилось, и вспоминаю насмешки и хохот глауцов, душа моя взывает:

— О дядюшка Жан, о Шовель, если б вы воскресли хотя бы на час во время сбора урожая, пришли бы на поле да увидели, сколько добра содеяно вами на этом свете! Ради этого одного стоило бы вернуться к жизни! Пусть бы и отец Бенедикт явился да улыбался, как велед ему свищут, как над ним хохочут крестьяне, видя, как трусит он на своей ослице, попровайничая на всех дорогах.

Когда я раздумываю обо всем этом, мне представляется, что творец по своей справедливости позволит им возвратиться на землю, что они среди нас, и каждому во веки веков дано пользоваться плодами своих разумных или неразумных поступков.

Да будет на то воля господня, тогда вонистину наступила бы жизнь вечная.

Одним словом, так отнеслись в наших краях к посеву картофеля.



Дядюшка Жан, казалось, доверял повешеству, но неприятностей у него было полно. В ту пору глупость человеческая проявилась во всем своем блеске: распространился слух, что кузнец Жан Леру спятил: посадил кожуру от репы, а выкопать намеревается морковь. Торговцы зерном и все посетители трактира ехидно на него поглядывали, осведомлялись о здоровье. Разумеется, его возмутили все эти дурацкие шутки, и по вечерам он с горечью рассказывал о них, и его жена печалилась. И все же он обработал, хорошенько унавозил участок за харчевней и посадил обрезки, привезенные из Ганновера. Николь ему помогла, а я таскал мешок.

Деревенский люд и прохожие стояли, перевесившись через низенькую садовую ограду, вдоль дороги, и смотрели на нас, подмигивая.

Люди помалкивали, знали — если у Жана Леру в конце концов лопнет терпенье, он выскочит с дубинкой и ответит злым обидчикам.

Вряд ли бы вы поверили, расскажи я, что мы вынесли, как над нами издевались до сбора картошки. Чем ограниченнее люди, тем больше они любят при случае посмеяться над теми, кто действует разумно, и жителям Лачуг казалось, что представился весьма удачный случай. Когда разговор заходил о ганноверских клубнях, глупцы показывались со смеху.

Даже мне приходилось ежедневно сражаться с деревенскими мальчишками: едва завидев, что я спускаюсь в долину, они начинали орать в один голос:

— Эй, а вот и ганноверец! Он таскал мешок кузнеца Жана.

Тут я вступал в драку. Частенько они без зазрения совести вдесятером шли на меня одного, осыпали градом тумачков и горланили:

— Долой ганноверские клубни!.. Долой ганноверские клубни!

На беду, Никола и Клода уже не было. Никола работал на подрезке деревьев, а Клод плел корзины и мастерил метлы с отцом или же ходил за ветками березы и дрожа для его святейшества кардинала-епископа, к «Трем ключам» с позволения лесника Георга из Швитцгергофа, что возле Сел-Витта.

Вот мне одному и доставалось, но я не ревел — такое зло меня разбирало.

Теперь всем ясно, с каким нетерпением ждал я вехов и посрамления наших недругов. Каждое утро, на рассвете, я перевешивался через ограду, которой был обнесен участок, и все смотрел, не пробившись ли ростки, и, ничего не высмотрев, уходил в полном унынии, про себя обвиняя отца Бенедикта — я считал, что он мануется порчу на наше поле.

До революции все крестьяне верили в порчу, и из-за их суеверия некогда и были преданы сожжению тысячи жертв. Будь моя воля, я бы вмиг поехал на костер капуцина, так люто я его ненавидел.

Сражаясь против мальчишек Лютцельбурга, Верхних Лачуг и Четырех Ветров, я преисполнился каким-то горделивым чувством: было похвально встать на защиту нашего почина, впрочем, у меня и в мыслях не было хвастаться этим. Ни дядюшка Жан, ни Валентин, ни тетюшка Катрина ничего не знали обо всем этом, и только бедный мой батюшка, видя по вечерам длинные красные полосы на моих пехлеставных ногах, удивленно спрашивал:

— Как же так, Мишель? Я-то думал, что ты у нас тихоня, а ты, оказывается, озорничаеть, дерешься, как Никола. Берегись, сынок, как бы вы кнутами глаза друг другу не выхлестали. Что с нами тогда будет, что будет!

Он качал головой, думая свою думу, и продолжал работать.

Летними вечерами, в полнолуние, вся наша семья собиралась у хижинки и, сидя у порога, работала, чтобы сберечь горное масло из буковых семян.

Только, бывало, городские часы вдали пробьют десять, батюшка поднимется, соберет ветки дрожа и

ивы, взглянет на небо, посветлевшее от звезд, и воскликнет:

— О господи боже, господи боже, ты всемогущ... будь же милосерден к детям своим...

Еще никто не свете не произносил подобных слов с таким восторженным чувством, с таким проникновенцем, как мой бедный отец: и, уж конечно, он больше понимал в молитвах, чем все эти монахи, которые бормотали «Отче наш» и «Верую» машинально — как я беру понюшку табаку.

Затем мы входили к себе в дачугу: день кончался.

И вот наступил май, за ним июнь. Ячмень, пшеница, овес росли на глазах. На участке же дядюшки Жана все еще не виднелось ни росточка.

Отец уже не раз спрашивал меня о ганноверских клубнях, я ему рассказывал о том, какое благо могло бы принести нам это растение.

— На то воля божья, сынок, — твердил он, — а ведь нам это позарез нужно. Ницета все растет день ото дня, повшиности чересчур уж велики. На барцину тратись слишком много дней.

А мать кричала:

— Да, позарез нужно! Особенно, когда за других приходится делать. Большая у нас нужда в таком овоще, одно в нем спасение. Пусть будет из Ганновера, пусть откуда угодно. Так продолжаться не может!

Она была права! Как на беду, ростки на участке дядюшки Жана все не пробивались. Крестный стал подумывать, что отец Бенедикт, пожалуй, не зря смеется, и хотел было уже перепахать участок под люцерну. Неделю было пойти на это: мы заранее представляли себе, как наши земляки будут насмехаться над ним многие годы. Ты непременно должен добиться успеха, чтобы негоди замолчали — вот почему так мало людей решаются на новшества; вот почему мы пребываем в косности. Страх перед глупцами, их насмешками, взрывами их хохота — помеха для людей предприимчивых и дерзновенных. И наше земледелие все еще отстают именно из-за этого.

Итак, мы приуныли.

Шовель в ту пору странствовал по Лотарингии, шаче бы тетушка Катрина допекла его упреками, — ведь она считала, что он за все в ответе.

Как-то в пятом часу утра в начале июня, я, как всегда, спускался по улице, собираясь разбудить Николь, задать корм скоту и выгнать его на пастбище. За ночь выпала обильная роса. Жаркое багряное солнце встало с той стороны, где была деревня Четырех Ветров. Проходи мимо участка, я, прежде чем постучать в дверь, заглянул за ограду, и что же я увидел? Справа, слева — светло-зеленые ростки — они выходили из земли повсюду: роса смочила почву, и выбилося их несметное множество. Все это — наши клубни.

Я много бросаюсь в поле, убеждаюсь, что все это — явь, ростки не похожи ни на одно местное растение. Я оббегиваю дом — вот спальни дядюшки Жана и его жены, стучу в ставни как безумный.

— Кто там? — кричит хозяйка.

— Откройте, крестный.

Дядюшка Жан в одной рубашке открывает окно.

— Крестный! Ростки всходят!

Дядюшку Жана сперва рассердило, что его разбудили, но, когда он услышал о новости, его круглое лицо просияло.

— Всходят?

— Да, крестный! Со всех сторон, и вверху и внизу поля. Ныче за ночь появились.

— Вот здорово-то, Мишель! — воскликнул он, торопливо одеваясь. — Иду, иду! Эй, Катрина, клубни дали ростки!..

Тут и тетушка Катрина вскочила. Они поторопились одеться, и мы все вместе спустились на участок. Они убедились, что я не ошибся: ростки выходили из-под земли и изобилием; это было просто чудо какое-то. Дядюшка Жан радостно говорил:

— Слова Шовеля сбываются!.. А кануци и все прочие останутся с носом!.. Ха-ха-ха! Повезало нам! Ну, теперь нужно окучивать. Сам все сделаю. Будем точненько выполнять все, что говорил Шовель. Разумнейший он человек, знаний у него побольше, чем у нас; надо следовать его советам.

А тетушка Катрина поддакивала. Мы вошли в трактир, распахнули все окна. Я засыпал корм скотине и отправился на пастбище, никому ничего не говоря, — уж очень я был сам изумлен. И вот я в долине. Мальчишки кричат:

— Ага, гавновереџ пожаловал!

На этот раз я не обозлился, а торжественно сказал:

— Да, да, я-то и нес мешок хозяйниа Жана, именно я — Мишель.

И, видя их удивление, продолжал, указывая кнутом на наш участок:

— Ступайте наверх, поглядите. Наши клубни растут. И сколько бедняков обрадуется, когда они попадут к ним в амбар!

Я был исполнен гордости. Ребята недоуменно переглядывались, видно, думали: «А может, и правда!»

Но вот они снова принялись свистеть и горланить, я не отвечал — всякое желание драться пропало; я оказался прав, этого было довольно.

Вернулся я в шестом часу; все в деревне помалкивали, но прошел день, другой, прошло еще несколько дней, и разгееся слух, что клубни Жана Мери пустили ростки, и это не репа и не брюква, а какой-то невиданный овощ. С утра до вечера люди молча стояли, перевесившись через изгородь; над нами уже никто больше не трунил.

Крестный наказал нам тоже помалкивать — пусть люди сами, без чужой указки, поймут свою оплошность, так-то будет лучше.

И все же однажды вечером, когда капуцин проезжал мимо на своей ослице, дядюпка Жан сам не удержался и крикнул:

— Эй, отец Бепедикт, взгляните-ка! Всевышний благословил растение еретиков; полюбуйтесь, как они веждят.

Капуцин захохотал:

— Видел, видел. Чего уж тут! Я-то ведь думал, что они от дьявола, а оказывается — от господа бога. Тем лучше, тем лучше... попробуем, если, разумеется, вкусно.

Итак, капуцины всегда оказывались правы: если что-то удавалось — значит, было от бога; если не удавалось — значит, от дьявола, а терпеть убытки приходилось всем прочим.

Господи, до чего же люди глупы, ведь слушают же адаких проходимцев! Дети, больные и старики заслуживают помощи, а туевядцы — изгнания. С отрадным чувством я думаю о том, что никогда им ничего не подавал.

Я распорядился так: когда на ферму являются побитрушки — капуцины или еще кто — в полдень их зовут па

кухню, а там, за столом, сидят румяные, толстощекие работники и работницы, едят и пьют вволю, как и полагается после долгого тяжелого труда. От этой картины у побирušек слюпки текут. Мой подручный, старик Пьер, отправляя себе в рот кусок за куском, спрашивает у них:

— Вам что?

Только начнут они строить умильные рожи, им указывают на лопаты да на кирки, предлагают работу. И почти всегда они идут прочь, понурив голову и думая: «Видно, весь этот народ больше не хочет на нас работать... Ну и бесовское отродье!»

А я стою у порога, поспеиваюсь и кричу им вслед: «Скатертью дорога». Обращались бы так со всеми капучинами, всеми лодырями их масти, они бы не довели крестьян до нищеты, не пользовались бы испокон веков плодами их труда.

Но вернусь к рассказу о том, как цвела картошка и как мы ее убирали, как Жан Леру заслужил превеликий почет и уважение, еще не виданные в наших краях.

Тому, кто смотрел в июле месяце с миттельбронского подъема на участок Жана Леру, казалось, будто это — огромный бело-зеленый букет; побегги доходили почти до верха ограды.

В долгие знойные дни, когда в поле все словно высыхает, отрадно было видеть, как наши чудесные входы все тянутся и тянутся вверх. Даже скудная утренняя роса поддерживала их свежесть. И воображению рисовалось, как под землей удлинялись и тучнели крупные клубни. О них мы, так сказать, мечтали все время и по вечерам только и говорили о картошке, даже газеты позабыли — дела турецкого султана да Америки интересовали нас меньше наших собственных дел.

В начале сентября весь цвет осыпался, а ботва день ото дня все больше засыхала. Мы поговаривали:

— Пришло время выкапывать клубни.

А крестный отвечал:

— Шovelь нас предупредил, что выкапывают только в октябре. Первого октября и попробуем кончить под один куст. А нужню будет — подождем.

Так он и сделал. Туманным утром первого октября в десятом часу дядюшка Жан вышел из кухни. Он заглянул в кухню, взял из-за двери лопату и спустился на участок.

Мы отправились вслед за ним.

У первого куста он остановился и кокнул лопатой. Вот он отбросил ком земли, и мы увидели целую россыпь крупных розовых картофелин. Он кокнул во второй, третий раз, и мы увидели, что он добыл столько же; от пяти-шести кустов мы собрали полкорзины. Мы с удивлением переглянулись, не поверили своим глазам.

Дядюшка Жан молчал. Он сделал несколько шагов, выбрал новый куст посредине поля, еще раз всадил лопату в землю. Под кустом оказалось столько же картофелин, как под предыдущим, только еще отборнее. Тут крестный воскликнул:

— Вот теперь и я вижу, какое у нас в руках богатство! В будущем году засадим клубнями оба аркана земли на взгорье, а остальные продадим за хорошую цену. Ведь то, что людям ни за что отдашь, они ни за что и считают.

Его жена собрала картошку, положила в корзину; он поднял пону, и мы отправились домой.

Только мы вошли в кухню, как дядюшка Жан послал меня за Шовелем — он вернулся накануне после долгого странствия по Лотарингии. Жил он вместе со своей дочуркой Маргаритой на другом конце Лачуг. Я сбегал за ним, он тотчас же пришел и, догадавшись, что дядюшка Жан начал копать клубни, заранее улыбался.

Когда Шовель вошел в кухню, крестный глазами, блестящими от радости, показал ему на корзину у очага и воскликнул:

— Вот что принесли нам шесть кустов, и столько же варится в кастрюле.

— Так, так, — отвечал Шовель, не выражая удивления, — я так и знал.

— Вы с нами отобедаете, Шовель, — сказал дядюшка Жан, — отведаем картофель, и, если он вкусен, и наши Лачуги обогатятся.

— Да, очень вкусен, уверяю вас, — ответил книггоноша. — Вам-то это особенно выгодно. От одних семян вырастает несколько сот ливров.

— Посмотрим! — заметил дядюшка Жан, не скрывая радости.

Тетушка Катрина разбила яйца, приготовляя яичницу с салом; уже в большой миске дымилась вкусная похлебка со сметаной. Николь спустилась в погреб, наполнив

нила кубики белым эльзасским вином и, вернувшись, принялась накрывать на стол.

Крестный и Шовель вошли в большую горляцу. Они понимали, что картофель принесет пользу, но им и в голову не приходило, что он совершенно изменит жизнь крестьян, уничтожит голод, даст роду человеческому больше, нежели король, дворяне и все те, кого возносили до небес. Да такая мысль не могла прийти им в голову, особенно дядюшке Жану — в этом предпрятии он главным образом преследовал свою выгоду, впрочем, не совсем забывая об остальных.

— Хоть бы клубни вкусом на репу походили, — твердил он, — большего и не надо.

— Да они гораздо вкуснее. Их можно готовить по-разному, на тысячу ладов, — отвечал Шовель. — Вы ведь понимаете: если б я не был уверен, что овощ стоящий, полезный для нас и для всех, я бы не наполнил очертками мешок. Он и без того изрядно тяжел. И не советовал бы вам посадить их на вашем участке.

— Верно. Однако ведь можно свое мнение высказать. Я, как Фома Неверный, — возразил Жан Леру, — должен сам все увидеть да пощупать.

А наш кальвинист-невеличка ответил, тихонько по-сменяясь:

— Вы правы... И пощупаете. Вот уже Николь накрывает на стол. Сейчас подадут.

Все было готово.

В то время батраки и хозяин ели вместе, а служанка и хозяйка приседуживали. Они садились за стол лишь после трапезы.

И вот мы уселись — хозяин Жан и Шовель у стены по одну сторону, мы с малюткой Маргаритой по другую; только собрались мы приняться за еду, как крестный вскричал:

— Э, да вот и Кристоф!

Кристоф Матери, приходский священник из Лютцельбурга, долговязый, рыжий, курчавый, как все Матери с гор. Крестный заметил, что он идет мимо окон, и тут же мы услышали, как он стучит погами о ступени, стряхивая комья грязи со своих огромных башмаков, подбитых гвоздями. Немного погодя вошел широкоплечий, сутулый священник — он протиснулся в узенькую дверь с молитвенником под мышкой, длинным самшитовым

посохом, в попошеенной треуголке на густых седеющих волосах.

— Так, так, — громогласно произнес он, — вот вы и снова вместе, безбожники!.. Разумеется, затеиваете заговор о восстановлении Нантского эдикта *.

— Ну, Кристоф, вовремя же ты явился, — отвечал дядюшка Жан вне себя от радости. — Присаживайся. Взгляни-ка-ка.

Он приподнял крышку миски.

— Ладно, ладно, — сказал священник, явно пребывавший в хорошем расположении духа, и продолжал, вешая шляпу на стену и ставя палку под часами: — Ладно... он тут как тут... значит, хочешь меня умаслить... но это тебе не удастся, Жан! Тебя портит Шовель: придется донести на него прево.

— А кто же тогда будет доставлять горным священникам книги Жан-Жака? — перебил его Шовель с хитрой усмешкой.

— Молчите, злоязычный болтун! Вся ваша философия не стоит и строки из Евангелия.

— Э! Жить бы по Евангелию, нам-то ничего больше и не надо.

— Да, да, — заметил господин Матерн, — хороший вы народ... Мы-то знаем это, Шовель, но нам известна и вся ваша подноготная.

Тут долговязый священник протиснулся между мною и Маргаритой, ласково повторяя:

— А ну-ка, детки, дайте мне местечко.

Мы потеснились, передвинув тарелки вправо и влево. В конце концов господин священник уселся. И пока он ел суп, я, сидя на краешке скамьи, украдкой рассматривал его, не решаясь поднять носа от тарелки. Весь его облик: и большие серые глаза, и кудлатая голова, и ручищи под стать великану — все наводило на меня страх. Впрочем, милейший Кристоф был добряк, каких мало на свете. Жить бы ему спокойно на десятину да кое-что откладывать на старость, как делали многие его собратья, а он только и думал о работе, о том, чтобы принести пользу другим. Но зима он содержал школу у себя в деревне, а в теплое время, когда дети гонят скот на пастбище, с утра до вечера высекал из камня или старого дуба изображения разных святых для приходов, не имевших возможности купить их. Приносят ему, бывало, ку-

ски дерева или камня, а он в замен дает то св. Иоанна, то св. деву, то всевышнего.

Дядюшка Жан и господин Матери были родом из одной деревни. Старые друзья крепко любили друг друга.

— А ну, скажи-ка, Кристоф, — спросил вдруг крестный, покончив с похлебкой, — ученье у тебя в школе скоро начнется?

— Да, Жан, на будущей неделе, — ответил священник. — Из-за этого я и нустился в путь. Иду в Пфальцбург за бумагой и книгами. Собираюсь начать занятия с двадцатого сентября, но надо было закончить святого Петра для Абервиллерского прихода — там перестраивают церковь. Я обещал — пришлось обещание выполнить.

— А, вот оно что... Так, значит, на будущей неделе.

— Да, начнем с понедельника.

— Прими, пожалуйста, этого мальчугана, — сказал крестный, указывая на меня. — Он — мой крестник, сын Жан-Пьера Бастьена. Я уверен, мальчишка будет учиться прилежно.

При этих словах я встывнул от удовольствия — уже давно мне хотелось ходить в школу.

Господин Кристоф обернулся ко мне.

— Посмотрим, — заметил он, положив свою большую руку мне на голову. — Ну-ка, взгляни на меня.

Я робко глянул на него.

— Как тебя зовут?

— Мишель, господин священник.

— Так вот, Мишель, буду тебе рад. Двери моей школы открыты для всех. Чем больше учеников приходит, тем мне отраднее!

— В добрый час, — воскликнул Шовель. — Вот это хорошо сказано!

И дядюшка Жан, подняв стакан, пожелал здоровья другу своему Кристофу.

Те, кто в наши дни беспечно бегают в деревенскую школу и чуть ли не даром учатся у человека просвещенного, доброго и зачастую способного занять место лучше, даже не представляют себе, сколько народу до революции позавидовало бы их судьбе; не представляют себе они, как обрадовался я, сын бедняка, когда священник согласился меня взять.

«И я научусь грамоте, — подумал я, — не буду прозябать в невежестве, как мои бедные родители».

Да, надо было все это переосмыслить, надобно было пожить в такие времена. Поэтому-то чудачки, не пользующиеся величайшим благодеянием, и достойны сожаления; они поймут однажды, что значит прожить жизнь под тяжким ярмом, и у них будет время раскаяться. Я был вне себя от радости, хотелось побежать домой, сообщить родителям новость — мне уже не сиделось на месте.

И еще памятен мне этот день вот почему. Подав яичницу, тетушка Катрина принесла миску, полную картошки — белой вареной картошки с лохнувшей кожурой, в мучнистых крошках. Господин Кристоф, наклонившись над миской, спрашивал:

— А что это такое, Жан? Откуда?

Крестный предложил нам отведать — все нашли, что клубни превкусны, и в один голос повторяли:

— Ничего вкуснее никогда не едали.

Священник не верил, что именно над этим овощем насмеялась вся округа и что только с четверти аршава соберешь, пожалуй, мешков пятнадцать, не меньше.

— Чересчур уж хорошо! Просто невероятно!

От сытости и восторженного волнения мы с трудом глотали. И тетушка Катрина влила в миску большой купции молока. Наши челюсти задвигались еще быстрее, но вот господин Кристоф сказал, кладя ложку на стол:

— Довольно, Жан, довольно. Так и заболеешь, пожалуй. Уж очень вкусно.

Мы были с ним согласны.

Перед уходом священник заглянул на наш участок, попросил объяснить, как разводит ганноверские клубни. И когда Шовель сказал, что лучше разводить их на песчаной почве в горах, чем на черноземной в долине, он воскликнул:

— Послушайте, Шовель, принесший шелуху в мешке, и ты, Жан, посадивший ее на своей земле, несмотря на насмешки капуцинов и прочих болванов, вы оба сделали для своего края больше, чем все монахи Трех епископств испокон веков. Клубни станут хлебом насущным для бедняков.

Он наказал крестному сохранить семена для него, говоря, что собирается посадить их у себя в саду, дабы показать людям благой пример и дабы через два-три года половина прихода была бы засажена вкусными клубнями. Затем он отправился в Ифальцбург.

Вот каким образом в наших краях появился картофель. И я подумал, что, рассказав об этом, доставлю крестьянам удовольствие.

В следующем году крестный посадил картошку на своем квадратном поле, на холме, и собрал шестьдесят мешков с лишним. Но распространился слух, будто картошка разносит проказу, поэтому никто не покушал семги, кроме Летюмье, наших односельчан и двух земледельцев с гор. Миновала осень, и, по счастью, в газетах появилась статья, сообщавшая о том, что некий добрый человек, по фамилии Пармантье, рассадив клубни в окрестностях Парняка, преподнес их королю, и его величество сам изволил отведать клубни. Тут все решили разводить картофель. И тогда Жаан Леру, осердившись на глупость человеческую, продал семена по дорогой цене.

ГЛАВА ШТАЯ

С тех пор я словно вновь родился на свет. Тот, кто ничего не знает и по бедности остается неучем, проходит по жизни, как жалкая рабочая кляча. Он батрачит на других, обогащает хозяев, а когда под старость обесцелует, от него избавляются.

Каждое утро на рассвете батюшка будил меня. Братья и сестры еще спали. Я тихонько одевался и выходил с небольшой сумкой, в деревянных башмаках, нахлобучив на уши большую шапку, какую носят возчики, с дубинкой под мышкой. Наступали зимние холода; я плотно прикрывал дверь и шагал, дую на заочепевшие пальцы.

Прошло много лет, но в моей памяти все живо: вот трюшика, то взлетающая вверх, то сбегущая вниз, старые деревья без листьев вдоль дороги, торжественная зимняя тишина леса. В долине — деревенька Лютцельбург; островерхая колокольня с петухом на шпиле теряется в серых снеговых облаках; внизу крохотное кладбище, могилы, засыпанные снегом; ветхие домишки, речка, мельница панаши Сирвена шумит над быстриной. Право же, картины детства вечно живы в памяти, а все остальное скоро забывается.

Являлся и почти всегда раньше всех, входил в еще пустую комнату. Встречала меня мать господина Кристофа — низенькая, сутулая, сморщенная старушка в красной холщовой юбке, присборенной на спине по эльзасской моде, и в ченчике в виде наколки на прическе. Госпожа Мадлен, проворная, как мышка, уже, бывало, разожжет огонь. Я ставлю дубинку к печке, вешаю на нее свои сабо — пусть подсохнут.

Как сейчас, вижу все — балки, выбеленные известью, невысокие скамейки, стоящие в ряд, большую грифельную доску в простенке между двумя окнами; в глубине на маленьком возвышении — кафедру господина Кристофа, а над кафедрой — большое распятие.

Каждому приходилось по очереди подметать пол, но я обычно принимался за дело, пока ждал остальных. Ребята приходили из Гультенгаузена, Лачуг и даже из Шверхофа.

Тут-то у меня появилось немало добрых приятелей: Луи Фроссар, сын мэра, — умер он еще молодым, во время революции; Алоиз Клеман — в девяносто втором году он уже стал лейтенантом, его убило картечью в битве при Вальми; * Домишик Клаус, который впоследствии завел столярную мастерскую в Саверне; Франсуа Майер — он стал кройщиком при шестом гусарском полку; говорят, в 1820 году он вышел в отставку богачем, но где он теперь, не знаю; Антуан Тома, командир батальона старой гвардии; * сколько раз он навещался ко мне на ферму после 1815 года! Мы вспоминали минувшие дни; я всегда отводил ему горницу, предназначенную для почетных гостей — наверху; Жак Мессье, главный лесничий; Юбер Перрен, смотритель почтовой станции в Геминге, и еще с полсотни человек, которые ничего бы в жизни не добились, кабы не революция.

До 1789 года сын сапожника оставался сапожником, сын дровосека — дровосеком; никто не выходил из своего сословия. Спустя тридцать — сорок лет вас можно было застать за тем же делом, вы становились только чуть потолще, чуть похудее, вот и все. Ну, а теперь можно продвигаться с помощью отваги или смекалки, и надежды терять не следует; сын простого крестьянина, если только он человек одаренный и действует честно, может стать даже правителем Франции. Воздадим же хвалу господу богу за то, что он озарил нас светом своим, и возрадуемся

прекрасной этой перемене. Бывших моих школьных товарищей нет в живых. В прошлом году нас оставалось только двое: Жозеф Бруссус, торговец шляпами из Пфальцбургга, да я. Когда весной я покупал соломенную шляпу, толстяк Бруссус узнавал меня по голосу, выходил, волоча ногу, и кричал:

— Эге, да это Мишель Бастьен!

И уж непременно зазывал в комнату позади лавки, и мы распивали бутылочку старого бургундского. А провожая меня, Бруссус, бывало, не преминет сказать:

— Ну что ж... еще держимся, Мишель. Но берегись... Когда я получу свою подорожную, можешь и ты свою выправлять. Ха-ха-ха!

И он хохотал.

Бедняга Бруссус! Минувшей осенью пришлось проводить его на погост. Но, несмотря на его слова, я еще не желаю выправлять себе подорожную, не желаю! Сначала надо закончить это повествование, а к тому времени я еще что-нибудь придумаю для оттяжки. Торопиться не стоит, убраться всегда успею!

Итак, у господина Кристофа я и познакомился с ними — своими старыми товарищами и еще с многими другими, имена которых, может быть, я назову потом. Ровно в восемь часов учепики входили гуськом, восклидая:

— Доброе утро, господин Кристоф! Доброе утро, господин Кристоф!

Священника еще не было, но все равно его громко приветствовали. Все жалось вокруг печки, отталкивали друг дружку, хохотали. Но становилось тихо, как только в коридоре, бывало, раздадутся тяжелые шаги священника. Каждый усаживался на свою скамейку, сложив руки на коленях, потупившись и затанув дыхание. По правде говоря, господин Кристоф не любил шума и споров; помню, не раз во время уроков, когда кто-нибудь из ребят толкал друг друга, он преспокойно вставал и, схватив учепика за шиворот, поднимал со скамьи и выкидывал за дверь, как кутенка.

Больше понадаться не было охоты — случалось, он только взглянет, а тебя уж пробирает дрожь.

Итак, священник оставался в дверях и смотрел, все ли в порядке. Мы сидели притаившись, слышалось только, как потрескивает огонь. Затем он поднимался па

кафедру, кричал нам: «Начали», — и все вместе параспев
тинули слог. Длилось это долго. В конце концов священ-
ник говорил: «Довольно», — и мы умолкали.

Тогда он вызывал нас по очереди:

— Жак! Мишель! Никола! Подходи.

И каждый подходил к нему с шанкой в руке.

— Кто создал и явил вас на свет?

— Господь бог.

— Зачем господь бог создал вас и явил на свет?

— Дабы мы любили его, прославляли его, служили
ему и тем обрели жизнь вечную.

Отменный был способ обучения; месяца через три я
уже знал почти весь катехизис, слушая ответы других.

Господин Кристоф заставлял нас также читать наизусть текст катехизиса, и, кроме того, часов в одинна-
дцать он, по своему обыкновению, проходил за скамьями
и, наклонившись, проверял, занимаешься ли ты; когда ты
негромко читал по слогам, он легонько щипал тебя за ухо
и говорил:

— Хорошо... дело пойдет!

Всякий раз, когда он говорил это мне, у меня пере-
хватывало дыхание, в глазах мутилось от радости. Как-то
раз он даже сказал:

— Передай господину Жану Леру, что я тобою дово-
лен! Слышишь? Поручаю тебе это!

В тот день сам черт мне был не брат, а вместе с ним
мэр города, городские советники и даже сам губернатор.
Однако ж я ничего не сказал дядюшке Жану, дабы не
впасть в грех гордыни. В начале марта я уже научился
читать. К сожалению, крестный не мог кормить меня да-
ром весь год, и весной пришлось мне вместо школы от-
правиться на пастбище. Но у меня в суме всегда был ка-
техизис, и, пока козы карабкались по скалам, я, мирно
сидя в зарослях вереска под сенью бука или дуба, повто-
рял все то, чему нас учил священник. И случилось так,
что я не только не забыл уроки, как ребята из Гультен-
гаузена, Шеврхофа и других селений, а к концу осени
стал знать пройденное на зубок, и в начале зимы госпо-
дин Кристоф перевел меня в класс, где круглый год
учились сынки лютцельбургских богатеев. Я научился
всему, чему в те времена обучали в деревнях: читать, пи-
сать и немного считать. И 15 марта 1781 года я впервые
причастился. На этом учение мое кончилось. По знаниям

и справился с дядюшкой Жаном, остальное при желании и доброй воле должно было прийти само собою.

С той поры я стал работать у крестного в кузнице. Пасти стадо он поручил городскому пастуху, старику Иери, а же предолжал приглядывать за скотиной в стойле и в то же время учился ремеслу — несколько месяцев спустя, став послышнее, я уже ковал железо третьим.

Тетушка Катрина и Николь привечали меня потому, что по вечерам, когда глаза дядюшки Жана утомлялись от кузнечного огня, я читал газеты и всякие книжки, которые приносил Шовель, читал, хотя многого не понимал. Когда в газетах, например, говорилось о королевских правах, о распределении налогов в провинциях с местными штатами и в провинциях с выборными чинами *, я выхтел до седьмого пота, но в голове у меня это не укладывалось. Я понимал ясно только одно, что нам приходится отдавать деньги королю, но каким образом их у нас отбирают, было мне невдомек.

Другое дело все то, что касалось жизни в наших сельских местах. Когда в газетах писалось о пошлинах на соль — а я сам раз в неделю ходил в город за солью для дома и платил по шесть су за фунт — по нынешним временам это выходит двенадцать с лишком, так вот, когда в газетах писалось о пошлинах на соль, я сразу представлял себе торговца солью, кричавшего из оконца какому-нибудь бедняку:

— В прошлый вторник ты соли не покупал... видно, контрабандную покупасшь. Я тебя приметил... берегись.

Ведь мало того что приходилось покупать соль в лавке на соляном дворе втридорога, вдобавок приходилось покупать ее каждую неделю по числу членов семьи.

Когда возникал вопрос о десятине, я представлял себе сборщика с шестом в руке, вереницу телег и будто слышал, как он кричит на поле в страдную пору жатвы:

— Эй вы, там! Давай одиннадцатый!

И тут, даже если, бывало, надвигается гроза и вот-вот хлынет дождь, приходилось складывать в ряд снопы, а сборщик не спеша приближался к нам, выбирал наилучшие, уносил их на своих глазах и бросал к себе на целую кучу снопов.

Тут-то все было ясно.

Понятно мне было также, что такое иштейные сборы, сбор тринадцатой доли от продажи, пошлина дорожная,



рыночная пошлина на все товары, косвенные налоги, особые сборы, тарифные пошлины и сборы на заставах, различные поборы, ввозные пошлины, налоги на ввоз съестных припасов, на стеганые одеяла, на смазочное сало и тому подобное. Стоило лишь представить себе заставы, торговые ряды, марию, и я словно видел всех этих контролеров-десмотрщиков, клеймовщиков, обмерщиков, надзирателей за

продажей вин, инспекторов-дегустаторов вин, служителей, занятых опробованием водки, опробованием пива, должностных лиц, приставленных к продаже, оценщиков и осматривателей сена, вязчиков снопов, сборщиков налогов с сыпучих тел, надзирателей за мерами, осматривателей свиней, инспекторов при бойнях и великое множество прочих служителей, которые всюду снуют, все щупают, выматривают, открывают, развязывают, берут людей под стражу, бранят и обижают... Все это мне было хорошо известно.

Остальное мне объявил Шовель:

— Тебе хочется знать, что такое провинция с выборными чинами^{*}; — спрашивал он, сидя с невозмутимым видом у камелька. — Что ж, понять не трудно, Мишель. Область с выборными чинами — это, скажем, какая-нибудь старинная французская провинция — одна из самых древних, как, например, Париж, Суассон, Орлеан, где впервые обосновались короли. Королевские интенданты там господа положения, всем заправляют, облагают налогом по своему усмотрению, обременяют непосильными поборами. Они — владыки, и никто не смеет ни шикнуть,

ни пожаловаться. Жалоба на них к ним же и возвращается, и они же ее разбирают.

Встарь эти области сами назначали раскладчиков податей, и те устанавливали их так, чтобы нести бремя с наименьшими трудностями. Раскладчиков этих называли «выборные». Поэтому-то и говорилось: «провинции с выборными чинами». Но вот уже лет двести, как пачальники сами назначают раскладчиков податей. Так им снодручнее.

Он подмигнул:

— Понятно, Мишель?

— Да, дядя Шовель.

— Иначе обстоит дело в других областях — завоеванных, таких, как Лотарингия, Эльзас или Бретань и Бургундия. Здесь не всем вершат королевские интенданты: здесь время от времени дворяне да церковные сановники съезжаются на провинциальные собрания. Они принимают закон о налогах, сперва об участии провинции в общегосударственных расходах; это, как они говорят, добровольный дар... в королевскую казну! Затем они устанавливают пошлины на право пользования их дорогами, водными путями, их строениями и прочее. До воссоединения с Францией в наших краях, само собой разумеется, дворяне и князья церкви благоденствовали. Они сдались на определенных условиях, сохранили все свои преимущества и привилегии. Ну, а мы, бедняки, все платим да платим, это долг наш. Никто от него нас не избавит. Мы платим не только, как встарь, налоги с наших провинций, но после присоединения мы платим сверх того в казну короля, это у нас самая явная льгота. Понимаетесь, Мишель?

— Понимаю.

— Постарайся же все это запомнить.

Дядюшка Жан возмущался.

— Однако ж это несправедливо, — твердил он, ударяя увесистым кулаком по столу, — несправедливо. Ведь мы же все французы, правильно я говорю? Все мы — один народ и крови единой. Почему же одни назначают налоги, а остальные платят? Да разве приходы и расходы не должны быть общими для всех?

— Э, да разумеется, — невозмутимо отвечал Шовель. — И пошлины, и налоги, и подати, и барщина — все это поборы, под бременем которых сгибается один лишь бедный люд, меж тем как сеньоры, монахи и даже горожане, которые вот-вот кунят дворянство, не несут никаких или

почти никаких тягот. Да нечего об этом и толковать. Ведь изменить-то мы ничего не в силах.

Шовель никогда не выходил из себя. Помнится, с каким бесстрастным видом рассказывал он о бедах, выпавших на долю его предков, о том, как изгнали их из Ларошели, как отняли у них землю, деньги, дома, как преследовали по всей Франции, силою разлучили с детьми, дабы воспитать их в католической вере, позике, в Ликсейме, бросили против них драгуи, дабы под сабельными ударами заставить отречься от своей веры; как его отец бежал в Грауфталские леса, где на другой день к нему присоединились жена и дети, ибо им легче было стать пинцами, чем вероотступниками; как дед его провел тринадцать лет гребцом на дюнкеркских галерах, днем и ночью прикованный к скамье, как злобный страж петлял кальвинистов и как множество народу умирало от побоев. Когда же началось сражение, англичане, находясь в четырех шагах от несчастных каторжников, на их глазах направили на скамьи огромные орудия, до самого жерла набитые ядрами, но узники не могли двинуться с места. Фитиль поднесли к запалу, а потом, когда стихла стрельба ядрами, пулями, картечью, стражники рывком вытаскивали из цепей раздробленные ноги, швыряли трупы в море, сметали за борт останки узников.

Рассказывал он эту страшную быль, растирая на ладони понюшку табаку, и нас била дрожь, а маляутка Маргарита, без кровинки в лице, молча смотрела на него огромными черными глазами.

Кончал он неизменно так:

— Да, вот чем Шовели обязаны Бурбонам, великим государям Людовику XIV и Людовику XV Возлюбленному! Занятная история, не правда ли? А передо мной и поныне все дороги закрыты. Нет у меня гражданских прав. Добрый наш король, как и все прочие, вступая на престол, в кругу епископов и архиепископов, поклялся искоренить нас: «Клянусь с усердием приложить все силы и всю власть свою, дабы искоренить на землях, над которыми я владычествую, еретиков, поименно осужденных церковью». Ваши священники, составляющие записи о рождении, долгие годы служат всем французам, отказываются составлять для нас записи о рождении, венчании и погребении. Закон запрещает нам быть судьями, советниками, школьниками учителями, нам суждено скитаться по свету, как

зверям; у нас заранее подрубают все корни, дающие людям жизненную силу, однако ж мы не приносим зла, и все принуждены признать нашу честность.

Крестный Жан отыгрался:

— Как это мерзко, Шовель! Да где же христианское милосердие?..

— Христианское милосердие! Мы-то его всегда проигляли, — говорил он, — к счастью для наших палачей! Кабы у нас его не было!.. Но за все приходит расплата. С процентами на проценты. Расплата лужна. Не через год — так через десять лет, не через десять — так через сто... тысячу. За все придет расплата.

Теперь вам понятно, что Шовель не удовлетворился бы, как дядюшка Жан, небольшими послаблениями и облегчениями в палочках и в рекрутчине. Стоило вам лишь взглянуть на его бледное лицо, маленькие черные и такие живые глаза, на тонкий крючковатый нос, узкие, вечно сжатые губы, костлявую спину, согбенную от тяжелой ноши, и на его небольшие руки и ноги — мускулистые, крепкие, как стальные тросы, — стоило лишь взглянуть на него, и вы думали:

«Человек этот решил так: все или ничего! Терпения у него достанет! Тысячу раз ему будут угрожать галерами из-за продажи книг, идеям которых он сочувствует. Он ничего не боится, но всегда начеку. И при случае, в борьбе с ним не сдобровать! А дочурка уже на него похожа: сломится, но не согнется».

Был я еще слишком юн и обо всем этом не размышлял, но все это чувствовал. Я глубоко уважал панашу Шовеля, уже и тогда преклонялся перед ним. Думал я так: «Он хочет добра крестьянам, значит, мы с ним заодно».

Газеты в те времена тоже писали о дефиците, и крестный частенько кричал, что он не может понять, откуда взялся этот самый дефицит. Ведь народ неукоснительно платит налоги — ведь его не щадят: в кредит не дают ни гроща. Напротив, изо дня в день налоги растут, значит, дефицит — свидетельство тому, что есть казнокрады. И наш добрый король хорошо бы сделал, кабы приказал разыскать воров. Да они, разумеется, не из нашей среды — ведь как только взяли с крестьянина налог, ему уж ни лиарда не видать — как ушей своих. Значит, приходится считать так — вору около короля вертятся.

Тут Валентин, вслеснув руками, восклицал:

— Ох, господин Жан, господин Жан, и мысли же у вас! Ведь его королевское величество окружают одни только принцы, герцоги, бароны, епископы, люди, полные достоинства, — честь для них превыше богатства.

— Ладно, — резко обрывал его крестный. — Как тебе правится, так и думай. А мне позволь думать по-своему. Ты не заставишь меня поверить, будто крестьяне, ремесленники и даже буржуа, которые к казне не имеют отношения, а только платят налоги, — виновники дефицита. Чтобы красть, нужно быть при казне. Если не воруют принцы, значит, воруют их лакеи!

Крестный был прав. — ведь до революции народ не мог посылать своих депутатов для проверки счетов; все было в руках дворян да епископов, следовательно, они-то и были за все в ответе.

Однако, по правде говоря, еще никто не был уверен в дефиците. Люди об этом толковали, иной раз шпесказательно шпесали о нем и газеты. Но вот король назначил министром женеевского купца Неккера *. Человек этот, как водится среди коммерсантов, не желающих обанкротиться, задумав составить отчет по всей Франции: с одной стороны доходы, с другой — расходы.

Газеты называли это «отчетом господина Неккера».

Впервые за много веков крестьянам сообщили, куда идут их деньги, — решение отчитаться перед тем, кто платит, могло прийти в голову только купцу — ведь вельможи, аббаты да монахи были до того горды и непогрешимы, что у них и не возникла бы подобная мысль.

Право, отчет господина Неккера для нас был каким-то чудом! Вечерами хозяин Жан только и говорил о нем. Война в Америке, Вашингтон, Ронамбо *, Лафайет *, сражения в Индийском океане — все это было забыто ради отчета, который он разбирал по пунктам, с воплем вздымая руки: «На королевский двор — столько-то! На дворы принцев — столько-то. Швейцарские полки — столько-то; оклад сборщиков податей, откупщиков, казначеев, управляющих — столько-то. На религиозные общины, храмы, церковные здания — столько-то. Пенсии ушедшим в отставку — столько-то». И все — в миллионах!

Никогда не доводилось мне видеть человека в таком пегодовании.

— Ага, вот теперь-то понятно, отчего у нас нужда безысходная, — кричал он, — понятно, почему столько мил-

лионов людей гибнут от холода и голода! Понятно, почему столько земли под паром! Ага, теперь все ясно! Господи, бедняки отдавали ежегодно пятьсот миллионов королю, а все еще не хватает и даже получается пятьдесят шесть миллионов дефицита!

Стоило только посмотреть на его лицо, и сердце у нас переворачивалось.

— Да, предательство вопиющее, — говорил Шовель, — но, с другой стороны, подумайте-ка, нам выпало большое счастье: мы узнали, куда идут наши деньги. Прежде мы все раздумывали: а что же там делают с такой уймой денег? Куда они идут? Уж не в морской ли пучине тонут? Теперь-то, улачивая несметное число всяческих налогов, будем знать, на что их тратят.

Тут дядюшка Жан в ярости отвечал:

— Вы правы, отрадно будет думать: и работаю, чтобы купить дворцы для господина де Субиза. Я отказываю себе во всем ради того, чтобы его высочество граф д'Артуа * задал пир и двести тысяч ливров. Я надрываюсь, работаю с утра до вечера, чтобы королева даровала первому попавшемуся побирешке из благородных в десять раз больше того, что я заработал за всю свою жизнь. Вот-то радость для нас!

И все же мысль, что нам стали давать отчет, была ему по душе, и, когда миновала вспышка гнева, он сказал:

— Не было у нас такого честного министра со времен Тюрга *. Господин Неккер — порядочный человек. Он следует идеям того, прежнего, — тот тоже хотел облегчить тяжкую долю народа, уменьшить налоги, упразднить цеха и составлять отчеты. Сановники да епископы заставили его уйти. Только бы им не удалось свалить господина Неккера, только бы наш добрый король его поддержал. Теперь нашим разорителям будет стыдно. Они уже не решатся на гнусное расточительство. Проезжая мимо бедного труженика, работающего в поле, они с невольной краской стыда встретят презрительный взгляд обездоленного и подумают: «Должно быть, он читал отчет господина Неккера: знает, что все эти султаны из перьев, кони, карета и лакеи добыты его трудами, его работою и что все это мы у него выудили».

Особенно же радовали дядюшку Жана слова Неккера в конце отчета: дабы погасить дефицит, надо уничтожить привилегии монастырей и дворян и брать с них такие же налоги, как с крестьян.

— Вот это совсем здорово, — говорил он, — у господина Неккера мысли удачные.

Слух о важной перемене облетел весь край, добрая весть проникла повсюду. Больше трех недель Шовель со своей дочуркой не появлялись в деревне — за это время они продавали одни только «отчеты господина Неккера». В Понт-а-Муссоне они достали отчеты для Лотарингии, а в Келе — для Эльзаса. Право, уже не помню, сколько этих книжечек они продали. Когда-то Маргарита мне сказала об этом, но ведь столько лет прошло с той поры!

В базарные дни мы только и слышали разговоры об уничтожении привилегий, о введении налогов, единых для всех.

— Эге, хозяин Жан, видно, нашим добрым господам да аббатам тоже в конце концов придется кое-что платить.

— Господи, что и говорить, Никола! И все этот негодяй дефицит натворил: старых налогов больше не хватает, народ вовек не пополнил дефицит. Вот ужас, вот ужас! Прямо беда!

И все хохотали. Угощали друг друга попошкой табаку, сокрушались — ну, и бедняги монахи, ну, и бедняги господа!

Все это происходило в восемьдесят первом году. Но надеяться нам пришлось недолго. Вскоре выяснилось, что граф д'Артуа, королева Мария-Антуанетта и старый министр Морена * не пожелали больше терпеть министра — выходца из буржуазии, решившего обнародовать отчет о расходах. Тревога все росла и росла, все чего-то опасались, чего-то ждали. В пятницу, второго июля 1781 года, крестный Жан послал меня за солью в соляное управление, и вот что я увидел. Весь город высыпал на улицы. Оркестр Брийского волка играл под балконом особняка, принадлежавшего маркизу Таларю. Перед домами прево и командира барабанщики били в барабаны, — били они отрядами, как в первый день рождества; барабанщики и сейчас получали отменные чаевые. Прямо сказать — праздник какой-то. Но народ был невесел. Торговцы птицей и овощами, сидя рядом на скамейках, не выкрикивали товар, как обычно. На площади звучала лишь полковая музыка, да справа и слева, на улицах, били в барабаны.

У соляного управления теснилась толпа. Молодые офицеры — «кадеты», как их называли, — в шапочках набекрень и с лентой на руке, шли по три, по четыре, смеясь

и дурачась. Торговец солью пересчитал деньги, протянул и окошечко мешок, и я ушел.

Торговцы зерном, собравшись кучкой в уголке крытого рынка, о чем-то толковали.

— Всеми крышка, — говорил один из них, — всеми крышка, рассчитывать больше не на кого. Король выставил его вон.

Тут-то я и догадался, что Неккера отстранили, — ведь о нем только и разговоров было целых три месяца. Я поспешил вернуться в Лачуги. Старые солдаты у германской заставы покуривали трубки и, как всегда, мирно играли в кости.

Когда я подошел к кузнице, дядюшка Жан уже все узнал от торговцев, вернувшихся из города. Они еще были здесь, рассказывали о новостях. Крестный кричал:

— Не может быть! Не может быть, кто же будет выплачивать дефицит, раз господин Неккер ушел? Они-то по-старому жить будут, станут устраивать празднества, охоту, увеселения, швырять деньги в окно, и дефицит не уменьшится, а возрастет. Говорю вам, не может быть.

Но когда я ему рассказал обо всем, что я видел: о том, как веселились молодые офицеры, про музыку перед особняком прево и обо всем прочем, его густые брови нахмурились. Он сказал:

— Да, теперь-то я вижу, что это верно: порядочный человек ушел. А я-то думал, что наш добрый король его поддержит.

Он бы еще о многом сказал, да мы не знали, что за люди стоят у дверей, смотрят на нас и слушают. Он схватил молот и крикнул мне:

— Не унывать! Примемся за работу... Нам нужно выплачивать пенсией Субизу! За дело, ребята!

Он так громко хохотал, что слышно было на той стороне улицы, в харчевне, и тетушка Катрина свесилась из окна посмотреть, что происходит.

Торговцы разъехались, но еще много народу прошло мимо за день. Люди приуныли, помалкивали, и только вечером, оставшись в тесном кругу, затворив двери и ставни, кузнец Жан выложил все, что было у него на душе.

— Граф д'Артуа и паша прекрасная королева взяли над ним верх! Горе неудачнику, который позволяет расточительной бабенке верховодить. Пусть он наделен наилучшими качествами на свете, пусть любит свой

народ, пусть отменит барщину и пытки; но пиры, балы и всяческие развлечения он отменить не в силах. В этих делах расточительница ничего не слушает, не желает слушать. Пусть все идет прахом, а празднества будут продолжаться по-прежнему — для этого она и рождена: ей подавай поклошников, духи, букеты. Возьмем, к примеру, беднягу нотариуса Регуана. Человек жил в свое удовольствие: отец, дед и вся родня обогатили его, — значит, живи себе припеваючи до ста лет. Да вот взял он себе, на беду, в жены барышню Жаннету Дежарден. Пришлось ему тут побегать — то празднества, то увеселения, то свадьбы да крестины. И утром и вечером запрягай одноколку, набивай карманы деньгами, чтобы в грязь лицом не ударить на танцульках. А лет пять-шесть спустя явились судебные приставы, отняли дом, отняли землю и обстановку. Бедняга Регуан отправился на галеры, а госпожа Жаннета таскается по белу свету с шевалье де Базеном из Руаргского полка. Вот до чего доводит расточительная бабенка, вот как все кончается из-за эдаких тварей.

Чем больше говорил Жан Леру, тем сильнее его разбирал гнев. Он не осмеливался сказать, что по милости королевы Марии-Антуанетты все мы попадем в беду, но по выражению его лица было ясно видно, что он так думал. Говорил он по меньшей мере полчаса; говорил безумолчно.

На улице шел дождь, дул ветер. День выдался прескверный.

Но нам довелось еще потерпеться страху и узнать о вещах, еще более прискорбных. Вот как было дело: в десятом часу, когда Николь засыпала золою горячие угли, а я собирался было накинуть мешок на спину и бежать домой, кто-то два раза громко постучал в ставни.

Дядюшка Жан перед тем так раскричался, что, не смотря на дождь и ветер, его, пожалуй, было слышно и на улице. Мы переглянулись затапв дыхание, а хозяйка унесла лампу на кухню, — пусть думают, будто мы уже спим. Мы побледили от мысли, что за дверью стоят стражники, но вдруг раздался зычный голос:

— Жан, да это я... я — Кристоф... Отвори!

Только тут, сами понимаете, мы и перевели дух.

Хозяин Жан вышел в сени, а тетушка Катрина снова внесла лампу.

— Это ты? — спросил хозяин Жан.

— Да, я.

— Ну и нагнал же ты на нас страху!

И почти тотчас же они вошли вместе. Сразу было видно, что господин Кристоф не в духе. Вопреки обыкновению, он не поздоровался ни с хозяйкой, ни с остальными, не обращая на нас внимания, отряхнул треуголку, мокрую от дождя, и крикнул:

— Я из Саверна... Видел прославленного кардинала де Рогана. Боже милостивый, и это кардинал, владыка церкви... Ох, как подумаю об этом...

Вид у него был непогодующий. Вода стекала с его щек за ворот сутаны. Шагая взад и вперед по комнате, он вдруг сорвал с себя брыжки и сунул в карман. Мы поглядывали на него, вне себя от удивления, а он нас словно и не замечал, обращаясь только к дядюшке Жану.

— Да, видел я этого владыку. — кричал он, — важного сановника, который должен являть нам пример нравственности и всех христианских добродетелей. Видел, как он, сидя за кучера в карете, вихрем промчался по главной улице Саверна меж рядами фарфоровой и глиняной посуды, выставленной на мостовой, хохоча, точно безумный... Какой позор!

— А ты знаешь, что Неккер отставлен? — спросил его хозяин Жан.

— Как же не знать, — воскликнул он с язвительной усмешкой. — Да ведь я только что видел настоятелей всех эльзасских монастырей, монахов пикноссского братства, капуцинов, босоногих кармелитов, монахов варнавитского ордена, всех этих нищенствующих, всех этих голодранцев, которые прошествовали в торжественной церемонии по приемным его преосвященства! Ха-ха-ха!

Он ходил из угла в угол большими шагами. Он был забрызган грязью до самой поясицы, промок до костей, но ничего не чувствовал, — его большая кудлатая голова с седеющими волосами тряслась, он будто говорил сам с собою.

— Да, да, Кристоф, вот они, князья церкви! Попробуй-ка попросить у монсеньера защиты, похлопочи-ка за бедняка — отца семейства, приди-ка с жалобой к тому, кому должно быть опорой духовенства, расскажи-ка ему, что чиновники фиска, якобы разыскивая контрабанду, проникли к тебе, священнику, в дом, что пришлось отдать им ключи от погреба, шкафов... Попробуй-ка скажи ему, что недостойно принуждать гражданина, кем бы он ни был,

в любой час — днем и ночью — открывать дверь вооруженным людям, которые не носят мундира, никакого знака, отличающего их от грабителей, что приходится верить им на слово, хотя тебе не дозволено осведомляться об их жизни, когда они вступают в должность, что их пагубному слову доверены состояние, честь, а иногда и жизнь людей. Скажи-ка, что ему по сану надлежит довести до трона справедливые жалобы и смягчить участь горемыки, заключенного в острог только за то, что «соляные приставы» нашли у него четыре фунта соли... ступай, ступай... тебя примут радушно.

— Да расскажи ты, ради бога, что с тобой случилось, — возмущился дядюшка Жан.

Тогда г-н Кристоф, постояв минуты две, ответил:

— Пошел к нему пожаловаться на облаву, которую вчера в одиннадцать часов вечера учинили в моей деревне служащие соляного управления. Они взяли под стражу моего прихожанина, Жака Бомгартена. Так велел мне долг. Я-то воображал, что кардинал все поймет, что он скажится над несчастным отцом шестерых детей, виновным лишь в том, что купил контрабандой несколько фунтов соли, и что он велит его освободить! И вот сначала мне пришлось проторчать два часа у дверей великозельного дворца, куда капуцины входили, как к себе домой. Они снисшли поздравить монсеньера со счастливым событием — отставкой Неккера. Затем мне разрешили войти в этот Вавилон, где горделиво блестят шелка, золото и драгоценные камни — и на полотнах картин, и вообще повсюду. Я проторчал там с одиннадцати часов утра до пяти вечера вместе с двумя скромными священниками из горных селений. Над нами насмехались лакеи. Время от времени в дверях показывался рослый парень в красной livree, смотрел на нас и восклицал:

— А поны-то все еще тут!

Я занася терпением. Хотелось мне пожаловаться монсеньеру. Но вот пришел один из этих негодяев и сообщил, что аудиенция у монсеньера отложена на неделю. Бездельник смеялся над нами.

При этих словах Кристоф переломил, словно свичку, толстую самшитовую паяку, которую держал в руках, и его лицо искажилось от ярости.

— Надавал бы ты мерзавцу оплеух, — заметил хозяин Жан.

— Были бы мы с ним с глазу на глаз, — ответил священник, — я бы отодрал его за уши, славно бы его отделал. Но там я принес свое смирение в жертву господу богу.

И он снова стал шагать взад и вперед. Нам было его жалко. Тетушка Катрина принесла ему хлеба и вина, он ел стоя, и вдруг его гнев утих. Но мне не забыть то, что он сказал в тот вечер. Вот его слова:

— Справедливость повсюду поругана. Все добывает народ, а остальные только и делают, что кичатся, понижают добродетели, пренебрегают религией! Защищает их сын бедняка, кормит их сын бедняка, вдобавок сын бедняка же, вроде меня, проповедует уважение к их богатству, сану и даже ко всем их безобразиям. Доколе это может длиться? Не знаю, но вечно длиться не может. Это противно природе, это противно воле божьей; совестно проповедовать почитание того, что требует порицания! Да будет покочено с этим, ибо в Писании сказано: «Тем, кто будет верен моим заповедям, уготовано царство небесное. Но по ту сторону останутся нечестивцы, лжецы, идолопоклонники, всякий, кто любит кривду и кривою живет».

В тот же вечер господин Кристоф вернулся к себе в деревню. Мы были в унынии; дядюшка Жан сказал нам на прощанье:

— Все эти вельможи только между собою и знают. Когда же им приходится прибегать к услугам нашего брата — священника ли, солдата ли, ремесленника ли, — они оскорбляют его и стараются поскорее от него избавиться. Зря они так поступают. Теперь же, когда все знают о дефиците, положение должно измениться. Известно, что деньги идут от крестьян, а им в конце концов надоест работать на всю эту свору князей да кардиналов.

Я вернулся к нам в хижину в одиннадцатом часу, и неотвязные мысли преследовали меня даже во сне. Я был заодно с дядюшкой Жаном, Шовелем и кюре Кристофом. Но время еще не настало, и нам пришлось немало помучиться, прежде чем мы добились освобождения.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Кроме всех этих историй — о Неккере, королеве и графе д'Артуа, вспоминается мне то, что для меня было всего тягостнее: беспросветная нужда дома. Родители мои вечно

работали и зимою вечно бедствовали. Этьен подрост, бедный мальчуган работал вместе с отцом, но был так немощен и хвор, что едва зарабатывал себе на пропитание. Клод был пастухом в монастыре тьерсененцев в Ликсгейме. Никола заделался дровосеком. Это был настоящий работник, но, на беду, он любил бражничать и затевать драки по воскресеньям в трактирах, так что почти ничего не приносил матери. Лизбета и наша младшая сестренка, Матюринна, прислуживали в Тиволи офицерам и дамам из города, но это случалось только раз в неделю; по воскресеньям же и в остальные дни они просили подаяния по дорогам. Ведь в ту пору фабрик еще не было и в помине; у нас и деревнях еще не вязали кашпоны, накидки и шали из тонкой шерсти; еще не плели в несметном количестве соломенные шляпы, которые раскупаются в Париже, в Германии, в Италии, в Америке. Ребята частенько дорастали до восемнадцати, а то и двадцати лет, не заработав ни гроша.

Всего хуже было то, что наш долг все увеличивался: он уже превышал пятьдесят четыре ливра. Ростовщик Робен раз в три месяца стучался к нам в окно, приказывал отцу поработать то тут, то там на барицше, и это повергало нас в ужас. Все прочее нам казалось пустяками по сравнению с этой бедой. Мы не знали, что при посредстве генеральных откупщиков, налогов и застав нас припуждали платить за насущно необходимое в десять раз больше, чем все стоило на самом деле, что домоть хлеба обходился нам, как каравай, фунт соли — как десять фунтов, и так далее, что все это нас разоряло.

Мы не знали, что в двадцати пяти лье от наших краев, в Швейцарии, работая так же, мы жили бы гораздо лучше и даже откладывали бы про черный день. Да, многострадальные бедняки никогда не могли понять, что такое косвенные налоги; когда с них требовали в конце года всего лишь двадцать су деньгами, это их возмущало; но кабы они знали, сколько их заставляли платить изо дня в день за все насущное, они бы заговорили по-иному!

В наше время все это уже не имеет значения. Заставы упразднены, и служителей стало на три четверти меньше; но в те времена царил грабег и нищета.

Ох, до чего же мне хотелось облегчить участь родителей и как я радовался при мысли, что в будущем году

хозяин Жан будет платить мне три ливра в месяц и мы потихоньку погасим долг.

Да, мысль эта придавала мне силы, и я мечтал об этом день и ночь.

И вот наконец после стольких мытарств и нам улыбнулось счастье. Никола по жеребьевке в рекруты достался белый билет. Тогда вместо номера тянули билеты, белые или черные, — брали в рекруты только с черными.

Какая это была удача!

И тут матери пришла мысль продать Никола в рекруты; ростом он был пяти футов и шести дюймов и мог встунить в гренадерский полк, а это дало бы девять эю с лишним.

Во всю жизнь мне не забыть, как ликовала вся наша семья; мать держала Никола за руку и твердила:

— Мы продадим тебя! Много женатых пошло в армию, ты кого-нибудь заменишь.

Можно было заменять только женатых людей, но приходилось нести двойную службу: двенадцать лет вместо шести. Никола знал это так же хорошо, как и мать, однако отвечал так:

— Воля ваша! Мне все равно.

Отцу хотелось, чтобы он остался. Он все твердил, что, когда работаешь лесорубом, да еще на барщине зимой, тоже зарабатываешь деньги и выплачиваешь долги. Но мать отвела его в сторону и зашептала на ухо:

— Послушай, Жан-Пьер, если Никола останется, он женится. Я-то знаю, что он бежит за этой девчонкой — Жаннетой Лорис. Они поженятся, дети пойдут, а это для нас хуже всего на свете.

Тогда отец с глазами, полными слез, спросил Никола:

— Так ты хочешь заменить кого-нибудь? Хочешь уехать взамен другого?

И брат, надев старую треуголку с красной лентой, воскликнул:

— Да, я уезжаю! Я должен заплатить долги! Я — старший, и я выплачу долг.

Славный он был парень. Мать обнимала его, обвив сыновью шею обеими руками, твердила, что она хорошо знает, как он любит родителей, что знает это давно; она мечтала, что он станет гренадером, придет в деревню в белом мундире с небесно-голубыми отворотами и плюмажем на шапке.

— Ладно... ладно... — говорил Никола.

Он ясно видел, что мать хитрит, что она только и думает о своем гнезде, но делал вид, будто ничего не замечает. К тому же война ему нравилась.

Отец сидел у очага и плакал, обхватив голову руками. Ему хотелось, чтобы все мы были тут, рядом. Пока братья и сестры звали соседей, мать, прижав к его плечу, шептала:

— Послушай, мы получим больше девяти эку. Ведь у Никола шесть лишних дюймов, и за каждый дюйм платят отдельно. Получается двенадцать лундоров! Купим корову, будет у нас молоко, масло, сыр. Пожалуй, и свинью выкормим.

Он не отвечал и весь день был удручен.

Наутро они все же отправились в город вместе, и хоть у отца было тяжело на душе, вернувшись, он сообщил, что Никола заменит сына булочника Жосса, прослужит двенадцать лет, а мы получим двенадцать лундоров — по лундору за каждый год службы; что прежде всего надо уплатить Робену, ну, а там будет видно. Ему хотелось дать Никола один-два лундора, но мать закричала, что он ни в чем не нуждается, что он всякий день будет сыт и одет будет добротно, даже чулки надевать в сапоги будет, как все военные. А дашь ему деньги, он все равно пропьет их в кабаке, да за это еще и неоплатится.

Никола с хохотом поддакивал:

— Ладно, ладно!.. Согласен.

Только один отец и сокрушался; впрочем, не подумайте, что мать радовалась отъезду Никола. Нет, она горячо любила его, но от безвыходной нужды сердце черствеет. Мать заботилась о младших — о Матюрине, об Этьене, а двенадцать лундоров в те времена были целым состоянием.

Итак, все было решено: бумаги подлежало подписать в мэрии через неделю. Каждое утро Никола отправлялся в город. Ведь он заменял сына папаша Жосса, содержателя трактира «Большой олень», что напротив Немецкой заставы, и тот потчевал его соесками с канустой и не отказывал в доброй чарке вина. Никола не расставался с приятелями, которые, как и он, заменили сыновей других буржуа, веселился и шел с ними песни.

Я работал с еще большим воодушевлением: теперь, по крайней мере, будут уплачены девять эку Робену и мы

навсегда отделаемся от этого негодяя. Я радовался, ударяя по наковальне, и хозяин Жан, Валентин и все домочадцы понимали мою радость.

Как-то утром, когда молоты взлетали, а искры рассыпались в разные стороны, в дверях появился парень футов шести ростом, бригадир из Королевского немецкого полка, в меховой шапке набекрень, в синем мундире на пуговицах, надетом на жилет светло-коричневого сукна, в желтых кожаных штанах, высоких сапогах до колен, с саблей, свисавшей с пояса.

Он крикнул:

— Эй, братец Жан, здорово!

Держался он важно, как полковник. Крестный Жан, удивленно взглянув на него, ответил:

— А, это ты, бездельник! Тебя все еще не издернули?

Тот с хохотом ответил:

— Вы все такой же шутилка, братец Жан. Не поставите ли бутылочку «Риквира», а?

— Не для того работаю, чтобы смачивать глотку таких вертопрахов, как ты, — ответил дядюшка Жан, повернувшись к нему спиной. — Давайте работать, ребята.

Мы снова принялись ковать, и ефрейтор вышел, поменявась и волоча саблю.

Действительно, это был кузен Жана Леру, Жером из Четырех Ветров. Но он так набедокурил в паних краях до военной службы, что родня от него отказалась. У этого проходимца был полугодовой отпуск, а рассказываю я вам обо всем этом вот почему. Иду я на другой день за солью и слышу, кто-то окликает меня на углу у рынка:

— Мишель! Мишель!

Оборачиваюсь и вижу Никола, а с ним этот долговизый бездельник, оба стоят у таверны «Медведь», что в начале переулка Алое Сердце. Никола хватает меня за руку и говорит:

— Вышей-ка стаканчик вина.

— Пойдем лучше к Жоссу, — отвечаю я.

— Сыт по горло кислой канустой! — замечает он. — Попили!

Я стал было говорить ему о деньгах, но тут долговизый крикнул:

— Об этом толковать нечего... Люблю земляков, и платить — мое дело.

Пришлось пойти в кабак.

Старуха Урсула припесла все, что у нее потребовали: вина, водку, сыр. Мне было некогда, да и не понравилось это логово — вертеп, пабитый солдатами и новобранцами; все курили, кричали и горлачили песни. С нами был еще один парень из Лачуг, недоросток Жан Ра, умевший играть на кларнете; он тоже выпивал за счет Королевского немецкого полка. Два-три старых солдата-ветерана сидели у стола, раздвинув локти. Парик у них сползли на затылок, огромные шанки съехали на сторону, красные пушеры на носу, щеках, на всем лице шелушились, из беззубых ртов торчали прокопченные трубки. Не видывал я таких людей — необритых, истасканных, пьяным-пьяных.

С Никола они говорили на ты, он с ними тоже. Два-три раза я подметил, как они перемигиваются с бригадиром Королевского немецкого полка, а стоило Никола слово сказать, все хохотали и кричали:

— Ха-ха-ха! Вот это верно! Ха-ха!

Я не понимал, что все это означает, и был очень удивлен, тем более что долговязый платил за всех.

В казарме нехотишцев забили сбор, и солдаты Швейцарского полка из Шенау бегом побежали туда — несколько дней тому назад они заменяли полк из Бри. Швейцарские солдаты были в красных мундирах, а французские — в белых. Старые же солдаты, которых называли «ветеранами на жалованье», ни в одном полку не служили и не двинулись из кабака.

Бригадир Королевского немецкого полка спросил меня, сколько мне лет. Я ответил, что четырнадцать. Больше он со мной не заговаривал. Никола запел; народу становилось все больше, делалось все душнее, и я, схватив из-под скамьи мешок, поспешил вернуться в Лачуги.

Все это происходило накануне того дня, когда надлежало подписать бумаги в мэрии. Но в ту ночь Никола не пришел домой. Отец беспокоился, особенно же он встревожился, когда вечером я рассказал ему обо всем, что видел. Мать твердила:

— Э, пустяки какие! Пускай себе парик забавляются. Ведь теперь же Никола нельзя будет возвращаться каждый день, пусть пользуется удобным случаем, благо платят за него другие.

Но батюшка призадумался. Братья и сестры уже давно спали. Мать взобралась наверх по лестнице, и мы оста-

лись вдвоем у очага. Отец молчал и думал свою думу. Было уже поздно, когда он сказал:

— Давай-ка ложиться, Мишель, постараемся уснуть. Завтра спозаранок пойду все узнаю. Поскорее бы покончить с этим делом, подписать, раз обещали.

Он поднимался по лестнице, а я раздевался, когда слышался чьи-то шаги: кто-то шел к нашей хижине по узкому переулочку, через сады. Отец спустился вниз, восклицая:

— А вот и Никола!

Он отворил дверь, но вместо Никола вошел недоросток Жан Ра без кровинки в лице.

— Послушайте, — сказал он, — да только не пугайтесь. Беда у вас случилась.

— Какая беда? — дрожа, спросил отец.

— Вашего Никола в городской острог посадили. Он чуть было не убил верзилу Жерома из Королевского немецкого полка — кружкой ударил. Предупреждал я его: «Берегись, делай, как я: вот уже три года пью за счет вербовщиков, они все хотят меня на удочку поймать, да я не подписываю. Пусть себе платит, а я ни в жизнь не подпишу».

— Ох ты, господи! — вскрикнул отец. — Как же так, все беды на нас валяются.

Ноги у меня подкосились, и я сел у очага. Мать встала, все проснувшись.

— А что же именно он подписывал? — спросил отец. — Ведь он уже не имел права подписывать, раз мы обещали Жюссеу. Не имел права.

— Что поделаешь, — возразил Жан Ра, — мы с ним по виноваты: перенили, и все. Вербовщики уговаривали его подписать, я ему подмигивал — не делай, мол, этого. А у него в глазах помутилось, ум за разум зашел. Тут мне выйти понадобилось, возвращаюсь, а он уже подписал. Верзила из Королевского немецкого хохочет да засовывает бумагу себе в карман. Но тут я тащу вашего Никола из трактира в кухню, говорю: «Подписал?» — «Да». — «Но ведь ты получишь не двенадцать ливров, а всего лишь сто ливров. Попался ты на удочку!» Он как бешеный ринулся обратно и потребовал у вербовщиков, чтобы они бумагу разорвали. Бригадир Королевского немецкого ему в лицо расхохотался. Да что там говорить: ваш Никола все перевернул вверх дном. Схватил бригадира



Королевского немецкого и еще одного ветерана за шиворот. В трактире все ходуном ходило, все валялось на пол. Старуха кричала: «Караул!» Меня прижали столом к стене — ни пошевелиться, ни убежать не мог. Жером схватил саблю. Тут Никола схватил кружку и ударил его по голове, да так, что кружка разлетелась вдребезги. А прощельяга из Королевского немецкого растянулся во весь рост на полу рядом с перевернутой чечвой, бутылками, стаканами и кружками, которые под ногами катались. Тут-то в дверях и появилась стража, я успел удрать — нырнул в конюшню и затаился в сарайчике на улице Синагоги. Обогнув угол, я увидел возле ворот Никола в окру-

женни стражников. На Рыночной улице было полно народу, не удалось мне и нему протиснуться. Люди говорили, что бригадир Королевского немецкого ведомо-вства. Право, зря он выхватил саблю, не мог же Никола подставлять себя убийце под удар. Кругом виноват Жером. Вызовут меня, я подниму руку против него. Он кругом виноват.

Жан Ра рассказывал о нашей беде, а мы, убитые горем, не могли опомниться и молчали — не в силах были вымолвить ни слова. Только мать ломала руки, и вдруг мы все сразу залились слезами. Всего тяжелее мне вспоми-нать про это. Мы были разорены, вдобавок Никола попал в тюрьму.

Отец тотчас же отиралился бы в город, да ворота были заперты. Пришлось в унынии ждать до утра.

Соседи уже улеглись спать, но наши вопли их разбу-дили, и они вставали друг за дружкой. Приходили они веревницей, и Жан Ра каждому рассказывал одно и то же; а мы сидели на старом ларе, свесив руки между коленями, и плакали. Эх! Богачам горе неизвестно, да, все падает на бедняков, все против них.

Мать сгоряча раскричалась, браня Никола, но под ко-нец пожалела его и зашлакала.

Только стало рассветать, отец, взяв палку, хотел было пойти один; но я уговорил его подождать, пока не вста-нет крестный Жан, пока он не даст нам доброго совета, а может быть, даже пойдет с нами уладить дело. Мы стали ждать, и в пятом часу, когда кузница осветилась, пошли в харчевню.

Дядюшка Жан уже был на ногах, в жилете, — мы за-стали его в большой горнице. Увидев нас, он изумился, а когда я рассказал ему о нашей беде и попросил его помочь, он сначала рассвирепел.

— Да тут ничего не поделаешь! — кричал он. — Ваня Никола вертопрах, мой же двоюродный братец — мошен-ник, каких мало, а это похуже: ничего тут не уладишь! Пусть все идет своим чередом, пусть прево вмешается. Во всяком случае, лучше всего будет, если вашего нику-дышного парня отиравят в полк, раз уж он сдупил и позволял завербовать себя!

Он был прав, но отец лил горючие слезы, и дядюшка Жан вдруг надел праздничный костюм и, взяв палку, сказал:

— Идем. Такому порядочному человеку, как ты, я все же постараюсь помочь, если только это возможно. Хотя надежды у меня мало.

Он сказал жене, что мы вернемся часов в девять и, остановившись у кузницы, дал кое-какие распоряжения Валентину. Мы двинулись в путь, покурив головы. Время от времени дядюшка Жан выкрикивал:

— Что поделаты! Он на кресте поклялся перед свидетелями. Рост у него богатырский, крепок он, как самшит, да разве отпускают дураков, поддавшихся на обман! Ведь это — первостатейные солдаты: чем у них в банке меньше, тем они храбрее. А разве мой двоюродный братец, отъявленный негодник, получил бы полугодовой отпуск, кабы не вербовал ребят в наших краях? Да разве его держали бы, если б он не доставлял, по крайней мере, одного-двух молодцов в Королевский немецкий полк? Ума не приложу, как быть.

От его рассуждений на душе у нас становилось все тоскливее. Однако, придя в город, дядюшка Жан притворился и сказал:

— Перво-наперво пойдем в лазарет. У меня там есть знакомец, старик-надзиратель Жак Пеллетье. Нам разрешат повидаться с Жеромом, и, пожелай он вернуть нам обязательство, все уладится. Предоставьте мне действовать.

Мы уже нагали вдоль стены, подошли к старинному зданию лазарета, стоявшего между бастионом французской заставы и бастионом порохового погреба. Дядюшка Жан потянул за колокольчик у ворот, возле которых день и ночь нагали часовой.

Ворота открыл лазаретный служитель, и крестный вошел, велев нам подождать.

Часовой ходил взад и вперед; мы с батюшкой прислонились к садовой ограде и с неопишуемой тоской вематривались в покосившееся окна.

Четверть часа спустя дядюшка Жан показался в воротах и знаком подозвал нас. Часовой нас пропустил, и мы вошли в длинный коридор, потом поднялись по лестнице на мансарду. Служитель шел впереди. Там, наверху, он стир дверь в палату, где на узенькой койке лежал Жером. Голова его была почти сплошь забинтована, и если б не виднелись нос да усы, его бы и узнать было трудно.

Он приподнялся на локте, поглядел на нас из-под вя-
заного колпака и откинул голову.

— Эй, Жером, здорово! — обратился к нему дядюшка
Жан. — Ниче утром я узнал, что с тобой стряслось, и
встревожился.

Жером не отвечал. Ничего не осталось от кичливого
и веселого парня, каким он был два дня тому назад.

— Да, вот беда-то, — продолжал крестный, — чуть тебе
голову не проломил. Но, по счастью, все обойдется. Стар-
ший лекарь сказал, что обойдется. Вот только не попьешь
вина да водки две недели, и все придет в порядок.

Жером по-прежнему молчал. В конце концов он про-
изнес, глядя на нас:

— Что вам от меня нужно? Зачем пришли?

— Вот и хорошо, братец. Как я рад, что ты совсем не
так уж плох, как говорили, — отвечал дядюшка Жан. —
Эти бедные, несчастные люди, отец и брат Никола,
пришли из Лачуг...

— Ага, понятно! — заорал негодяй, приподнявшись на
койке. — Пришли клянчить обязательство. Да я скорее
ною дам себе перерезать. Дерешься, разбойник? Готов
людей передушить! Сволочь ты эдакая! Только попадись
мне, я тебе покажу!

Он заскрежетал зубами и, натянув одеяло на плечи,
отвернулся от нас.

— Послушай-на, Жером, — начал было дядюшка Жан.

— Убирайтесь ко всем чертям! — крикнул негодяй.

Тут дядюшка Жан рассердился и сказал:

— Так, значит, не желаешь вернуть обязательство?

— Чтоб вас всех перевешали, — последовал ответ.

Служитель тоже выпроваживал нас, боясь, как бы Же-
ром не задохся от злости.

Перед уходом дядюшка Жан крикнул ему:

— Я так и знал, что ты последний из подлецов, счита-
л тебя отъявленным мерзавцем с той поры, когда ты
еще до военной службы продал отцовских быков и телегу.
А сейчас, кабы ты был на ногах да здоровым, влепил бы
я тебе хорошую оплеуху, да не одну — лучшего ты не за-
служиваешь.

Он наговорил бы еще много всего, но служитель вы-
вел нас и затворил дверь. Надежды большие не остава-
лось.

Уже вблизи, перед лазаретом, дядюшка Жан сказал:

— Ну вот, сами теперь видите, зря трудился, время тратили. Ваш Никола, несомненно, останется под стражей до отправки в полк. Все его вознаграждение пойдет на уплату издержек и разбитой посуды, и вы ничего не получите.

И, несмотря на все наше горе, он вдруг расхохотался и, вытирая глаза, сказал:

— Однако ж здорово он отделал моего братца. Ну и кулачница. Отметку оставил, словно заклеивал большой печатью цеха сукошников.

Он так заразительно хохотал, что под конец засмеялись и мы. Батюшка сказал:

— Да, наш Никола парень здоровый. Тот, может стать-ся, покрупнее и костью пошире, зато Никола жывается.

Мы посмеялись, но, когда дядюшка Жан вышел из городских ворот, нам стало еще тяжелее.

В тот же день мы отпрашивались в тюрьму проведать Никола. Он лежал на охалке соломы и, когда отец заплакал, сказал:

— Что поделывать, случилась беда! Вы ни гроша не получите, знаю. Но когда ничего изменить не можешь, одно и остается — твердить: «Преданюсь на волю божью».

Видно было, что на душе у него тяжело. На прощанье мы обнялись, он был бледен и все просил, чтобы брат и сестры пришли повидаться с ним, но мать не позволила.

Три дня спустя Никола уехал в Королевский немецкий полк. Он сидел в повозке вместе с пятью-шестью другими парнями, которые тоже подрались во время вербовки и растратили деньги, получившие по соглашению. По сторонам ехали конные жандармы. И бежал за повозкой и кричал:

— Прощай, брат, прощай!

Он поднимал плечу; со слезами на глазах покидал он родные края, не повидав напоследок ни отца, ни мать — никого, кроме меня. Такова жизнь. Батюшка, как всегда, работал, добывая на хлеб насущный, а мать на Никола сердилась. Правда, потом она говорила: «Бедный наш Никола! Как же я его сразу не простила. Хороший он был парень». Да, конечно, но ему-то уже было все равно... Он служил тогда в Королевском немецком полку в Валансьенском гарнизоне во Фландрии, и долгое время от него не было никаких вестей.

Из-за пелеспой выходки Никкола всему нашему семейству много лет пришлось бы влечить жалкое существование, если б над нами не скалился крестный Жан. В тот вечер, когда брат уехал, добряк сказал, видя, что я приуныл и сижу, забившись в угол возле камелька:

— Не кручинься, Мишель! Знаю, ростовщик Робек держит вас в когтях. Твоим родителям никогда не заплатить ему долг, слишком уж бедны. Заплатить придется тебе. Хоть ты еще не доучился, но с нынешнего дня будешь получать пять ливров в месяц. Работаемы ты усердно, я доволен твоим поведением.

Он говорил с твердостью. На глазах тетушки Катрины и Николь появились слезы. Я ответил не сразу:

— Ах, хозяин Жан, вы делаете для нас больше, чем иной отец.

Шовель, войдя с Маргаритой в эту минуту, воскликнул:

— Да, поступок превосходный! Я и раньше любил вас, сосед Жан, а сейчас стал уважать.

Он пожал ему руку и, похлопав меня по плечу, добавил:

— Мишель, твой отец поручил мне подыскать место для твоей сестренки, Лизбеты. Так вот, ее ждут в пивной «Зеленое дерево» у Туссена, в Васселоне. Будут у нее там и стол, и кров, пара башмаков и два шестиливровых акю в год. А станет прилежно работать, там будет видно. Для начала нельзя и желать лучшего.

Петрудно вообразить, как обрадовались мои родители, когда узнали добрые вести. Лизбета не скрывала удовольствия; ей хотелось отпраздновать сейчас же, но нужно было кое-что собрать в деревне, так как у нее не было ничего, кроме обтренианной будничной одежки. Шовель подарил ей сабо, Николь — юбку, тетушка Катрина — две почти новенькие сорочки, девица Летюмье — казачки, а наши родители — добрые советы и благословение.

И вот, обняв нас всех вторых по очереди, она пошла по савернской тропинке, что поднимается в гору, пересекая сады, пошла, быстро переступая стройными ногами, неся узелок под мышкой, гордая и довольная. Мы смотрели ей вслед, стоя в дверях, но она даже не обернулась;

вот она поднялась на верхушку холма и исчезла — упорхнула навсегда.

Старики плакали.

Да, такова извечная история бедняков; они выращивают детей, а дети, оперившись, друг за дружкой отправляются на поиски пропитания. А бедные старики остаются в одиночестве и думают свою думу.

Зато, пожалуй, с той поры мы и начали погашать свой долг. На исходе каждого месяца, когда я получал пять фунтов, мы вместе с отцом отправлялись к Робену в Миттельброн. Входили в крысное гнездо, набитое золотом и деньгами, заставляли старого негодия и его огромную овчарку в низенькой каморке с маленькими окошками, забранными прочной решеткой. Ростовщик в засаленном картузе из выдры сидел, опершись локтями о книги записей, собираясь приводить в порядок счета.

— Эге, да вы опять пришли! — говорил он тотчас же. — Боже ты мой, да кто вас торопит? Ведь я-то не прошу у вас ни гроша, напротив, может, вам еще надо? Еще десять, пятнадцать ливров? Только скажите.

— Нет, нет, господин Робен, — говорил я. — Вот проценты. А вот четыре ливра десять су в погашение долга. Отметьте четыре ливра десять су погашения на оборотной стороне векселя, отметьте же.

Тогда, видя, что я сообразителен и что грабежом он довел нас до крайности, Робен занисывал, гнусая:

— Хе-хе-хе, вот и оказывай людям услугу, вот и оказывай людям услугу.

А я, наклонившись над его креслом, из-за его плеча смотрел, как он выводит: «Проценты — столько-то. В погашение долга — столько-то».

О да, я прозрел; я увидел, что значит попасть эдакой лисе в лапы!

Когда мы уходили, отец, который так и стоял у двери, ни во что не вникая, ибо он не знал грамоты, говорил мне:

— Мишель, ты спасаешь нас! Ты — опора семьи.

А когда мы возвращались к себе в лачугу, он восклицал, обращаясь к моим братьям и сестрам:

— Вот наш хозяин... он вызволяет нас из нужды. Он кое-чему научился, мы же — невежды. Нужно всегда его слушать. Кабы не он, господь бог от нас отвернулся бы.

К несчастью, так оно и было бы. Что могут сделать неграмотные бедняки! Что могут они сделать, раз попали

в часть какого-нибудь Робена? Он их, безропотных, живьем пожирает.

Еще больше года надо было выплачивать эти девять эку, чтобы получить обратно вексель. Под конец господин Робен стал поговаривать, что из-за нас ему приходится слишком много писать и что он не желает получать долг такими маленькими частями. Я ему ответил, что согласен с ним и мы будем сдавать деньги господину прево; тут он приутих.

В конце концов, когда я принес домой долговую расписку, мать прямо ожила от радости. Ей бы так хотелось прочесть ее; она кричала:

— Конечно! Впрямь конечно... Ты уверен, Мишель, что конечно?

— Да, уверен.

— Мы избавились от барщины на Робена?

— Да, матушка.

— Ну-ка, прочти.

Все обступили меня, наклонились, слушали, открыв рот, и, когда под конец я прочел: «Выплачено», — все пустились в пляс. Можно было подумать, что ликуют дикари.

Мать кричала:

— Коза не будет нас больше объедать. Ах, беда миповала! Сколько раз из-за козы нам пришлось барщину отбивать!

Некоторое время спустя Робен как-то остановился подле нашей хижины, осведомляясь, не нужны ли нам деньги. Мать схватила шпиль и кинулась на него как безумная, крича:

— А, снова пришел гнать нас на барщину! Ну, пожди же!

И она бы прикончила его, если б он не бросился бежать, и бежал он до конца деревни, несмотря на свое жирное брюхо. Ужасно! Но нельзя удивляться тому, что порядочные люди, доведенные до отчаяния, доходят до такой крайности. Ростовички всегда кончают плохо, им бы следовало помнить, что народ иногда бывает покладист, но что восстает он быстро, и тогда наступает его очередь сводить счеты. Видел я это пять-шесть раз в жизни. В краю не хватало жандармов для охраны этих хищников. Пусть подумают... я даю добрый совет. Пишу и эту книгу прежде всего для крестьян, но она и другим может пригодиться. Земледелец, возчик, мельник, хлебопек — тот, кто

растит хлеб и кто его потребляет, все они пользуются добрым зерном, и сеятель радуется тому, что это всем выгодно.

А пока проходили все эти события, жизнь шла своим чередом. Ярмарки и базары сменялись, налоги выплачивались, народ стонал, кануны собирали подаяние, солдаты отправлялись на строевое учение, где их били саблями плашмя — такое недавно возобновили наказание. По пятницам, отправляясь в город за солью, я видел возмутительную картину: эти негодяи, эти молокососы — офицеры избивали старых солдат. Много воды утекло с тех пор, а я и сейчас дрожу, вспоминая об этом.

Нас возмущало еще и то, что иностранными полками — швейцарцами из Шенау всеми протами, содержавшимися за наш счет, командовали по-немецки. Доведись нам сражаться плечом к плечу с ними против общего врага, команду мы бы получали на двух языках, вопреки здравому смыслу. Помните, старый служивый из нашей деревни, Мартен Гро, сетовал на эту нелепость и говорил, что она крепко нам повредила во время войны с Пруссией. Но нашим бывшим королям да вельможам не по праву была близость народа с солдатами, чтобы стеречь французов, им нужны были швейцарцы, шамборцы, саксонские полки, Королевский немецкий полк. Нам они не доверяли и обращались с нами как с пленниками, которых стерегут и окружают людьми надежными.

Словом, мы увидим дальше, какой вред нанесли все эти иностранцы своей кормилице Франции, как все эти полки целиком переходили на сторону врага.

А теперь будем продолжать.

По вечерам мы читали газеты то одни, то вместе с Шоведом.

Крестный Жан не ошибся насчет вельмож, принцев да епископов: с той поры, как отозвали Неккера, эти господа перестали беспокоиться о дефиците. В газетах только и писалось что об охоте, празднествах, увеселениях, пенсиях, награждениях и тому подобном. Красавица королева Мария-Антуанетта, граф д'Артуа, господа обер-питальмейстеры, егермейстеры, придворные смотрители за гардеробом, гофинтенданты, гофмейстеры, виночерпии, стольники — вся эта свора сановной челяди, которая живет в свое удовольствие и думать не думает о банкротстве, разыскала министров себе под стать, чтобы по-прежнему жить ва

широкую ногу, всех этих Жоли, де Флери и прочих, не отдававших никому никаких отчетов.

Дядюшка Жан, читая о празднествах и придворных балах, уже не кинялся; его лицо вытягивалось, и, покашливая в кулак, он говорил:

— А что же это такое — покои короля, капелла музыкальная, капелла-модельная, мебельная кладовая, большая конюшня, малая конюшня, охотничий двор для псовой и волчьей охоты, гардеробная короля, егермейстерская часть Фонтенбло, Венсенна, Рояль-Монсо, низший суд по делам ведомства Булонского парка, парка Мюет и угодий, судебные и охотничьи королевские округа, псовая охота Лувра, соколиная охота Франции! Что же все это означает? Нам-то какое до всего этого дело?

Тогда Шовель отвечал, усмехаясь:

— Это поощряет торговлю, сосед Жан.

— Торговлю!

— Разумеется!.. Настоящая торговля и бывает, когда деньги уходят и не попадают обратно в руки крестьян!.. Роскошь двигает торговлю, наши министры без конца повторяли это, надо им на слово верить! Наш-то брат работает и вечно платит, а люди благородные только тратят да забавляются! У них кружева, вышивки, бриллианты, по дюжине слуг для покоев и столько же для прихожих, твачи ковров, парикмахеры и парикмахерши, банщики и мойщики, врачки, стирающие пательное белье, фрейлины, верховые и конюхи — вся эта челядь заправляет делами и не набивает себе утробу бобами да чичевицей, не одевается в небеленый холст, как наш брат.

— Так, так, верно, Шовель, — с негодованием отвечал дядюшка Жан. — То же скажу и я о поварах на королевской кухне, которые там упомянуты, об инспекторах по ведомству питания, о дантистах. Эх, бедность, бедность! И нужно же, чтобы столько миллионов людей работали и содержали всех этих паразитов! Уж лучше читать что-нибудь другое. Господи боже, да это просто невероятно!

Но, переверачивая страницу, он наткнулся на великопужное: возведение дворцов, званые вечера, придворные прогулки в шелковых нарядах, в шляпах с золотыми галунами, приемы, церемонии, которые, должно быть, стоили такую уйму денег, что нашему брату — крестьянину и не спилось.

Шовель кричал с недоумением:

— Ну, а что же нам наговорил господин Неккер? Никогда у нас не было так много денег; мы просто не знаем, куда их девать, что с ними делать, они — помеха для нас.

Говоря это, он не сводил с нас своих маленьких прощительных глазок, и гнев охватывал нашу душу, ибо, даже особенно не вникая во все, можно было сказать, что в те времена, когда большая часть населения Франции изнывала от холода и голода, такие расходы, возбуждавшие честолюбие кучки отъявленных пегодлев, просто устрашали. На прощанье Шовель всякий раз говорил:

— Ну, ну, все идет хорошо! Налоги, расходы и дефицит из года в год увеличиваются. Мы благоденствуем: чем больше делаем долгов, тем становимся богаче, это ясно.

— Да, да, — отзывался дядюшка Жан, провожая его, — это ясно.

Он затворял дверь, а я возвращался домой.

Чем больше мы читали газеты, тем тяжелее становилось на сердце. Мы отлично видели, что люди дворянского звания считают нас за дураков, но что поделать? Полиция, конная жандармерия, войска были на их стороне.

И про себя мы твердили: счастливо живется на свете только господам, мы же — обездолены.

Королеве, графу д'Артуа и всей знати, веселившейся при дворе, подражали всюду, даже в маленьких городишках: празднества следовали за празднествами, военные смотры, парады с церемониальным маршем, пиры за пирами и т. д. Прево, командиры полков, майоры, капитаны, лейтенанты, младшие офицеры только и делали, что старались перещеголять друг друга, набивали солдат и даже крестьян, возвращавшихся в деревни по вечерам. Спросите-ка старого Лорана Дюшмена, он вам расскажет, какой образ жизни вели молодые офицеры Кастильского полка в Панье Флери — шампанское у них лилось рекою, они заманивали женщин и девушек якобы на танцы, а родителей или мужей, не дававших на то согласия, гнали, избивая палками, до самой деревни Четырех Ветров.

Понятно, с каким возмущением наш брат, рабочий и крестьянин, слушал их музыку и смотрел на дочерей горожан, городских советников, синдиков, судебных комиссаров, досмотрщиков по дичи, чиновников, берущих пробу с вил, комиссаров по купле-продаже — словом, всех тех, кто считался поважнее; видели, как эти девицы под руку

с молодыми повесами гуляют в Тиволи. Да, от одного этого сердце переворачивалось. Вероятно, девицы воображали, что это их облагораживает.

Только и была одна надежда на дефицит. Все здраво-мыслящие люди понимали, что он должен расти, особенно с той поры, как по настоянию королевы и графа д'Артуа главным контролером финансов назначили г-на Калоппа *. Он мог похвалиться тем, что за четыре года вымотал из нас душу займами, как он говорил — «переводами денежных сумм с одного счета на другой», продлением выплаты двадцатины «добавочным су» и всякими прочими плутнями. После Калоппа мы терпели немало плохих министров, но хуже его не было: ведь все, что он измышлял и выдумывал, стараясь обмануть народ, переходило от министра к министру, и даже самые недалекие из них могли воспользоваться этим и прикинуться тонкими политиками. Он все представлял в розовом свете, как все мошенники, которые и не думают платить долги, а лишь увеличивают их; его самоуверенность успокаивала других, а им только этого и надо было. Однако ж Калоппу не удалось обмануть нас. Дюдюшка Жан уж не мог без раздражения разговаривать газету. Он говорил:

— Из-за этого негодия меня удар хватит. И все-то он врет! Швыряет в окоп наши деньги, обдасяет одних, чтобы наделить других, делает займы направо и налево. А когда в конце концов придет час расплаты, удерет в Англию, а мы останемся ни при чем. Помните мое слово, так оно и будет.

Это было ясно для всех, кроме короля, королевы, принцев, долги которых оплачивал Калопп, а также паредворцев, насыпанных пенсионами да всяческими наградами.

Духовенство было поумнее и понимало, что проски Калоппа кончатся плохо. Всякий раз Шовель возвращался из своих походов с сияющим лицом, с блестящими глазами. Он усмехался, усаживаясь у камелька рядом с Маргаритой, и говорил:

— Да, сосед Жан, наши дела помаленьку исправляются. Бедным приходским юре только и подавай «Савойского викария» * Жан-Жака Руссо, ничего другого не требуют, а каноники всех родов, владельцы бенедикций * почитывают Вольтера. Они начинают проповедовать любовь к ближнему и сокрушаются о пицете народной, делают сборы в пользу бедных. Во всем Эльзасе, во всей

Лотарингии только и разговоров что о добрых делах. Настоятель такого-то монастыря велел осушить пруды, чтобы дать крестьянам подработать, в другом монастыре на этот год освободили от уплаты десятины, в таком-то — кормят похлебкой. Лучше поздно, чем никогда. Удачные мысли осенили сразу всех церковников. Людинки они хитрые-прехитрые: видят, корабль тихонько идет ко дну, вот и хотят заполучить друзей, которые протянут им шест.

Он говорил, часто моргая своими маленькими глазками.

Мы просто не решались верить его словам — нам казалось все это невероятным. Но на протяжении 1784, 1785 и 1786 годов Шонель становился все веселее, все чаще поспеивался; он напоминал одну из тех птиц, которые взмывают высоко-высоко в небо и благодаря острому зрению надалека ясно все видит, пари над облаками.

Малютка Маргарита все хорошела. Часто, проходя мимо кузницы с тяжелой корзиной, перекинутой через плечо, она со смехом заглядывала в открытую дверь, и слышался ее веселый, звонкий голосок:

— Добрый день, дядюшка Жан! Добрый день, господин Валентин, добрый день, Мишель!

И всякий раз и выходил — уж очень приятно было поболтать с нею. Она была черненькая, смуглая. Подол ее юбочки из синего холста и башмачки на грубых ремнях были покрыты грязью, зато у нее были такие живые глаза, такие прелестные зубки, такие чудесные черные волосы, такой веселый и задорный вид, что я, бывало, увижу ее, и на душе, сам не знаю почему, так хорошо становилось, и я все смотрю ей влед, пока она не скроется в сенях их домика, и думаю:

«Ох, нести бы ее корзину и вместе с ними продавать книги — вот было бы здорово!»

О большем и я не мечтал. Но дядюшка Жан, бывало, крикнет:

— Эй! Мишель, что ты там делаешь? Иди-ка сюда!

И я тотчас же бегу на зов, отвечая:

— Вот и я, дядюшка Жан.

Я сделался подмастерьем кузнеца и зарабатывал десять ливров в месяц; мать утешилась. Лизбета жила в Васселоне и время от времени присылала один лишь по-

клоны; служаицам пивной лавки пужво хорошо одеваться, а она у нас была гордячкой, — словом, она ничего не при-быдала. Зато братец Клод, пастух в Тьерсееленском мона-стыре, получавиный четыре ливра в месяц, три посылал родителям. Этьен и Матюринна плели корзиночки да клет-ки и продавали их в городе. Я очень любил Этьена и Ма-тюрину, а они любили меня, в особенности же Этьен! Каж-дый вечер он, ковыляя, шел меня встречать, смелся от ра-дости, брал меня за руку и говорил:

— Пойди-ка посмотри, Мишель, какую я пивче ве-щцу сделал!

Иногда вещь была сделана превосходно. Отец ради по-ощрения всегда говорил:

— Мне бы так не сделать. Никогда я так хорошо не плел.

Не раз думал я о том, что надо послать Этьена к гос-подишу Кристофу, да, к сожалению, моему братишке был не под силу этот путь и утром и вечером — слишком было далеко. Но ему хотелось учиться, и я с ним занимался, пернувшись из кузницы; таким образом, он научился гра-моте. Словом, никто в доме больше не ходил за подав-нием, все мы кормились работой, и родители немного вдохнули.

Какждое воскресенье после обедни я заставлял отца посидеть в харчевне «Три голубя», выпить стакачик бе-лого вина; ему это было полезно. Осуществилось наконец заветное желание матери: обзавестись хорошей козой — теперь мать насла ее у дороги, глядя, как она щиплет траву. Я купил у старика еврея Шмуля отменную козу, вымя которой водочилось по земле. Величайшим счастьем для матери было выхаживать ее, доить, делать сыр, она берегла ее, как зеницу ока. Моим бедным старикам боль-ше ничего и не было пужно, и сам я был вполне счастлив.

После работы, по воскресеньям и праздничным дням, у меня находилось время почитать. Дядюшка Жан давал мне хорошие книги, и я внимательно читал их все после-обеденное время, не шел играть в кегли с товарищами.

В тот 1785 год случилось событие, покрывшее нема-лым позором Францию; в тот год распутный кардинал де Роган, которого так презирал священник Кристоф, по-пытался обольстить молодую королеву Марию-Антуанетту, преподнеся ей в дар жемчужное ожерелье. Тут-то все и увидели, что кардинал из ума выжил, раз его провела

некая лицемерная бабенка: она прихватила ожерелье и скрылась; но позже ее взяли под стражу, и палач выжог на ее плече цветок лилии.

Кардинала же не заклеюмиди, потому что он был знатен. И он получил позволение удалиться в Страсбург.

Вспоминается мне все это, давно пережитое, и как дядюшка Жан говорил о том, что, кабы отец Бенедикт или какой другой капуцин попробовал бы, на свою беду, соблазнить его жецу, он бы непременно размокнул ему банку молотом. Я бы поступил так же. Но король был чересчур добр, хотя королеву опозорило уже одно то, что кардинал вообразил, будто соблазнит ее подношениями. Весь край толковал об этом. Терялось уважение к вельможам, принцам и епископам; порядочные люди относились к ним с презрением, которое все росло и росло. Вспоминали опять же и о дефиците: ведь не с помощью плутней господина де Калонна да позорных проишествий при дворе покроешь его.

Словом, все так и тянулось до конца 1786 года. Накануне Нового года пришли Шовель с дочуркой, засыпанные снегом. Они возвращались из Лотарингии и рассказали мимоходом, будто король созвал собрание нотаблей * в Версале, чтобы познакомить их с отчетом Калонна и постараться погасить задолженность.

Дядя Жан обрадовался, закричал:

— Теперь мы спасены!.. Добрый наш король сказался над народом, он хочет распространить палочи на всех!

Но Шовель, так и не снимая с плеча огромную корзину, побледнел от гнева, слушая его, и в конце концов ответил так:

— Добрый наш король созывает нотаблей потому, что иначе поступить не может. В настоящее время задолженность равна тысяче шестистам тридцати миллионам. Да неужели же вы такой простаки, что верите, будто все эти принцы крови, все первейшие люди среди дворян, судейского и духовного сословия заплатят из своего кармана? Нет, они постараются свалить это на нас. А наша добрая королева и доблестный граф д'Артуа, после распрямленной жизни, о которой вам хорошо известно, жизни в свое удовольствие, вконец измытарив народ, патворив столько безобразных дел и свершив столько неблагоприятных поступков, известных всему миру, — нечего сказать, порядочные особы! — не желают даже отвечать за свои пре-

ступления. Они созывают нотаблей, чтобы те своей подлинью все подтвердили да оправдали. Ну, а нас? Нас-то, пешек, которые вечно платят и ничем не пользуются, нас не поважили. Нашего с вами мнения не спрашивают, и это нечестно, подло это!

Ярость обуяла Шовеля. Впервые я видел его в гнев. Он размахивал руками и дрожал, еле держась на своих коротких ногах. Маргарита, промокшая насквозь — растаявший снег приклеил пряди черных волос к ее щекам, — прильнула к отцу, словно хотела его поддержать. Дядюшка Жан все пытался возразить, но его не слушали. Тетушка Катрина встала из-за пряхки и, цылая негодованием, кричала, что наш добрый король, мол, делает все возможное, что нельзя так неуважительно относиться к королеве, уж она-то этого у себя в доме не потерпит, а Валентин поддакивал:

— Ваша правда, ховийка, нужно уважать заместников божьих на земле. Так, так... вот уж сущая правда...

И он в каком-то испуге простирает свои длинные ручки. Тут Шовель с Маргаритой стремительно выжили — с того дня они перестали у нас бывать. Проходи мимо кузницы, они отворачивались, что нас очень огорчало. Дядюшка Жан говорил Валентину:

— Да кто просил тебя не в свое дело лезть? По твоей вине мой лучший друг не хочет меня видеть. А я уважаю этого человека, у него в мизинце больше здравого смысла, чем во всем твоём огромном туловище. Нет, все должно уладиться, — я-то ведь понял, насколько он был прав.

— Ну а я, — отвечал Валентин, — держусь того, что он не прав. Нотабли хотят счастья народу!

Дядюшка Жан багровел и, искоса глядя на него, бормотал:

— Осторог. Не был бы ты честным парнем, я бы давно послал тебя к черту.

Но он произнес это в сторону — Валентин не стерпел бы оскорбления даже от дядюшки Жана. Он был исполнен чувством собственного достоинства, несмотря на свою глупость, и, разумеется, в тот же день собрал бы вещи и ушел. Таким образом, мы бы потеряли не одного, а двух друзей; приходилось быть начеку. С каждым днем нам становилось все скучнее, все тоскливее без Шовеля. И так продолжалось до тех пор, пока дядюшка Жан, однажды утром увидев, как книгоноша и его дочка

ускоряют шаг, поравнявшись с кузницей, не выбежал, ваволицевапно крича:

— Шовель, Шовель... вы все еще сердитесь... А я ведь не сержусь на вас.

Тут они поккали друг другу руки, чуть не обнялись, а несколько дней спустя Шовель и Маргарита, возвращаюся из странствия по Эльзасу, вошли к нам и по-прежнему присели у камелька. О размоливке никто никогда не поминал.

Произошло это и те дни, когда в Версале собрались потаблы, и все начали понимать, как прав Шовель, утверждая, что они ничего не предпримут ради народа. Благородные эти люди собрались на совещание по поводу выстуления Каловна, который самолично заявил, что уже больше нельзя выплачивать долг обычными средствами, что следует уничтожить генеральных откупщиков, организовать провинциальные собрания и взимать налог с каждого по его средствам, обложив податями все земельные владения без всякого различия. Но кончилось дело тем, что потаблы все это отвергли.

Слушая это, Шовель посмеивался.

Дидюшка Жан кричал:

— Вот мерзкое отродье!

А Шовель говорил:

— Что поделать! Эти баре любят себя и не так уж бессердечны, чтобы обкладывать себя налогами и доставлять себе неприятности. Вот кабы они собрались, чтобы установить новый налог на народ, вмиг бы все уладилось, уж тут бы они сказали «да», и спорить нечего. Да ведь нелегко обкладывать налогом свои собственные владения, понятно! Кто себя почитает, тот о себе и печется.

Больше всего веселил Шовеля вот этот протокол собрания потаблей:

«После речи короля монсееньер хранитель печати приблизился к трону, сделав три глубоких поклона: первый — прежде чем покинуть свое место, второй — пройдя несколько шагов, и третий — став на первую ступень трона. Затем, став на колени, он припал повеления его величества».

— Вот это — главное, — говорил он. — Это и спасет нас!

В конце концов король отставил Каловна и назначил на его место монсееньера де Бриенна*, архиепископа тулузского.

И вот тогда потабли согласились на реформы, а почему — так и неизвестно. Но зато потабли из Парижского парламента, которые иногда не участвовали в расходах двора, ибо это были судьи, люди положительные, бережливые, жившие своим кругом, были возмущены тем, что им придется расплачиваться за беспутное поведение других. И они воспротивились, отказались уплачивать налоги с владений и заявили, что необходимо созвать Генеральные штаты, утвердить налоги, а это означало, что все — ремесленники, крестьяне, буржуа и дворяне — должны голосовать совместно, дабы отдавать свои деньги. Все было этим сказано. Это вызвало еще большую огласку, чем история королевы с кардиналом Роганом, ибо выходит, парламент признал, что народ истари облагался налогом, не спросив его согласия, а это было сущее воровство.

Так началась революция*.

И всем тогда стало ясно, что дворяне и монахи целыми веками обманывали народ. Об этом говорили верховные судьи страны! Все эти господа вечно жили за наш счет, они довели нас до невыносимой нищеты, а сами пировали; их дворянский сан ровно ничего не значал; не было у них больше прав, больше мужества и ума, чем у нас; наше невежество создавало их величие; они нарочно, чтоб легче было грабить нас, внушали нам мысли, противные здравому смыслу.

Представьте же себе, как ликовал Шовель, когда парламент сделал такое заявление.

— Отныне все изменится, — возгласил он, — грядут великие события. Скоро придет конец нищете народной, вступает в права справедливость.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Заявление Парижского парламента* вихрем долетело до провинциальной глуши. В деревнях, на ярмарках и рынках только и было разговора что о Генеральных штатах. Сойдутся, бывало, пятеро-шестеро крестьян на дороге, с четверть часика потолкуют о своих делах, и вдруг кто-нибудь воскликнет:

— Ну, а Генеральные-то штаты?.. Когда же у нас соберутся Генеральные штаты?

Тут каждый высказывал свое мнение об отмене застав, городской ввозной пошлины, двадцатины, о дворянстве и о третьем сословии. Спорили, заходили в первый попавшийся кабачок потолковать; в разговоры вмешивались и женщины. Не хотелось больше оставаться в дураках, вечно платить, не зная, на что идут деньги: теперь никто не хотел упустить своего, хотел сам голосовать за налоги. У нас появлялся здравый смысл!

На беду, год выдался прескверный из-за жестокой засухи. С середины июля до конца августа дожди не перенадали, так что не уродился ни хлеб, ни другие плоды полей. Траву даже и косить не стоило. Надвигался голод, потому что даже картошка не уродилась. Это было настоящее бедствие. А потом пришла зима 1788 года — страшнее зимы мои современники не припомнят.

Ходили слухи, что выискались негодяи, которые скупили во Франции весь хлеб, решив уморить нас голодом, и даже называлось это «пактом голодовки» *. Злодеи скупали жатву на корню и отсылали жито судами в Англию, а когда пришел голод, стали привозить зерно обратно и устанавливать цены по своему произволу. Шовель говорил, что это разбойничье сообщество существует нестари и что в нем состоял сам король Людовик XV. Не хотелось ему верить, уж очень это было мерзко. Но в дальнейшем я узнал, что так оно и было.

Многострадальный французский народ еще никогда так не бедствовал, как зимою 1788/89 года, даже в те времена, когда был введен максимум *, и даже позже, в 1817 — в год дороговизны *. У всех на гумне появлялись досмотрщики, заставляли людей обмолачивать зерно и немедленно отправляли на городские рынки.

Не зарабатывай я, по счастью, двенадцать ливров в месяц да не присылай Клод посылную помощь бедным нашим старикам и двум детям, жившим при них, бог знает, что случилось бы со всеми ними. Несчетное число людей умерло от голода. Представьте же себе, как бедствовал Париж, город, который получает все привозное, — он погиб бы окончательно, не будь больших прибылей от ввоза зерна, овощей и мяса на парижские рынки.

Так вот, люди все же не забывали о Генеральных шта-

тах. Напротив, с бедою росло всенародное возмущение. Люди думали так:

«Кабы вы не растратили наши деньги, мы бы не обвиняли. Но берегитесь, берегитесь, так больше не может продолжаться. Не потерим больше ни Бриенна, ни Калоша — эти министры вам служат, мы же хотим министров для народа таких, как Неккер и Тюрго».

В ту пору стояла невиданная стужа, даже вино и подка замерзали в погребах, но Шовель и его дочурка без передышки шагали по краю, не расставаясь с корзинами. Ноги они обертывали овчиной, и мы, проводив их, с дрожью смотрели, как они шагают по зацедевельным, обледенелым тропкам, опираясь на увесистые палки с железным наконечником.

В те дни они продавали несметное количество брошюр, получаемых из Парижа, и иной раз, вернувшись из своих походов, приносили их и нам, и мы читали, усевшись вокруг большой печки, раскаленной докрасна. Я сберег эти брошюры, и, если б дал вам их почитать, вас бы поразило, как умно и здраво рассуждали люди еще до революции. Народ все ясно видел, — всех, кроме дворян и наемных солдат, доконала безысходная нужда. Как-то вечером мы прочли: «Диоген в Генеральных штатах». А в другой раз — «Жалобы, сетования, замечания и требования парижских горожан», или «Причины недоедания раскрыты», или «Размышления о том, что выгодно третьему сословию, обращенные к населению провинции» и тому подобные книжки, показывавшие нам, что три четверти населения Франции по-прежнему думают о дворе, министрах и епископах. И вот в те дни случилось происшествие, огорчившее меня и доказавшее, что в семье могут быть люди самого различного склада.

В половине декабря, когда все завалило снегом, старуха Гоккар, которая за несколько лиардов разносила письма по городу и деревням, зашла к нам и сказала, что почтмейстер выкрикивал на Рыночной площади фамилии тех, кому не доставлены письма, и что есть письмо на имя Жан-Пьера Бастьена из деревни Мачуги-у-Дубляка. Почтальон Бренштейн в ту пору еще не разносил письма по всем деревням в округе. Почтмейстер по фамилии Перне сам выходил на площадь в базарные дни, принося письма в корзине. Он прохаживался между прилавками и спрашивал:

— Вы не из Лютцельбурга? А вы не из Гультенгаузена или Гэрберга?

— Да, оттуда.

— Передайте-ка вот это письмо Жан-Пьеру, а это — Жан-Клоду. Лежит оно у меня уже месяца полтора, никто не объявляется. Пора бы прийти за ним.

Письма брали, на том почтмейстер и успокаивался. Свою обязанность он выполнил.

Старуха Гоккар и взяла бы письмо, да пришлось бы заплатить двадцать четыре су, а их у славной этой женщины не было: к тому же она сомневалась, вернем ли мы деньги. Трудновато было в ту пору заплатить за письмо двадцать четыре су. Я бы охотно оставил его на счету почты, но мои старики, решив, что оно от Никола, разогорчились. Бедные родители объявили мне, что будут две недели поститься, только бы получить весточку от сына.

Тогда я отиравился за письмом в город. Так и оказалось: оно было от брата Никола. Вернувшись в нашу лачугу, я прочел его вслух, к удивлению родителей и всеобщему нашему удивлению. Оно было написано 1 декабря 1788 года, когда Бриени уже был в отставке с пенсией в восемьсот тысяч ливров, на 1 мая 1789 года намечали созыв Генеральных штатов, Неккер снова занял свое место, а Никола все это ничуть не волновало! И я переписываю старое, пожелтевшее, разорванное письмо — из него вы узнаете, о чем думали солдаты, когда французский народ взывал к справедливости. Бедняга Никола был не лучше и не хуже своих товарищей. Он был неучем, рассуждал, как подлейший невежда, потому что не знал грамоты, но нельзя было его во всем упрекать, — быть может, солдат, которого он попросил написать письмо от его имени, вставлял кое-что от себя — из учтивости.

Так вот это письмо:

«Во имя отца и сына и святого духа.

Жан-Пьеру Бастьену и его супруге Катрине от Никола Бастьена, бригадира третьего эскадрона Королевского немецкого полка, Парижский гарнизон.

Любезные батюшка и матушка, братья и сестрицы!

Вы, должно быть, еще живы, потому как было бы ненатурально, если бы вы поумирали за четыре с половиной

года, в то время как я здоров по-прежнему. Я еще не так разжирел, как синдик мясников Гунц из Пфальцбурга, но без хвастовства скажу, силен, как он, на отсутствие аппетита и всего прочего не жалею, а это главное.

Любезные батюшка и матушка, кабы вы увидели меня сейчас верхом на лошади, со шпашной набекрень, ногами в стремени в тот миг, когда я готов взять на караул, отдать честь или артикул какой-нибудь ружьем сделать, либо когда я с приятностью прогуливаюсь по городу под руку с одною молоденькой девицей, вы бы удивились и просто не поверили, что это ваш сын! И стоило бы мне пожелать, я бы и за дворянина сошел, как позволяет себе это кое-кто в полку, — все в моих руках. Да вы хорошо понимаете, что я-то не способен на это, из уважения к вашим сединам и моего к вам почтения.

Доложу я вам, что в течение первого года унтер-офицер Жером Леру очень мне досаждал из-за того, что прамы от удара кружкой изуродовали ему рожу. Но вот теперь я — бригадир третьего эскадрона — вышел у него из подчинения, только честь должен отдавать, здороваясь вне службы. Я тоже получу чин унтер-офицера, и тут-то мы с ним столкнемся. Не скрою от вас, что я учитель фехтования в полку и в первый же год службы я нанес раны двум прево из Ноайля. И теперь, кроме Лафужера из Лозена и генерала Буке, никто не посмеет кося на меня поглядывать. Таков уж у меня глазомер, и так хорошо я владею кистью руки. А все это от господа бога. И даже из других полков задирают меня из зависти. Так, первого июля, перед тем как отбыть из Валансьена, в штабе полка бдись об заклад за меня против солдат из полка Кюнти. Фехтовальщик Байяр, низенький чернявый южанин, все называл меня «Эльзасец»! Надоело мне это. И я послал к нему двух приятелей — потребовать объяснения. Все было условлено заранее, и на другое утро мы встретили лпаги в парке. Он прыгал, как кот. Но в третьем заходе я все же кольнул его в грудь под правый сосок, и без промашки. Он и охнуть не успел, как пришел ему конец. Весь полк ликовал. Я просидел двое суток под стражей в полицейском доме — не повезло. Зато майор, Шевалье де Мендель, принес целую корзину яств со своего стола для Никола Бастьена, корзину с толкими вишнями и мясом. Вот-то было здорово! По милости Никола

выиграл Королевский немецкий полк, и за это его уго-
стили на славу. С той поры я уважаю майора больше
всех вышних чинов. Эх, если б вы только знали, что тут
творится, как бунтует вся эта сволочь штафирки, главным
образом судейские крючки волнуются, а если знаете, то
вам ясно, что случаев отличиться хватает.

Не далее как 27 августа этого года командир дозора
Дюбуа велел нам атаковать холодным оружием эту сволочь
на Новом мосту. И весь день до самой полуночи мы ска-
кали по телам на площади Дофина, на Гревской площади
и повсюду. А видели бы вы, какое побоение мы учинили
на другое утро на улице Сен-Доминика и улице Меле, так
сказали бы: «Дела идут!» Я был первым на правом флан-
ге эскадрона, во втором ряду. Разил каждого, кто прихо-
дился мне по росту. Лейтенант-полковник из Рейпаха го-
ворил после атаки, что у судейских крючков отбили охоту
попасться. Да, я думаю, туго им пришлось! Вот где про-
является дисциплина во всей своей красе: получен приказ,
значит, шагом марш, перед тобою отец, мать, братья и
сестры — все равно шагай по ним, как по навозу. Быть
бы мне уже унтер-офицером, да надо уметь писать до-
писки. Но, не беспокойтесь, я еще сведу счеты с Жеро-
мом Леру! Тут один мальчик из хорошей семьи, Жильбер
Гарде, из третьего эскадрона, обучает меня грамоте, а я
его учу фехтованию на саблях с колотьем и рубкою вме-
сте. Дело пойдет, ручаюсь. Скоро вы получите письмо, на-
писанное мною собственноручно, а пока обнимаю вас и,
желая вам всего, что вашей душе угодно в этой и будущей
жизни, ставлю крестик.

+

*Никола Бастьен, мастер рубки и колотья
на саблях в Королевском немецком полку.
1 сего декабря, лета 1788.*

Для бедного Никола на свете ничего лучше драки не
было. Офицеры из дворян смотрели на него, как на
своего рода бульдога, которого науськивают на другую
собаку, — он помогает выигрывать пари, а Никола нахо-
дил, что это великолепно! Я прощал его от чистого сердца,
но стыдно было показать письмо дядюшке Жану и
Шовелю. Родители, пока я читал письмо, воплескивали

руками от восторга, особенно мать. Она смеялась и кричала:

— Ах, я так и знала, что Никола выйдет в люди... Видите, как он продвигается. Мы вот торчим в Лаугах, потому в бедности и живем. А Никола получит дворянское звание. Так и знайте, получит дворянское звание.

Батюшка тоже был доволен, но его тревожило, что в схватках сыну грозит опасность, и он говорил, потупив глаза:

— Так... так... хорошо... да вот только бы другой не проткнул ему грудь под правым соском. Сердце бы у нас разорвалось. Вот ведь ужас! У того, другого, тоже, верно, остались родители.

— Подумаешь! — кричала мать.

И она схватила письмо и побежала показывать соседям, приговаривая:

— Письмо от Никола! Он бригадир, учит колоть и рубить на саблях. Уже многих поубивал... Пусть на него косо не поглядывают.

И так далее. Только два-три дня спустя она вернула мне письмо. Дядюшка Жан спросил о нем — пришлось прийти и вечером прочесть. Были тут и Шовель с Маргаритой, и я не смел поднять глаза. Дядюшка Жан сказал:

— Вот беда, когда в семье есть мерзавцы, которые только и думают о том, как зарубить родителей, братьев, сестер. Да еще считают похвальным, потому что это называется дисциплиной.

Шовель ответил:

— Полезно знать обо всем, что рассказывает Никола, — об этих жестоких уличных стычках, об этой резле. Ведь мы-то ничего не знали — в газетах не пишут. Но мне вспоминается, что во время моих странствий много войска перебрасывалось из Гренобля, Бордо и Тулузы. Все это хороший признак и служит доказательством, что поток спосит все и ничто его не остановит. Благодаря этим сражениям, получил отставку Ломени де Брени и созинаяются Генеральные штаты. Стычек нечего бояться. Что сделают пятьдесят, а то и сотня полков, когда против них весь народ? Только бы народ знал твердо, что он хочет, только бы третье сословие было в согласии, а все остальное подобно пене, которую сдувает порыв сильного вет-

ра. Ну, я рад, что узнал обо всем этом. Подготовимся же к выборам, будем во всеоружии, и да восторжествуют здравый смысл и справедливость.

В те дни Шовель уже не держал язык за зубами и, как видно, был полон веры в будущее. Несмотря на голод, свирепствовавший до конца марта, несмотря на все тяготы, крестьяне, рабочие и буржуа действовали сообща. Шовель был прав, когда, узнав о декларации парламента, говорил, что грядет время великих событий. Каждый чувствовал себя сильнее, увереннее, словно началась новая жизнь; и самый что ни на есть обездоленный, сирый и убогий уже не гнул спину, как прежде, а казался поднял голову и смотрел ввысь.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Чем становилось голоднее, тем мужественнее держались бедняки. Кожка да кости остались от жителей Лачуг, Гультенгаузена, Четырех Ветров. Люди выкапывали из-под снега корни, варили сухую крапиву, росшую на задних дворах, изыскивали все средства, чтобы просуществовать. Нищета была ужасающая, но уже чувствовалось, что близится весна.

Капуцины из Пфальцбурга больше не смели попрошайничать, их бы поубивали на дороге, потому что Лаферский полк, недавно сменивший Кастельский, не желал их поддерживать — бывалым солдатам невтерпеж стали молодые дворнички да удары саблей влашмя.

Да и потом что-то уже посылось в воздухе. Балы и сенешалам все же пришлось обнародовать королевский эдикт о созыве Генеральных штатов. Было известно, что как только балы и сенешалы получат указы о созыве Штатов на такой-то день, они тотчас же объявят об этом в присутственных местах, что они прикажут их вывесить на дверях церквей и мэрий, что священники будут читать их во время проповедей и самое позднее через неделю после обнародования указа все мы — рабочие, буржуа, крестьяне — соберемся в городской ратуше и составим сообща наказ*, в котором выскажем свои жалобы и пужды и сообща выберем депутатов, а они-то уж и отнесут наказ в то место, которое назовут нам позже.

Вот все, что мы знали в общих чертах. Слава богу, из каждого прихода жалоб для наказа хватало.

Было также известно, что в Версале собралось второе собрание потаблей — они условились о том, какие меры предпринять до созыва Генеральных штатов. И в то годное время — в декабре 1788 года, в январе, феврале 1789 года — только и говорили что о третьем сословии. Каждый узнал, что третье сословие — это горожане, торговцы, крестьяне, мастера и бедный люд, что некогда наших несчастных предков уже созывали на открытые подобный Генеральных штатов, повелев им приползти на колених с веревкой на шею и, представ перед королем, знатью и епископами, подать свои наказы. Все были неказанно возмущены, узнав, что парламенты желают, чтобы наши представители и теперь явились таким же манером, — они называли это «формальностями 1614 года» *.

Тут каждый стал обзывать судейских сволочью, и всем стало ясно, что хоть они и первыми потребовали созыва Генеральных штатов, но отнюдь не ради того, чтобы подсобить народу, оказать ему должное, а только затем, чтобы их собственные земли не обкладывали налогами, которые бедный люд споспа издавна.

Газеты сообщали, что хлеб ввозился из Америки и России, а у нас в Лачугах и повсюду в горных деревнях инспекторы и не думали вам его давать, напротив, они обнаживали наши хижины вплоть до соломенной крыши и отбирали у нас последние крохи. Жители больших городов восставали, пужно было их утихомирить, а вот мирных крестьян разорили из-за их покорности.

Помните, в конце февраля, когда царил лютей голод, мэры, советники и синдикы города, которые самолично обыскивали овинны да амбары в окрестных деревнях, однажды явились отобедать в харчевню дядюшки Жапа.

Шовель — а он всегда мимоходом сообщал нам свежие новости из Эльзаса и Лотарингии, возвращаясь из своих походов, — как раз был в большой горнице. Он поставил корзину на скамью, ничего не подозревая. Сначала Шовель чуть смешался, когда вошли все эти господа в пудреных париках, треуголках, пышном облачении, шерстяных чулках, с муфтами и в перчатках до локтей, а позади показался высокий, сухопарый, желтолицый помощник прево Декарден, в треугольной шляпе с

галунамв и со шпагой на боку. Он искоса с надменным видом взглянул на Шовеля. В те времена он сам подвергал жертву допросу. Пренеприятное было у него лицо! Пока все остальные, освободившись от своей амуниции, сели на кухню взглянуть, что готовят, он отстегнул шпагу, поставил ее в угол, спокойно подошел к корзине, открыл ее и стал разглядывать книги.

Шовель стоял позади, заложив руки в карманы штанов под блузой, как ни в чем не бывало.

— Эй, еще дельце нашел! — кричали советники и синдики, словавшие взад и вперед, и хохотали.

Дверь в кухню отворили; в печи пылал огонь, и свет от него разливался по большой горнице. Низенький синдик конкорации булочников, Мерль, приподнимал крышки мисок и требовал, чтобы тетущка Катрина все ему растолковывала; Николь заставляла стол бедоснежной парадной скатертью, а полицейский офицер и не думал трогаться с места. Он вытаскивал из корзины книгу за книгой, складывая их столбиком на скамью.

— Это ты продаешь книги? — спросил он в конце концов, даже не обернувшись.

— Да, сударь, — невозмутимо ответил Шовель. — К нашим услугам.

— А тебе известно, — поводя носом и гнусая, заметил полицейский чин, — что так и на висельцу угодить можно?

— Это как же на висельцу? — сказал Шовель. — Из-за славных этих книжечек?.. Вот смотрите-ка: «Каким образом принять решения на собраниях членов судебного округа», сочинение монсеньера герцога Орлеанского, «Размышления патриота о будущих заседаниях Генеральных штатов», «Жалобы, пожелания и предложения отдающих в наем кареты, с просьбой включить их в свои наказания». Право, все это не так уж опасно.

— А привлечли короля? — возразил офицер сухо.

— Привлечли? Вы же знаете, сударь, что со времени монсеньера Ломени де Бриенна брошюры не подлежат действию привилегий.

Офицер ворошил книги, все искал чего-то; остальные окружили его и Шовеля.

Мы с дядюшкой Жаком стояли поодаль возле шкафа, и нам было не по себе. Шовель поглядывал на нас искоса, как бы ободряя нас, уж конечно, что-то у него в корзине было неприятно, и офицер нюхом чуял это.

Но счастью, когда почти все книги уже лежали на скамье, с важным видом вошла тетушка Катрина, неся большую дымящуюся супницу, а низенький спидик Мерль во влажном парике закричал, идя вслед за ней:

— К столу... к столу... вот сметанный суп. Господа, да на что вы там устались? Эге, я так и знал, еще один обыск! Да полно, хватит с нас обысков! Ну же, к столу, к столу, не то я начну один.

И он уселся и, заправляя салфетку под подбородком, открыл супницу — в горнице вкусно запахло. А Николь в это время внесла маринованное говяжье филе, и все советники да спидики ринулись к столу. Офицер, видя, что его спутники принимают за еду без него, раздраженно сказал Шовелю:

— Знай же: отлаженная партия не програна!

Он швырнул книгу, которую держал в руках, на кучу других книжек и, подойдя к столу, сел рядом с Мерлем.

Шовель тотчас же уложил брошюры и, повесив корзину на плечо, вышел, весело поглядывая на нас. Мы свободно вздохнули — ведь когда помощник прево заговорил о висельце, у нас перехватило дыхание, несмотря на все посулы властей.

Словом, Шовель ушел цел и невредим, а все эти господа обедали, как обедали перед революцией дворяне и богачи. Они велели принести собственное вино из города, подать свежее мясо и белый хлеб.

В дверях столпились десятки нищих. Они затаили молитву и, заглядывая в окна, просили подавания. Иные жалобно стонали, и от их стонов брала дрожь, особенно когда стонали женщины с истощенными ребятишками на руках. Но господа из города и не слушали их. Они с хохотом раскупоривали бутылки, пили допьяна, несли чашь. Разошлись они в три часа. Один отпразднел в город в каретах, другие верхом, — продолжать обыски в горных лачугах.

В тот же вечер зашли к нам Шовель с Маргаритой. Едва они оказались в дверях, как дядюшка Жан воскликнул:

— Ох, до чего же вы нас напугали!.. Каким опасностям подвергаетесь вы, Шовель! Да какая же это жизнь, когда вот-вот на висельцу вздернут, ходишь над пропастью! Я бы и двух недель не протянул из-за этих страхов.

— И я тоже, — молвила тетунка Катрина.

И мы все подумали о том же, а Шовель только рассмеялся:

— Э, да все это пустяки, — произнес он, усаживаясь, — все это чепуха. Не то было десять-пятнадцать лет тому назад. Вот тогда меня преследовали, вот тогда не дай бог было попасться с бельскими или амстердамскими изданиями: мигом бы из Лачуг на галеры попал, а за несколько лет перед тем — без промедления и на виселицу. Да, опасно было. Ну, а теперь пусть берут под стражу, теперь это непадодело, рук-ног не перебьют, принуждая выдать соучастников.

— Все равно, не по себе вам было, Шовель, — продолжала дядюшка Жан. — А в корзине-то лежало что-нибудь?

— Разумеется!.. вот что, — сказал он, бросая на стол пачку газет. — Видите, до чего мы дошли.

Тут мы заперли двери и ставни и читали до полуночи; и я думаю, что доставлю вам удовольствие, перечислав кое-что из старых газет. Умиляешься, когда узнаешь из старых газет, как мужественные люди поддерживали друг друга.

Повсюду дворяне и парламенты стояли на барьер, решив противиться созыву Генеральных штатов. Во Франш-Конте жители Безансона разогнали парламент, потому что он сопротивлялся эдикту короля и объявил, что земли дворян должны быть свободны от налогов, что такой порядок существовал тысячу лет и должен продолжаться вечно.

В Провансе большинство дворян и парламентов тоже воспротивились эдикту короля о созыве Генеральных штатов. И тогда впервые мы услышали имя Мирабо *, дворянина, которого остальные дворяне не хотели признавать и который выступил вместе с третьим сословием. Он говорил, что возражения дворян и парламентов тщетны, недопустимы, незаконны. Свет еще не видел человека, говорящего так справедливо, с такой силой и величием. Нынче, напротив, считали, что он недостаточно благороден; его не пускали на совещания — вот свидетельство их здравого смысла.

Повсюду происходили стычки. Так в Ренне, в Бретани дворяне убивали горожан, поддерживавших эдикт короля, главным образом молодых людей, прославившихся своею храбростью. У жителей Ренна не хватило сил, и они призвали на помощь жителей из других городов своей же провинции. И вот как откликнулись молодые люди из Нанта

в Анже, спешившие им на помощь: «Потрясенные ужасом при вести об убийствах, учиненных в Рейне, призванные гласом народным, взывающим к возмездию и восстаниям, узнав, что благодетельным повелениям августейшего короля нашего об освобождении от рабства его верноподданных из третьего сословия ирешаютствуют одни лишь себялюбцы из дворян, для коих нищета и слезы многострадальных — всего лишь гнусная дань, которую они хотели бы взимать с будущих поколений, чувствуя силу свою и стремясь разорвать последнее звено цепи, мы решили выступить со значительными силами и противопоставить свою волю подлым приелешнябам аристократии. Мы заранее протестуем против всех постановлений, в которых объявили бы нас мятежниками, ибо нами владеют одни лишь чистые побуждения, и если нас предадут несправедливому суду, мы клянемся честью и родиной... клянемся сделать все, что природа, мужество и отчаяние внушает человеку во имя сохранения жизни. Подписано в Нанте, в здании Биржи, января 27 дня, лета 1789».

Так писали молодые люди из торгового сословия.

А из Анже пошли в поход студенты; вот что писали женщины этого края — женщины, сильные духом:

«Постановление, которое составили матери, сестры, жены и возлюбленные молодых граждан из города Анже на невиданном доселе сборище. Прочтя постановление молодых людей, мы заявляем, что если возобновятся беспорядки — и в случае похода, в коем граждане всех сословий объединятся ради общего дела, — мы присоединимся к народу, ибо его благо — наше благо. Не обладая силою, мы берем на себя такие обязанности и такой род полезной деятельности: заботу о снаряжении, о съестных припасах, приготовления к походу; мы готовы делать все, что от нас зависит, — заботиться, утешать, оказывать услуги. Зашедем, что мы отнюдь не намерены отступать от уважения и повиновения, которые мы обязаны оказывать королю, но скорее погибнем, а не поквнем наших сыновей, супругов, братьев; для нас — честь разделять с ними опасность, мы не можем пребывать в постыдном бездействии».

Мы плакали, читая эти строки.

— Вот это — благородные женщины! Вот это — честные люди! Мы поступим так же!

Мы чувствовали свою силу. А Шовель, подняв указательный палец, произнес:

— Пусть же дворяне, епископы и члены парламентов попытаются понять это! Женщины сами добиваются своих прав, поддерживают братьев, мужей и возлюбленных, а не отговаривают их от борьбы. Вот оно — великое знамение! Не часто это случается, но раз уж случилось, то знайте: иные прочие заранее проиграли.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В двадцатых числах марта 1789 года, когда уже таяли снега, пошел слух, будто огромные афиши за черною печатью с тремя лилиями появились на дверях церквей, монастырей, ратуши, будто всех нас созывают в Цфальцбургскую ратушу.

Так вправду и было! Объявления эти призывали дворянство, духовенство и третье сословие на собрание баляжа — там надлежало подготовить созыв наших Генеральных штатов.

Лучше всего я перепису для вас эти воззвания. Сами увидите, как отличались Генеральные штаты тех времен от всего того, что происходит в наши дни.

Королевский указ о созыве Штатов января 24 дня, лета 1789. Король, направляя в различные подвластные ему провинции грамоты о созыве Генеральных штатов, пожелал, чтобы все подданные его призваны были содействовать избранию депутатов, из коих должно состоять это великое и торжественное собрание; его величеству угодно, чтобы жители окраин его королевства и самых захолустных поселений были уверены, что их жалобы и наказания дойдут до него. Итак, его величество убедился, к своему глубокому удовлетворению, что с помощью ряда собраний, следующих одно за другим, которые по его повелению состоятся по всей Франции для избрания депутатов третьего сословия, у него установится связь со всеми жителями его королевства и что он будет осведомлен об их нуждах и пожеланиях самым надежным и непосредственным образом.

Затем в воззвании говорилось о дворянстве и духовенстве, об их созыве, о числе депутатов, которых выдвинут на собраниях в баляжах, а позже — на собраниях Генеральных штатов, епископы, аббаты, каштулы, духовные

общины, имеющие доход, духовенство, живущее в миру и в монастырях мужских и женских, и вообще все духовенство, имеющее владения.

А дальше вновь говорилось про наши дела:

«1. Жители приходов и общин, местечек и городов должны собраться в общинном доме во главе с судьей или любым другим чиновником. На этих собраниях получают право присутствовать все представители третьего сословия, французы по рождению, либо припавшие французское подданство, достигшие возраста двадцати пяти лет, оседлые и внесенные в окладные книги, дабы содействовать составлению наказов и участвовать в выборе депутатов.

2. Выбранные депутаты устроит в ратуше собрание третьего сословия города под председательством муниципальных должностных лиц, составят наказы о нуждах и жалобах жителей этого города и назначат депутатов, которые передадут наказ в главный баляж.

3. Число депутатов, избранных приходами и сельскими общинами для передачи их наказов, должно равняться двум от каждых двухсот дымов и более, трем от трехсот дымов и так далее.

4. В главных баляжах или главных сенешальствах депутаты третьего сословия на своем подготовительном собрании составят из всех наказов один и выделяют четвертую часть от числа депутатов, дабы передать упомянутой наказ общему собранию главного баляжа.

5. По повелению его величества в упомянутых главных баляжах выборы депутатов третьего сословия в Генеральные штаты будут произведены сразу после того, как туда будут доставлены наказы от всех городов и общин, представители коих там соберутся».

Как видите, тогда не назначали, как ныне, депутатов, которых никто в глаза не видел, присланных из Парижа с хорошими отзывами, а набирали, руководствуясь здравым смыслом, своих, деревенских. А те выбирали из своей среды самых способных, самых стойких и самых сведущих, чтобы они отстаивали наши жалобы перед королем, принцами, дворянами, епископами. Таким образом, это приносило некоторую пользу.

Посмотрите, что сделали наши депутаты в 89-м году и что делают нынешние, и вы сами увидите, что лучше — крестьяне ли, которых выбираешь в депутаты, потому что знаешь их, или же чужаки, которых выбираешь, потому



что их расхваливает префект. Не к унижению наших господ будь сказано, а просто — из лучшего выбираешь лучшее. Ясно, что депутаты должны представлять интересы людей, которые их выбрали, а не правительства, надзирать за которым им поручено. Это само собою разумеется. Предположим, что король Людовик XVI с помощью балли, сенешалов, прево, губернаторов провинций и жандармерии, самодично назначал бы депутатов третьего сословия. Что



бы получилось? Да эти депутаты не посмели бы противоречить королю, по воле которого они были назначены, и одобряли бы все, что было бы угодно правительству, а мы и поныне коснемся в шпигеле.

Нет нужды говорить о том, как радовались, как ликовали люди, узнав, что Генеральные штаты соберутся, ибо, несмотря на все, мы сомневались. Нас вечно обманывали, и мы изверились, но на этот раз дело не могло быть отменено.

В тот же день мы с дядюшкой Жаном в пятом часу вечера еще работали в кузнице в паюотменнейшем расположении духа. То и дело, кладя подковы на огонь, он восклицал с сияющим лицом:

— Ну как, Мишель, значит, у нас будут Генеральные штаты?

Я отвечал, посмеиваясь:

— Да, крестный, дело в шляпе!

И снова без перерыва взлетали молоты. Радость придает человеку невероятную силу.

Такой грязи на улице давно не бывало. Снег таял, бежали ручьи, унося павоз и заливая подвалы. То и дело из лачуг выбегали женщины и широкими взмахами метлы отгребали воду. Ницета влечет за собою ницету: после барщины на короля, помещиков и монастыри, где уж тут было думать о мощении улиц для себя; хотелось одного — отдохнуть; вот и жили в грязи.

Вдруг откуда ни возьмись появился пять-шесть стариков, жителей Верхних и Нижних Лачуг и Лачуг-у-Дубняка, в поношенных серых блузах, войлочных саляках с приплюснутой тульей и широкими полями, свисавшими на плечи, — Жак Летюмье, Никола Кошар, Клод Гюре, Готье Куртуа — словом, все именитые люди нашего края. С важным видом остановились они около кузницы и церемонно сияли саляками.

— Да это вы, Летюмье, — крикнул дядюшка Жан, — и вы, Гюре! Какого черта вы тут делаете, а?

Он хохотал, но пришельцы держались степенно; верзила Летюмье, согнувшись, протиснулся в низенькую дверь и сказал зычным голосом, как говорят бродячие торговцы галляной посудой:

— Сударь мой, Жан Леру, с вашего позволения нам нужно кое-что вам сообщить.

— Мне?

— Да, именно вам. Касательно выборов.

— Ага, ага, вот как... входите же, что вы там в грязи топчетесь.

Тут все вошли вереницей. Мы едва помещались в тесной кузнице. Пока пришельцы мялись, раздумывая, с чего бы начать разговор, дядюшка Жан спросил:

— Ну, так в чем же дело, о чем просить собираваетесь?.. Да вы не робейте: сделаю, если возможно... вы же меня знаете.

— Вот о чем тут речь, — сказал дровосек Кошар, — вы ведь знаете, что жители трех Лачуг все вместе голосуют в городе?

— Знаю... так что же?

— Ну так вот, во всех трех Лачугах двести домов. Значит, мы имеем право на двух депутатов.

— Разумеется. Ну, а дальше-то что?

— Дальше вот что — вы и есть первый депутат. Тут и толковать нечего. Только ума не приложим, как быть со вторым?

— Хотите меня депутатом выставить! — воскликнул дядюшка Жан, внутренне, конечно, очень польщенный.

— Именно так. Ну, а со вторым-то что делать?

Тут дядюшка Жан обрадовался еще больше и сказал:

— Да мы здесь около огня изжаримся. Пойдемте-ка и харчевню, осушим вместе по доброй чарке, это нам мозги прочистит.

Разумеется, они согласились. Я остался было в кузнице, но дядюшка Жан, уже переходя улицу, крикнул:

— Эй, Мишель, иди-ка сюда. В такой день, как нынешний, все должно быть заодно.

И мы вошли все вместе в большую горницу. Сели за стол, на скамью, и дядюшка Жан велел подать вина, стаканы, каравай белого хлеба и пожи. Все чокнулись. Тетушка Катрина с удивлением смотрела на нас, не понимая, что все это означает. Поэтому Летюрье, утерев рот, собрался объяснить ей причину собрания, но тут дядюшка Жан воскликнул:

— Что ж, хорошо... это для меня честь. Я согласен, потому как каждый должен жертвовать собою для блага отечества. Только я должен вас предупредить: если вы не изберете одновременно и Шовеля, я отказываюсь.

— Кальвиниста Шовеля? — закричал Летюрье, мотнув головой и вытаращив глаза.

Остальные испуганно переглядывались и кричали:

— Кальвиниста, и нашим депутатом!

— Послушайте, — произнес дядюшка Жан, — мы ведь собираемся не на церковный собор обсуждать вопросы о таинствах нашей святой религии, о святом причастии и о всем прочем. Мы собираемся ради наших житейских дел, и главным образом для того, чтобы освободиться от поборов, барщины, подушной подати и всяческих других податей, чтобы избавиться от наших señоров, если это

возможно, и вынутахся из беды. Так вот, я, человек здравомыслящий — по крайней мере, так я думаю, — по этого недостаточно, чтобы выиграть такую большую битву. Я грамотен, знаю наши уязвимые места, и если б нужно было только реветь по-ослиному, я бы свое дело сделал не хуже любого жителя Четырех Ветров, Миттельбронна и прочих мест. Да ведь дело-то не в этом. Там мы встретим отъявленных плутов всех мастей — прокуроров, бальи, сеншалов, людей образованных, которые приведут нам уйму доводов, подкрепив их выдержками из законов, ссылками на обычаи, что это, мол, так принято, а то — так полагается. Ну, а если мы не сможем вразумительно ответить, они нас накабалят навеки. Понятно?

Летюмье разинул рот до ушей.

— Да... но Шовель... Шовель... — повторил он.

— Дайте кончить, — возразил Жан Леру. — Я-то хочу быть вашим депутатом, и если кто-нибудь из наших хорошо скажет в нашу защиту, я способен его поддержать, и поддержу. Но ответить сам не смогу, не настолько я сведущ и образован. И ручаюсь вам, что в наших краях, сколько ни нищи, никто не способен так говорить и так защищать нас, как Шовель. Он все знает: законы, обычаи, указы — словом, все! Не вышел он ростом, а знает наизусть все книги, которые четверть века таскает на спине. Думаєте, в дороге он смотрит направо да налево, на поля, деревья, изгороди, мосты и реки? Ну нет! Уткнув нос в какую-нибудь книжонку на ходу или же шагает, а сам все обдумывает. Значит, если вы не хотите остаться в дураках да сохранить барщину, поборы и палочи, сначала выберите его, а потом уж меня. Выберите Шовеля, я его крепко поддержу, а нет, и меня не выбирайте — отказываюсь заранее.

Кузнец Жан говорил просто, а все остальные почесывали затылки.

— Да ведь не захотят его люди, — заметил Кошар.

— В указе не делается никакого различия между религиями, — возразил Жан Леру. — Все созываются на выборы, лишь бы были французами, достигли двадцати пяти лет и были внесены в списки налогоплательщиков. Шовель платит наравне со всеми нами, а может, и побольше. Ведь в прошлом году наши добрый король вернул гражданские права лютеранам, кальвинистам и даже евреям. Да вы, конечно, это знаете! Так выберем же Шовеля,

и больше беспокоиться нечего. Ручаюсь, он сделает для нас больше хорошего и окажет нам больше чести, чем полсотни канутинов. Он защитит наши интересы в высшей степени разумно и смело. Он будет гордостью наших трех Лацуг, поверьте мне. Ну-ка, Катрина, еще по стаканчику.

Принималды все еще сомневались. Тогда дядюшка Жан нанюхивал стаканы и сказал:

— Вот мое окончательное решение: не выберете Шонеля — я отказываюсь, выберете — соглашаюсь. За здоровье нашего доброго короля!

Тут все явно умилились, повторяя:

— За здоровье нашего доброго короля!

Когда осушили стаканы, Летюрье произнес с важным видом:

— Трудненько будет уговорить нам женщин, но если уж на то пошло, сосед Меру, вот вам моя рука.

— А вот моя, — добавил другой, склонившись на его сторону.

Сидя за столом, все повторили друг за другом эти слова. Затем осушили по кружке и встали, собираясь разойтись по домам. Именитые люди согласились, и мы были уверены, что все остальные поступят так же.

— Значит, по рукам! — кричал им вслед ликующий дядюшка Жан, стоя на пороге.

— Выходит, по рукам, — отвечали они, шлепая по грязи.

Мы вернулись в кузницу. Все происшедшее заставило нас призадуматься. Работали мы до семи часов, пока Николь не пришла звать нас к ужину.

Собрание было назначено на следующее воскресенье. Шонель с дочерью уже недели две были в пути; еще никогда они не продавали так много брошюр. Дядюшка Жан все же надеялся встретиться с ними на многолюдном собрании в ратуше.

В тот вечер ничего нового не произошло; день и без того был полон событиями.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Когда в воскресенье, в седьмом часу утра, мы с батюшкой спускались по старой деревенской улице, над Бон-Фавтецким лесом взошло солнце. Выдался первый

погожий день в году. Золотом отлпвали соломенные кровли и низенькие кирпичные трубы, черные от копоти и увенчанные дымком; убегая вдаль, поблескивали лужицы по обочинам дороги, но небу плыли белоснежные облака. И далеко-далеко разносились трели деревянных кларнетов, созывающих людей в путь, дробь барабанов, бывших в городе сбор, и колокольный звон, возвестивший о том, что в церкви Святого Духа до выборов пачнется обедня.

Рядом со мною плелся батюшка, постаревший, исеохший, хилый, с седою бородой. Был он без шейного платка, в блузе из грубого сурового холста, облежавшей бедра, холщовых же штанах, завязанных веревкой на щиколотках, и ботинках из бурой кожи без каблучков, зашнурованных наподобие полусапог. На голове у него, как было принято у крестьян в наши времена, надет был старый колпак, связанный из шерстяных оческов, с той поры пзображавшийся на знамени республики. Батюшка с озабоченым видом озирался по сторонам, словно нас подстерегала опасность. Эх, ведь когда пастрадаешься, уж ничему не доверяешь. На каждом шагу бедняга твердил:

— Мишель, будь осторожен! Ничего говорить не станем. Помолчим... Плохо все это кончится.

У меня было больше доверия — я наслушался разговоров крестного Жака и Шовея о положении в стране и сам читал о том, что происходило в Рейне, Марселе, Париже, и все это придавало мне больше смелости. Притом же, благодаря работе в кузнице, плечи у меня к восемнадцати годам раздались — увеселый двенадцатифунтовый молот уже не оттягивал моих мозолистых рук. Борода у меня еле пробивалась, но это не мешало мне смотреть прямо в лицо недругу — будь то солдат, буржуа или крестьянин. Любил я приодеться; по воскресеньям носил штаны из синего сукна, высокие сапоги, бархатную куртку, по обычаю кузнецов, и, по правде говоря, заглядывался на миловидных девушек, находил их красивыми, но ведь это не возбраняется! Вот так-то!

Вся деревня была уже на ногах. Когда мы подошли к харчевне, дидюшка Жак и Валентин, сидя вдвоем в большой горнице, окна которой были открыты настежь, передходом о чем-то толковали за бутылкой вина. Оба были одеты по-праздничному: крестный Жак в просторном кафтане мастера цеха кузнецов, в красном жилете, штанах, застегнутых пряжками на толстых икрах; серебря-

ние пряжки красовались на башмаках с закругленными носками. На Валентине была блуза из сурового полотна, ворот и перед были расшиты красною тесьмой, брелок в виде большого серебряного сердца был пристегнут к рубашке, на ухо свисал крестьянский вязаный колпак. Они увидели нас и закричали:

— А вот и они! Вот и они!

Мы вошли.

— Ну-ка, Бастьен, выпьем за здоровье нашего доброго короля, — крикнул дядюшка Жан, наполняя стаканы.

И батюшка, с глазами полными слез, отвечал:

— Да, да, Жан, за здоровье нашего доброго короля! Да здравствует наш добрый король!

Тогда было принято верить, что король вершит всеми делами, и на него смотрели как на милосердного господа бога, который блюдет интересы своих детей. Так вот батюшка очень любил короля.

Мы выпили, и почти сейчас же подошли наши именитые люди — те самые, что приходили накануне, и с ними старый-престарый дед Летюмье. Он видел плохо, так что нужно было его вести шаг за шагом, чтобы он не упал. И все же он тоже захотел голосовать. Пока наполняли стаканы, каждый громко высказывал свое мнение:

— Что ж, мы готовы... время настало... Лачужники себя покажут, дружно проголосуют, не беспокойтесь!..

И пока люди пожимали друг другу руки, хохотали, чокались, бедный старик шамкал:

— Ах, как длинна жизнь!.. Как длинна жизнь. Да все равно, в такой день свои беды не оплакивают.

Крестный Жан отвечал:

— Вы правы, напаша Летюмье, в страду не считаешь те дни, когда шел дождь да снег. Вон какие споница! Много мы на них труда положили, верно! Но мы их обмолодим, провеем, просеем; будет у нас хлеб, а если угодно богу — у наших детей тоже! Да здравствует добрый король!

И все мы подхватили:

— Да здравствует наш добрый король!

И вот все чокаются, чуть не обнимаются, затем выходят рука об руку; мы с батюшкой идем следом за всеми.

Жители Лачуг уже собрались вокруг водоема и, увидев, что мы отправились в путь, двинулись вслед за нами под звуки кларнета и барабана. Никогда я не слышал

ничего подобного: во всем крае звучали музыка и колокольный звон; со всех сторон по большакам и проселкам текли потоки людей — они пританцовывали, подбрасывали в воздух колпаки и кричали:

— Да здравствует наш добрый король! Да здравствует отец народа!

Перекликались колокола, неумолчно звучащие на горных высотах и в глубине долины. Мы все ближе подходили к городу, и гул все нарастал. Всюду — на церкви, на окнах казарм, на лазарете — развевались белые шелковые знамена с золотыми цветами лилии. Нет, никогда и не видел ничего величественнее.

Победы республики, пушки, грохотавшие над нашим городом, впоследствии тоже радовали, воодушевляли нас, и мы кричали: «Да здравствует Франция! Да здравствует народ! Да здравствует республика!» Но в тот час никто не думал о войне человеческой; люди воображали, что всего добьются одним махом, и братались.

Описать все это невозможно! Только мы приблизились к городу, глядь, на перекрестке двух улиц появляется кюре Кристоф во главе своих прихожан. Тут все останавливаются, скидывают шапки и в один голос кричат:

— Да здравствует добрый король!

Кюре и дядюшка Жан обнимаются; потом со смехом, пением, под звуки кларнета и барабанную дробь оба прихода вступают на площадь у городских ворот — там уже полно народу. Как сейчас, вижу на равелине часового Лаферского полка в белом мундире с отворотами стального цвета; его огромнейшую треуголку поверх пудреного парика, большой мушкет в руке. Он знаком приказывает нам остановиться. Мосты забиты повозками и телегами: все старики потребовали, чтобы их отвезли в ратушу, всем им хотелось подать голос прежде, чем умереть; многие плакали, как дети.

После этого никто не станет отрицать, что наши современники были люди поразительно здравомыслящие — все они, от первого до последнего, хотели иметь права.

Словом, мы проторчали там минут двадцать, пока не перенесли мост, — такая была давка.

Надо было видеть город, улицы полные народа, несметное множество знамен во всех окнах. Надо было слышать возгласы: «Да здравствует король!» Раздаваясь то на площади, то близ арсенала, то у немецкой заставы, они

громовыми раскатами перекатывались по крепостному валу и по откосам.

Пройдя под старой опускающей решеткой, ты уже не мог двинуться дальше, не мог и отступить — не видно было, что творится в четырех шагах от тебя. Все кабачки, трактиры, шивные лавки на улицах Святого Кристофа, Алого Сердца, Капуцинов, вдоль обеих казарм и лазарета, вплоть до рынка, где торговали зерном, запружены были густою толпой.

Началась месса в церкви Святого Духа; но протиснуться к церкви было невозможно. Дозорные Лаферского полка напрасно кричали: «Посторонись...» Их оттеснили в сторону, и они стояли с оружием к ноге и не могли выбраться.

Тут-то дядюшка Жан вспомнил, что поблизости трактир его друга Жака Ренодо, и, не говоря ни слова, поманил нас и довел кюре Кристофа, Валентина, батюшку и меня до трактира «Белая лошадь». Но войти удалось только через черный вход в кухню — большая горница была набита до отказа: пришлось распахнуть все двери и окна, так было душно.

Тетушка Жаннета Ренодо встретила нас приветливо и проводила на второй этаж, в еще пустую комнату, куда нам принесли вина, пива и пантет; большего и желать было нечего.

Остальные, оставшись вплзу, смотрели во все стороны, думая, что мы затерялись в толпе. Однако мы не могли позвать их, пригласить подняться. Так мы и оставались одни и вышли только в первом часу после полудня, когда добрая половина селений уже проголосовала, и жители Лачуг обогнули улицу Фуке и направились к площади. Пройдя по Лазаретной улице, мы оказались первыми у ратуши. Все подумали, что мы тут уже давно, и каждый твердил:

— Вот и они! Вот и они!

В старый обитанный дом с возокольнойей, с часами над большими открытыми настежь окнами и сводчатым потолком вливались целые толпы, и он гудел, как барабан. Издали он напоминал муравейник.

Жители Лачуг должны были пройти раньше жителей Лютцельбурга и столпились между старым водоемом и старой лестницей, ведущей под своды; Жан Леру, Валентин, отец и я шли во главе; но жители Вильнберга еще не закончили голосования, поэтому пришлось довольно

долго ждать на лестнице. И в ту минуту, когда сердце каждого колотилось при мысли о том, что ему предстоит сделать, и когда позади нас, под сенью старых вязов, после возгласов: «Да здравствует добрый король!» — воцарилась тишина, я услышал звонкий голосок, знакомый всем нам, — голосок Маргариты Шовель. Она выкрикивала, как обычно кричат продавцы альманахов:

— «Что такое третье сословие?»*, «Что такое третье сословие?» аббата Сийеса. Покупайте «Что такое третье сословие?»! «Собралие бальяжей» монсеньера герцога Орлеанского. Кому угодно «Собрание бальяжей»?

И я, обернувшись к дядюшке Жану, сказал:

— Слышите голос малютки Маргариты?

— Да, да, уже давно слышу, — ответил он. — Славные люди эти Шовели! Уж они-то могут похвалиться, что приносят пользу своему краю. Сходи-ка, предупреди Маргариту — пусть пошлет сюда отца. Должно быть, он где-то недалеко. Ему будет приятно услышать, как его выбирают.

И я, легонько раздвигая толпу локтями, пробрался на самый верх лестницы и оттуда увидел Маргариту, продавщицу книг, ее корзину на одной из скамеек, стоявших на площади Вязов. Вот ведь бесенок! Останавливает крестьян, тянет за рукав, говорит с ними то по-немецки, то по-французски. Делала она свое дело с пылом, рвением, и тогда впервые меня поразила блеск ее черных глаз, хотя в голове у меня теснились совсем иные мысли.

Я спустился прямо к скамейке, и, когда подошел к Маргарите, она, схватила меня за полу куртки, крича:

— Сударь, сударь! «Что такое третье сословие?»! Взгляните, вот «Третье сословие» аббата Сийеса, стоит шесть лшардов.

Тут я сказал:

— Так ты не узнаешь меня, Маргарита?

— Да это Мишель! — воскликнула она и, отпустив меня, от души расхохоталась.

Она отерла капельки пота, блестящие на ее смуглых щеках, и откинула назад концы черных спутанных волос. Неожиданная встреча нас поразила и обрадовала.

— Ну и работаешь же ты, Маргарита! Все это тебе немало труда стоит! — заметил я.

— Ах, да ведь сегодня такой великий день! Надо все книги продать.

И, показав мне на подол юбки и на свои маленькие быстрые ножки, забрызганные грязью, она добавила:

— Взгляни, на что я похожа! С шести часов вчерашнего вечера мы все ходим. Принесли из Люневилля пятьдесят дюжин брошюр «Третье сословие» и нынче с утра все продаем, продаем. Вот все, что осталось, — десять — двенадцать дюжин.

Она сняла от гордости, а я все удивлялся и не выпускал ее руку.

— А где же твой отец? — спросил я.

— Не знаю... Он бегает по городу, заходит в трактиры... Э, да у нас не останется ни одной брошюры «Третье сословие». Свои-то он уже паверняка распродал.

И вдруг, вырвав свою ручку из моей руки, она сказала:

— Ступай, жители Лачуг уже входят в ратушку.

— Да ведь мне еще нет двадцати пяти лет, Маргарита: я не могу голосовать.

— Ну все равно — мы зря теряем время за болтовней.

И она принялась за продажу:

— Эй, господа, «Третье сословие», «Третье сословие»!

Я ушел, так и не опомнившись от изумления: я всегда видел Маргариту рядом с ее отцом, и сейчас она показалась мне совсем иною. Ее мужество меня поразило, и я думал:

«Она лучше справляется со своим делом, чем ты, Мишель».

И даже среди толпы на галерее, добравшись до Жана Леру, я все еще думал о ней.

— Ну как? — спросил крестный.

— Да так, Маргарита одна на площади. Ее отец бегает по городу с брошюрами.

В эту минуту мы спустились с галереи в шпирный коридор, ведущий в приемную прево. Наступила очередь жителей Лачуг — голосовать полагалось вслух, и еще издали мы услышали:

— Мастер Жан Леру, Матюрен Шовель! Жан Леру, Матюрен Шовель! Мастер Жан Леру, Шовель!

Крестный с пылающим лицом говорил мне:

— Какая досада, что нет Шовеля! Вот был бы рад!

Обернувшись, я вдруг увидел, что он стоит позади нас вне себя от изумления.

— Все это вы устроили! — сказал он крестному Жану.

— Да, я! — радостно ответил крестный.

— Ваш поступок меня не удивляет, — проговорила Шовель, пожимая ему руку. — Вас-то я знаю давно. Зато я поражен и обрадован тем, что католики выбирают кальвиниста. Народ отбрасывает старые предрассудки. И он добьется победы!

Люди медленно продвигались вперед и, сделав петлю, по двое входили в большой зал. И вот я увидел, что все обнажили головы перед прево Шнейдером; это был человек лет пятидесяти, в черной мантии, окаймленной белым, с паночкой на голове и саблей на боку. Советники и свидетели в черных одеядах, с черным шарфом на шее сидели ступенью ниже. Позади них на стене висело распятие.

Вот и все, что я запомнил.

Один за другим, как удары часов, раздавались имена Жана Леру и Матюрена Шовеля. Первым назвал Никола Летюме и Шовеля дядюшка Жан. Его узнали, и г-н прево улыбнулся. Первым назвал Жана Леру и Летюме — Шовель, и его тоже узнали, но г-н прево, звавший его издавна, не улыбнулся, а помощник прево — Дежарден наклонился и прошептал что-то ему на ухо.

Я отошел вправо — ведь я еще не мог подавать голос.

Шовель, крестный Жан и я вышли вместе. С большим трудом мы снова пробивались сквозь толпу, вновь поднялись на площадь, куда только что пришли жители Мятельброна. Нам пришлось пройти задом, над навесом старого рынка. Тут Шовель с нами распростился, сказав: — До вечера в Лачугах. Там поговорим.

У него еще остались книжки для продажи.

Крестный Жан и я вернулись домой одни, погруженные в раздумье. Люди расходились, вид у всех был усталый, но радостный. Некоторые выжили лишнего, вели и размахивали руками, пагая по дороге. Отец и Валентин пришли очень поздно: вряд ли бы мы их быстро нашли, если б стали искать.

В тот же вечер после ужина Шовели, как всегда, пришел в харчевню «Три голубя». Шовель вынул из кармана объемистую пачку бумаг. Это были речи, которые нынче утром перед выборами произнесли в большом зале ратуши господин прево и его помощник, и постановление о явке в базильяк духовных лиц, дворян и представителей третьего сословия. Речь были прекрасные, и дядюшка Жан удивился — ведь люди, говорившие такие хорошие слова, пользовались у нас плохой славой. Шовель отвечал,

усмехаясь, что в будущем нужно установить такой порядок, чтобы слово не расходилось с делом. Эти господа теперь увидели, что народ стал сильнее, и заигрывают с ним. Но нужно, чтобы и народ понял свою силу и воспользовался ею, тогда справедливость восторжествует.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

А теперь я расскажу вам о том, о чем всегда думаю с удивлением, — о счастье всей моей жизни.

Но прежде надо вам сказать, что наши земляки, которых выбрали, чтобы составить наказ, изложить в нем наши жалобы и нужды, собрались и интре в Ликсгеймском бальяже. Жили они там на постоянных дворах. Крестьянин Жан и Шовель отиравались туда в понедельник утром, а возвращались только в субботу вечером — так продолжалось три недели.

Представьте же себе, какое возбуждение охватило весь край: в те дни люди во всеулышание говорили об отмене податей, соляной пошлины, рекрутчины, о голосовании поголовном или сословном и множестве таких вещей, о которых прежде никто и не помышлял. Эльзасцы и лотарингцы толпились в харчевне — пили, стучали кулаками по столу и горячились как одержимые. Так и казалось, что они вот-вот передуют друг друга, хотя и сходились на одном, как и все простые люди. Они хотели того же, чего хотели и мы, иначе без драки тут бы не обошлось.

Мы с Валентином работали в кузнице против харчевни; чинили телеги и подковывали лошадей проезжего люда. Случалось, я затевал спор с Валентином, так как он считал, что все погибнет, если господа и епископы потерпят поражение. Хотелось мне его переубедить, но духу не хватало огорчать — такой он был славный мальчик. Одно у него утешение и было — рассказывать о своем шалаше в лесу за Плоской горкой, где он подавлял свинц. В вересковых зарослях у него были расставлены силки, а в местах тяги раскинуты тенета с разрешения инспектора Клода Кудре, которому он время от времени в знак благодарности преподносил связку певчих дроздов или трясогузок. Вот какие пустяки занимали его в ту пору, когда



в страпе уже совершался великий переворот; он только и думал о своих мапках и все говорил мне:

— Подходит, Мишель, пора гнездования, а после гнездования начнем ловить птиц на дудочку. Затем жди прилета певчих дроздов, они стаями опускаются в Эльзасе, когда начинает созревать виноград. Год обещает быть хорошим, и если погода наладится, видимо-невидимо паловим.

Его длинное лицо расплывалось, большой беззубый рот улыбался; глаза округлялись — ему уже грезилась дрозды, вздернутые за шею сылками. Для тени он вырывал волосы из хвостов лошадей, которых мы подковывали.

Я же все раздумывал о важных делах, происходивших в бальяже, и главным образом об уираздне-

нии рекрутчины — в сентябре мне предстояло тянуть жребий, и это меня занимало всего больше.

Но все обернулось иначе.

Уже некоторое время, возвращаясь по вечерам к себе в лачугу, я заставал у нас тетюшку Летюмье с дочкой — они пряли вместе с моей матерью, сидя рядом с отцом, Матиорной и маленьким Этьепом, плетущими корзины. Соседки чувствовали себя как дома и засиживались до десяти часов. По тем временам Летюмье слыли богачами, земли в округе у них было вдоволь. Их дочь, Аннета-Кристина, видная свежая девушка с рыжеватыми волосами и белоснежной кожей, была славным созданием. Я часто видел, как она сует мимо кузницы с ведерком на руке — словно бы ходит за водой к водоему — и обо-

рачивается, ласково поглядывая на нас. Она носила короткую юбку, корсаж из красного полотна на лентах; руки у нее были оголены до локтей.

Все это я подметал, но не обращал на нее внимания, ничего не подозревая. Вечером, застав ее у нас за прялкой, я весело пошучивал, любезничал, как обычно любезничают парни, завидев девушек, — из учтивости и по молодости лет. Это так естественно, и никто не придает этому значения.

Но вот что однажды сказала мать:

— Послушай, Мишель, хорошо, кабы в воскресенье ты сходил на танцы в харчевню «Хоровод аистов». Да надень плюшевую куртку, красный жилет и прицепи брелок — серебряное сердце.

Я удивился и спросил ее — зачем? Мать, ухмыляясь и поглядывая на батюшку, ответила:

— Увидишь!

Отец плел корзину, думая свою думу. Он заметил:

— Летюрье — богатеи. Потанцуй с их дочкой: невеста завидная.

Услышав это, я смеялся. Не то, чтобы девушка мне не нравилась, нет — просто мне еще не приходила в голову мысль о женитьбе. И все же я, из любопытства, неразумия, а также из желания угодить батюшке, отвечаю:

— Воля ваша! Только я еще очень молод, рано мне жениться. Ведь я еще не прошел жеребьевку в рекруты.

— Верно, да тебе-то ничего не стоит пойти туда, а людям приятно будет, — говорит мать. — Это простая учтивость, и все тут.

Я говорю:

— Ладно.

И вот в следующее воскресенье после вечерни я отправляюсь на танцы. Спускаясь по склону, раздумываю обо всем этом и сам дивлюсь своему поступку.

В ту пору старая Пакотта, вдова Дьедоне Бернеле, содержала харчевню «Аистов» в Лютцельбурге, чуть левее деревянного моста. А позади, там, где теперь разбит сад, у подножья горы под буками, устраивались танцы. Собиралось много народу, потому что господин Кристоф был не таким, как многие другие кюре: он прикидывался, будто ничего не видит, ничего не слышит — даже звук кларнета, на котором играл Жан Ра. В харчевне пошивали белое эльзасское вино и ели жареное.

Итак, я спускаюсь на улицу, избегаю по лестнице во двор, поглядывая на девушек и парней, танцующих на террасе. Из первой беседы, увитой зеленью и стоявшей чуть повыше, меня окликает тетушка Летюмье:

— Иди сюда, Мишель! Иди сюда!

Красотка Аннета, увидев меня, залилась румянцем. Я взял ее за руку и приглашаю на вальс. Она воскликнула, вскинув на меня глаза:

— Ах, господин Мишель! Ах, господин Мишель!

Во все времена — и до, и после революции — девушки одинаковы; один им всегда правится больше других.

Я провальсировал с нею раз пять-шесть, уж не помню сколько. Мы смеялись. Тетушка Летюмье была предовольна. Аннета раздумиилась, потупила глазки. Разумеется, мы не вели политических разговоров, а шутили, пили вино, грызли немецкое печенье. Привольная у них была жизнь!

И я решил:

«Мать будет довольна — ее сынка станут хвалить».

Но часам к шести вечера мне все это прискучило, и я, не долго думая, спускаюсь на улицу и иду домой напрямик — сльшком между скал.

Жара для этого времени года стояла необычайная, все зеленело, цвело: фиалки, зуевники земляники и черники разрослись и покрыли зеленью тропинки. Прямо июль месяц! С той поры там ничего не изменилось, зато мне лет прибавилось, вот что!

Так вот, я взбираюсь на скалистое плоскогорье, выхожу на дорогу, отсюда уже видны крыши Лачуг, и замечаю впереди, шагах так в двухстах — трехстах, невысокую девушку, всю в белом пазете пыли. Она все шагает и шагает вперед, согнувшись под большой четырехугольной корзиной, перекинутой через плечо.

Да это Маргарита... Конечно, она!

И прибавляю шагу... бегу.

— Эй, Маргарита!

Она оборачивается; ее смуглое личико блестит от пота, волосы рассыпались вдоль щек, глаза сияют. Она заливается смехом и говорит:

— Э, да это ты, Мишель! Вот приятная встреча!

А я смотрю на толстый ремень, впившийся в ее плечо. И на душе у меня смятение.

— Ты, как видно, немало устал, — заметила она. — Издалека идешь?

— Да нет, из Лютцельбурга... с танцев.

— Ах, вот как, вот как, — сказала она, снова трогаясь в путь. — А я иду из Дабо, пересекла все графство. Там я продала «Третье сословие». Попала туда вовремя — только собрались депутаты общины. А позавчера утром я была в Ликсгейме, в Лотарингии.

— Какая же ты крепкая! — сказал я, шагая рядом с нею.

— Ну да, крепкая! Где уж там! Все же я чуточку устала. Но, знаешь ли, удар нанесен! Дела идут!

Она смеялась, но, должно быть, очень устала, потому что, подойдя к невысокой стене, что тянется вдоль старого виноградника, принадлежавшего Фюрсту, она прислонила корзину к краю и промолвила:

— Поболтаем немного, Мишель. И передохнем.

Тут я снял с нее корзину, поставил на стену, говоря:

— Что ж, давай передохнем. Ах, Маргарита, ремесло у тебя потруднее, чем у всех нас.

— Да, но зато дела идут! — отозвалась она, и тон ее, и взгляд были точь-в-точь отцовские. — Зато мы сможем сказать, что проложили дорогу! Мы уже отвоевали наши



старинные права, а теперь будем добиваться других. Пусть нам все возвратят, все! Пусть все будет равным... пусть налоги для всех будут одинаковы... пусть каждый добивается успеха, благодаря своим способностям и труду. И затем, пусть у нас будет свобода... Вот так-то!

Она смотрела на меня. Я был восхищен и думал: «Что мы, все остальные, собой представляем, по сравнению с этими людьми? Что сделали для страны? Что претерпели?»

Глядя на меня снизу вверх, она добавила:

— Да, вот такие дела! Наказы почти готовы, и мы будем продавать брошюры тысячами. А пока я хожу одна. Мы ведь живем нашим делом, и мне приходится работать за двоих, потому что отец теперь работает для всех. Позавчера я отнесла ему двенадцать ливров, на неделю ему хватит, а заработала пятнадцать. Я еще четыре заработала, так что у меня осталось семь ливров. Послезавтра пойду повидаться с ним. Дело пойдет! А во время созыва Генеральных штатов мы продадим все речи, которые там будут произнесены, — третьим сословием, разумеется. Мы не отступим... нет! Нужно действовать с умом! Пусть народ все знает, пусть люди просвещаются. Понимаешь?

— Да, да, Маргарита, — отвечал я, — ты говоришь, как твой отец: ваши речи меня до слез проникают.

Она сидела на стене, прислонившись к корзине. Солнце заходило; небо, со стороны Миттельбронна отливавшее золотом, было в багряных разводах; не виднелось ни облачка, а слева, над развалинами древнего Люцельбургского замка, поднималась бледная, голубоватая луна. Я все смотрел и смотрел на Маргариту — она приумолкла и тоже любовалась закатом, глядя в небо и облокотившись на корзину. Она заметила, что я не свожу с нее глаз, и воскликнула:

— Верно, я вся в штыли?

Вместо ответа я спросил:

— А сколько тебе исполнилось лет?

— В первый день осени, через две недели, исполнится шестнадцать. А тебе?

— Уже минуло восемнадцать.

— Да ты сплач, — заметила она, прыгнув со стены и перекинув ремень через плечо. — Помоги-ка... вот так.

Я поднял корзину и, убедившись, что она невероятно тяжела, сказал Маргарите:

— Ого! Для тебя тяжеловато! Дай-ка я понесу.

Но она уже шла, согнувшись под тяжестью ноши, и, искоса взглянув на меня, улыбнулась и ответила:

— Ну, ноша не тянет, когда трудиться, чтобы завоевать свои права. И мы их обретем!

Я не решился ответить... мое сердце было в смятении... Я восхищался Шовелем и его дочерью, мысленно превозносил их до небес.

Маргарита уже не казалась усталой; время от времени она говорила:

— Да, там, в Ликсейме, дворяне и монахи крепко заццицались. Но им ответили — сказали, как о них думают. И все это отметят в наказе — ничего не пропустят. Король узнает все, что думают люди, весь народ. Да вот только посмотрим, что это будут за Генеральные штаты. Батюшка говорит, что все будет хорошо, и я верю. Посмотрим! И поддержим своих депутатов — они могут на нас положиться!

Мы дошли до Лачуг. Я проводил Маргариту до самых дверей. Уже стемнело. Она вынула из кармана большой ключ и сказала, входя в дом:

— Вот и еще день миновал. Ну, спокойной ночи, Мишель!

И я ушел, пожелав ей доброй ночи.

Дома меня ждали. Когда я вошел, родители взглянули на меня, а мать спросила:

— Ну, как?

— Да так, мы танцевали.

— Ну, а потом?

— Потом я ушел.

— Один?

— Да.

— Ты их не подождал?

— Нет.

— И ничего им не сказал?

— А что я должен был, по-вашему, сказать?

Тут мать рассердилась, раскричалась:

— Ну, и дурень. А эта девчонка еще дурее, раз тебя выбрала. Да что мы такое по сравнению с ними?

Она даже побелела от ярости. Я же смотрел на нее спокойно и молчал. Отец произнес:

— Оставь Мишеля в покое и не кричи так!

Но она, пропустив его слова мимо ушей, не унималась:

— Нет, видали вы такого болвана? Вот уже полгода я стараюсь заманить к нам эту долговязую ведьму Летиюме — хочу мальчишке добра. Старая сквалыга только и твердит о своих землях, конопляниках, коровах!.. И я все сношу... Я терплю. И вот, когда дело уже на мази, когда все у голодранца в руках, он отказывается! Верно, воображает себя важным сеньором, думает, за ним побегут. Ах ты, господи, и родятся же такие дурни в семье: как подумаешь, дрожь пробирает.

Я хотел было возразить, но она закричала:

— Молчи уж! Околеть тебе на навозной куче и нам вместе с тобой!

Я промолчал, и она принялась снова:

— Значит, сеньор отказывается. Вот и корми всю жизнь Никола да Мишелей, бездельников, которых ничего не стоит обвести вокруг пальца. Ясно — и этого где-то обведи... потаскушек-то у нас в краю немало. Раз отказывается, значит, другую он любит.

Мать обернулась, держа метлу в руках, и с раздраженным взглядом на меня. Больше слушать я не мог и, поблуднев, стал подниматься по лестнице — после отъезда Клода мы с Этьеном спали наверху, под крышей. Я был в отчаянии, а мать снизу кричала:

— Ага, убегаешь! Правда глаза колет, верно ведь, мерзкий оборванец? Духу нет остаться!

Я задыхался от обиды и, бросившись в большой старый ящик, закрыл лицо руками и все шептал:

— О господи, это просто немыслимо!

А мать кричала все громче:

— Ну и болван, ну и негодяй!

Батюшка старался ее утихомирить. Долго это длилось. Слезы заливали мне лицо. И только к часу ночи в лагуче все стихло, но я не спал — горько мне было. Я раздумывал:

«Вот, значит, как... с десяти лет работаешь... Все остальные разъезжаются, ты же остаешься. Выплачиваешь долги за всю семью, все отдаешь до последнего лиарда, чтобы поддержать стариков, а вот не захотел жениться на этой девице, прибрать к рукам ее добро, не захотел жениться на конопляном поле, и ты уже никуда не годишь, превратился в Никола, дурака, прохвоста!»

Я негодовал. Малыш Этьен сладко спал рядом. Я же не мог сомкнуть глаз. Со всех сторон я обдумывал про-

последнее, меня даже пот прошиб — стало душно на чердаке, воздуха не хватало.

И вот в четвертом часу я встал и спустился по лестнице. Батюшка не спал и окликнул меня:

— Это ты, Мишель? Уходишь?

— Да, батюшка, ухожу.

Очень хотелось бы мне поговорить с ним — добрейшим, честнейшим человеком на свете. Но что я мог сказать ему? Мать тоже не спала, ее глаза блестели в темноте. Она не проронила ни слова, и я вышел. В долине клубился туман. Я пошел по пастушьей тропе среди нависших скал. Утренняя прохлада пробиралась сквозь блазу, освежая меня. Я шел, куда глаза глядят. Бог знает, о чем я тогда раздумывал. Хотелось бросить Лачуги, отравиться в Савери или в деревню Четырех Ветров — ведь подмастерье кузнеца без работы не останется. Мысль о разлуке с Матюриной, с малышом Этьеном, с батюшкой терзала мне сердце, но я знал, что мать до окончания веков не забудет о тучных пакнях Петюмье и всю жизнь будет меня попрекать. Сколько мыслей проносится в голове в такие минуты! Потом об этом не думаешь, не хочешь думать, забываешь.

Вот что осталось у меня в памяти: в пятом часу, когда вывала роса, взошло солнце — дивное весеннее солнце. Утренняя свежесть умиротвердила меня, и я воскликнул:

— Мишель, ты останешься... Все перенесешь. Нельзя бросать отца, брата Этьена, сестренку. Твой долг — их поддерживать. Пусть себе мать бранится... ты останешься!

Погруженный в свои мысли, я возвращался в деревню, пересекая небольшие виноградники и сады, растущие на склоне. Мое решение крепло. Алая восход. Все сильнее пригревало солнце; пели птицы, роса сверкала на кончиках листьев. Медленно поднимался в небо белый дымок нашей кузицы: значит, Валентин уже встал!

Я пошел быстрее. Подхожу к деревне и вдруг слышу, что за живой изгородью, окаймляющей тропу, кто-то копает землю. Да это Маргарита вскапывает под картофель часть своего маленького огородика, позади дома. Я удивился, вспомнив, как она устала вчера вечером, и остановился у изгороди. Долго я смотрел на Маргариту, и чем больше смотрел, тем больше ею восхищался.



Вот она какая — трудолюбивая, сильная духом. На ней коротенькая юбка и неуклюжие сабо, она поглощена работой. И я словно впервые увидел ее смуглые круглые щеки, невысокий лоб под кошной прекрасных темных волос, выющиеся пряди над бровями, а у висков — легкий пушок в бусинках пота. Она — вылитый отец: ноги и руки мускулистые, тонкий сильный стан. Сжав губы, она ногою в сабо упирается в заступ, да так, что корни трещали. Солнечный свет, пронизывая кроны высоких цветущих яблонь, падал на нее вместе с трепетной тенью листвы. Над землей стояло марево, все сверкало: чувствовалось, что день выдается знойный.

Долго я глядел на Маргариту, и мне вспомнились слова матери: «Другую он любит». И я сказала себе: «Да, это правда, люблю другую! Нет у нее ни полей, ни лугов, ни коров, зато есть сила духа. Она будет моею женой. Все

остальное мы приобретем. Но сначала нужно завоевать ее, и я ее завоеваю своим трудом».

С той минуты мое решение не менялось; я уважал Маргариту еще больше, чем прежде, а мысль, что она может стать женою другого, мне никогда не приходила в голову.

И вот, решив добиться цели, я, как люди, спускавшиеся по тропе на работу в поле, отправился дальше, исполненный твердости, непреклонности и душевной радости. Я свернул на улицу. Валентин поджидал меня у кузницы, засучив рукава на длинных худых руках, с обнаженной грудью и шеей.

— Расчудесная погода, Мишель, — крикнул он, завидев меня. — Расчудесная погода! Жаль, нынче не воскресенье, а то бы прошлись по лесу.

— Да, но нынче понедельник, дядюшка Птицелов, — со смехом ответил я, снимая блузу. — Какая работа на утро?

— Старик Ранцау принес вчера вечером две дюжины топоров поточить — повезет их в Гарберг, и еще ступицу надо сделать для тележки Кристофа Бема.

— Ну что ж, пожалуй, пора начинать, — заметил я.

Никогда я еще не работал с таким рвением. Железо было уже на огне. Валентин взял щипцы и маленький молот, я — обух, и мы принялись за работу. Так всегда бывало у меня в жизни: всякий раз, когда мне ясно представлялась цель, я не погружался в мечты, не шел по проторенному пути, а решительно брался за дело, требующее неунышных попечений и душевных сил, и у меня всегда появлялось отменное расположение духа — я пел, свистел и рьяно орудовал молотом. Скучно живется на свете, когда нет у тебя цели. А цель, стоявшая передо мною, была необыкновенно заманчивой.

Однако же не думайте, что в 1789 году мне удалось добиться ее — о нет! В то же утро, в седьмом часу, когда Маргарита прошла мимо кузницы со своей тяжелой пошлей, отправляясь продавать брошюры, Валентин навел меня на мысль, что дело я задумал не шуточное. Разумеется, он ничего не подозревал, потому-то каждое его слово было для меня особенно важно.

— Взгляни-ка, Мишель, — заметил он, указывая на маленькую фигурку, уже видневшуюся на тропинке выше Лачуг, — вот ведь ужас: шестнадцатилетняя девочка

тащит на плечах такую пошу. Идут себе и в дождь, и в снег, и в жару, мужественны, непреклонны, не отступят перед испытанием. Не будь они еретиками, были бы мучениками. Но по паущению дьявола они продают богомерзкие книжочки, дабы уничтожить нашу святую религию и порядок, установленный творцом в нашем бренном мире. Не воздаяния они заслуживают, а веревки.

— Да ты что, Валентин! Веревки! — воскликнул я.

— Да, веревки, — повторил он, поджимая губы с недоброй усмешкой. — и даже костра, если уж говорить по справедливости. Как же нам их зацпцать, раз все их помыслы, вся их честность, все мужество оборачиваются против нас? Они подобны волкам и лисам: чем больше они выказывают хитрости, тем несешнее надо их уничтожать. Были бы они слуны, как бараны, не были бы так опасны — напротив, их бы стригли и заботливо содержали в хлеве. Да кальвинисты ничего не слушают, для нас они — суущий бич.

— Да они ведь — божьи творения, как и мы, Валентин.

— «Божьи творения!» — воскликнул он, воздевая к небу свои ручки. — Были бы они божьими творениями, священники не отказывали бы им в свидетельстве о рождении, бракосочетании, смерти. Не хоронили бы их в чистом поле, вдали от освященной земли, будто скотину, не мешали бы занимать должности, как говорил сам Шовель. Никто бы против них не оштался. Нет, Мишель! Тяжело мне это — ведь, кроме торговли ювжками, не в чем их упрекнуть — но хозяин Жан напрасно их привечает. Шовель влохо кончит; слишком он старается. Наши односельчане — ослы, выбрали его. Попомни мое слово: как только порядок восстановится, в первую очередь схватят Шовеля и его дочку, и может статься, и самого хозяина Жана, и всех нас, чтобы мы замаливали свои грехи, сидя в остроге. И-то не заслужил этого, но тем не менее признаю справедливость короля. Справедливость остается справедливостью. И поделом нам будет. Прискорбно... но справедливость прежде всего.

Он согнул длинную спину и, с благочестивым видом соединив ладони и закрыв глаза, погрузился в размышление, а я подумал:

«Ну и тушца! Его слова противоречат здравому смыслу».

И все же я понимал, что все были бы против меня, по-сватайся я к Маргарите, и жители Лачуг, пожалуй, закидали бы меня камнями. Но все это было мне безразлично — моя решимость меня самого удвигала.

Вечером того же дня, когда наступило время возвращаться домой, я пошел без страха и готов был выслушать от матери все, что угодно, не прекословя. Когда я подходил к нашей дачуге, меня встретил отец — бледный, неуверенный, и знаком попросил войти в глухой закоулок между виноградниками, чтобы никто нас не заметил. Я пошел вслед за ним, и бедный мой старик сказал дрогнувшим голосом:

— Мать раскричалась вчера, сынок. Ох, это ужасно! Что ты теперь предпримешь? Покинешь нас, да?

Он без кровинки в лице смотрел на меня. Видя, что он все себя от волнения, я ответил:

— Нет, нет, батюшка! Да разве я покину вас, мальчика Этьена и Матюрину? Этому не бывать.

Лицо бедняги просияло от радости — он словно ожил.

— Ах, как хорошо, — воскликнул он. — Я так и знал, что ты останешься, Мишель... Как я доволен, что поговорил с тобою! Она не права! Чересчур уж своевольна. Ах, и натерпелся же я из-за этого... Но как хорошо, что ты остаешься... Как хорошо!..

Он держал меня за руку, а я, растроганный до глубины души, повторял:

— Да, остаюсь, батюшка, пусть себе мать бранится — она мне мать, и я перечить не стану.

Тут он успокоился.

— Вот и хорошо! — промолвил он. — Только знаешь что, подожди-ка здесь немного. Я поднимаюсь один — ведь если мать увидит нас вместе, уж она сорвет на мне злобу, пошмаешь?

— Понимаю, батюшка, ступайте.

Он тотчас же вышел из закоулка, а несколько минут спустя я как ни в чем не бывало отправился вслед за ним и вошел в хищину. Мать сидела в глубине комнаты у очага и прила, поджав губы. Разумеется, она думала, что я скажу ей что-нибудь... сообщу об отъезде. Она следила за мною своими блестящими глазами, готова была меня проклясть. Крошка Матюринна и Этьен сидели у ее ног и плели корзину, не смея поднять головы. Отец колот

дрова, не коса поглядывая на меня, но я сделал вид, будто все это меня не касается, и только сказал:

— Доброй ночи, батюшка, доброй ночи, матушка. Ниче я отец устал — изрядно поработали в кузне.

И я взобрался по лестнице на чердак. Мне не ответили; я улегся довольный своим решением и в ту ночь спал крепким сном.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

На следующее утро, спозаранок идя на работу, я увидел, что в харчевне «Три голубя» уже полно народу. Люди наводнили дорогу — одни ехали в повозках, другие шли пешком. Распространился слух, что близится к концу составление наказа с нашими жалобами и пожеланиями, и его должны отправить в Мед, дабы соединить с наказами из остальных балляжей.

В первый же день выборов многие депутаты бальяжа вызвали жен и детей в Лисегейм; а теперь они держали путь домой, довольные, что возвращаются в свои гнезда.

Многоходом они кричали:

— Дело сделано... вечером вернутся остальные... Все в порядке.

Мы с Валентином радовались, что скоро увидим дядюшку Жана в кузнице. Когда проработаешь десять лет вместе, за три недели соскучишься по добродушному толстяку, который время от времени покрикивает:

— А ну-ка, ребята, живее!

Или же:

— Перерыв! Малость передохнем!

Да, как будто чего-то не хватает, все не ладится.

Мы повесили на гвоздь куртки и, обсуждая добрую весть, поглядывали на людей, толпившихся у харчевни. Николь и тетушка Катрина вынесли стулья, помогая женщинам спуститься с телег. А потом начались поздравления, поклоны — все женщины издавна знали друг друга, во с той поры, как их мужей выбрали в депутаты, они стали отвечать друг другу поклонов еще больше, держаться еще учтивее, называть друг дружку «сударыня».

Валентин хохотал до упаду.

— Смотри-ка, Мишель, вот графиня Престофиля... а вот баронесса фон Остолоп... да ты посмотри. Ну, теперь-то мы с тобой научимся хорошим манерам.

Он не упускал случая поиздеваться над простыми людьми; глядя, как женщины приседают, он смеялся до слез и все повторял:

— Подходит им это, как кружева Проньре — ослице отца Бенедикта... Вот негодяи! Подумать только — чернь смеет восставать против его величества короля, королевы и властей предержащих! Подумать, что они требуют прав!.. Показал бы я вам ваши права, уж показал бы! Послал бы вас ко всем чертям, а были бы педовольны, удвоил бы швейцарские войска да козную жандармерию.

Он рассуждал вполголоса, раздувая мехи и щипцами держа железо на огне. Я наперед знал все его мысли, ему надо было говорить, чтобы понять самого себя, и я над ним потешался.

Наконец мы слова принялись за дело; наковальня звенела уже три часа, искры разлетались, и мы думали только о работе, как вдруг в пизенькой двери появилась легкая тень. Я обернулся: это была Маргарита. В переднике у нее что-то лежало. Она промолвила:

— А я принесла вам работу... У меня сломался заступ. Не могли бы вы починить его к вечеру или к завтрашнему утру?

Валентин взял зазубренный заступ — железная шейка совсем отошла от черевка. А я был так рад — Маргарита смотрела на меня, я ей улыбался, как бы говоря:

«Не беспокойся... Я-то все наилучшим образом устрою. Увидишь мою работу».

Она тоже мне улыбнулась, чувствуя, как мне приятно оказать ей хоть небольшую услугу.

— К вечеру и даже к утру сделать нельзя, — проговорил Валентин. — Завтра к вечеру, пожалуй...

— Что вы! Что вы! — воскликнул я. — Тут не так уж много дела! Правда, работы у нас много, но заступ для Маргариты — прежде всего. Предоставьте это мне, Валентин, я справлюсь.

— Э, да сделай одолжение, — ответил он, — только это займет у тебя больше времени, чем ты думаешь, а мы спешим.

Маргарита сказала, усмехаясь:

— Значит, я могу на тебя положиться, Мишель?

— Да, да, Маргарита. К вечеру заступ у тебя будет.

Она ушла. А я тотчас поставил маленькую наковальню на чурбан, положил старый заступ на огонь и схватил ручку поддувама. Валентин удивленно смотрел на меня — мое рвение его поразило; он молчал; и же чувствовал, что краснею до корней волос. Тогда я занял несню кузнецов:

Куй, кузнец, твой гори пылает...

Валентин, как обычно, стал вторить мне басом, соия и изалобно растягивая каждое слово на манер старинных подмастерьев. Наши молоты ударили в такт, и от одной мысли, что я работаю для Маргариты, радость переполнила мое сердце. Право, я в жизни не работал лучше; молот взлетал, едва коснувшись наковальни, железо поддавалось, как тесто.

Я ковал заступ сначала горячим, а потом холодным способом, придал ему красную четырехугольную форму, чуть удлиненную, изыщную — в виде ласточкина хвоста, провел точно посередине линию, а шейку закруглил и приковал так тщателью, что Валентин все поглядывал на мою работу и бормотал:

— Да, каждому свое! У хозяйна Жава нет равных по выделке подков, у меня намезан глаз на колесные ободья и ступицы. Да, это дар господень, и говорить нечего. А парень будет мастером по заступам, лопатам, вилкам да лемехам для плугов. Это его дело, тут уж — искра божья.

Он ходил взад и вперед, оборачивался и не раз спрашивал:

— Может, подсобить?

— Нет, нет, — отвечал я, прегордый и предвольный, — видел сам, что работа спорится.

И снова запевал:

Куй, кузнец...

Каждый делал свое дело.

И вот в пятом часу заступ был готов. Он блестял, как серебряное блюдо, и звенел, как колокольчик. Валентин взял его, долго взвешивал и, поглядев на меня, сказал:

— Старик Ребсток из Рибоньера, тот, что находит сбыт своим косам, заступам и лемехам для плугов даже в Швейцарии, сам старик Ребсток поставил бы на этом заступе свое прописное «Р» и сказал: «Сделано мною». Да, Мишель, Шовеля могут похвалиться красивым и прочным

заступом — просуществует он, пожалуй, дольше их самих. Знаешь, это твоя первая мастерски сделанная вещь.

Сами понимаете, как я был доволен — ведь Валентин знал толк в деле. Однако его похвалы ничего не стоили по сравнению с той радостью, которую я испытывал, собираясь отнести заступ Маргарите. Не хватало еще рукояти — мне хотелось сделать новенькую, ясеневую. И я, не откладывая, побегал к нашему соседу, старому токарю Ринго — он тотчас же принялся за работу, надев на нос свои большие очки. Он сделал рукоять, какую мне хотелось: ровную, складную; ручка получилась небольшая, посажена была надежно, — словом, вещь вышла легкая и крепкая. Я тут же уплатил за работу и, вернувшись в кузницу, поставил заступ за дверь — в ожидании вечера.

В седьмом часу, вымыв руки, лицо и шею у насоса перед кузницей и пенароком взглянув на улицу, я увидел Маргариту — она сидела на лавочке около дома и собиралась чистить картошку. Я показал ей издали заступ и, довольный-предовольный, мигом очутился около нее, крикнув:

— Вот он... ну, что скажешь, Маргарита?

Она взяла заступ и смотрела на него как зачарованная. У меня дух захватило.

— Это, верно, Валентин сделал, — промолвила она, взглянув на меня.

Я залился краской и ответил:

— Значит, ты думаешь, что я ничего не умею делать?

— Да, пет... но уж очень красиво!.. Знаешь ли, Мишель, из тебя вышел хороший мастер!

Она улыбнулась, и мне стало так радостно, когда она промолвила:

— Однако вещь очень дорогая... Сколько же я тебе должна?

Услышав это, я словно унал с небес на землю и с досадой ответил:

— Видно, ты хочешь обидеть меня, Маргарита? Как же так — я работаю для тебя, приношу заступ в подарок. Мне так приятно доставить тебе удовольствие, а ты спрашиваешь, сколько это стоит?

Тут, увидев мое огорченное лицо, она воскликнула:

— Но ты неразумен, Мишель: всякий труд заслуживает оплаты. И, кроме того, уголь дядюшки Жана чего-то стоит, да и вдобавок ты обязан отработать ему дель.

Она была права, я это видел, но все же возражал:
— Нет... нет... не так это.

Я было даже вспыхнул, как вдруг появился пананна Шовель в серой рабочей блузе, с палкой в руке. Он положил мне руку на плечо и спросил:

— Ну-ка! Ну-ка, в чем дело, Мишель? Вы тоже, значит, споры затеваете, а?

Он возвращался из Ликсгейма и весело смотрел на меня, а я онемел — был смущен невероятно.

— Видишь ли, — сказала Маргарита, — он починил заступ, а брать деньги не хочет.

— Ах, вот как! Отчего же? — спросил Шовель.

Но счастью, меня осенила удачная мысль, и я воскликнул:

— Нет, вы нишчем не заставите меня взять деньги, господин Шовель. Да разве вы не одажикивали мне сотни раз книги? Разве не устроили мою сестру Лизбету на место в Васселонге? А теперь разве не помогаете всему нашему краю добиваться своих прав? Я работал для вас из дружбы, из благодарности и посчитал бы себя негодием, кабы сказал вам «платите столько-то». Не могу я так.

Не сводя с меня своих маленьких глазок, Шовель ответил:

— Хорошо... хорошо... Но ведь я-то делаю все это не ради того, чтобы люди даром мне все давали. Если б я действовал в расчете на это, то тоже считал бы себя негодием... Понятно, Мишель?

Тогда, не зная, что ответить, я сказал, чуть не плача:

— О господин Шовель, вы так огорчаете меня!

Тут он, как видно, расстроганный, ответил:

— Да нет же, Мишель, огорчать тебя я не намерен, и считаю тебя достойным, честным парнем, и в доказательство принимаю твой подарок. Правда ведь, Маргарита, мы вместе с тобой принимаем?

— О, конечно, — отозвалась она, — ведь это ему так приятно, что отказывать нельзя.

Потом Шовель осмотрел заступ и похвалил мою работу, присовокушив, что я хороший работник и он надеется, что я стану мастером и добьюсь успеха в делах. Я повеселел; когда же он вошел в дом, пожав мне руку, а Маргарита крикнула мне: «До свиданья и спасибо», — все обиды были забыты. Я был доволен своим удачным ответом, — когда я говорил, взгляд Шовеля поверг меня в

смятенно; и если бы доводы мои были убедительны, он, пожалуй, вообразил что-нибудь другое. И я даже решил, что это мне наука быть поосторожнее и тщательно скрывать думы о Маргарите до того дня, когда я смогу ее по-сватать.

Так размышляя, я возвращался в харчевню. Когда я вошел в большую горницу, дядюшка Жан, только что вернувшийся, вешал шляпу в шкаф и кричал:

— Николь, Николь... принеси-ка мне вязаную куртку и колпак. Эх, приятно надеть свою старую одежонку и сабо. Эге, да это ты, Мишель! Вот мы все и вернулись... Наши молоты загремят снова... Должно быть, запаздываете с работой?

— Да не очень, хозяин Жан, мы выполняли срочную работу. Спешно сделали вчера вечером наугольщики — заказ из Дагеберга.

— Ну что ж, тем лучше, тем лучше!

Вопила, сияя от радости, тетушка Катрина и спросила:

— Ну как, с этим покончено, Жан? Совсем покончено? Ты больше туда не собираешься?

— Нет, Катрина, слава богу. Хватит с меня почестей. Теперь дело наше в шляпе; наказ отирается послезавтра. Но все это стоило труда, и, кабы не Шовель, боу знает, что было бы с нами. Ну, и человек! Он знает все, обо всем сказать может. Для Лачуг честь послать такого человека. Все депутаты из других бальяжей выбрали его в первую голову, чтобы отправить наши жалобы и пожелания в Мец и поддержать их, выступив против тех, кто вздумал бы их отклонить. Никогда, покуда существуют Лачуги, не будет для них такой большой чести. Теперь Шовель известен повсюду и все знают, что мы сделали его, что он живет в Лачугах-у-Дубняка и что у людей из наших краев хватило здравого смысла — они признали его ум, несмотря на его вероисповедание.

Хозяин Жан говорил, надевая сабо, старую куртку и отдуваясь:

— Да, из сотен депутатов в бальяжах третье сословие выбрало пятнадцать, чтобы отправить наказ, и Шовель был четвертым! И вот теперь нужно это отпраздновать, слышите? Устроим шпр для друзей из Лачуг в честь нашего депутата Шовеля. Все уже готово. Я предупредил

Летюмье и Кошара — встретил их в трактире «Золотое яблоко» в городе и пригласил, да поручил им пригласить остальных. Для такого случая вызволим на свет божий бутылки старого наилучшего вина, угостить надо на славу. Николь сегодня вечером отправится к Куницу на рынок и привезет шесть фунтов хорошей говядины, три фунта котлет и два сочных жиго. Скажешь, что для хозяина «Трех голубей», Жана Леру. А жиго сделаем с чесноком. Будут у нас соевски с кашустой, да надо снять с крышка окорок побольше, приготовить салат повкуснее, подать сыр, орехи. Все будут довольны. Пусть весь край знает, что Лачугам выпала честь послать в Мец четвертого депутата от бальяжа, человека, никому не ведомого, которого только мы знали и мы выбрали, — а он, подерживая права народа, один сделал больше, чем полсотни иных прочих. Но мы поговорим обо всем в другой раз. Шувель заткнул рот старейшим прокурорам, искуснейшим адвокатам и именитейшим богачам наших мест!

Дядюшка Жан, разумеется, чуточку перехватил по дороге, потому что говорил сам с собою, размахивая могучими руками и раздувая румяные щеки, как делал всегда, хорошо отобедав. Мы слушали с удивлением и восхищением.

Николь стала накрывать на стол к ужину, и тут во дворилась тишина: каждый раздумывал о том, что сейчас услышал.

Когда я уже собрался домой, Жан Леру сказал мне:

— Передай отцу, что его приглашает старый товарищ, Жан Леру, — ведь мы с ним старинные приятели: вместе отбывали военную службу в пятьдесят седьмом. Так ему и скажешь. Значит, завтра ровно в полдень, слышишь, Мишель!

Он держал меня за руку, и я отвечал:

— Да, дядюшка Жан; вы нам оказываете большую честь.

— Когда приглашаешь таких достойных людей, как вы, — возразил он, — самому себе оказываешь честь и удовольствие доставляешь. Ну а теперь доброй ночи!

И вышел. Мне еще не доводилось слышать от крестного таких добрых слов об отце, и я полюбил Жана Леру еще сильнее, если только это было возможно.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Вернувшись домой, я сказал родителям, что мы с отцом званы завтра на обед к дядюшке Жану со всеми именитыми людьми из Лавуг. Родители поняли, какая нам оказана честь, и отец расчувствовался. Долго он вспоминал о военной службе в пятьдесят седьмом году, когда они вместе с Жаном Леру прошли рука об руку по городу с трехцветными лентами на треуголках, и о моем крещении, когда его старый товарищ согласился быть крестным отцом. Он вспоминал все до мельчайших подробностей, восклицая:

— Эх, хорошее было времечко! Хорошее было времечко!

Мать тоже была довольна, но она сердилась на меня, и, не выдавая своей радости, продолжала молча пряхать. Однако утром наши белые рубашки и праздничная одежда уже лежали готовыми на столе — мать спозаранок все перестирала, пересушила, привела в порядок. И когда к полудню отец и я спускались по главной улице рука об руку, она, стоя на пороге, смотрела нам в след и кричала соседям:

— Она идет на званый обед с именитыми людьми, к господину Жану Леру!

Бедный старенький отец опирался на мою руку и говорил, улыбаясь:

— Мы нынче принарядились, как в день выборов. С той поры с нами беды не случилось, только бы так и продолжалось, сынок. Поостережемся нашего языка: на званых обедах болят много лишнего. Будем осмотрительны, слышишь?

— Да, батюшка, будьте спокойны — слова лишнего не вымолвлю.

Батюшка всю жизнь дрожал, как дрожит бедный заяц, которого многие годы гоняют с одной вересковой пустоши на другую. И сколько же людей в те времена приходили на него! Почти все старые крестьяне, жившие под властью господ да монастырей, хорошо знали, что справедливость не для них. В любом предприятии нужно, чтобы за дело взялась молодежь во главе с людьми бывальными и ушорными, как Шовель, который никогда не изменит мнения и не отступит. Если б крестьянам пришлось совершать

революцию 89-го года в одиночку и если бы не начали ее буржуа, мы бы так и застряли в 88-м. Что подсластони: когда пострадаешь — теряешь мужество; вера в себя приходит с удачей. Да и образования нам не доставало.

В тот день мне довелось увидеть, что творит доброе вино. Еще виагах в ста от харчевни мы услышали раскаты хохота и веселье возгласы наших почтенных односельчан, явившихся раньше нас. Легран, Летюмье, Кошар, каретник Клод Гюре, Готье Куртуа, бывший канонир, и хозяин Жан вели беседу, стоя у большого стола, накрытого белой скатертью. Мы вошли и были просто ослеплены — графины, бутылки и разрисованные тарелки из старинного фаянса, вилки и ножи, начищенные до блеска, все сверкало и переливалось с одного конца стола до другого.

— А, вот и мой старый приятель Жан-Пьер, — воскликнул дядюшка Жан, шагнув нам навстречу.

На нем был кафтан цеха кузнецов с гусарскими пуговицами, завитой шарик, в крушных волнах на затылке, открытая рубашка, широко штаны, вздувавшиеся на брюшке, перстяные туфли и башмаки с серебряными пряжками. Его мяснотые щеки подрагивали в довольной улыбке, и, положив руки на плечи отца, он воскликнул:

— Ах, любезный мой друг Жан-Пьер, как же я рад видеть тебя! Гляжу на тебя и вспоминаю былое.

— Да, — отвечал батюшка со слезами на глазах, — доброе время нашей военной службы, не правда ли, Жан? Я тоже иногда вспоминаю о нем; ему уже не вернуться!

Тут Летюмье с треуголкой набекрень, в просторном коричневом кафтане, свисавшем на худые ляжки, в красном жилете со стальными пуговицами, позвякивающими, как цимбалы, принялся кричать:

— А оно вернулось, Жан-Пьер: позавчера все мы выгнали в бальяже. Своего добились! Да здравствует веселье!

Он подбросил треуголку к потолку, а все остальные засмеялись, поглядывая на бутылки, выставленные в ряд — сердце у них просто колотилось от радости. Каждый то и дело поворачивал голову, будто ему надо было выморкаться, а сам украдкой считал бутылки.

Дверь в кухню из горницы была отворена: в очаге багряным пламенем пылал огонь, два сочных жгго медленно вращались на вертеле, и жир, шипя, стекал в противень. Тетушка Катрина, в пыльном белом чепце, с засученными рукавами, все хлопотала — то несла, прихватив передником, блюдо с жарким, то со сладким пирогом. Николь, перевернув большой железной вилкой мясо в кастрюлях, встряхивала в уголке корзину с салатом. По дому разнесился запах вкусной сведки. Кто бы мог подумать, что трактирщик Жаг на славу угостит простых людей — своих уважаемых односельчан. Впрочем, этот бережливый и трудолюбивый человек при важных обстоятельствах не считался с расходами; а раз он хотел завоевать уважение в округе, то что могло быть важнее отменного угощения, которое он приготовил для всех тех, кто на выборах в бальяже выдвинул его и друга его Шовеля. Все добрые буржуа в мое время поступали точно так же; это было лучшим средством сохранить порядок. Они проявили здравый смысл, встав во главе народа; но когда их сынки из спесивости, алчности и глупости стали чуждаться народа, дабы сделаться лжедворянами, они начали служить другим, более хитрым, чем они сами. Вот и вся панна истории в нескольких словах!

Меж тем старики, собравшись у окна, принялись обсуждать дела бальяжа и всякий раз, при появлении нового именитого сельчанина, выкрикивали:

— Эге, а вот и Плетч... эге, а вот и Ригон... иди-ка сюда! Как поживаешь?

Валентин, стоя поодаль, пошменвался и поглядывал на меня. Однако ж его раболепие перед королем, королевой и прочими высокопоставленными особами ничуть не мешало ему любить хорошее вино, сосиски и ветчину. Его тешила мысль о пирожке, и длинный его нос с удовольствием втягивал запахи кухни.

Наконец пробило полдень. Николь послала меня за Шовелем, но не успел я выйти, как он не сиеша вошел вместе с Маргаритой. Все закричали:

— А, вот и он... Вот и он!

Шовель, одетый в куртку из легкой дешевой ткани, смеялся, пожимая всем руки. Однако это был уже не прежний Шовель. Теперь помощник прево не мог бы подойти к нему, взять под стражу: он был одним из

пятнадцати депутатов, избранных в Меце, и это ясно чувствовалось по выражению его лица. Его маленькие черные глазки блестели ярче прежнего, белоснежный воротничок рубанки торчал до самых ушей.

Верзила Летюмье, любивший церемонии, собрался было произнести нечто вроде приветственной речи, но Шонель, смеясь, сказал:

— Сосед Летюмье, вот и суй подавай, пахнет вкусно.

И правда, появилась тетушка Катрина — она с важностью водворила на стол большую супницу.

Тут Жан Леру воскликнул:

— Сядем же, друзья, сядем. Летюмье, вы произнесете речь за сладким. Соловья баснями не кормят. Садись-ка сюда, Кошар. А вы, Шонель, сядьте туда, во главе стола. Валентин! Гюре! Жан-Пьер!..

Словом, он каждому указал место; всем не терпелось повеселиться. Отец, Валентин и я сидели против дядюшки Жана, который всех угощал; он поднял крышку с супницы, пар облачком взвился к потолку, разнесся вкусный запах бульона с гренками, и гости стали передавать тарелки.

Я никогда не видел столько яств и был в восторге, а батюшка — еще в большем.

— Перед каждым стоит бутылка, — сказал дядюшка Жан, — пусть каждый себе сам пьет.

Ну и, разумеется, после вкусного супа все откупорили бутылки и наполнили стаканы. Кто-то уже хотел выпить за депутатов бальяза, но пили пока легкое эльзасское вино, и хозяин Жан заявил:

— Обождите-ка! За наше здоровье выпить нужно хорошее вино, а не простое.

Все пашло, что он прав. Подали вареное мясо с петрушкой, и каждый отвалил себе по изрядному куску.

Летюмье говорил, что каждому, кто работает в поле или занят каким-либо ремеслом, полагается полфунта такого вот мяса и сестье вина за каждой трапезой; Кошар поддержал его. А когда поданы были поджаренные сосиски с кислой капустой, разговор зашел о политике, и тут строй мыслей у большинства изменился.

Маргарита и Николь суетились у стола, заменили пустые бутылки полными; тетушка Катрина подносила блюда. Около часа подано было жигго и появилось эта-

рое вино «рибоньер». Становилось все веселее и веселее. Все переглядывались, все были довольны. Кошар прозвнес:

— Ведь мы же люди! У нас есть права человека!.. Тому, кто стал бы перечить мне в лесу, я бы показал.

А бывший канонир Готье Куртуа выкрикивал:

— Мы не чувствуем себя людьми лишь потому, что у других всегда всего было вдоволь — и вина и еды. Перед битвами они подмазывались к нам, сулили золотые горы. Зато после битв говорили только о дисциплине, и опять сыпались удары саблями плетями. Позор бить солдат, говорю я вам, и не производить в офицеры тех, кто выказал отвагу, оттого лишь, что смельчаки эти не из благородных.

Летюмье все видел в розовом свете.

— С нищетой покончено, — кричал он, — нани наказаны в порядке. Увидят они, чего мы хотим, и доброму королю придется сказать: «Эти люди правы, тысячу раз правы, они хотят уравнять налоги, хотят всеобщего равенства перед законом, и это справедливо!» Ведь все мы французы! Ведь все мы должны иметь одинаковые права и нести одинаковые тяготы! Это яснее ясного, черт возьми!

Говорил он складно, разевая большой рот до ушей, с хитрым видом полузакрыв глаза и чуть откинув голову; при этом он размахивал ручищами, как все те, кто говорит без подготовки. Его слушали; и даже отец, два-три раза кивнув головой, шептал:

— Складно говорят... правильно... но лучше помолчим, Мишель, слишком уж это опасно.

Он поминутно поглядывал на дверь, будто вот-вот должны были появиться сержанты или жандармы.

Тут Жан Леру, наполнив стаканы старым вином, воскликнул:

— Други мои, за здоровье Шовеля, который лучше всех поддержал нас в бальяже. Пусть он здравствует многие лета, защищает права третьего сословия и пусть всегда говорит так же хорошо, как говорил тогда; вот чего я желаю! За его здоровье!

И все склонились над столом и стали чокаются, сняв от радости. Все смеялись, повторяли:

— За здоровье депутатов нашей общины: хозяина Жана и Шовеля!

Она в большой горнице дребезжали. Прохожие останавливались и, прильнув носом к стеклу, видно, думали: «Весело кричат, значит, хорошо им живется».

Почетные гости снова села, снова были наполнены стаканами, меж тем Катрина и Николь уже вносили большие сладкие пироги со сбитыми сливками, а Маргарита убирала со стола остатки жинго, ветчины и салата.

Все устремили глаза на Шовеля и ожидании его ответного слова, а он спокойно продолжал сидеть во главе стола, повесив вязаный колпак на перекладную стула; побледнев и стиснув губы, он о чем-то размышлял. Вино «рибоньер», очевидно, его раздражило, потому что он не ответил адраницей, а вот что произнес внятным голосом:

— Да, первый шаг сделан! Но еще рано праздновать победу; нам еще многое предстоит сделать, пока мы не добьемся своих прав. Мы требуем уничтожения привилегий, податей, соляной и дорожной пощлины, барщины. Не так-то легко они уступят все, что к рукам прибрали. Да, они будут сражаться, постараются оградить себя от наших справедливых требований. Придется силой их принудить. На помощь они призовут чиновников, всех тех, кто задумал одворичиться. И, други мои, это еще только первый шаг. Это еще самые что ни на есть пустяки. Я убежден, что третье сословие выиграет первое сражение — так хочет народ, народ, переносящий все незаконные тяготы, будет поддерживать своих депутатов.

— Да, да, до самой смерти! — кричали, сжимая кулаки, верзила Летюрье, Кошар, Гюре и кузнец Жан. — Мы возьмем верх, мы хотим взять верх.

Шовель застыл на месте, когда же они замолчали, он продолжал так, словно никто не произнес ни слова:

— Мы можем восторжествовать, упразднив все поборы, которыми обременен народ, слишком уж вопиющие, слишком уж явные, но какую это нам принесет пользу, если позже, когда Генеральные штаты будут распущены, а фонды для покрытия долга приняты голосованием, дворянское сословие восстановит свои права и привилегии? Но впервые так случалось. Ведь во время оно у нас уже созывались Генеральные штаты, по все то, что они решили на благо народа, давным-давно предано забвению.

После уничтожения привилегий придется сильно по-
мешать их восстановлению. Сила эта — в самом народе,
в нашей армии. И пельзя добиваться своего только лишь
день, месяц, год — добиваться надо всегда, не давая непо-
дьям, мошенникам исподволь, окольными путями восста-
навливать все то, что испровергло третье сословие, опи-
раясь на народ. Нужно, чтобы армия была с нами. А что-
бы армия была с нами, надо дать возможность рядовому
солдату повышаться в чинах, благодаря отваге и смекалке,
дойти до маршала и главнокомандующего, как доходят
дворяне, — вы понимаете меня?

— За здоровье Шовеля! — провозгласил Готье Куртуа.

Но Шовель, подняв руку, чтобы водворить молчание,
продолжал:

— Тогда солдаты станут умнее и не будут поддержи-
вать дворян, выступающих против народа. Они будут с
нами. А кроме того — слушайте хорошенько, ибо это глав-
ное, — чтобы дворянство больше не вводило армию в народ
в обман, не держало их в таком ослеплении, что они го-
тovy уничтожить все то, что дает им самим преуспевание,
и защищать тех, кто занимает должности, которые следо-
вало бы занимать людям из народа, так вот, для всего это-
го нужны свобода слова и печати. Если по отношению к
вам учинена несправедливость, вы взываете к власти имуще-
щему. А власть имущий вас-то и сочтет виновным. И тут
нет ничего мудреного: ведь чиновник исполняет его при-
казания! А вот если б у вас была возможность взывать
к народу, если б сам народ назначал начальников, тогда
никто не посмел бы учинить несправедливости по отноше-
нию к вам, да и несправедливости вообще не могло бы
существовать, потому что вы могли бы поставить на место
чиновников, отказавшись голосовать за них. Но нужно,
чтобы люди получали образование, дабы понять все это;
вот почему дворянству образование представляется такою
опасностью. Вот почему в церквях вам проповедают: «Бла-
женны нищие духом». Вот почему у нас столько запретов
на книги и газеты, вот почему те, кто хотел распро-
странить среди нас просвещение, вынуждены были бежать
в Швейцарию, Голландию, Англию. Многих довели до
смерти. Впрочем, такие люди бессмертны — они всегда
среди народа, поддерживают его; только надо читать
их творения, надо понимать их. И вот за их-то бессмер-
тие я и пью!

И Шовель протянул нам свой стакан, и мы хором подхватили:

— За здоровье честных людей!

Многие понятия не имели, кого подразумевал Шовель, но тоже кричали, да так, что в конце концов прибежала тетушка Катрина и, предупредила, что под окнами собралось полдеревни, попросила так громко не кричать, а то, мол, мы так ведем себя, будто восстаем против короля.

Валентин тотчас же вышел, а батюшка стал на меня поглядывать — не пора ли и нам наутек.

— Ну что ж, Катрина, — заметил дядюшка Жан, — мы сказали все, что хотели сказать. И хватит.

Все приумолкли. Корзины с орехами и яблоками переходили из рук в руки. С улицы доносились заунывные звуки рылей.

— Вот и Мафусаил пришел, — сказал Летюрье.

Дядюшка Жан крикнул:

— И отлично! Пусть его приведут. Кетати явился.

Маргарита выбежала и привела старика Мафусаила, всем известного в наших краях. Настоящее его имя было Доминик Сен-Фовер, и все старые люди сказали бы вам, что не сыщешь на свете такого древнего старика, который так крепко на ногах бы держался. Уж наверняка ему было около ста лет. Лицо его было до того желтым, до того морщинистым, что смахивало на прыщик — трудно было различить линии носа и подбородка, на глазки щелчки свисали седые лохматые брови, совсем как у пуделя. На нем была серая войлочная шляпа со складкой, заложенной спереди, широкие поля отогнуты были в виде козырька и украшены петушиным пером; рукава излощенного кафтана и штанины у циклоток были обмотаны веревками наподобие свивальника. Пальцы, награнные им, должно быть, звучали еще со времен шведов* — слушаешь их, бывало, и хочется плакать.

— А, это вы, Мафусаил! — приветствовал его дядюшка Жан. — Входите же, входите!

И крестный поднес ему большой стакан вина; старый Доминик взял его, кивнув головой на три стороны. Потом, зажмурив узенькие глазки, он не спеша выпил. Тетушка Катрина, Маргарита и Николь стояли позади; все мы смотрели на него с умлением.

Вот он вернул стакан, и дядюшка Жан попросил его что-нибудь спеть. Но старик Мафусаил отвечал, что он

уже несколько лет не поет. Все мы были в таком умиленном расположении духа, что и он поддался — стал наигрывать какую-то приятную и такую старую мелодию, что ее никто уже и не знал; все только переглядывались. Вдруг батюшка воскликнул:

— Да ведь это «Песня крестьян»!

И тогда все сидевшие за столом закричали:

— Верно, верно... это «Песня крестьян»! Ну-ка, Жан-Пьер, запевай.

Я и не знал, что батюшка хорошо пел — никогда не слышал его. А он все повторял:

— Да я позабыл... даже первого слова не помню.

Но Шовель уговаривал его, дядюшка Жан твердил, что сроду прежде не слышал, чтобы пели лучше, чем пелал дружище Жан-Пьер. И батюшка в конце концов согласился, весь всыпхнув, опустив глаза и слегка откашлявшись.

— Ну раз уж вы непременно хотите... что ж, попробую вспомнить.

И он тут же запел «Песню крестьян» под звуки рылей. Голос его звучал так проникновенно и так печально, что перед взором словно вставало далекое прошлое — вот наши несчастные предки вспахивают землю, впрягая в плуги своих жеп, вот солдаты-грабители отнимают у них все, что они собрали, а потом огонь охватывает соломенные кровли, и искрами разлетается сжатый хлеб, а жен и дочерей угоняют в чужие края: голод, болезни и вечный ужас — виселица... Бед не перечесть! А песня все тянется, тянется, и нет ей конца.

Хоть я и выпил доброго вина, но при третьем куплете, всхлипывая, уткнулся лицом в стол, а Летиомье, Гюре, Кошар, дядюшка Жан и еще два-три наших односельчанина подтягивали припев, словно на погребешки своих близких.

Маргарита тоже пела. Голос ее звенел, как жалоба женщины, впряженной в плуг, жещины, уводимой насильниками. Жутко становилось, волосы на голове вставали дыбом. Оглядевшись, я увидел, что все бледны как смерть. Шовель, сидевший во главе стола, стиснул губы и угрюмо хмурил брови.

Наконец батюшка умолк, а струны рылей все еще стонали. Шовель сказал:

— Хорошо вы пели, Жан-Пьер, совсем как певали наши предки, потому что вы сами испытали все эти беды. А наши деды и отцы, все наши прародители — мужчины и женщины — сами выстрадали все это.

Все еще молчали, поэтому он добавил:

— Но времена старых песен прошли... Пора новую начинать!

Все мигом векочили — и я первый — и закричали:

— Да, пора новую запевать... Чересчур уж мы настрадались!

— И ждать этого уже недолго, — заметил Шовель. — А теперь вот что, тетюшка Катрина права: кричать нечего — здесь это ни к чему не приведет.

Тогда дядюшка Жан своим звучным басом завел песню кузнеца. Вернулся Валентин, и мы вместе с ним подпевали Жану Леру. От песни нам стало повеселее; она тоже была печальной, зато дышала силою; в припеве говорилось, что кузнец кует железо!.. А под этим подразумевалось многое, и все уместалось.

Немало других хороших песен было спето в тот вечер. Но песню отца мне не забыть вовек, и, вспоминая ее, я снова и снова восклицаю: «О великая, о священная революция! Если какому-нибудь выходцу из французских крестьян хватит совести отвергать тебя, пусть он послушает песню своих предков. А если весь не образумит его, пусть он сам, его дети и потомки еще раз споют ее, как крепостные рабы. Тогда-то, быть может, они поймут ее и получат возмездие за свою неблагодарность».

В тот вечер мы с отцом вернулись к себе в лачугу поздним вечером. На следующий день, 10 апреля 1789 года, Шовель уехал в Мец. Не за горами был созыв Генеральных штатов.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Несколько дней спустя после отъезда Шовеля все только и говорили о делах большого баляжя, а главное, о соединении трех сословий в одно — в Генеральные штаты. В жизни я не слышал таких ожесточенных споров.

Королевский указ гласил, что число депутатов от третьего сословия будет удвоено, а это означало, что у

нас будет столько же депутатов, сколько у двух других сословий, вместе взятых. Поэтому мы хотели голосовать поголовно, требуя упразднения привилегий, вопреки возражениям дворян и епископов, — ведь им хотелось сохранить старинные права и голосовать посословно, так как они были уверены, что вечно будут держаться вместе против нас и всегда иметь два голоса против одного.

Посмотрели бы вы, как негодовали дядюшка Жан, Летюмье, Кошар и все остальные именитые наши односельчане, сидя под раскидистым дубом во дворе «Трех голубей» — с недавних пор туда под вечер выносили скамьи и столы, чтобы подышать свежим воздухом. В мае 1789 года погода в наших краях стояла ветреная и дождливая, зато апрель выдался очень жаркий. Все цвело и зеленело. Птицы свили гнезда к пятнадцатому числу, и, помнится, мы с Валентином работали в кузнице в одних рубахах с закатанными до колен штанами, а куртки вывешивали за дверь. Дядюшка Жан — румяный, пышущий здоровьем — то и дело звал меня с улицы:

— Ну-ка, Мишель, поддай!

И приходилось три-четыре раза обливать спяльной струей его лысую голову и плечи. Это его взбадривало. И над ним весело смеялась соседка — жена токаря, Мадлена Риго.

Так вот, было очень жарко, и в девятом часу, когда взошла луна и наступала прохлада, приятно было посидеть за бутылкой вина или кувшином сидра у себя во дворе, обнесенном решетчатой изгородью.

Вдоль улицы у хижин сидели женщины и девушки и пряли, наслаждаясь хорошей погодой. Всеюду — вблизи и вдали — раздавались говор и смех, лай собак, гул голосов, и соседи тоже могли слышать наши споры. Но мы уже не обращали на это внимания: повисло доверие друг к другу.

Иногда приходила Маргарита. Мы с ней болтали и смеялись под сенью бука. Верзила Летюмье кричал, стуча кулаками по столу:

— Хватит!.. Так продолжаться не может. Объявить надо, что все мы — заодно.

На что тетюшка Катрина говорила:

— Ради бога, сосед Летюмье, не ломайте стол. Не желает он голосовать посословно!

Итак, все шло своим чередом. А я не помню поры счастливее, чем та, когда я болтал с Маргаритой, даже не смея признаться ей в любви. Да, никогда я не был так счастлив.

И вот как-то часов в восемь вечера мы все сидели в тесном кругу во дворе, и на нас лила свет луна, висевшая над деревьями. Верзила Летюрье кричал, а Кошар, уткнув крючковатый нос в рыжую бороду, с трубкой в зубах, поводя глазами, круглыми, как у совы, курил, облокотившись о стол. Остерегаться нам было некого, и Кошару — не больше других, хотя иначе он и обделал одно дельце. Ремесло дровосека не давало ему, понятно, большого дохода, но время от времени он шел за таможенный кордоу и припосил из Грауфталли увесистый мешок табаку, который неплохо продавался в округе: за фунт отборного красного — четыре су вместо двадцати, а отборного черного — три су вместо пятнадцати.

Споры о политике так бы и продолжались, как обычно, до десяти часов, но вот решетчатая калитка, выходившая на улицу, отворилась, и во двор не спеша вошел, оглядывавшая нас, человек в штатском, а за ним два сериканта канпо-полицейской стражи. То был толстопузый Матюрен Пуле, сборщик пошлин с Немецкой заставы, в треуголке, сдвинутой на затылок, в пожелтевшем завитом наряде. У него был сизый вздернутый нос картошкой, глаза навывкате поблескивали в лунном свете, его двойной подбородок упирался в жабо, а брюхо свисало чуть ли не до колен, — видно, был он обжора невероятный. На завтрак такому подавай салатницу с полдюжиной резаных колбасок, зеленый горошек в масле, да каравай хлеба фунта в три, и два жбана пива; и столько же на обед — да несколько ломтей ветчины или жарго вдобавок, и два кружка белого сыра с луком. Судяте сами, хватало ли ему на пропитание жалованья сборщика. И когда дело шло о том, как бы наполнить салатницу, он отрекался от отца с матерью, брата с сестрой, от всей родни. За вознаграждение он донес бы на самого господа бога и, не смотря на придурковатый вид, хитро, как лиса, выискивал и преследовал контрабандистов. Думал он об этом дешево и пощю и жил изблженчествами контрабандистов, как другие работой. Вот что значит прокормить такую

утробу — сердце, так сказать, уходит и живот, и человек только и думает о том, чтобы выпить и поесть.

За ним выступали два сержанта, одетые, как все сержанты с таможни, в белые мундиры с желтым кантом, за что их прозвали «свиное сало», в треуголках набекрень, с саблями, бивнями по толстым краям. Это были рослые парни, сильно изуродованные оспой. До революции почти все были ею отмечены; хорошеньким девушкам всегда грозила опасность утратить красоту, красавцам тоже. Косые и слепые не переводились из-за этой ужасной болезни. И все же одному богу известно, как трудно было заставить людей признать медицину, пожалуй, еще труднее, чем разводить картофель. Народ всегда на первых порах отвергает то, что приносит ему пользу. Беда, да и только!

Итак, они явились. И толстяк Пуле, в четырех шагах от стола, зашиды Кошара, произнес с довольным видом:

— А вот и он! Попался!

Во дворе все пришли в негодование, так как Кошар с давних пор носил Пуле табак даром. Но для Пуле подобные пустяки не имели значения, и он приказал сержантам:

— Хватайте его! Это он и есть!

Сержанты схватили Кошара; тот закричал, выронив изо рта трубку:

— Что вы от меня хотите, что пристали? Что я вам сделал?

Искры летели нам под ноги, мы неустанно переглядывались, а Пуле отвечал ему с хохотом:

— Мы пришли из-за двух контрабандных мешков табаку, которые ты вчера принес из Грауфталя, — знаешь, ли, тех самых мешков, которые лежат у тебя на чердаке, как войдешь справа за дымоходом, под дранкой?

Тут всем стало понятно, что на бедного Кошара долее какой-нибудь завистник сосед, и мы содрогнулись: такое подсудное дело каралось галерами.

Никто не смел двинуться: сопротивляться чиновникам фиска в те времена было еще опаснее, чем ныне. У человека отнимали не только землю, деньги, дом, но если не хватало гребцов в Марселе или Дюнкерке, его посылали туда — и он пропал без вести. Так происходило не раз в горах, а у нас в Лачугах так случилось с сыном старой Жюневьевы Пакотт: по доносу Пуле его изобличили



в контрабанде соли, и, говорят, с той поры Франсуа находится в краю, где растут перец и корица. Женевиева потратила все свое добро на судебные издержки. Она стала совсем немощной и побиралась. Теперь-то вам понятно, чего боялись люди!

— Ну, пошли! — орал Пуле.

А Кошар, цепляясь за стол, отвечал, тяжело дыша:
— Не пойду!

Веранла Летюмье потерял всякую охоту кричать, молчал, как карп в локани. Все эти ретивые крикуши, завидя сержантов да жандармов, сразу становятся осторожными, зато часто те, от кого меньше всего ожидаешь, при иных обстоятельствах проявляют смелость.

Сержанты тащили Кошара, осыпая ударами, — им почти удалось стянуть его со скамьи. Пуле твердил:

— Поддайте еще разок... сам пойдет!

И тут среди тишины раздался голос Маргариты, сидевшей у решетчатой ограды рядом со мной:

— Эй, господиш Пуле, поосторожнее! Вы не имете права брать этого человека под стражу.

И все сидевшие за столом на шаг от двери — кузнец Леру, Летюмье, тетушка Катрина, Николь, бледные от страха и жалости, в ужасе обернулись. Они узнали голос Маргариты, но не могли поверить, что она так отважна, и дрожали за нее. А толстоузый Пуле, как и все, оглядывался с недоумением: никогда еще не случалось ничего подобного. Он вопил:

— Кто это сказал? Кто осмеливается выступать против палаточного управления?

Маргарита хладнокровно ответила со своего места:

— Я, господиш Пуле, Маргарита Шовель, — дочь Шовеля, депутата третьего сословия большого бальяжа в Меце. Дурно вы поступаете, господиш сборщик. Тяжкий проступок — брать под стражу лицо именитое, нотабля, без особого на то распоряжения господина прево.

Она поднялась и подошла к сборщику пошляпы и обоим сержантам — те, обернувшись, недружелюбно смотрели на нее из-под широких полей треуголок, из отнускай Кошара.

— Разве вам не известен указ короля? — сказала она. — Вы арестовываете людей по делам фиска после шести часов вечера, а ведь указ вам это запрещает. И вы принуждаете людей открывать вам двери ночью! Подумайте-ка, ведь так и злоумышленники могли бы заявить: «Мы — чиновники фиска, открывайте!» Они бы в свое удовольствие грабили селения, если б указ не запретил того, что вы творите, и не повелевал производить все это в присутствии двух советников, и только днем.

Она произнесла эту речь звонким голосом, без запинки, совсем как старик Шовель, и Пуле, казалось, смелся от того, что ему осмелились сказать правду в лицо. Щеки у него затряслись от досады. Все остальные осмелели. Пока Маргарита говорила, на улице поднялся ропот, а как только она кончила, послышался жалобный, скорбный голос — голос старой Женеьевы Накотт. Она выкрикивала:

— У-у, разбойник... у-у, негодяй! Он все еще приходит... Ему еще мало сыновей и отцов семейств.

Бедная старуха потрясала костылем над забором, и вопли ее походили на рыдания.

— Ты отнял у меня сына... бедняжку Франсуа... Ты довел меня до нищеты... Но тебя ждет божий суд... да, ждет... Тебе его не миновать... Все негодяи перед ним предстанут.

Даже звуки ее голоса вгоняли нас в дрожь, все побледнели еще больше. А Пуле озирался, прислушиваясь к шуму на улице. Сержанты тоже обернулись.

Тут Жап Меру встал со словами:

— Господни сборщик, прислушайтесь к голосу несчастной старухи... Вот ведь ужас!... Никому из присутствующих здесь, верно, не хотелось бы иметь на совести такое пятно, слушаешь — и то сердце разрывается.

Женеьева Накотт уже не выкрикивала проклятий; она зарыдала и медленно побрела по улице, стуча костылями.

— Да, — продолжал дядюшка Жап, — вот ужас-то! Подумайте хорошенько о том, что вы делаете. Мы переживаем трудное время — трудное для всех, но особенно — для чиновников фиска. Чаша полна — смотрите, чтобы

она не переполнилась через край. Вот уже пять раз в этом году вы являетесь к людям глубокой ночью. Делаали обыски в Лютцельбурге прошлой зимой, после полуночи — искали контрабанду. Смотрите, надоест людям, станут оказывать вам сопротивление. А как должно поступать нам, благонамеренным обывателям? Должны ли мы оказывать вам помощь, вопреки указу короля, который вы нарушаете? Должны ли поддерживать тех, кто попирает эдикт и указ? Или же тех, кто защищает свои права? Рассудите ради бога. Только об этом и прошу нас, господин Пуле!

И он снова сел. Шум на улице нарастал; многие перевесились через нагорье, чтобы все увидеть и услышать.

Кошар кричал:

— Не пойду!.. Уж лучше убейте меня!.. За меня — указ!

Приметив, что оба сержанта тоже стали о чем-то раздумывать и озагаться, не смея выполнить его приказ, Пуле вспомнил о Маргарите и, с яростью обернувшись к ней, сказал:

— Ты все это ватеяла... кальвинистка. Все шло бы, как всегда, не будь этого мерзкого отродья.

Он ринулся к ней, побагровев; жилы на его шее вздулись, и он напоминал жирного индюка, который гонимый за детьми. Он уже готов был толкнуть ее, как вдруг смрад нее в полумраке заприметил меня. Я и сам не знаю, как сбросил куртку, как очутился около нее. Я смотрел на него и, посмеиваясь про себя, думал:

«Только трошь ее, негодий, — я тебе покажу».

Мысленно я уже сдавил его жирную красную шею, как тисками. Он все понял и, побледнев, буркнул:

— Ну хорошо, хорошо!.. Завтра снова придем.

Сержанты, видя толпу людей, перевесившихся за изгородь, глаза, сверкавшие во мраке, казалось, были довольны, что уходит. Они выпустили Кошара, и тот сразу выпрямился; рубаха его была разорвана, щеки и лоб покрыты потом.

Я не двигался с места. И тут Маргарита, обернувшись, увидела меня. Многие тоже смотрели на меня. Я был просто в ярости, видя, что толстяк сборщик уходит вместе с сержантами; в тот вечер я ринулся в бой. Как удивительны люди и как все меняется с возрастом!

Да, не вечно руки и плечи у тебя, как у восемнадцатилетнего, а в руках — силица кузнеца. И не всегда хочется тебе похвалиться силою и храбростью перед той, кого любишь... Словом, они убралась. Маргарита расхохоталась и сказала:

— Они ушли, Мишель!

А я ответил:

— Да лучшего не могли и придумать.

Не успели они выйти на улицу, как с одной околицы Лачуг на другую перекинулись взрывы хохота и свистки. Кошар, все еще бледный, одним духом опорожнил кружку. Маргарита посоветовала ему:

— Поскорее отнесите контрабанду в лес, торопитесь!

Ах, до чего же она, казалось, была счастлива, а как был доволен бедняга Кошар! Право, ему хотелось поблагодарить ее, но страх все еще его удерживал. Он ушел, не попрощавшись, и молча зашагал по улице.

Во дворе все кричали, торжествовали победу. Пуле и оба сержанта, пересекавшие в это время поле, верно, слышали наши голоса издали, даже вступив на дорожку, пересекающую кладбище, что близ города. Должно быть, мерзавцы немало досадовали, что попали впросак.

Дядюшка Жан велел подать сидра, и еще долго за столом толковали о случившемся. Каждому хотелось вставить словцо, даже тем, кто не смел никнуть, и все призывали мужество и здравый смысл Маргариты.

Дядюшка Жан говорил:

— Ум у нее отцовский. Уж он-то от души посмеется, когда узнает, каким тоном она говорила с фискалами и как заставила их отнестись Кошара, уж он потешится.

Я молча слушал, сидя рядом с Маргаритой, и не было в наших краях парня, счастливее меня.

А гораздо позже, в одиннадцатом часу, когда все уже уходило, дядюшка Жан, то и дело закрывая двери, кричал:

— Доброй ночи, друзья, доброй ночи! Ну и хорош был денек! — И люди расходились по двое, по четверо в правую и левую сторону; мы с Маргаритой, толкнув калитку, вышли со двора последними и стали медленно подниматься по деревенской улице.

Задумчиво любовались мы прекрасной светлой ночью, деревьями, роявшимися длинные тени на дорогу, и бесчисленными звездами в высоте. Стояла глубокая тишина —

ни один листок не колыхался. Сильно было, как вдали запирают двери и ставни, то тут, то там старухи желают друг другу доброй ночи. Перед домом Шовеля у плетня, окружавшего маленький огород, разбитый на склоне ко-согора, выбивался родник; он с журчаньем сбегал по вет-хому желобу в небольшой водоем, края которого были почти на уровне земли.

Вудто сейчас вижу я, как вода выплескивает через край; родниковый крест и инажник, свисая, прикрывают ветхий, прогнивший желоб, угол дома прячется в тени раскидистой яблони, а в воде дрожит отражение луны — словно в зеркале. Все молчит. Маргарита тут, со мною. Полюбовавшись этой картиной, она говорит:

— Как все безмятежно вокруг, Мишель!

И вдруг она наклоняется и, опираясь маленькой своей ручкой о желоб, подставляет рот под струю. Ее чудесные черные волосы рассыпались вдоль щек и предестной смуглой шеи; она пьет. А я смотрю на нее как заворо-женный. Она выпрямляется и, вытирая фартуком подбородок, восклицает:

— А что ни говори, Мишель, ты храбрее всех де-ревенских ребят. Я-то видела тебя, когда ты стоял за мной. Ох, и недоброе же у тебя было лицо: даже Пуле послешли убраться, взглянув на тебя!

И она хохочет, а я радуюсь ее смеху, звенящему на тихой улице; но вот она спрашивает:

— Ну, скажи, Мишель, о чем ты думал, когда у тебя стало такое лицо?

И я отвечаю:

— Думал я о том, что, если б, на мою беду, он тебе тронул или только словом обидел, я б его разом прикончил.

Она смотрит на меня и, вспыхнув, говорит:

— Но ты бы угодил на галеры!

— Ну так что же! Ведь прежде-то я бы успел его убить!

Как живо вспоминаю я все это столько лет спустя. Я слышу голос Маргариты — каждое ее слово звучит у меня в ушах, слышу тихое журчанье родника — все, все оживает. О любовь, как ты хороша!.. Маргарите было тогда шестнадцать лет, и для меня она так никогда и не состарилась.

Мы постояли еще немного, витая в мечтах, а потом Маргарита шагнула к дверям дома. Она молчала. Но,

открыв дверь и уже ступив в сени, она вдруг обернулась, протянула мне руку, глаза ее заблестели, и она промолвила:

— Ну, доброй ночи, Мишель, спи спокойно. И благодарю тебя!

Я почувствовал пожатие ее руки. И был в полном смятении.

Дверь захлопнулась. Минуты две я стоял на месте, прислушиваясь к шагам Маргариты, — вот она ступает по полу хижинки, забегает по лестнице; вот сквозь щели ставень я увидел зажатую ладонь и подумал: «Она ложится».

Я отправился домой, и душа моя ликовала. Теперь-то она знает, что я люблю ее.

Никогда после я не забывал ни такого смятения, ни такого восторга.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Итак, я решил, что Маргарита должна стать моей женой; мысленно я все уже уладил и говорил себе:

«Пока она еще слишком молода, до через год и три месяца, когда ей исполнится восемнадцать лет и она поймет, как все девушки, что ее счастье в замужестве, и я ей скажу, что люблю ее, мы сейчас же обо всем договоримся, и нам придется выдержать большую битву. Мать раскричится, она не пожелает породниться с кальвинисткой, заодно с ней будут юре и все наши однопольчане. Но все равно, батюшка будет всегда на моей стороне: я скажу ему, что в ней — счастье всей моей жизни, что мне не жить без Маргариты. Тут он выкажет мужество, и, несмотря на все, дело непременно устроится. Затем мы снимем маленькую кузницу, скажем, по дороге к Четырем Ветрам, в деревеньке Каток, или по дороге в Миттельброн в Красных Домах. И начнем трудовую жизнь. В ломовиках, возчиках недостатка не будет. Мы даже, пожалуй, завведем небольшую харчевню, как хозяин Жан. Мы будем счастливее всех на свете. А если еще, на счастье, у нас родится ребенок, я через две-три недели возьму малыша на руки, спокойно пойду в Лачуги и скажу матери: «Вот он, смотри... что ж, проклятай его!» И она

расплачется, раскричится, а потом утихнет и в конце концов придет к нам и все устроится».

Вот так я все представлял себе со слезами на глазах; думал я и о том, что папаша Шовель не откажется взять меня в зятя. Конечно, он одного и хотел — чтобы зять у него был хороший мастер, трудолюбивый работник, способный своей работой создать благополучие семье, простой и покладистой парней. Я был просто уверен, что он согласится; ничто меня не смущало, все мне представлялось разумным, и светлые мечты меня умиляли.

К несчастью, в этом мире случается то, чего не ждешь.

Однажды утром, спустя пять-шесть дней после появления агентов фиска, мы подковыряли жеребца, принадлежавшего старику еврею Шмулю, когда к нам подошла тетка Стеффен из Верхних Лачуг, она только что вернулась из города, куда ездила на базар продавать яйца и овощи. Она сказала Жану Леру:

— Вот кое-что для вас.

Это было письмо из Меца, и дядюшка Жан обрадовался:

— Бьюсь об заклад, от Шовеля. Ну-ка, Минель, почитай — некогда искать очки.

Я распечатал письмо, и едва прочитал первые строчки, как колени у меня задрожали и меня пробрал мороз. Шовель сообщал дядюшке Жану, что он только что избран депутатом от третьего сословия в Генеральные штаты и просил немедленно прислать Маргариту в харчевню «Оловянное блюдо», что на улице Старых Боев в Меце, так как они скоро вместе отправятся в Версаль!

Вот и все, что я запомнил из этого довольно длинного письма. Дальше я уже читал, ничего не понимая, и в конце концов в изнеможении сел на наковальню. А дядюшка Жан, переходя улицу, кричал:

— Катрина! Шовель избран депутатом от третьего сословия в Генеральные штаты!

Валентин, сложив руки, бормотал:

— Шовель во дворце среди вельмож и епископов... О господи!..

А старый еврей возражал:

— Ну так что же? Человек он умный, настоящий торговый человек. Он заслуживает этого, как любой другой.

А у меня в глазах помутилось, и все во мне кричало: «Теперь все кончено, все потеряно. Маргарита уезжает, и я остаюсь в одиночестве».

Я готов был разрыдаться, только стыд удерживал. Я думал:

«Если б люди знали, что ты ее любишь, вся округа над тобой насмеялась бы... Что такое подручный кузнеца перед дочерью депутата третьего сословия? Пустое место. Маргарита на небесах, а ты на земле».

И сердце мое разрывалось.

Улица уже наполнялась народом: тетушка Катрина, Николь, хозяин Жан, соседи и соседки кричали:

— Шовель — депутат от третьего сословия в Генеральные штаты!

Все были в волнении. Жан Леру вернулся в кузницу, говори:

— Все мы словно рехнулись — такое торжество и краю. Все из головы вои. Мишель, сбегай-ка, предупреди Маргариту.

Тут я поднялся. Я боялся встречи с Маргаритой, я боялся заплакать, показать ей помимо воли, что люблю ее, не хотел, чтобы ей было стыдно за меня. И уже в сених остановился, чтобы собраться с духом. Потом только я вошел.

Маргарита в маленькой горнице гладила белье.

— А, это ты, Мишель? — сказала она, с удивлением вида, что я в одной рубашке, потому что я даже забыл надеть куртку и помыть руки.

— Да... Я принес тебе добрую весть...

— Какую же?

— Твой отец избран депутатом от третьего сословия в Генеральные штаты.

Пока я говорил, она так поблещела, что я крикнул:

— Маргарита, что с тобой?

Но она не могла ответить — от радости, от гордости. И вдруг, заливаясь слезами, она бросилась в мои объятия, воскликнув:

— О Мишель, какая это честь для отца!

Я сжимал ее в объятиях, а она обвиняла мою шею руками, и я чувствовал, как рыдания сотрясают всю ее тоненькую фигурку; ее слезы заливали и мои щеки. Ах, как я любил ее, как хотел удержать навеки. И я твердил про себя: «Пусть только попробуют разлучить нас».

И, однако, она должна была уехать — ведь этого требовал отец.

Маргарита долго плакала, потом отпустила меня, побежала за полотенцем, вытерла слезы и, смеясь, сказала:

— Да я просто сумасшедшая! Не правда ли, Минель? Разве плачут от таких новостей!

Я молчал и смотрел на нее с невыразимой любовью, а она не обращала на меня внимания.

— Ну пойдём, — проговорила она, беря меня за руку.

И мы вышли.

Большая горница «Трех голубей» была полна народа. Не хотелось мне описывать ни горячих объятий дядюшки Жана, тетушки Катрины и Николь, ни поздравлений именитых людей — верзилы Летюрье, старика Риго, Гюре. В тот день харчевня ни минуты не пустовала, до девяти часов вечера жители Лачуг: мужчины, женщины, дети — входили и выходили, подбрасывая пляши, колпаки, спотыкаясь и крича так, что слышно было и в деревушке Сен-Жан.

Звенели стаканы, бутылки, пивные кружки, зычный голос дядюшки Жана выделялся в этом шуме, раскаты смеха не утихали; ликование было неописуемое.

Я твердил про себя, видя все это: «Какой же, однако, ты подлец. Вся деревня радуется счастью Маргариты и Шовеля, все довольны, а ты умираешь от горя. Как это гадко».

Лишь Валентин был невесел, под стать мне; он говорил:

— Полное потрясение всех основ. Всякий сброд будет теперь при дворе... господа сменяются с голытьбой. Уже никто ничего не уважает... кальвинисты избираются вместо христиан... Конец света близок.

И я в безвыходной тоске совсем пал духом и не мог оставаться здесь, среди людей. Да и Маргарите пришлось спастись бегством на кухню, но даже туда входили именитые люди — выразить ей свое почтение. Я схватил шапку и выбежал из дома. Запал я куда глаза глядят — через поля вдоль большой дороги.

Вот уже две недели стояла хорошая погода, овсы зазеленели, хлеба начали подниматься. Вдоль плетпей щебетали малиновки, а в воздухе висели жаворонки, заливаясь своей извечной радостной песней. Солнце и луна не останавливались из-за меня. Горе мое было безутешным.

Два-три раза я присаживался у обочины дороги, в тени плетня, обхватив голову руками, и думал. И чем больше я раздумывал, тем сильнее становилась моя тоска. Я нигде не видел спасения, — так горемыки, потерпев бедствие в открытом море и видя лишь небо да воду, восклицают:

— Конечно... Теперь остается только умереть.

Так думал и я — все остальное было мне безразлично.

Накопец поздним вечером, уж сам не знаю как, я вернулся в деревню и оказался на задах нашего дома. Далеко, на другом конце улицы, но-прежнему раздавались крики и песни. Прислушиваясь, я говорил себе:

— Кричите, пойте... вы правы!. Жизнь — ничемная штука.

И я вошел в хижину. Отец и мать сидели на своих низеньких скамейках, она пряла, а он плел корзину. Я пожелал им спокойной ночи. Батюшка, взглянув на меня, воскликнул:

— Как ты бледен, Мишель! Не болен ли ты, сынок?

Я не пашелся что ответить, а мать, усмехаясь, проговорила:

— Э, да разве ты не видишь — он нянствовал со всеми остальными. Тоже ухватил свою долю в честь Шовея.

С горечью в душе я ответил:

— Да, вы правы, матушка, я не в себе. Перенил... Вы правы. Как не воспользоваться удобным случаем.

Тут отец ласково сказал:

— Что ж, сынок, ступай спать. Все пройдет. Спокойной ночи, Мишель.

Я поднялся по лестнице, держа небольшую лампу на белой жести; я шел в изнеможении, опираясь рукой о колесо. И там, наверху, поставив лампу на пол, я некоторое время смотрел на своего братишку Этьена, который безмятежно спал, закинув русую голову на подушку в грубой холщовой наволочке, полуоткрыл ротик, разметав густые длинные волосы. Я смотрел на мальчика и думал:

«Как он похож на батюшку! Господи, как похож!»

Я поцеловал его и, тихонько плача, все повторил про себя:

«Что ж, отныне я буду работать только ради тебя! Раз меня покидают, раз я обездолен, буду стараться для

тебя. И, может статься, ты будешь счастливее: та, которую ты полюбишь, не уедет от тебя, и мы проживем все вместе».

Потом я разделся, лег рядом с ним и всю ночь напролет продумал о своем несчастье, тверди про себя, что мне надо взять себя в руки, что никто не должен знать о моей любви к Маргарите, иначе я не оберусь стыда, что мужчина должен быть мужчиной, и так далее. Наутро я спозаранок с невозмутимым видом явился в кузницу, решив держаться стойко. И приободрился.

В тот день снова люди приходили с поздравлениями и не только жители Лачуг, но и все именитые горожане — чиновники из мэрии, городские советники, члены суда, сидики, секретари, письмоводители, казначей, сборщики и контролеры, господа потарпусы и клеймовщики из лесного ведомства. И еще бог весть кто.

Все эти господа, которых до того никто и в глаза не видывал, приходили целой веревницей в треуголках, огромных пудренных париках, держа длинные тросточки с набалдашниками из слоновой кости, в ратиновых сюртуках, шелковых чулках, жабо и кружевах. Они слетались — так по осени ласточки слетаются на колокольню, — они слетелись выразить свое почтение мадемуазель Маргарите Шовель, дочери депутата нашего бальяжа и Генеральные штаты. Вид у них был такой радостный, будто наши выборы их касались! Какая гнусность! Харчевня и вся округа наполнилась запахом мускуса и ванили, которыми они были надушены. Я частенько потом думал, что они похожи на кукушек, которые устраиваются в уже готовом гнезде, хотя не принесли для него ни соломинки, их дело — воспользоваться благами без всякого труда и с помощью угодничества получить хорошие места. До выборов они нас не замечали, а теперь предлагали нам свои услуги, полагая, что Шовель в Версале сможет возместить им все в двукратном, троекратном размере. Ах, негодяи! Видеть я их не мог без возмущения.

Мы с Валентином работали у кузницы, пока дядюшка Жан, Маргарита и тетушка Катрина принимали всех этих вятных людей. Через открытые окна мы видели, как они кривляются, и Валентин, пожелтев от негодования, говорил:

— Взгляни-ка, вон господин сидик такой-то, а вон господин клеймовщик отвечает поклоном. Посмотри,

какая поза, какая манера кланяться. А вот он кладет понюшку мартишкского табаку на большой палец, а вот отряхивает табак с жабо кончиком погтей — это он перенял у господина кардинала, но может пригодиться и у кабатчика — поправиться дочке господина депутата Шовеля. А вот он повертывается на каблуках и отвечает общим поклоном.

Валентин хохотал, и же бил по наковальне, не оглядываясь. Я задыхался от ярости. Теперь я видел еще отчетливее, какое расстояние отделяет меня от Маргариты. Жители Лачуг могли и заблуждаться, приписывая такое большое значение депутату третьего сословия в Генеральные штаты; но все эти господа разбирались во всем и не стали бы кланяться да угождать просто так. Маргарите оставалось только выбирать! Я даже нашел, поразмыслив, что она сделала бы ошибку, если бы вышла замуж за подручного кузнеца, а не за сына советника или епископа. Да, это мне казалось вполне естественным, и я огорчаюсь еще больше.

Словом, пришлось лицезреть эту картину до пяти часов вечера.

Маргарита собиралась уехать ночью с почтовой каретой, идущей в Париж. Жан Леру одолжил ей вместительный чемодан, обтянутый коровьей кожей. Чемодан, который он унаследовал от тестя, Дидье Рамеля, провалялся на чердаке лет тридцать, и крестный поручил мне обновить его — лапоть железные уголки. В тот день я не раз думал продавить чемодан ударом молота; но глаза мои наполнялись слезами при мысли, что я работаю для Маргариты и что, без сомнения, в последний раз оказываю ей услугу. И я продолжал работу с любовью, которая нам уже неведома после двадцатилетнего возраста. Я все не мог оторваться — все хотелось отделать его получше, точнее пригнать петли; я уже больше не находил изъянов: ключ заирал хорошо, петелька всякого замка зацеливалась — все было сделано основательно.

Маргарита только что ушла. Я видел, как она входит к себе домой. Я сказал Валентину, что очень устал, и попросил сделать мне одолжение и отнести чемодан к Шовелям. Он взвалил его на плечо и тотчас же туда отправился. Я был так удручен, что не нашел в себе мужества пойти туда, очутиться еще раз наедине с Маргаритой, я

чувствовал, что мое безутешное горе прорвется. Словом, я надел куртку и вошел в харчевню. Слава богу, все чужие уже разошлись. У дядюшки Жана щеки пылали, глаза блестели, и он превозносил свою харчевню «Трех голубей». Он говорил, раздувая щеки, что никакой харчевне не были еще оказаны подобные почести — так же думала и тетушка Катрина.

Николь накрывала на стол.

Увидев меня, крестный Жан сообщил, что Маргарита уже поужинала и сейчас торопится уложить вещи и выбрать книги, которые отец велел ей взять с собой. Он спросил, как обстоит дело с чемоданом. Я ответил, что он готов, что Валентин отнес его в дом Шовеля.

Тут вошел Валентин; сел за стол ужинать.

Я решил уйти, не дожидаясь восьми часов, не сказав никому ни слова. К чему рассыпаться в учтивых словах, раз все кончено, раз надежды не осталось?

Вот что я придумал: когда она уедет, крестный Жан напишет папаше Шовелю, что я заболел, если Шовель встревожится, а не встревожится — тем лучше!

Такой был у меня замысел. После ужина я не спеша встал и ушел. Смеркалось. В домике у Шовелей наверху горела лампа. Я ненадолго остановился, глядя на нее, и, вдруг увидел, что к окошку подходит Маргарита, бросился бежать, но, оглябая огород, услышал, что она зовет меня:

— Мишель, Мишель!

Я сразу остановился и словно замер.

— Что тебе, Маргарита? — спросил я, чувствуя, что сердце вот-вот выпрыгнет у меня из груди.

— Поднимись ко мне, — отвечала она. — Я уж собиралась сбежать за тобой. Мне надо с тобой поговорить.

Вся кровь отхлынула у меня от лица. Я поднялся и застал ее в горнице наверху. Шкаф был открыт: она только что уложила чемодан и, улыбаясь, сказала:

— Сам видишь, я торопилась. Книжки лежат на дне, белье — сверху, и на нем два мопх платья... Больше класть нечего, а я все чего-то ищу.

В смятении я не знал, что ответить. И она продолжала:

— Послушай, надо показать тебе дом — ведь ты будешь его охранять. Пойдем же.

Она взяла меня за руку, и мы вошли в каморку наверху, над кухней; она им служила кладовой для фруктов, но плодов там не было, а только полки для их хранения.

— Вот здесь, — промолвила она, — ты разложишь яблоки и груши с деревьев, что растут в огороде. Плодов у нас немного, — тем более их нужно сберечь. Слышишь?

— Слышу, Маргарита, — ответил я, растроганно глядя на нее.

Потом мы спустились вниз по лестнице. Она показала мне отцовскую спальню, небольшой погребок и кухню, выходившую на огород; потом она поручила моим пожеланиям розовые кусты, говоря, что это дело первостепенное, и что она бы страх как рассердилась, если б я хорошенько о них не позаботился. А я подумал: «Я-то о них позабочусь, но к чему это все, раз ты уезжаешь?» И все же в моем сердце понемногу начала пробуждаться сладостная надежда. Пелена застилала мне глаза. Да, я был с нею наедине, говорил с ней, а душа моя стонала: «О господи, господи, да неужели всему конец!»

Когда мы вернулись в комнату внизу, Маргарита показала мне книги отца, аккуратно стоявшие на полках, между двух окон, и сказала:

— Пока мы будем там, ты будешь часто приходить сюда за книгами, Мишель. И будешь учиться; ведь без учения человек — ничто.

Она говорила, а я не отвечал, растроганный тем, что она думает о моем просвещении, о том, что я тоже считал первейшим из всех дел. И я твердил про себя:

«Правда же, она любит меня! Да, любит. О, как мы были бы счастливы!»

Она поставила лампу на стол и дала мне ключ от дома, попросив меня открывать его время от времени — из-за сырости.

— Надеюсь, все будет в порядке, когда мы вернемся, Мишель, — сказала она выходя.

А я, услышав, что они вернутся, воскликнул:

— Так, значит, вы вернетесь, Маргарита? Не навсегда уезжаете?

Мой голос дрожал, я был вне себя.

— Вернемся ли? — спросила она, удивленно глядя на меня. — Что же, по-твоему, мы будем там делать, голубчик ты этакий? Уж не думаешь ли, что мы собираемся там разбогатеть?

Она хохотала:

— Разумеется, вернемся. И даже еще беднее, чем теперь, вот как! Мы вернемся и снова будем продавать



книги, когда права народа будут приняты голосованием. Может, вернемся даже в этом году, самое позднее — в будущем.

— Ах, а я-то думал, что ты совсем не вернешься! — воскликнул я.

И, не в силах сдержаться, я разрыдался, всхлипывая, как малое дитя. Я сидел на чемодане, широко склонив голову и благодарил бога, хоть и стеснялся говорить. Так длилось несколько минут, а я все не мог успокоиться. Вдруг я почувствовал, как ее рука

легла мне на плечо. Я поднялся. Она была бледна, и ее прекрасные черные глаза блестели.

— Работай хорошенько, Мишель, — сказала она с нежностью, снова показывая мне на маленькую библиотеку. — Батюшка тебя полюбит.

Потом она взяла лампу и вышла. Я вскинул чемодан на плечо, как перышко, и вышел вслед за ней в сени. Мне так хотелось поговорить с ней, но я не знал, что сказать.

Выйдя из дома, я запер дверь и положил ключ в карман. Среди звезд сияла луна. И я воскликнул, подняв голову:

— Ах, что за чудесная ночь, Маргарита! Слава богу, ты по его милости уезжаешь в такую чудесную ночь! По воле его путешествие будет благополучным.

И снова я был счастлив. А ей как будто взгрустнулось, и она промолвила, входя в харчевню:

— Все сделай, что обещал.

Почтовую карету ждали часов в десять. Пора было двигаться в путь. Все домочадцы напоследок обняли Маргариту, кроме дядюшки Жана и меня: нам предстояло

проводить ее до города. Немного погодя мы отправились в путь, озаренные дивным сиянием луны. Тетушка Катрина и Николь кричали с порога:

— Счастливей путь, Маргарита! Возвращайтесь скорее!

А она отвечала:

— Хорошо!.. А вы все будьте здоровы!

Я снова взял чемодан, и мы зашагали по большой дороге, идущей под откос и окаймленной тополями. Маргарита шла рядом со мной. Два-три раза она спросила меня:

— Тяжело нести чемодан, Мишель?

И я отвечал:

— Да нет... Пустяки какие, Маргарита.

Надо было потораниваться; мы ускорили шаг. Спустившись к подножию горы, крестный Жан сказал:

— Ну вот, скоро будем на месте.

Пробило половину десятого, а несколько минут спусти мы миновали Французскую заставу. Карета останавливалась в конце улицы, где теперь живет Люц. Мы прибавили шагу и на четверти пути услышали шум колес: карета пересекала Оружейную площадь.

— Поспеем как раз вовремя.

Когда мы очутились на углу улицы Фуке, нас осветил фонарь почтовой кареты, ехавшей по Церковной улице. Тут мы вошли под сводчатые ворота, где, по счастливой случайности, встретили старика Шмуля, ехавшего в Мец.

Почти тут же остановилась и карета. Несколько мест были свободны. Дядюшка Жан поцеловал Маргариту, а я, поставив чемодан, не смел к ней приблизиться.

— Подойди же сюда, — сказала она и подставила мне щечку.

И я поцеловал ее, а она шепнула мне на ухо:

— Работай хорошенько, Мишель, работай!

Шмуль уже занял свое место в углу. Дядюшка Жан, подсадив Маргариту в карету, сказал ему:

— Позаботьтесь о ней, Шмуль. Я вам ее поручаю.

— Будьте спокойны, дочь панего депутата будет доставлена благополучно. Доверьтесь мне.

Я был доволен, что Маргарита едет со старым знакомым. Она высунулась из окошка и протянула мне руку. Возница только что вышел из конторы, куда ходил узлавать, оплачены ли места. Он взобрался на козлы и крикнул:



— Ну, пошли!

Лошади тронулись, и мы все вместе закричали:

— Прощай, прощай, Маргарита!

— Прощай, Мишель, прощайте, дядюшка Жан!

Карета промелькнула мимо нас. Вот она проехала под воротами Французской заставы. Мы задумчиво смотрели ей вслед.

Выйдя на дорогу и шагая вперед, мы уже ничего не слышали, кроме звона бубенчиков, — лошади бежали по дороге к Саарбургу.

Дядюшка Жан проговорил:

— Завтра в восемь часов они будут в Меце. Шовель встретит Маргариту, а через пять-шесть дней они уже будут в Версале.

Я не проорал ни слова.

Мы вернулись в деревню, и я тотчас же отправился в нашу хижину, где все уже безмятежно спали. Я взобрался по лестнице и в ту ночь не видел плохих снов, как накануне.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Спустя несколько дней после отъезда Маргариты все вошло в свою колею. Наступила дождливая пора. Мы много работали, а поздние вечерние часы я проводил в библиотеке Шовеля, занимаясь самообразованием. На полках

было полно хороших книг: Моптескье *, Вольтер, Бюффон *, Жан-Жак Руссо — труды всех великих писателей, о которых я слышал вот уже лет десять. Внизу и ряд стояли объемистые тома, а остальные книги — повыше, на полках. Ах, как я, бывало, поражался, когда мне случалось набрести на страницу, отвечающую моим мыслям. А как я был счастлив, когда открыл впервые один из толстых томов, стоявших внизу, — «Энциклопедический словарь» д'Аламбера * и Дидро *, и постиг прекрасный алфавитный порядок слов, при котором каждый находит то, что ему вздумается поискать, в зависимости от его запросов и положения.

Энциклопедия привела меня в восторг. И я тотчас же разыскал статью о кузннице, в которой рассказывается о жизни кузнецов, начиная с библейского Тубалкаина до наших современников, о том, каким способом добывается железная руда, как железо плавят, закаляют, коуют, обрабатывают — с малейшими подробностями. Я просто не мог опомниться от изумления! И когда на другой день я вкратце рассказал об этом дядюшке Жану, он тоже удивился и пришел в восхищенье. Он все восклицал, что у нас, пыльных молодых людей, больше возможностей учиться, что в его время подобных книг не было либо они очень дорого стоили. Валентин, казалось, тоже проникся ко мне большим уважением.

В начале мая, помнится, числа девятого, мы получили письмо от Шовеля, который известил нас об их прибытии в Версаль, сообщив, что они поселились у хозяина сапожной мастерской на улице Святого Франциска и платят двенадцать ливров в месяц. Генеральные штаты только что открылись, и у него не было времени на письмо подлиннее; в конце письма он все же приписал: «Надеюсь, что Мишель будет без стеснения брать мои книги домой. Пусть ими пользуется и пусть бережет их, ибо всегда следует уважать своих друзей, а книги — наши лучшие друзья».

Хотелось бы мне заполучить это первое письмо, но бог знает, куда оно подевалось. У Жана Леру была плохая привычка всем показывать и давать свои письма, так что три четверти их пропало.

Судя по словам Шовеля, Маргарита поведала отцу о нашем разговоре, и он его одобрил. Меня охватила радость, полная нежности, вера в свои силы. С того дня я

каждый вечер относил домой том Энциклопедии, читал статью за статьей и засиживался часов до двух ночи. Мать корила меня за трату масла, а я покорно споел ее крики. Когда же мы с отцом бывали наедине, он говорил:

— Учись, сынок, старайся стать человеком. Ведь неуч жалок и несчастен: он всегда работает на других. Хорошо ты делаешь. А мать не слушай.

И я ее не слушал, зная, что она первая воспользуется знаниями, которые я приобрету.

В ту пору в юре Кристоф и немало жителей в Лютецельбурге хворали. После осушения болот в Штейнбахе по всей равнине распространилась лихорадка; немало горюшек в нашем краю еле волочили ноги и дрожали от озноба. Мы с дядюшкой Жаном навещали юре каждое воскресенье. Кожа да кости остались от этого свляча, и мы уж не надеялись, что он выздоровеет. Но счастью, позвали старого Фрейдингера из Димерингена, знавшего верное средство против болотной лихорадки: отвар из семян петрушки. Этим целебным средством он спас половину деревни, и юре Кристоф тоже наконец стал потихоньку поправляться.

Помнитея мне, в мае месяце только и толковали о разбойничьих шайках, разорявших Париж. Жители Лачуг и горных селений уже собирались вооружиться вилами и косами и двинуться на негодиев, которые якобы собирались пахать на поля и сечь жатву. Но вскоре мы узнали, что разбойники были истреблены в Сент-Антуанском предместье в доме у торговца обоями по имени Ревеллон *, и на время от боязни избавились. Позже страх перед разбойниками утихнул, и великий старался запастись порохом и ружьями, чтобы защищаться, если они появятся. Разумеется, слухи мои тревожили, тем более что почти два месяца мы питались одними лишь газетными новостями. В конце концов, слава богу, мы получили второе письмо от Шовеля, и уж его-то я сохранил — позаботился вовремя и старательно переписать, а подлинное переходило из рук в руки по всему краю, и получить его обратно было невозможно. Одновременно с письмом мы получили пакет со старыми и свежими газетами.

В тот день пришел к нам юре Кристоф вместе с братом, великаном Матерном, — тем, что в 1814 году сражался против союзников вместе с Гюленом.

Юре избавился от лихорадки, силы его почти совсем восстановились, и он отобедал у нас, как и его брат. Им-то и прочел письмо. При этом присутствовали тетюшка Катрина, Николь и двое-трое именитых наших односельчан, которые весьма удивились тому, что Шовель, которого все считали человеком разумным и осторожным, позволил себе писать так откровенно.

Одним словом, вот его письмо; каждый сам увидит, что в те дни происходило в Париже и чего нам было ждать от дворян да епископов, если б они остались господами позволения.

«Г-ну кузнецу Жану Леру из Лачуз-у-Дубляка, близ Иффальбурга. Июля 1-го дня, лета 1789.»

Вы, должно быть, получили мое письмо от 6 мая, в котором я вас извещал о нашем приезде в Версаль. Я вам писал, что мы за пятнадцать ливров в месяц наняли довольно удобное помещение у Антуана Пино, хозяйина сапожной мастерской, на улице Святого Франциска, в квартале Святого Людовика, в старом городе. Мы по-прежнему живем там же, и если вы соберетесь написать, то, главное, пишите по верному адресу!

Хотелось бы знать, какой урожай вы надеетесь собрать в этом году. Пусть сосед Жан и Мишель напишут мне об этом. Здесь у нас все время были грозы да ливни; солнце проглядывало нередко. Опасаются неурожайного года. Что вы об этом думаете? Маргарите хочется знать о нашем огороде и особенно — о цветах. Прimitite и это к сведению.

Тут мы живем, как чужеземцы. В этом же доме поселились два моих собрата, юре Жак из Мезонсели, что близ Немура, и Пьер Жерар, снудик из Вика — бальяжа Туль; живут они внизу, а мы — на самом верху, небольшой балконом у нас выходит в переулок. Маргарита на всех покупает провизию и стряпает. Все идет хорошо. Вечерами в комнате юре мы приводим в порядок свои мысли. Я беру понюшку табаку, Жерар закуривает трубку, и обычно мы приходим к некоторому взаимному пониманию.

Вот пока и все о наших домашних делах. Перейдем теперь к делам народа. Мой долг держать вас в курсе всего, что здесь происходит, но со времени нашего приезда у нас было множество столкновений, неприятностей, неприят-

ствий; два первых сословия, главным образом дворянство, проявили по отношению к нам столько злой воли, что я и сам не знал, к чему все это может привести. Со дня на день взгляды менялись; то появлялась надежда, то — разочарование. Нам пришлось проявить много терпения и спокойствия, чтобы принудить этих господ поступать разумно. Они три раза отказывались иметь с нами дело, но, увидев, что мы намерены обойтись без них и приступить к составлению конституции, решили наконец присоединиться к собранию и обсуждать дела вместе с нами.

До сих пор я не мог сообщить вам ничего определенного, но нынче мы восторжествовали, и я расскажу вам подробно обо всем, с самого начала. Прочтите это письмо нашим именитым людям. Ведь я здесь пахожусь не ради себя, а ради всеобщего блага, и был бы отъявленным негодяем, если б не отдавал отчета в делах тем, кто посылал меня. Делал я заметки каждодневно, и уж ничего не забуду.

Прибыли мы в Версаль 30 апреля с тремя другими депутатами нашего округа и остановились в гостинице «Королей», наполненной людьми до отказа. Я не стану вам рассказывать, сколько нужно платить за чашку бульона, чашку кофе — цены приводят в содрогание. Все эти люди, слуги и хозяева гостиниц, лакействуют из поколения в поколение. Они живут за счет дворянства, которое, в свою очередь, живет за счет народа, не беспокоясь о его нуждах. За бульон, стоящий два ливра у нас, платишь здесь столько, сколько в день заработает батрак из Лачуг. И здесь это так укоренилось, что если ты станешь возражать, то прослывешь голодранцем, на тебя будут смотреть с презрением; таким образом, даешь потачку этому сброду, и тебя обворовывают, сдирают с тебя шкуру.

Вам понятно, что я-то не мог пойти на это. Когда добывал хлеб честным трудом целых тридцать лет, то цену вещам знаешь, так что я не постеснялся и вызвал к себе жирного хозяина ресторации, одетого в черный камзол, и выразил ему свое мнение на этот счет. Впервые он услышал такие жесткие слова. Прохода напустил было на себя презрительный вид, но я вернул ему это презрение с лихвой. Не был бы я депутатом третьего сословия, меня бы выставили за дверь; к счастью, это вполне заставляет их относиться с уважением к человеку. Я не обратил внимания на то, что мой собрат Жерар все утро

толковал о том, как мой поступок возмутил всю эту челядь, и от души посмеялся. Нельзя же, чтобы поклоны и ужимки лакея расценивались так же, как труд порядочного человека.

Я рассказал вам об этом прежде всего, чтобы показать, с каким сбродом мы имеем дело.

Итак, на другой день после приезда, я обежал город и нанял квартиру, куда и перетащил свои пожитки. Оба мои собрата, которых я вам уже назвал, въехали вслед за мной. И вот мы здесь в кругу своих и стараемся, чтобы жизнь нам обходилась подешевле.

3 мая в день представления королю нам предстояло увидеть Версаль. Половина всех жителей Парижа высыпала на улицы. А на следующий день, во время мессы в церкви Святого Духа, картина была еще необычайней. Люди облепили крыши.

Но прежде всего начну с представления королю.

Король и весь двор живут в Версальском дворце как бы на холме, как в Миттельбронне, между городом и садами. Перед дворцом раскинулся двор с отлогим спуском; по обе стороны двора, направо и налево, поднимаются большие здания, где живут министры; а в глубине стоит дворец. Все это виднеется издали на расстоянии лье, когда идешь из Парижа по улице; а она в четыре-пять раз шире наших главных улиц и окаймлена прекрасными деревьями. Двор спереди отгорожен решеткой, по меньшей мере в шестьдесят туаз. Позади двора разбиты сады, журчат фонтаны, виднеются статуи и другие украшения. Какое бесчисленное множество людей умерло, надорвавшись от труда на полях, и платило подати, соляную пошлину, двадцатину и прочее, чтобы воздвигнуть такой дворец! Дворянам и лакеям живется там неплохо. Говорят, роскошь необходима, чтобы процветала торговля; а чтобы роскошь царила в Версале, вот уже целый век три четверти жителей Франции заняты непосильным трудом.

Нас предупредили о представлении королю афишами и брошюрами, которые в здешних краях продаются в достаточном количестве, — торговцы нас останавливали и хватили за рукав, заставляли купить книжки. Некоторые депутаты третьего сословия были недовольны тем, что нас предупреждали афишами, а члены двух первых сословий получали особые извещения. Я не был слишком требователен и вместе с двумя своими собратьями отправился

к полудню в зал «Малых забав». В этом зале и произойдет заседание Генеральных штатов. Зал построен не во дворце, а вдоль длинной аллеи, ведущей к Парижу, на месте старых мастерских и склада «Малых забав». Что это за «большие» и «малые» забавы короля, я и понятия не имел, но скажу одно — зал великолепен, к нему прилегают и другие: один предназначен для совещаний духовенства, второй — для дворянства. Мы вышли из зала «Малых», окруженные толпой народа, под возгласы: «Да здравствует третье сословие». Видно, эти славные люди понимали, что мы представляем народ и обязаны защищать его интересы; особенно это относилось к толпе парижан, которые собрались здесь еще накануне.

Дворцовую решетку с улицы охраняли швейцарцы — они оттесняли толпу и пропускали нас. Мы вошли во двор, а затем — во дворец, поднялись по лестнице, покрытой ковром. Своды были усеяны золотыми цветами лилий. По обеим сторонам лестницы выстроились высокие лакеи в ливреях, расшитых позументами. Пожалуй, было по десятку с каждой стороны, начиная с самого верха.

Попав на второй этаж, мы вошли в зал — он еще великолепнее, обширнее и богаче, чем все, о чем я уже рассказывал. Я-то принял его за тронный зал, а оказалось — это всего лишь передняя.

Наконец, приблизительно через четверть часа, отворилась дверь напротив, и мы, сосед Жан, вошли уже в настоящую приемную залу. Великолепен этот покой с расписными сводами и широким ленивым карнизом — просто уму непостижимо, до чего красиво! Мы даже как-то растерялись. Вокруг выстроилась стража с саблями наголо. И вдруг слева, при полном молчании, раздался возглас:

— Король идет... король!

Возглас раздавался все слышнее. Обер-церемониймейстер появился первым и все повторял:

— Господа, король! Король!

Сосед Жан, вы, надо полагать, скажете, что все это — одна комедия. Так оно и есть. Но следует признаться, комедия хорошо задумана — она подстрекает тщеславие тех, кого называют великими, и бьет по самолюбию тех, кого считают ничтожными. Главный церемониймейстер, г-н Брезе, в придворном облачении рядом с нами, депутатами третьего сословия, одетыми в сюртуки и панталоны черного сукна, казался высшим существом, — конечно, он

и сам так воображал. Он приблизился к нашему старшине, поклонился ему, и почти тут же появился и сам король — он шел один через зал. Для него воздвигли кресло в середине зала, но его величество продолжал стоять со шляпой под мышкой; тогда маркиз сделал знак нашему старшине подойти и представил его, потом другого, затем всех остальных по порядку баляжей. Ему называли баляж, а он называл его королем; его величество не произносил ни слова.

Под конец, однако, он сказал нам, что счастлив видеть депутатов третьего сословия. Король говорил хорошо и медленно. Это тучный человек, с круглым лицом, крупным носом, толстыми губами и подбородком. После речи король удалился, а мы вышли через другие двери. Вот это и называется представлением.

Придя домой, я снял черный сюртук, панталоны, башмаки с пряжками и шляпу. К нам поднялся папаша Жерар, за ним юре. День был потерян, к счастью, Маргарита приготовила для нас жинго с чесноком, половину которого мы с аннетитом и съели, залив кружкой сидра и обсудив наши дела. Жерар и множество других депутатов третьего сословия возмущались таким «представлением», говоря, что королю следовало представиться всем трем сословиям вместе. Они полагали, что по одному этому можно судить заранее, что двор хочет разделения сословий. Некоторые обвиняли в этом церемониймейстера, я же решил так: посмотрим! Если двор против ноголовного голосования, мы это заметим, ведь мы начеку!

Рано с утра зазвонили во все колокола. На улицах раздавались возгласы анкования: шум стоял непрерывный. Месса была назначена в церкви Святого Духа, чтобы призвать благословение всевышнего на Генеральные штаты.

Депутаты трех сословий соединились в соборе Парижской богородицы, где пели «Veni Creator». После этой церемонии, которая доставила мне большое удовольствие — я услышал превосходные голоса и дивную музыку, — мы двинулись в церковь св. Людовика. Мы были во главе шествия, дворяне следовали за нами; далее шло духовенство, перед которым несли святые дары. Вдоль улиц были развешаны ковры с королевской короной, а толпа кричала:

— Да здравствует третье сословие!

Впервые народ не воздавал хвалу парадным одеждам — право, мы казались воронами среди павлинов, —

дворяне были в шапочках с изогнутыми перьями, в кафтанях, расшитых золотом, с обтянутыми округлыми икрами и шли подбоченясь со шпагами на боку. Король, королева, окруженные придворными, завершали процессию. Раздалось несколько голосов: «Да здравствует король! Да здравствует герцог Орлеанский!» Колокола трезвонили во всю.

Но народ наделен разумом: не нашлось остолопа, который крикнул бы: «Да здравствует граф д'Артуа, королева или епископ». А меж тем они были великолепны!

В церкви св. Людовика началась обедня. Потом епископ из Нанси, г-н де ла Фар, произнес длинную проповедь, направленную против роскоши двора, как это делают все епископы испокон веков, не сняв ни единого поэзумента со своих митр, риз и балдахиннов.

Церемония длилась до четырех часов пополудня. Каждый считал, что с нас хватит и что нам уже пора приступить к совместному обсуждению наших дел; однако мы всё еще не дошли до этого, так как на следующее утро, 5 мая, открытие Генеральных штатов стало еще одной церемонией. Люди эти только и живут церемониями, или, попросту говоря, комедиями.

И вот на следующий день Генеральные штаты собрались в зале, который называется залом трех сословий. Свет падает сверху на круглого окна, задрапированного белым атласом, а по обеим сторонам стоят колонны. В глубине возвышается трон под великолепным балдахинном, затканном золотыми цветами лилий.

Маркиз де Брезе и другие церемониймейстеры стали рассаживать депутатов. Труднились они с девяти часов до половины первого: каждого вызывали, сопровождали, усаживали. Меж тем государственные советники, министры и государственные секретари, губернаторы и наместники провинций усаживались тоже. Длинный стол, покрытый зеленым ковром и стоявший у самого возвышения, предназначен был для государственных секретарей. У одного конца сидел Неккер, у другого — де Сеп-Прие. Если рассказывать со всеми подробностями, никогда и не кончили.

Духовенство восседало справа от трона, дворянство слева, а мы напротив. Представителей от духовенства было 291, от дворянства — 270, а нас — 578. Кое-кто из наших еще отсутствовал, так как выборы в Париже закапчивались только девятнадцатого; по их отсутствию заметно по было.

Наконец около часу дня отправились известить короля и королеву; они почти тотчас же появились в сопровождении придворных и принцесс королевского дома и свиты придворных. Король расположился на троне, королева уселась рядом с ним в большом кресле, но не под балдахин, королевская семья разместилась вокруг трона, принцы, министры, пары — чуть пониже; остальные — на ступенях возвышения. Придворные дамы в роскошных нарядах заняли галерею сбоку от возвышения, зрители из простых устроились в других галереях между колоннами.

На круглой шляпе короля сверкал огромный бриллиант, известный под названием «лунт», а плюмаж был украшен жемчугом. Каждый сидел в зависимости от ранга и положения на кресле или на стуле, на скамье или табурете — все это имеет большое значение, от этого зависит величие пации. Я бы никогда этому не поверил, если б не увидел всего сам; для всех таких церемоний установлены правила.

Дай господи, чтобы наши дела находились в таком же порядке. Но вопросы этикета у них прежде всего, и только спустя столетия у них находится время подумать о пуждах народа.

Вот бы Валентину любить часика три-четыре на моем месте. Уж он бы вам объяснил различие между той или иной шляпой, тем или иным нарядом. Меня же интересовало другое. Обер-церемониймейстер подал нам знак, и король начал свою тронную речь. И вот что я вынес из его речи: он, мол, рад видеть нас, призывает нас говорить, помещать нововведениям и унять дефицит; уповав на это, он и созвал нас; сейчас нас поставят в известность о долге, и он заранее уверен, что мы найдем отличный способ погасить долг и утвердить заем, что это самое его горячее желание и что он любит свой народ.

Кончив речь, он сел, заявив, что хранитель печати познакомит нас лучше с его намерениями. Весь зал закричал: «Да здравствует король!» Тогда поднялся хранитель печати г-н де Барантен и заявил, что главная забота его величества — осыпать благодеяниями народ, что добродетели государей — главный источник счастья народов в тяжелые времена; что наш монарх печется о счастье народа; что он призвал нас на помощь; что третья династия наших королей* особенно вправе рассчитывать на благодарность каждого истинного француза, ибо она утвер-

дила порядок престолонаследия, ибо она унизительно различия «между надменными потомками победителей и униженным потомством побежденных» *, но, невзирая на это, династия поддерживает права дворянства, ибо любовь к порядку требует разграничения между теми или иными рангами, и это следует соблюдать при монархии; наконец, что по воле короля нам надлежит собраться завтра и немедленно приступить к проверке наших полномочий и по его указанию заняться важными вопросами, а именно вопросом пополнения казны.

Сказав это, хранитель печати сел, после чего Неккер прочел нам предлинный отчет о долгах, которые доходили до шестнадцати миллионов. Создавался ежегодный дефицит в 50 150 000 ливров. Он предложил нам уплатить этот дефицит, но не утешил ни словом о конституции, которую нам поручили выработать наши избиратели.

В тот же вечер, расходясь, мы с великим удивлением узнали, что в Париж прибыло два новых полка — Королевский хорватский и Бургонская кавалерия и вдобавок — Швейцарский батальон, и что многие другие полки направляются к Парижу. Новость заставила нас призадуматься серьезно, тем более что королева, граф д'Артуа, принц де Конде, герцог де Полиньяк *, герцог Энгиенский * и принц де Конти * не одобрили созыва Генеральных штатов и сомневались, что мы уплатим долг, если они нам немного не помогут. Для всех простых смертных, кроме принцев, это называлось бы западней! Но названья поступков меняются в зависимости от звания тех, кто их совершает: для принцев это просто-напросто «государственный переворот», который они готовили. К счастью, парижан я уже видел и был уверен, что эти честные люди нас не оставят.

Одним словом, в тот вечер после ужина и я и оба моих собрата согласились на том, что прежде всего надо рассчитывать на себя, а не на других, и что прибытие всех этих полков не предвещает для третьего сословия ничего хорошего.

И 6 мая наши предсказания сбылись; все предварительные церемонии, которые я вам описал, и речи, произнесенные для нас, ни к чему не привели; теперь вы действительно увидите кое-что новое.

В девять часов следующего утра Жерар, кюре Жак и я пришли в зал Генеральных штатов. Балдахин и все

ковры над троном были сняты. Зал был почти пуст, приходили депутаты третьего сословия, заполнили скамьи. Справа и слева люди заводили разговоры, знакомились с соседями — мы должны были договориться друг с другом о важных делах. Прошло двадцать минут. Почти все депутаты третьего сословия собрались; ожидали депутатов от дворянства и духовенства; никто из них не появлялся.

Вдруг один из наших депутатов — он только что пришел, объявил, что каждое из двух остальных сословий собралось в своем зале, где и совещается. Сообщение вызвало, конечно, не удивление, а общее негодование. Было решено сейчас же выбрать старейшего члена третьего сословия, лысого старца по имени Меру, вашего тезку, сосед Жан. Он согласился и, в свою очередь, назначил еще шесть членов собрания своими помощниками. Молчание воцарилось не сразу. Множество мыслей теснилось в голове у каждого. Все хотели сказать о том, что предвидели, чего опасались, предлагали меры, которые считали полезным применить в такой трудный час.

Наконец восстановилась тишина. Малуэ*, бывший чиновник морского управления, предложил позвать двух привилегированных сословиям депутацию, чтобы призвать их соединиться с нами в зале для общих собраний. Молодой депутат Мунье* возразил, заявив, что такой шаг унижал бы достоинство общины; что нечего торопиться — нас скоро оповестят о решении привилегированных; тогда, в соответствии с этим, мы и примем свои меры. Я думал так же. Наш старшина добавил, что мы еще не можем считать себя членами Генеральных штатов, поскольку Штаты еще не созданы, а наши полномочия пока не проверены. Поэтому он отказался вскрыть занески, адресованные к собранию. Действие было разумное.

В тот день произошло много разных слов, но смысл сказанного был один и тот же.

В половине третьего депутат из балюзка Дофине принес нам такую весть: оба других сословия решили проверить свои полномочия отдельно. Тогда поднялся невообразимый шум, и заседание было отложено до девяти часов следующего дня.

Все стало ясным: король, королева, принцы, дворяне и епископы считали, что мы годимся для уплаты их долгов, но они и не помышляли о том, чтобы предоставить нам конституцию, при которой народ имел бы право

высказываться. Они предпочитали делать долги сами, беспренятственно и бесконтрольно, и созывать нас один раз в двести лет, чтобы мы признали их именем народа и были бы готовы платить долги веки вечные.

Вы представляете себе, какие мысли пришли нам в голову, какая ярость охватила нас после такого открытия.

Мы не спали до полуночи, кричали и возмущались себялюбием и отвратительной несправедливостью двора. Но потом я сказал своим братьям, что лучше для всех нас будет сохранить на людях спокойствие, действовать с полным сознанием нашего права и с убежденностью и преданностью народу возможность поразмыслить самому. Так мы и порешили. А наутро, когда мы вошли в зал, мы увидели, что остальные депутаты общины, очевидно, приняли такие же решения, как и мы, потому что вместо шума, царствовавшего накануне, наступило спокойствие. Старшина, сидевший на своем месте, и его помощники на возвышении писали, получали записки и клали их на стол.

Нам вручили, в виде памятных записей, речи дворян и духовенства. Я прикладываю их к письму, чтобы показать вам, о чем эти люди думали и чего добивались. Духовенство решило утвердить свои полномочия по сословию большинством в 133 голоса против 114, дворянство также большинством в 88 голосов против 47. Среди них нашлись добрые и разумные люди: виконт де Кастильяи, герцог Мпанкур, маркиз де Лафайет, депутаты из Дофинио и также из сенешальства Эке и Прованса, которые осуждали их несправедливое решение. Они уже выбрали двенадцать комиссий, чтобы проверить их полномочия между собою.

В этот день Малуэ слова предложил послать депутацию обоим привилегированным сословиям с призывом соединиться с депутатами общины; и вот тогда поднялся граф де Мирабо. Я часто буду рассказывать вам об этом человеке. Несмотря на свое дворянское звание, он депутат третьего сословия, так как дворяне его края отказались признать его, под предлогом, что у него нет земельного владения. Тогда он сейчас же занялся торговлей, и город Эке избрал его депутатом. Это настоящий провансалец — широкоплечий, привзметный, с выпуклым лбом, большими глазами, желтым некрасивым и рябым лицом. У него крикливый голос, и начинает он всегда с какого-то бормотанья; но стоит ему только разойтись — и все меняется:

речь становится ясной, начинаешь верить в то, что он говорит, и кажется тебе, что ты всегда думал, как он. Временами его крикливый голос утихает; когда же он собирается сказать о чем-нибудь важном, значительном, то голос его становится звучным и гремит, как раскаты грома. Я просто не могу дать вам представления о том, как меняется выражение лица этого человека: все в нем живет единой жизнью — голос, глаза, мысль. Слушаешь его с самозабвением; он овладевает тобой и уже не отпускает. Взглянув на соседей, видишь, как они бледны. Думается, что, пока он с нами, все будет хорошо. Но нужно быть с ним пастороже; я-то не очень доверяю ему. Прежде всего — он дворянин, а потом — это человек без денег, с неуемными аппетитами и с долгами. Посмотришь на его мясистый нос, огромные челюсти и огромное брюхо, украшенное не очень свежими, хоть и великолепными кружевами, и думаешь: да ты, пожалуй, скупал бы не только Эльзас с Лотарингией и Франш-Конте, но и их окрестности в придачу! Впрочем, я благославляю дворянство, не пожелавшее внести его в свои списки. На первых порах мы очень нуждались в его помощи, и вы это увидите дальше.

В тот день, 7 мая, Мирабо не говорил ничего особенного. Он нам доказал, что прежде, чем отправить депутацию, мы должны быть утверждены в своих правах; однако до сих пор мы утверждены не были, да и не желали этого делать без других условий. Самое лучшее — выкинуть.

Тут адвокат Муше сказал, что, по крайней мере, тем из депутатов третьего сословия, которые вызвались бы сами, нужно пойти частным образом, без всяких полномочий, и предложить дворянам и епископам соединиться с нами, согласно воле короля. Эта попытка нас не компрометировала, поэтому предложение было принято. Двенадцать членов третьего сословия отправились на разведку. Они нам вскоре сообщили, что в зале дворян они застали только комиссию, утверждающую полномочия этих господ, а в зале духовенства шло собрание, и председатель ответил им, что наше предложение обсудят. Через час епископы из Монпелье и из Оражака вместе с четырьмя другими духовными лицами пожаловали в наш зал и заявили, что их сословие порешило назначить комиссаров, которым, заодно с комиссарами, назначенными нами, а также дворянством, поручается узнать, можно ли провести общее собрание всех сословий.

Предложение было принято, и мы перенесли наше собрание с 7-го на 12 мая. Таким образом я оказался свободен и решил воспользоваться этим четырьмя днями и вместе со своими братьями и Маргаритой осмотреть Париж. 30 апреля мы проезжали мимо дома Ревельюпа в Сент-Антуанском предместье, спустя два дня после разгрома, но некогда было останавливаться и осматривать все это. Народ волновался, всюду стояла стража, наводили порядок, и только и слышались разговоры о появлении огромной шайки разбойников. Было интересно узнать, что же происходит теперь после наведения порядка и что народ думает и говорит о наших первых собраниях. Хотя о парижанах, толкавшихся то тут, то там, я уже имел какое-то мнение, но хотелось удостовериться во всем самому.

И вот мы выехали спозаранку, и через три часа наш захудалый дилижанс въехал в этот необъятный город, который немислимо себе представить не только оттого, что там так высоки дома, так многочисленны улицы и переулки, что перешагивают между собою, так древни все эти здания, столько перекрестков, тушиков, кофеен, лавок, витрин всех родов, что громоздятся друг на дружку и тянутся далеко, насколько хватает глаз, так много вывесок, что карабаются с этажа на этаж до самых крыш, но еще и оттого, что непрерывно, оглушительно выкрикивают товар торговцы всякой всячиной — жареным мясом, фруктами, старьем — и что тут целое множество торговых людей, везущих тележки с овощами и прочими съестными припасами и водой. Право, ты словно попадаешь в зверинец, где кричат неслыханные птицы, привезенные из Америки. А непрерывный поток экипажей, одуряющее зловоние из мусорных ям, жалкое обличие людей, которые желают следовать моде и щеголяют в лохмотьях; они танцуют, поют, хохочут, они учтиво принимают туземцев, отличаются здравым смыслом и веселым нравом, пребывая в лицепетии, все видят в розовом свете, хотя бы лишь потому, что они вольны прогуливаться, говорить что угодно в кофейнях и читать газету!.. Поэтому, сосед Жап, город этот — нечто неповторимое, нет такого во всем свете, он не походит ни на один из наших городов — да Панси просто дворец по сравнению с ним, но дворец мертвый и пустой. А здесь все — сама жизнь.

Бедняги парижане все еще не оправдлись от голода, что свирепствовал зимою. Большинство — просто кожа да кости, и все же они балагурят, острят: на всех витринах вывешены забавные афиши.

Я был в восторге, увидя все это, словно попал в родные края. Здесь я бы не таскал часами из деревни в деревню короб с книгами, а находил бы покупателей, так сказать, на каждом шагу. К тому же — это край истинных патриотов: жалкие эти бедняки прежде всего держатся за свои права, все остальное для них второстенно.

У нашего собрата Жака есть сестра-фруктовщица, живет она на улице Булуа, около Пале-Рояля. Вот мы и отправились туда. По всей дороге, как только мы очутились в пригороде, все распевали одну и ту же песню:

Сословью третьему — виват!
Оно превыше вас в сто крат,
Князья сановные, прелаты,
Как вы жалки, аристократы!
Плабей к наукам тороват,
Он знащем, опытом богат,
Не то что поп иль магистраты.
Как вы жалки, аристократы!

А знали б люди, что мы депутаты третьего сословия, толпа, пожалуй, бросилась бы раздавать нам почести. Да, только отъявленный подлец может изменить такому народу. И я утверждаю, что если б мы раньше и не приняли нашего решения, то, видя его мужество, веселость и стойкость, несмотря на воинствующую нищету, мы сами, по велению сердца, дали бы эту клятву и приложили бы все силы, чтобы выполнить наш долг, мы даже пошли бы на смерть, — требуя прав для народа.

Мы провели четыре дня у вдовы Лефран. Маргарита с моим собратом, юре Жаком, осмотрели весь Париж. Побывали они в Ботаническом саду, в соборе Парижской богородицы, в Пале-Рояле и даже в театрах. Для меня же было истинным удовольствием бродить по улицам, пересечь то там, то здесь площадь, пройти вдоль берега Сены, где продаются старые книги, побывать на мостах, где идет торговля старьем и жареной рыбой, постоять у лавок, перекапнуться словом с прохожими, послушать пение слепца или посмотреть на представление, разыгранное прямо под открытым небом. Тут, конечно, показывают ученых собак; появляются зубодеры с большим ящичком за спиной

и флейтой; по всего лучше была комедия на Новом мосту; как обычно, здесь изображались все те же прищипы и дворяне, которых высмеивали, и, как обычно, они несли какую-то чушь. Не раз и хохотал до слез, и расположение духа у меня стало превосходным.

Я посетил и Парижскую общину, где еще обсуждались наказания депутатам. Община приняла очень мудрое решение: она составила постоянную комиссию, дабы наблюдать за своими депутатами, давать им советы и даже делать предостережения, если они не выполняют своих обязательств. Вот это хорошая мысль, сосед Жан, — к несчастью, ею пренебрегают в других общинах. А ведь какой-нибудь депутат, которого не проверяют, пожалуй, может продать свой голос безнаказанно, да еще и посмеется над теми, кто послал его! Он может разбогатеть, а другие останутся бедняками; его защищает власть, купившая его, а его избиратели останутся без поддержки и помощи! Мы должны воспользоваться решением, принятым Парижской общиной, это один из параграфов, который нужно поставить во главу конституции. Нужно, чтобы избиратели могли отстранить, предать суду, покарать всякого депутата, нарушающего полномочия, данные ему избирателями, как карают того, кто злоупотребляет доверием. До сих пор все делается наудачу.

Словом, постановление мне понравилось; а теперь продолжаю.

Отрадно видеть всеобщий подъем. Но, кроме того, я удовлетворен тем, что люди здесь очень хорошо знают, чего они хотят и что делают, добываясь цели. После ужина я пошел к Пале-Роялю, который герцог Орлеанский * предоставил для всех; и хотя этот герцог развратник, зато, по крайней мере, не лицемер. После ночи, проведенной в кабачке или в ином месте, он не идет слушать мессу и не заставляет отпущать себе грехи, чтобы начать потеху на следующий день. Его считают другом Сийеса и Мирабо. Кое-кто его обвиняет в том, что он якобы привлекает в Париж шайки оборванцев, чтобы устроить грабеж и опустошить город; этому поверить трудно, ведь оборванцы после тяжелой зимы сами сюда явятся; пусть они ищут себе пропитание; нет нужды указывать саранче на жатву.

Словом, королева и ее придворные ненавидят герцога, и это привлекает к нему много друзей. Его Пале-Рояль

всегда открыт, во дворе аллеями посажены деревья, где каждый может прогуливаться. Аркады четырьмя рядами окружают сад, а под ними-то и пахотятся наилучшие магазинны и изумительные кабачки Парижа. Здесь происходят собрания молодых людей и газетчиков, которые громко высказываются «за» и «против», никого не стесняясь. Их высказывания не всегда достойны внимания и в большинстве случаев в одно ухо входят, а в другое выходят, как через решето, и доброе зерно, что застревает там, не очень-то плодотворно: продается больше соломы, чем пшеницы. Два-три раза я внимательно слушал, а после, выходя, спрашивал себя в затруднении: о чем же они говорили? Но все равно, основа всегда хороша, и у многих незаурядный ум.

Однажды под этими деревьями мы распили бутылку дрянного вина, — впрочем, довольно дорогого. Правда, самим содержателям лавочки оно обходится тоже недорого. Я слышал, что за захудалую лавочку платят по две и три тысячи ливров в год. Нужно же окупить эту сумму за счет потребителей. Пале-Рояль действительно большая ярмарка, и, когда ночью зажигаются фонари, нет картины живописнее.

11 мая, около двух часов дня, мы вернулись домой, довольные своей прогулкой, полные уверенности, что народ в Париже стоит за третье сословие, а ведь это — главное.

12 мая в 9 часов утра мы уже были на месте. Нам комиссарам так и не удалось сговориться с комиссарами дворян и духовенства, и мы поняли, что этим господам только и нужно было, чтобы мы зря потеряли время. Поэтому на заседании, состоявшемся в тот день, было решено принять меры к действию. Старейшинам поручили составить список депутатов и решили, что каждую неделю комиссия из депутатов от каждой провинции будет поддерживать порядок на заседаниях, собирать и подчитывать голоса, устанавливать мнение большинства по всем вопросам и т. д.

На следующее утро к нам пожаловала депутация от дворянства и объявила, что ее сословие уже все установило — избран председатель, секретари, уже ведутся протоколы, приняты различные решения и, между прочим, решение приступить к проверке полномочий отдельно от других сословий. Итак, они решили обойтись без нас.

В тот же день духовные лица довели до нашего сведения, что они выбрали комиссаров для совещания с комиссарами дворянства и третьего сословия, дабы сообща обсудить вопрос о проверке полномочий и о собрании всех трех сословий.

Поднялся ожесточенный спор. Одни стояли за избрание комиссаров, другие предлагали объявить, что мы признаем законными только таких представителей, полномочия которых будут проверены на общем собрании, и что мы призываем депутатов духовного и дворянского сословия собраться в зале заседаний Генеральных штатов, где мы ждем их вот уже неделю.

Споры разгорались. Многие из депутатов просили слова, поэтому дебаты были отложены до следующего дня. Выступить должны были: Рабо де Сент-Этьен * — протестантский священник Вигье, депутат из Тулузы; Туре — адвокат Руанского парламента; Барнав * — депутат из Дофине; Буассе д'Англа * — депутат из Лангедока — все люди, обладающие незаурядными дарованиями, великолепные ораторы, в особенности — Барнав. Одни утверждали, что пора действовать, другие — что надо повременить и дать возможность духовенству и дворянству поразмыслить, будто у них еще не было все решено! Наконец Рабо де Сент-Этьен одержал верх: было выбрано шестнадцать депутатов для участия в совместном совещании с комиссарами от дворянства и от духовенства.

На нашем совещании, 23-го, было предложено выбрать редакционный комитет и поручить ему записывать все, что происходит со дня открытия Генеральных штатов. Предложение было отклонено, ибо такой отчет увеличил бы, пожалуй, волнение в стране, раскрыв козни дворянства и духовенства, старавшихся парализовать деятельность третьего сословия.

22-го и 23 мая прошел слух, что его величеству угодно представить нам проект нового займа. С помощью этого займа можно было бы обойтись и без нас, раз дефицит был бы покрыт, — только нашим детям и потомкам пришлось бы вечно платить проценты. Меж тем войска двигались нескончаемым потоком и окружали Париж и Версаль.

26-го мы вынесли постановление о дисциплине и о неукоснительном соблюдении порядка. А потом явился

наши комиссары и сообщили, что им не удалось стовориться с комиссарами от дворян.

На следующий день, 27-го, Мирабо подвел итоги всему, что произошло, сказав: «Дворяне не желают присоединиться к нам и сообща обсудить полномочия. А мы требуем проверки полномочий сообща. Священники утверждают, что хотят нас примирить. Я предлагаю направить почтенную и многочисленную депутацию к духовенству, дабы именем господ бога — миротворца убедить их перейти на сторону разума, справедливости и правды и соединиться со своими братьями-депутатами в общем зале».

Все это происходило на глазах у народной толпы. Толпа окружала нас и без стеснения рудоплакала тем, что ей пришлось.

На следующий день, 28 мая, приказано было позвезти барьер и отделить Собрание от публики; была выбрана и отправлена депутация к духовенству с наказом, составленным в духе предложения Мирабо.

В этот же день мы получили послание короля: «Его Величеству стало известно, что разногласия между тремя сословиями относительно проверки полномочий существуют и поныне. С прискорбием и даже тревогою видит Его Величество, что собрание, которое он созвал во имя возрождения королевства, пребывает в пагубном бездействии. При таких обстоятельствах Его Величество предлагает комиссарам, выбранным тремя сословиями, приступить к совещанию в присутствии хранителя печати и комиссаров, назначенных Его Величеством, дабы они оповестили его о начавшихся переговорах и дабы Его Величество самолично способствовал водворению желательного единодушия».

Итак, получилось, будто мы — депутаты общины — виновники трехнедельного бездействия Генеральных штатов, будто мы желаем держаться особняком и защищаем старые привилегии, противные правам народа.

Его величество считает нас младенцами.

Многие депутаты выступили против этого послания, особенно Камюз*. Они говорили, что новые совещания были бы бесполезны, что дворянство не хочет внимать голосу рассудка; кроме того, нельзя допускать, чтобы за нами наблюдал хранитель печати, который, разумеется, будет держать сторону дворянства, что наши комиссары

предстали бы перед королевскими комиссарами, как подсудимые перед судьями, заранее вынесенными приговор; и что все произойдет так, как уже происходило в 1589 году; * тогда король тоже предложил успокоить умы, и успокоил при помощи постановления совета.

Многие считали, что послание — просто-напросто ловушка.

Однако ж утром 29 мая, исчерпав все средства для соглашения, мы отправили королю послание, в котором смиренно благодарили за милости и извещали, что комиссары третьего сословия готовы возобновить совещания вместе с дворянством и духовенством. Но на следующий день, 1 июня, один из наших комиссаров, Рабо де Сент-Этьеп, пришел сообщить нам, что министр Неккер предложил согласиться на проверку полномочий по сословиям, а сомнительные случаи предоставлять решению совета. Пришлось признать: оказалось, Камюз прав — король сам был против всесословных совещаний. Он хотел, чтобы было три отдельных собрания депутатов, а не одно, всесословное; он был заодно с церковниками и дворянами против третьего сословия. Отныне нам оставалось одно: полагаться только на самих себя.

Все, что я вам сообщаю, верно, сосед Жан. И вам ясно, что все громкие слова, пышные фразы, все эти цветы красноречия, как говорится, ничего не стоят. Самый темный житель Лачуг, если только он наделен здравым смыслом, понимает положение. А все эти словесные тонкости ему не только не пущны, но даже вредны. Все это можно объяснить просто: «Вы так думаете? А мы думаем иначе. Вы окружаете нас солдатами. Но парижане с нами. У вас порох, ружья, пушки, наемные швейцарцы и прочее. А у нас, кроме наших полномочий, нет ничего. Но мы устали оттого, что нас обирают, грабят, обворовывают. Вы думаете, что вы сильнее нас? Увидим».

Вот в чем суть. Все словесные выкрутасы, когда ясно, на чьей стороне право и справедливость, ни к чему не ведут. Нас ублаживали ложью... Все дело в этом. Мы платим налоги и хотим знать, что делается с нашими деньгами. И прежде всего мы хотим платить как можно меньше. Наши сыновья — солдаты. Мы хотим знать, кто ими командует, почему эти люди ими командуют и что это дает нам? Есть сословие дворян и третье сословие; к чему такое различие? Почему дети представителей одного со-

словия выше детей из другого? Разве они другой породы? Или ваши дети происходят от богов, а наши — от животных? Со всем этим пора покончить.

Теперь продолжаю свой рассказ.

Дворяне рассчитывали на войска. Они хотели одолеть нас силой и отвергли все наши предложения. Мы собрались 21 июня. Когда закончили чтение отчета о заседаниях наших комиссаров с комиссарами дворянства, Мирабо сказал, что депутаты общины больше ждать не могут; что мы должны выполнить наши обязательства и что пришло время пачать; что у одного парижского депутата есть предложение, и весьма важное, что он, Мирабо, призывает всех выслушать его.

Этот депутат — аббат Сийес, южанин лет сорока — сорока пяти. Говорит он невинно и тихо, зато его мысли очень верны. Я продал большое количество его брошюр, вы это знаете; они принесли огромную пользу.

Вот что говорил Сийес при общем молчании:

— После открытия Генеральных штатов депутаты общины действовали спокойно и честно. Они выказывали всяческое уважение к дворянам и духовенству, оба же эти привилегированные сословия платили им лицемерием и кознями. Собрание не может долгие пребывать в бездействии, не памятуя своему долгу и интересам своих избирателей; пора приступить к проверке наших полномочий. Дворянство отказывается присоединиться к нам. Если одно сословие отказывается, значит ли это, что оно может принудить и остальных к бездействию? Нет! Итак, у нас один выход: в последний раз предложим представителям привилегированных сословий собраться вместе, в зале Генеральных штатов, чтобы совместно утвердить проверку полномочий. Если они откажутся, обойдемся и без них.

Мирабо добавил, что нужно воспользоваться замешательством дворянства и духовенства.

Второе совещание произошло в тот же день и тянулось с пяти до восьми часов. Предложение аббата Сийеса было принято, и тут же решено было отправить послание королю, с объяснением причин такого решения, вынесенного третьим сословием.

В пятницу, 12 июня, нужно было объявить сословиям наше решение и составить послание к королю. Г-н Малуэ предложил текст, написанный мужественно и красноречиво, но в излишних учтивых выражениях. Вольней *, про

которого рассказывают, будто он объехал Египет и Святую землю, ответил ему: «Следует остерегаться восхвалений, подеказанных лестью и низкопоклонством и вскормленных корыстью. Мы пребываем в обителище проксов и козней, воздух, вдыхаемый нами, тлетворен для наших душ. Увы, представители народа, очевидно, уже отравлены им...» Он продолжал в том же духе, и Мадуз промолчал.

После яростных споров было решено отравить депутацию к королю с посланием, написанным г-ном Барнавом; это был отчет обо всем, что произошло со времени открытия Генеральных штатов и что решило третье сословие. Наша депутация вернулась, не повидав короля: его величество изволил отлучиться на охоту. В это время к нам явилась еще одна депутация от дворянского сословия и заявила, что оно обсуждает наши предложения. Байи*, депутат третьего сословия от Парижа, ответил: «Господа, общины уже давно ждут господ дворян». Не прерывая совещания, ибо мы прекрасно понимали, что цель этой комедии с депутатами от дворянства, как и всех прочих, была водить нас за нос со дня на день, с недели на неделю, мы начали переключку депутатов. Выбрав временным председателем Байи, мы поручили ему позвать еще двух членов в качестве секретарей для составления протокола о намеченной переключке депутатов и для проведения других дел.

Переключка началась около семи часов вечера и продолжалась до десяти. Так мы учредили собрание не третьего сословия, как хотели бы все прочие, а Генеральных штатов; собрания представителей двух привилегированных сословий были всего лишь частными собраниями, наше же — всенародным.

Из-за злой воли и козней дворян и духовенства мы потеряли месяц и неделю, и вы еще увидите, что они предприняли, дабы поменать нашим действиям.

Не стоит рассказывать, как мы спорили о названии нашего собрания. Споры отняли у нас немало времени — мы потратили три заседания лишь на то, чтобы найти название. Мирабо хотел назвать его «Собрание представителей французского народа», Мулье — «Закононым собранием представителей большей части народа, действующим в отсутствие его меньшинства», Спйес требовал, чтобы его называли «Истинные и проверенные представители фран-

цузского народа». Я же спокойно согласился бы на старое название «Генеральные штаты». Дворяне и епископы отказались от участия в них; это, конечно, их дело. Но мы все же являлись Генеральными штатами 1789 года и представляли собой не менее девяноста шести сотых всего населения Франции.

И вот по новому предложению аббата Сийеса было принято название «Национальное собрание».

Отраднее всего было вот что: после нашей декларации от 12-го на нашу сторону ежедневно стали переходить по нескольку честных священников. 13 июня к нам присоединилось трое из Пуату, 14-го — еще шестеро; 15-го — двое; 16-го — шестеро, и так — ежедневно! Представляете себе нашу ликование, крики энтузиазма, объятия. Наш председатель посвятил им половину заседаний, со слезами на глазах приветствуя мужественных священников. Среди первых был аббат Грегуар* из Эмберменля — мне довелось продать ему не одну брошюру. Увидя аббата, я подбежал к нему, обнял и сказал на ухо:

— В добрый час! Вы следуете примеру Христа: он был не с вельможами, не с первосвященниками, а с народом.

Он рассмеялся. А я представил себе лица епископов, находившихся в соседнем зале, — какое выражение! В сущности, все священники поняли, что глупо придерживаться тех, кто унижал их на протяжении веков. Разве под еуганю священника не бьется то же сердце, что и под блузою крестьянина?

Семнадцатого, в присутствии четырех-пяти тысяч зрителей, окружавших нас, Собрание объявило себя правомочным, и каждый из членов его стал принимать присягу: «Клянемся и обещаем выполнять верно и ревностно возложенные на нас обязанности! Баий утвердили председателем Национального собрания, и тотчас же было объявлено при единодушном голосовании, что «Собрание от имени народа соглашается на временное взимание существующих налогов, хотя и противозаконных. Но согласно это будет продолжаться только до первого роспуска Собрания, — по какой бы причине это ни произошло. Как только Собрание будет распущено, прекращено будет взимание налогов во всех провинциях королевства — именно из-за роспуска Собрания».

Подумайте-ка об этом, сосед Жан, и объясните все хорошенько именитым людям нашего края. Нищета наша,

длинная столько лет, возникла оттого, что мы были ограниченными, робкими людьми и платили налоги, не утвержденные нашими депутатами. Деньги — это душа войны, а мы всегда давали деньги тем, кто затягивал на нашей шее петлю. Словом, тот, кто стал бы уплачивать налоги после роспуска Национального собрания, был бы последним негодием. Он предал бы своих родителей, жену, детей, самого себя и свою родину; а тот, кто стал бы их собирать, по заслугам считался бы не французом, а подлецом. Это — основной принцип, провозглашенный Национальным собранием 1789 года.

Собрание закрылось в пять часов и возобновилось в тот же вечер, 17 июня.

Представляете себе, как были поражены король, королева, прищцы, придворные и епископы, узнав о поставлении третьего сословия. Пока шло заседание, Байи пригласили в канцелярию — за королевским посланием. Но Собрание не разрешило ему покинуть зал до конца заседания. На вечернем заседании Байи прочел нам письмо короля, который не одобрял выражения «привилегированные сословия», употребленного многими депутатами третьего сословия для обозначения дворянства и духовенства. Это выражение не понравилось ему. Выражение это, видите ли, противоречит тому согласию, которое должно царить среди нас, — однако ж, ему не показалось, что сами факты противоречат этому согласию. А факты остаются фактами.

Вот, сосед Жан, о чем я говорил вам выше: при дворе господствует несправедливость, хотя она и называется у них справедливостью, и царствует подлость, хотя она и называется у них величием. Как мы могли ответить? Только всеобщим молчанием.

На следующее утро все мы присутствовали на торжественной процессии святых даров на улицах Версаля. В пятницу, 19-го, были учреждены четыре комитета: первый для наблюдения за продовольственным снабжением, второй — для проверки полномочий, третий — для печати и четвертый — для отработки регламента заседаний.

Все шло по верному пути. Мы быстро продвигались вперед. Но это не нравилось двору, тем более что в тот же день к вечеру нам стало известно, что сто сорок девять депутатов от духовенства высказались за проверку полномочий на всеобщем собрании. Стараясь выпол-

нить свои обязательства перед народом, мы вели себя спокойно, покорно сносили все оскорбления, все дерзкие выходы. Видя, что они напрасно стараются вывести нас из себя, что они втуне подстрекают нас на ошибочные поступки, привилегированные решили применить другие способы — более грубые, более унизительные для нас.

Началось это с 20 июня. С самого утра по улицам разъезжали военные глашатаи и возвещали, что «король решил устроить королевское заседание Генеральных штатов» в понедельник, 22 июня, а по случаю приготовлений к такой торжественной церемонии в трех залах, все собрания отменены вплоть до вышеуказанного заседания и что его величество даст знать новым объявлением о часе, когда он соизволит появиться на собрании всех сословий.

В то же время стало известно, что отряд французской гвардии занял зал «Малых забав».

Всем стало ясно, что наступает решительный час. Я обрадовался, когда оба моих сотоварища — Жерар и священник Жак — поднялись к нам наверх в семь часов. Дневное заседание было назначено на восемь часов. За завтраком мы приняли решение сплотиться вокруг нашего председателя, являвшегося для нас символом нашего единения, а следовательно, и нашей силы. По правде говоря, всех, кто мешает продвижению страны вперед, мы считаем отъявленными негодяями. Люди эти сроду не жили своим трудом; все они — тунеядцы, существующие лишь работою других, бездарные, неумелые, грубые; вся их сила зиждется на забитости и невежестве народа, которого всегда пленяет великолепное обличье лакеев, — он и не помышляет о том, что все эти золотые галуны, расшитые одежды и шляпы с перьями — плоды его трудов и бессовестного поведения тех, кто выколачивает из него деньги.

А то, что перед нами закрыли двери Собраний, до того уж неумно, что мы только пожимали плечами.

Разумеется, наш добрый король ничего не подозревал, — характер у него спокойный и мягкий, и он не спускает до таких мелочей. Мы его благословляли за доброту, за простодушие, веря, что ему чужды глупость и дерзость придворных.

Без четверти восемь мы вышли из дома. Приблизившись к залу «Малых забав», мы увидели, что сотня

депутатов третьего сословия собралась на площади; среди них был и наш председатель Байи. Мне хочется описать этого достойного человека. До сих пор он еще не показывался среди толпы; мы выбрали его потому, что он был человеком образованным и честным. Ему лет пятьдесят — пятьдесят пять, лицо у него продолговатое, весь облик дышит достоинством и твердостью. Он никогда не спешит и, пока не примет то или иное решение, долго присматривается, прислушивается, зато, приняв решение, он уже не отступает.

По другим проходам пришли остальные депутаты третьего сословия. Ровно в девять часов раздался звон колокольчика, и все стали приближаться к залу Генеральных штатов во главе с Байи и двумя его секретарями. Несколько французских гвардейцев прохаживались у дверей. Только мы приблизились, появился офицер, их начальник; он подошел к нам — и между ним и Байи завязался спор. Я стояла поодаль и не слышала слов, но тут же стало известно, что двери для нас закрыты. Офицер (граф де Вертан) учтиво объяснил, что ему приказано не пускать нас. Мы были возмущены. Минут через двадцать собрались почти все депутаты; и так как офицер стражи, несмотря на всю свою учтивость, не пропускал нас, многие депутаты стали протестовать, силою протискивались вперед и добрались до решетки. Смятение в толпе росло. Одни кричали, что следует отправиться в Марли и там, прямо перед окнами королевского замка, открыть собрание, другие, негодуя, кричали, что король хочет свергнуть народ в ужасы гражданской войны, умерить народ голодом, что несколько веков ничего подобного не случалось даже под властью самых жестоких деспотов — Людовика XI*, Ришелье*, Мазарини*.

Добрая половина жителей Версаля присоединилась к нам; толпа людей — мужчины и женщины — окружала и слушала нас.

Около десяти часов Байи удалился. Мы не знали, что произошло с ним, но вдруг появились трое депутатов и сообщили нам, что Байи с помощью комиссаров, сопровождавших его, вынес наши бумаги из зала заседаний Генеральных штатов и перенес их в большой зал, обычно используемый для игры в мяч, на улице Святого Франциска, чуть ли не напротив моего жилища, и что в этом зале хватит места для собрания.

Мы двинулись туда в сопровождении огромной толпы народа, спустились по улице, идущей вдоль заднего фасада той части замка, где расположены службы, и к полудню вошли в старинное здание. Оскорбление, нанесенное нам, доказывало, что дворянству и духовенству надоело возиться с нами, что надо ожидать еще больших неприятностей и что мы должны принять меры, которые не только обеспечат выполнение нашего долга, но еще и обеспечат нашу личную безопасность. Эти меры были приняты, все происходило близ Парижа, и это мешало осуществлению их замыслов.

Итак, продолжаю.

Зал для игры в мяч — это квадратное строение высотой футов тридцать пять; облицовано оно крупными плитами, без столбов, без поперечных балок, с потолком из широких досок. Свет проникает внутрь из окон, высоко расположенных над землей; в помещении сумрачно. Вокруг — узкие деревянные галереи; через них входить туда; по виду это амбар или старинный крытый рынок. Во всяком случае, он не предназначен для детских игр. Не было там ни столов, ни стульев — пришлось все это принести из соседнего помещения. Хозяин помещения — низенький, лысый человек — был горд, что ему оказана такая честь. Посредине зала поставили стол, вокруг — несколько стульев. Собрались вели стоя. Галерея была забита людьми до отказа.

И вот Байи, поднявшись на стул, начал свою речь. Он напомнил о том, что произошло, затем прочел вслух послание обер-церемониймейстера маркиза де Брезо — приказ прекратить наши собрания вплоть до заседания в королевском присутствии. Оба эти послания преследовали одну цель, во втором только добавлялось, что приказ подлежит исполнению. Затем Байи предложил нам обсудить, что следует предпринять.

Стоит ли, сосед Жан, описывать наше возмущение: мы — представители великого народа, и народу нанесено личное оскорбление. Мы вспоминали, что наши предки несколько веков страдали от произвола чуждого нам сословия, которое живет за наш счет и стремится удерживать нас в рабстве, с негодованием вспоминали мы, как несколько дней назад эти потомки гордых победителей из милости на миг забыли свое превосходство над всяким

потомством побежденных! Мы поняли наконец, что все эти козни и оскорбления говорят о том, что они хотят по-прежнему главенствовать над нами и нашими потомками. В ту минуту мы бы всем пожертвовали, лишь бы сохранить свои права и сбить снедь с тех, кто нас унижает.

Мысль, киня негодованием, но с виду спокойный, выразил поистине великую мысль — он указал нам на всю несообразность положения: зал Генеральных штатов занят вооруженной силою, а мы — Национальное собрание — выставлены за дверь под улюлюканье дворян и их лакеев и прнуждены укрываться в Зале для игры в мяч, чтобы не прерывать свою работу. Он заявил, что их намерение — нанести оскорбление нашему достоинству — проявилось теперь открыто, что оно служит предупреждением для нас, что они строят козни и стараются толкнуть нашего доброго короля на пагубные шаги, а при таком положении дел представителям народа остается одно — сплотиться и ради общественного блага и блага родины принять торжественную клятву.

Это предложение, как вы понимаете, вызвало невероятное воодушевление; всякому было ясно, что единство честных людей должно наводить страх на пегодяев. Мы тотчас же вынесли такое решение:

«Так как Национальное собрание призвано установить конституцию королевства, способствовать возрождению общественного порядка и поддерживать истинные устои монархии, мы постановляем: отныне ничто не может помешать нашим собраниям, где бы нам ни пришлось, в зависимости от обстоятельств, собираться, ибо Национальное собрание именно там, где заседают его представители.

Постановляем, что члены Собрания немедленно принесут торжественную присягу в том, что ничто не в силах разединить нас, не в силах помешать нам собираться всюду, где обстоятельства этого потребуют, до тех пор пока конституция королевства не будет установлена и упрочена на несокрушимых основах. Припося клятву, все члены Собрания сообща и каждый в отдельности обзуются собственноручной подписью скрепить ее нерушимостью».

С каким отрадным чувством, сосед Жан, взирали бы вы на нас, стоящих посреди огромного мрачного зала, в окружении народа, слышали бы слытно возгласы удивления, удовлетворения и ликования! Затем председатель Байи, стоя на стуле, прочел нам слова клятвы среди бла-

годовойного молчания. В ответ сотни голосов разнеслись под сводами древнего здания и отозвались эхом:

— Клянемся!.. Клянемся!..

Да, кости наших многострадальных предков, должно быть, зашевелились под землей! Человек я, право, не чувствительный, но вся кровь у меня отхлынула от сердца. В жизни бы не поверил, что мне суждено такое счастье. Рядом со мною стоял юноша Жак и плакал, а Жерар из Вика был бледен как смерть. И в конце концов мы бросились друг другу в объятия.

По старому городу неслись неумолчные клики, и мне припомнилась строка из Евангелия о вознесении Христовом: «И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху до низу, и земля потряслась».

Но вот все успокоилось. Каждый по очереди подходил к столу и повторял слова клятвы, — их записывали секретари, а мы ставили подписи. Никогда еще я не выводил своей фамилии с таким отрадным чувством; я улыбался, и в то же время мне хотелось плакать. Да, это был великий день!

Один-единственный депутат — Мартен д'Ош из Кастельнодэрп — рядом со своей подписью поставил: «Протестую». Вазентип будет доволен, узнав, что еще один чудак нашелся во Франции — еще один сын народа больше любит дворян, чем своих братьев: но их всего-навсего двое!

«Протест» Мартена д'Ош был отмечен в протоколе. Некоторые предложили послать депутацию к его величеству, чтобы выразить наше глубокое огорчение и прочее, поэтому собрание было отложено до следующего понедельника — назначено на двадцать второе в обычный час. Кроме того, постановили, что если заседание в присутствии короля будет происходить в зале «Малых забав», то все члены третьего сословия после заседания останутся и займутся собственными делами, то есть делами нации.

Разошлись мы в шесть часов.

Узнав обо всем происшедшем, г-н граф д'Артуа был весьма озадачен тем, что совещание наше происходит в Зале для игры в мяч, и тут же повелел освободить зал к 22-му для него самого — ему угодно было позабавиться игрою в мяч. Недотепа принц был уверен, что на этот раз мы все найдем места для проведения собрания.

На другой день мы получили повеление короля о том, что совместное заседание состоится не 22-го, а 23-го. Это было сделано нарочно, чтобы досадить нам еще сильнее. Но, на свою беду, эти великие умники не подумали, что, кроме Зала для игры в мяч и зала «Малых забав», в Версале есть и другие места. И вот 22-го, убедившись, что эти залы закрыты, мы сперва пошли в часовню Реколле, но в ней было тесновато, и мы отправились в церковь св. Людовика, где все удобно разместилось. Итак, великолепный план графа д'Артуа, принцев Конде и Конти был осуществлен. Всего не предусмотрели! Кто бы мог поверить, что мы отправимся в церковь св. Людовика и займем ее, что само духовенство присоединится к нам. Хотя все эти великие люди, сосед Жан, и держали нас в унижении целые века, теперь мы ясно видим, что единственная причина этому — наше невежество, так что их нечего и упрекать. Простушка Жаппета Парамель — крикунья из Лачуг, посмекалется их.

Около полудня г-н Байи сообщил нам, что большая часть духовенства изъявила желание прийти к нам на Собрание для совместного обсуждения общих дел. Двор узнал о новости еще 19-го числа; чтобы помешать этому, и заперли зал «Малых забав», а затем стали все подготавливать к королевскому заседанию.

Духовенство собралось сперва на хорах церкви. Потом священники спустились вниз и присоединились к нам — и снова произошла трогательная сцена. Священники утлекали за собою и епископов, да и почти все епископы сами образумились.

Только аббат Мори *, сын баншачника из Венского графства, оказавшись среди депутатов третьего сословия, был оскорблен в своем достоинстве. Вот какие удивительные дела творятся на свете! Несмотря на этого аббата, самого рышного из всех, кто выступал против, в защиту воссоединения произносились речи, все поздравляли друг друга. Потом собрание было объявлено закрытым до десяти часов утра следующего дня, до вторника. Условившись собраться в обычном месте, то есть в зале «Малых забав».

На 23-е назначено было королевское заседание. Встав поутру и открыв ставни, я увидел, что день выдался пасмурный. Дождь еще не шел, но тучи заволокли небо. Народ на улицах толпился и гудел. Через несколько минут к нам поднялся дядюшка Жерар, а за ним и кюре Жак.

Мы оделись в праздничные костюмы, как в день первого заседания. Что-то даст королевское заседание? Что-то будет сказано? Уже со вчерашнего дня было известно, что швейцарская и французская гвардии находятся под ружьем. Шел слух, что к Версалю двигалось еще шесть полков. За завтраком мы слышали, как по улице Святого Франциска взад и вперед шагали патрули. Жерар думал, что получит неожиданный удар, чтобы принудить нас голодовать за заем, а затем — разогнать.

Жюрье Жак говорил, что «в некотором роде это означает требование «кошелек или жизнь» и что король не способен на это; хотя он и идет на уступки королеве и графу д'Артуа, но на подобный поступок он никогда не согласится». Я был такого же мнения. Но предугадать, какие цели у королевского заседания, я, как и другие, не мог. Мне казалось только, что они хотят нас припугнуть. Ну, да скоро нам предстояло узнать, к чему все это приведет.

В девять часов мы отправились в путь. Улицы, ведущие к дворцу, были заполнены народом. Взад и вперед прохаживались патрули. У людей всех обличий — буржуа, рабочих и солдат, был озабоченный вид; каждый чего-то опасался.

Когда мы подходили к залу, хлынул дождь — настоящей ливень. Я был впереди и торопился. Сотня депутатов третьего сословия стояла у парадного подъезда, на проезжей улице, — их не пропускали, меж тем дворяне и духовенство проходили беспрепятственно. Когда я подошел, человек, смахивающий на лакея, заявил, что господ депутаты третьего сословия просят пройти через улицу Шантье, дабы избежать столкновений и суматохи.

Полагаю, что г-н маркиз де Брезе, стараясь разместить всех по сословиям, как в день первого собрания Генеральных штатов, принял эти меры по собственному побуждению. Нас охватила ярость. Дождь лил не переставая, и все поспешили к воротам на улице Шантье, предполагая, что они открыты. Но г-н маркиз все еще не разместил, согласно своему замыслу, два первых сословия, и ворота были закрыты. Пришлось укрыться от дождя под каким-то навесом слева от ворот, а дворяне и духовные лица напрямк с важностью входили в парадную дверь. Оберцеремониймейстер с нами не церемонился, он находил, что заставлять нас ждать вполне естественно — ведь мы были здесь только для проформы, да и в конце концов что

такое представители народа? Что такое третье сословие? Червы! Так, конечно, думал г-н маркиз. Крестьяне и горожане, вроде меня, с трудом сдерживались при всех этих оскорблениях, которые каждый день наносил нам первый слуга короля. Можете представить себе ярость дворянина вроде Мирабо; волосы на его голове поднялись дыбом, мясистые щеки дрожали от гнева. Дождь шел проливной. Два раза нашему председателю отказывали: г-н маркиз все еще не разместил депутатов привилегированных сословий. Наконец Мирабо крикнул громовым голосом, обращаясь к Байи и показывая на депутатов третьего сословия:

— Господни председатель, ведите представителей пацци к королю!

И вот Байи в третий раз приблизился к двери и стал стучать. Г-н маркиз сообразовал появиться, уже закончив, вероятно, свою благородную миссию.

Да, сосед Жан, этот господин может похвастаться — старательно выполняет он придворную службу! Наш председатель заявил ему, что, если дверей не откроют, третье сословие удалится. Тут двери распахнулись настежь, и мы увидели зал, украшенный, как в первый день. На местах, отведенных дворянам и духовенству, красовались разряженные депутаты этих двух сословий, а когда мы вошли, с нас лило. Господа дворяне и иные священнослужители хохотали, когда мы занимали места; очень развеселило их наше унижение.

Дорого обходится такое испытание!

Все уселись, и почти сейчас же, на другом конце зала, появился король, окруженный принцами крови, герцогами и пэрами, капитанами своей гвардии и несколькими лейб-гвардейцами. Никто из нас не крикнул: «Да здравствует король!» Никто не поднялся с места. Но вот водворилась тишина, и король произнес речь. Он заявил, что, «по его мнению, он делает для своего народа одно лишь благо и что нам остается только завершить его труды, а мы в продолжение двух месяцев все никак не можем прийти к согласию о предварительных действиях, и он принужден положить конец этому пагубному раздору. В силу чего он и объявляет свою волю».

Закончив речь, он сел, а государственный секретарь прочел нам его волю:

«Статья 1. Королю угодно, чтобы прежние различия между тремя сословиями королевства сохранились пол-

постью и чтобы образовано было три отдельные палаты. Он объявляет недействительными решения, принятые депутатами третьего сословия 17-го сего месяца.

Статья 2. Его Величество, утверждая отдельные заседания по сословиям, вместе с тем повелевает, во избежание недоразумений, довести это до сведения всех сословий.

Статья 3. Король отменяет и упраздняет какие-либо ограничения в полномочиях депутатов».

Таким образом, каждый из нас мог бы делать все, что ему заблагорассудится: предоставлять субсидии, голосовать за налоги, урезать права нации и т. д., не заботясь о наказаниях тех, кто послал нас.

«Статья 4 и 5. Если иные депутаты безрассудно дали клятву в том, что останутся верны своим полномочиям, король дает позволение каждому из них сообщить письменно в свой баляж о снятии с себя этих полномочий, но пока поста своего не оставлять, дабы придать вес всем постановлениям Генеральных штатов.

Статья 6. Его Величество объявляет, что впредь на заседаниях всех сословий он больше не позволит депутатам отстаивать наказания избирателей».

И это понятно — иначе бы негодии, торгующие своими голосами, с головой выдали бы себя, оказавшись среди честных людей, отстаивающих наказания избирателей.

Далее его величество давал понять нам, каким образом, по его мнению, мы должны действовать. Прежде всего он запрещал нам отныне обсуждать дела, касающиеся старинных прав трех сословий; обсуждать структуру будущих Генеральных штатов, вопрос о сеньориальных и феодальных поместьях, о почетных правах и прерогативах первых двух сословий. Его величество объявлял, что нужно особое созывание духовенства во всех делах, касающихся религии, церковных уставов, управления мирским духовенством и монашеством.

Словом, сосед Жан, мы были призваны только для того, чтобы погасить дефицит и проголосовать за то, чтобы народ дал деньги, остальное нас не касается, — все хорошо, все превосходно! Все должно остаться по-прежнему, после того как мы внесем деньги.

Чтение указа закончилось, и король снова встал и заявил, что еще никогда ни один монарх так не нежся о благо своих подданных, как он, и что те, кто не сразу

исполнит его отеческую волю, будут недостойны называться французами.

Тут он снова сел, и нам прочли его возмезьявление — указы о налогах, займах и прочих финансовых делах.

Королю угодно было изменить название налогов — понимаете, сосед Жаа, «название». Таким образом, если тазью соединить с двадцатиной или заменить другой податью, станет гораздо удобнее: платить будете не ливр, а двадцать су, платить будете не сборщику налогов, а инспектору. И народу будет житься куда как легче!

«Никогда ни один монарх так не пекея о благе своих подданных!» Он намеревался было уряднить систему тайных арестов*, но сохранил ее, чтобы падить фамильную честь узников. Все ясно!

Он намеревался провозгласить свободу печати, но с тем, чтобы запретить печатанье «вредных газет» и «вредных книг».

Он намеревался делать займы с согласия Генеральных штатов, но объявлял, что в случае войны он вправе делать займы самовлично, до павысшей суммы в сто миллионов для пачала. «Ибо непреклонное решение короля никогда не ставит благо монархии в зависимость от воли других».

Он намеревался также посоветоваться с нами насчет мест и должностей, которые в будущем дадут право на присвоение и передачу дворянского звания.

Одним словом, нам прочли длинный список всякой всячины, о которой с нами намеревались посоветоваться. Но король всегда оставлял за собою право действовать по своему усмотрению, наше же дело было платить. Тут-то у нас всегда было преимущество.

Король снова принялся говорить. Вот что он сказал:

«Имейте в виду, госнода, что ни один ваш замысел, ни одно решение не могут иметь законной силы без моего особого на то соизволения — ведь я истинный защитник ваших прав. В моих руках все счастье моего народа, и вряд ли часто бывает, чтобы монарх добивался согласия своих подданных на то, чтобы даровать им свои милости. Приказываю вам, госнода, немедленно разойтись и завтра утром явиться в залу, предназначенную для каждого соловия, дабы продолжать заседания».

Словом, нас поставили на место. Призвали нас лишь для того, чтобы мы утвердили голосованием денежные фонды, — вот и все. Если б парламент не заявил, что все

налоги до сих пор взимались незаконно, нашему доброму королю и в голову не пришла бы мысль созвать Генеральные штаты. Да вот оказалось, что Генеральные штаты еще большая помеха, чем парламент, нам приказывали, как челяди: «Приказываю вам немедленно разойтись».

Епископы, маркизы, графы и бароны злорадствовали, видя наше смятение, и взирали на нас с высоты своего величия. Но поверьте, сосед Жан, мы не опустили глаз; мы дрожали от ярости.

Не добавив ни слова, король поднялся и вышел тем же мапером, что и пришел. Почти все епископы, несколько священников и большая часть депутатов-дворян вышли через парадные двери на улицу.

Нам же предстояло выбираться через узенькую дверь на Шантье, но мы не трогались с места. Каждый размышляя, запасался мужеством, копил ярость.

Так продолжалось с четверть часа. И вдруг с места поднялся Мирабо. Его большая голова была откинута, глаза сверкали. Наступила зловещая тишина. Взгляды были устремлены на него. Он произнес своим вытнтым голосом:

— Господа! Пристаю — все, что вы слышали, могло бы послужить ко благу отечества, если бы дары деспотизма не были всегда чреваты опасностью! Что это за оскорбительное самоуправство! Вам приказывают быть счастливыми — приказывают с помощью оружия, нарушая вашу национальную честь!

Все содрогнулись — мы понимали, что Мирабо может полатиться головой. Он и сам это хорошо знал, но был вне себя от негодования. Его лицо преобразилось, стало прекрасным — да, сосед Жан: тот, кто готов отдать жизнь в борьбе с несправедливостью, — прекрасен, прекраснее этого нет ничего на свете. Он продолжал:

— Кто приказывает вам это? Ваш уполномоченный! Кто дает вам непререкаемые законы? Ваш уполномоченный — тот, кто должен, господа, получать их от нас, облеченных священными и нерушимыми политическими правами. От нас, на которых двадцать пять миллионов человек смотрят с надеждой, ожидая хоть относительного счастья, ибо счастье должно стать всеобщим уделом, достоянием, даром.

Каждое его слово, словно пуля, вонзалось в ветхий трон абсолютизма.

— Но свобода ваших совещаний крепко закована в кандалы, — возгласил он, сопровождая эти слова жестом, заставившим вас содрогнуться, — нас охраняют войска! Где враги родины? Уж не Катилпа ли у наших ворот? Я напоминаю вам о вашем достоинстве, о вашей законной власти и требую, чтобы вы свято соблюдали вашу клятву. Она не позволяет вам расходиться до того, как будет выполнена коллегия.

Пока он говорил, обер-церемониймейстер, проводив короля, вернулся в зал и, держа в руках шляпу с перьями, шел мимо пустых мест, оставленных знатью. Не успел Мирабо кончить, как маркиз что-то нетромя сказал — никто не расслышал его слов и раздались раздраженные выкрики:

— Громче! Громче!

И тогда, повысив голос, он произнес среди наступившей тишины:

— Господа, вы слышали повеление короля!

Мирабо все еще стоял — с гневом и презрением сжав свои огромные челюсти.

— Да, сударь, — отвечал он медленно, высокомерным тоном знатного сенатора, — мы слышали волеизъявление короля, внесенное ему другими. А вы, вы не можете выражать его волю перед Генеральными штатами. Вы не имеете права ни говорить, ни присутствовать здесь и не уполномочены напоминать нам о его речи.

Затем, выпрямившись и смерив взглядом обер-церемониймейстера, он продолжал:

— Однако, во избежание всяких педомоловок и промедлений, объявляю вам: раз вам поручено выгнать нас отсюда, вы должны не просить приказа о применении силы, ибо мы оставим наши места только под угрозой пистолетов.

Все депутаты поднялись, как один человек, с возгласом:

— Верно! Верно!

Шум стоял необычайный.

Через две-три минуты спокойствие понемногу восстановилось, и председатель обратился к обер-церемониймейстеру:

— Собрание еще вчера решило остаться в зале после того, как король удалится. Я не могу распустить Собрание, пока оно не обсудит все и не обсудит свободно.

— Могу я передать этот ответ королю? — спросил маркиз.

— Да, сударь, — подтвердил председатель.

Обер-церемониймейстер вышел, и заседание продолжалось.

Сказать правду, сосед Жан, мы все ждали грозных последствий. Но спустя два часа мы увидели не солдат со штыками, а столяров — их прислали разобрать помост, возведенный для короля; они тотчас же принялись за работу. Новая уловка была придумана королевой и графом д'Артуа: не смея помешать нам сиюю, они репизли одолеть нас шумом. Свет еще не видел таких подлых уверток!

Разумеется, новое ушкение не помешало нам выполнить свой долг. Депутаты держали речи среди шума и грохота молотков, и рабочие, видя наше спокойствие, в конце концов побросали молотки и спустились со ступеней помоста — послушать, о чем тут говорится. Видел бы граф д'Артуа, с каким вниманием слушали они речи до конца собрания, как рукоплескали ораторам, их сильным и правдивым речам, он бы понял, что народ не так глуп, как воображают эти сеньоры.

Говорили Камюз, Барнав, Сийес; Сийес сказал, сходя с трибуны:

— Сегодня вы те же, что были вчера.

Голосовали сидя в стоя, и *Национальное собрание единогласно объявило, что остается при своих прежних решениях*. Наконец Мирабо, ярость которого поостыла, понял, что он ставит на карту свою жизнь, и сказал:

— Сегодня я благословляю свободу, давшую такие прекрасные плоды в Национальном собрании. Закрепим же нашу работу, объявив неприкосновенной личность депутатов Генеральных штатов. Делаем мы это не из страха, а ради предосторожности. Это обуздает сторонников насильственных действий среди советчиков короля.

Осмотрительность оратора понял каждый. Предложено было принято большинством голосов — 493 против 34. Собрание разошлось около шести часов, приняв такое решение:

«Национальное собрание объявляет, что личность каждого депутата неприкосновенна, что никакое частное лицо, корпорация, суд, двор или комиссия не имеют права во время или после заседания преследовать, разыскивать, брать под стражу или давать приказы о взятии под стражу депутата, держать его в заточении или давать приказы

о его заточении без ведома, согласия, указания или предложения Генеральных штатов, что все эти osoby и сами лица, получающие и выполняющие подобный приказ, откуда бы он ни исходил, являются презренными помещиками нации, виновными в тяжком преступлении. Национальное собрание постановляет, что в вышеупомянутых случаях оно будет принимать все меры для розыска, преследования и наказания всех зачинщиков, подстрекателей и исполнителей».

Отныне Мирабо нечего было бояться. Да и нам тоже. Личность королей священна лишь потому, что они, как и мы теперь, внесли это в свод законов. Обладать священным правом — штука не плохая. Пусть только кто-нибудь попробует коснуться хоть единого волоска на нашей голове — вся Франция возопит и восымляет неукротимым гневом. Сделать это следовало бы с самого начала, но ведь мудрое решение приходит не сразу.

В конце концов двор, право, поступил благоразумно, не приняв никаких мер против нас, так как в продолжение всего заседания 23-го числа улицы Версаля были переполнены народом, и каждые четверть часа люди входили и выходили, сообщая всем остальным новости, так что народ знал все, что происходило на заседании. И если б на нас напали, весь народ ополчился бы на наших врагов. В это же время прошел слух об отставке Неккера и о замене его графом д'Артуа. Как только наше заседание закрылось, народ ринулся ко дворцу. Французская гвардия получила приказ стрелять, но ни один солдат не двинулся. Толпа проникла в апартаменты Неккера, и, только узнав из уст самого министра, что он остается, все разошлись.

В Париже гнев народа был еще более сильным. Когда распространилась весть — так мне рассказывали — о том, что король все отменил, вспыхнуло пламя восстания. Стоило лишь подать знак, и началась бы гражданская война.

Надо полагать, это правда, ибо, невзирая на советы прищев, на полки немецких и швейцарских наемников, которых вызвали сюда со всех концов Франции, несмотря на пушки, установленные в копыние королевы, как раз напротив зала заседаний Генеральных штатов так, что жерла виднелись из наших окоп, — несмотря на все то, что король самозачно объявил нам, он все же повелел в посланих к депутатам дворянства соединиться с депутатами третьего сословия в общем зале. И 30 июня, то есть

вчера, «гордые потомки завоевателей» пришли и сели подле «смиренных потомков побежденных». Они уже не хохотали, как тем утром 23-го, когда мы входили в зал, насквозь промокшие от дождя.

— Вот так-то у нас дела, сосед Жан: первая ставка выиграна! Ну, а теперь мы будем составлять конституцию. Работа трудная, времени потребуется на это немало. Впрочем, указы тут, с нами, будем руководствоваться ими, — так сказать, следовать им.

Все жалобы, все пожелания народа должны войти в конституцию: «Уничтожение феодальных прав, барщины, соляной пошлины и внутренних таможен. Равенство всех людей в уплате налогов, равенство перед законом. Личная безопасность. Допущение всех граждан на гражданские и военные должности. Неприкосновенность и тайна переписки. Законодательная власть в руках представителей народа. Ответственность должностных лиц. Единое законодательство, единое управление, единство мер и весов. Бесплатное образование и правосудие. Равное распределение имущества между детьми. Свобода торговли, промышленности и труда». Словом — все. Все должно быть выражено ясно, распределено последовательно, по статьям, чтобы каждому было понятно и чтобы самый темный крестьянин знал свои права и свои обязанности.

Верьте, друзья, люди долго будут помнить 1789 год. Вот пока и все, что я хотел рассказать вам нынче. Постарайтесь поскорее сообщить мне о новостях. Мы хотим знать, что происходит в провинции, — мои собратья осведомлены об этом лучше, чем я. Пусть Мишель каждый день посвящает мне часок после работы — пишет, что творится в Лачугах и в окрестностях, и высылает мне свои записи в конце каждого месяца. Таким образом, мы всегда будем как бы вместе, как в прежние дни, и нам будет казаться, словно мы беседуем у камелька.

Конецю письмо и всех вас обнимаю. Маргарита просит передать, чтобы Вы ее не забывали, а она-то о Вас всегда помнит. Ну, еще раз обнимает Вас

Ваш друг

Шовелья.

Пока я читал письмо, дядюшка Жан, великая Матерн и юные Кристоф молча переглядывались. Еще несколько месяцев тому назад тот, кто позволил бы себе так отзы-

ваться о короле, королеве, о дворе и епископах, тут же на всю жизнь угодил бы на галеры. Но все на этом свете так переменчиво, и то, что считалось невероятным, в один прекрасный день становится естественным. Я кончил, а все присутствующие молчали, и только немного погодя дяконик Жан воскликнул:

— Ну, что ты думаешь об этом, Кристоф? Что скажешь? Пишет не стеснясь!

— Да, — ответил Кристоф, — уже его ничто не стесняет! И раз такой осмотрительный и умный человек, как Шовель, пишет в таком духе, значит, третье сословие сплу забрало. Верно он говорит про мелкое духовенство — как нас называют наши владыки — князья церкви: мы вышли из народа и держимся заодно с народом. Наши божественный учитель, Иисус Христос, родился в яслях; он жил ради бедняков, среди бедняков и умер ради них.

Для нас он — высочайший пример! Мы в своих наказах, как и третье сословие, требуем конституционной монархии, где законодательная власть принадлежала бы Генеральным штатам; мы требуем, чтобы было установлено равенство всех перед законом и свобода: чтобы злоупотребление властью, даже церковной, строго преследовалось; чтобы первоначальное образование было всеобщим и бесплатным; и чтобы во всем государстве были установлены единые законы. А знать требует, чтобы дворянки имели право носить ленты, отличающие их от простолюдинок! Знать занята только вопросами этикета, а до народа ей дела нет; соньоры не признают за нами никаких прав и не делают нам никаких уступок, разве вот только и неравномерности налогов — да ведь это такая подлость! Наши епископы почти все из дворян и держатся заодно с дворянами, а мы — дети народа и идем с народом; значит, ныне существуют только две партии: привилегированные и не привилегированные, аристократия и народ.

Во всем этом Шовель прав. Но говорит он о короле, прищах и дворе чересчур уж вольно. Монархия — это наш оплот. Вот и видно закоренелого кальвиниста. Он воображает, что уже прижал к стене потомков тех людей, которые истязали его предков. Не думай, Жан, что Карл IX *, Людовик XIV * и даже Людовик XV * так ожесточились против реформаторов из-за религии. Они пнули это народу, потому что народ интересуется только делами религии, отчизны, своими личными делами. На-

роду плевать на династию, и он не станет ломать себе шею ради выгоды первого встречного. Короли внушили народу, что он якобы защищает веру от кальвинистов, а те под предлогом религии на самом деле стремились основать республику, наподобие швейцарской, и, свив гнездо в Ла-Рошелль, стали распространять оттуда идеи равенства и свободы по всему югу Франции. Народ воображал, что борется за религию, а боролся он против равенства, за деспотизм. Теперь-то тебе все ясно? Надо было изгнать и истребить кальвинистов, иначе они учредили бы республику. Шовелю это хорошо известно. Я уверен, что в душе он лелеет эту мысль, и тут мы с ним не сходимся.

— Но ведь до чего же гнусно обращаются принцы и вообще вся знать с депутатами третьего сословия! — воскликнул дядюшка Жан.

— Ничего не поделаешь, — возразил юре. — Гордость повергла в пучину сатану. Гордость ослепляет тех, в кого вселяется, толкает на несправедливые и нелепые поступки. Истинно, ныне первые стали последними, а последние — первыми. Одному богу ведомо, чем все это кончится. Мы же, друзья мои, будем по-прежнему выполнять свой христианский долг, а это лучше всего.

Все слушали его внимательно.

Немного погодя юре и его брат в раздумье вышли из дома.

Конец первой части

Ч А С Т Ь В Т О Р А Я



О Т Е Ч Е С Т В О В О П А С Н О С Т И



ALBION & GUYARD



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Я рассказал вам о том, в каком бедственном положении был французский народ накануне 1789 года, рассказал о непомерном бремени налогов, отягчавшем его, об отчете Неккера, из которого стало известно, как огромен ежегодный дефицит; поведал я и о том, как Парижский парламент объявил, что одни лишь Генеральные штаты имеют право устанавливать налоги путем голосования, рассказал о финансовых аферах Калонна и Бриенна, о двух собраниях нотаблей, отказавшихся обложить налогами свое имущество, и о том, как в конце концов, когда стало ясно — или плати, или становись банкротом, в Версале после стасемидесятипятiletнего перерыва созваны были Генеральные штаты.

Я уже говорил вам, что наши депутаты получили письменный приказ: уничтожить все внутренние барьеры*, стесняющие торговлю, упразднить ремесленные цехи с их старшинами*, стесняющие промышленность, упразднить налоги и феодальные права, стесняющие земледелие,

уничтожить продажу должностей и служебных мест, противную справедливости, пытки и прочие зверства, противные гуманности, монашеские обеты, противные семейным устоям, добрым правам и здравому смыслу.

Вот чего требовали все указы третьего сословия.

Но король созвал депутатов третьего сословия лишь для того, чтобы утвердить расходы двора, вельмож и епископов, чтобы уладить дело с дефицитом, взвалить его на плечи горожан, ремесленников и крестьян. Потому-то дворяне и священнослужители, увидя, что представители третьего сословия в первую очередь стараются уничтожить привилегии, отказались соединиться с ними и осыпали их такими оскорблениями, что наши депутаты пришли в пегодованье, повязань не расходиться до тех пор, пока не будет принята конституция, и объявили себя Национальным собранием.

Обо всем этом и писал нам Шовель; его письмо вы читали.

Когда новости долетели до наших краев, голод еще свирепствовал всюю, и бедняки пытались полезными травами, отваривали их в воде со щепоткой соли. В дровах, по счастью, недостатка не было. Гроза уже надвигалась, и телохранители его преосвященства кардинала-епископа притаялись и не выходили из дома, чтобы избежать встречи с мятежниками. Да, грозное то было время, грозное для всех, а особенно для чиновников фиска, судей — тех, кто жил на жалованье короля. Все важные особы — прево, советники, синдиги, прокуроры, нотариусы, занимавшие должности по наследству, теперь засели в старых саверских домах — эти прокопченные, обветшалые и неказистые зданья могут простоять века, зато рушатся от первого же удара кирки. Важные особы все это понимали, чувствовали, что надвигается гроза и посматривали на нас косо, с тревогой; они даже забывали пудрить свои парики и уже не приходили в Тиволи танцевать менуэты.

Новости из Версаля долетали до самых глухих деревень. Все чего-то ждали, а чего, никто не знал. Шли слухи, что солдаты окружили наших депутатов, не то прицугнуть хотели, не то уничтожить. Посетители харчевни «Трех голубей» только и говорили об этом. Дядюшка Жан возмущался:

— Да что это за выдумки? Неужели же наш добрый король способен на такие мерзкие поступки? Да разве не

он сам созвал депутатов своего народа, желая узнать правду о наших нуждах и заботясь о нашем благе? Выкиньте эти бредни из головы.

Пришельцы из Гарберга либо Дагсбурга не отвечали, сидели за столом, сжав кулаки, и уходили, думая свою думу.

Крестивый говорил:

— Господь бог не допустит, чтобы королева и граф д'Артуа совершили переворот, потому что те, у кого нет ничего, всего добьются, ну, а если сражение начнется, то никто из нас не доживет до его конца.

Как он был прав! Никто из тех, кто жил в ту пору — из дворян, буржуа и крестьян, — не дожид до конца революции. Да она и до наших дней продолжается, и не окончится до тех пор, пока у нас не восторжествуют гуманность, справедливость и здравый смысл.

Так прошло несколько недель. Подоспела жатва. Голод в наших краях поослаб, и жить стало спокойнее, как вдруг 19 июля пронесся слух, что Париж объят пламенем, что были попытки окружить и разогнать Национальное собрание, что городские власти восстали против короля и вооружали горожан и парод сражается на улицах с иностранными войсками *, а французская гвардия присоединилась к народу.

Тогда-то мы и вспомнили о письме Никола, и все слухи показались нам правдоподобными.

Приезжие из Пфальцбурга рассказывали о том же; Лафферский полк находится на казарменном положении, что ни час парочные прибывают в губернаторский дом и во весь опор мчатся в Эльзас.

Представьте же себе, как все были поражены! Ведь в революционным переворотам еще не привыкли, не то что теперь. В голову никогда не приходило, что можно их совершить. Переполах был страшный.

В тот день все притаились, новостей не было никаких. Зато наутро мы узнали о взятии Бастилии *. Стало известно, что жители Парижа сделались господами положения, у них были ружья, порох, пушки. И это произвело на всех такое огромное впечатление, что горцы, вооружившись топорами, вилами и косами, спустились в Эльзас и Лотарингию; они шли толпами и кричали:

— В Мармутье!

— В Савери!

— В Невиль!

— В Ликсгейм!

Они двинулись по всем направлениям, сокрушая на своем пути все — даже хижинки пастухов и дома лесничих, служивших князю-епископу, и, уж конечно, таможенные сторожки и заставы на больших дорогах.

Летюмье, Гюре, Кошар и остальные сельчане приплыли за хозяином Жаном, чтобы не отставать от жителей Миттельброна, Четырех Ветров и Люцельбурга. Он упрямылся:

— Отступитесь от меня! Делайте что хотите!.. Я вмешиваться не стану!

Но, узнав, что жители почти всех эльзасских деревень уже соизлили грамоты о правах монастырей и señоров и что жители Лачуг собираются сжечь грамоты общины, хранившиеся в Тьрселенском монастыре в Ликсгейме, он надел кафтан — надо было попытаться спасти наши документы. И мы двинулись туда все вместе — Кошар, Летюмье, Гюре, я и все остальные.

Надо было слышать возгласы горцев в долине, надо было видеть всех этих дровосеков, пильщиков и возчиков, одетых в лохмотья, видеть все это несметное множество топоров, лопат, серпов и кос, мелькавших в воздухе. Крики звучали то громче, то тише, напоминая рокот воды в плотине «Трех прудов», женщины тоже вливались в толпу — пряди нечесаных волос развеивались по ветру, в руках были обухи.

В Миттельброне от дома Форбена не осталось камня на камне; все грамоты были сожжены, крыша провалилась в подвал. В Ликсгейме мы шагали по черьям и соломе из выстрошенных тюфяков, увязая по пояс. Из домов несчастных евреев вещи выбрасывались прямо в окна, их имущество рубили топором. Когда у людей нет удержку, они уже себя не помнят, все смешивается в кучу: религия, корысть, мнение — словом, все!

Я видел, как несчастные евреи бегут, ища спасения в городе; их жены, дочери с малыми детьми на руках иступленно воят, старики, спотыкаясь и рыдая, плетутся позади. А ведь кто выстрадал больше них, обездоленных по милости наших королей? Кому, как не им, было жаловаться? Но уже никто об этом не думал.

Тьрселенский монастырь находился в древнем Ликсгейме; пять старцев, живущих в нем, хранили грамоты

Брувилля, Геранижа, Флейсгейма, Никхольца, Лачуг и даже Пфальцбурга.

Жители общины вместе с толпами горцев заполнили старые уллицы вокруг мэрии; они требовали свои бумаги, но монахи рассуждали так:

— Если мы отдадим грамоты, они пас тут же перебыют.

Монахи не знали, как быть: толпа окружила монастырь, заняла все проходы.

Когда пришел дядюшка Жан, сельские мэры в треуголках и красных жилетах совещались близ водоема. Одни хотели все подкечь, другие предлагали вышибить ворота. Более благоразумные настаивали на том, что первым делом надо добыть грамоты, а дальше, мол, будет видно, и они взяли верх. Жан Леру был депутатом бальяжа, поэтому выбрали его и еще двоих мэров и послали в монастырь — потребовать обратно бумаги. Они отправились туда все вместе; отцы-търселенцы увидели, что пришельцев всего трое, и впустили их. Как только они вошли, тяжелые ворота захлопнулись.

После крестный Жан рассказал обо всем, что произошло в монастыре: жалкие старики тряслись, как зайцы, а настоятель, отец Марсель, кричал, что грамоты отданы ему на хранение, что он не вправе отдавать их и, только убив его, можно их получить.

Тут крестный Жан подвел его к окошку и показал на косы, блестящие на солнце и терявшиеся вдали. Настоятель не проронил больше ни слова, поднялся и открыл большой шкаф за железной решеткой, набитый до верху грамотами.

Пришлось все разобрать, привести в порядок. Продолжалось это с добрый час, и в конце концов селяне, решив, что их послов взяли под стражу, с угрожающими криками ринулись к воротам, собираясь их вышибить. Но тут крестный Жан вышел на балкон, с радостным видом показывая людям целый ворох бумаг, и тотчас же довольные, ликующие возгласы прокатились до другой окраины Ликсгейма. И повсюду люди твердили, радостно смеясь:

— Они в наших руках!.. Мы завладеем своими грамотами!

Крестный Жан и оба мэра вскоре вышли, таща тележку с бумагами. Они прошли через толпу и всё кричали, что не следует обижать отцов-търселенцев, раз они вернули добро. А большего и не требовалось.



Каждое селение получило грамоты в мэрии; многие разожгли на площади веселый костер, салив и свои и монастырские грамоты. Но Жан Леру наши бумаги запрятал в карман; вот почему жители Лачуг сохранили все свои права на пастбища и сбор желудей в дубовом лесу, у многих же ничего не осталось, они как бы навсегда сожгли свои собственные леса и пастбища.

Немало я мог бы порассказать вам обо всем этом — так, многие не вернули спасенные грамоты, а попрятали их и позже продали бывшим своим сеньорам и даже государству, разбогачив на этом за счет своих общин. Да рассказывать не стоит. Погоди уже давно умерли, покончив все расчеты с жизнью.

Можно сказать, что за те две недели Франция изменилась в корне: все грамоты на права монастырей и замков превратились в дым; день и ночь гудел набат, небо над Вогезами багровело: аббатства, эти старые ястребиные гнезда, горели, как свечи, на фоне звездного

неба. Так продолжалось до 4 августа — в тот день епископы и сеньоры из Национального собрания отказались от своих феодальных прав и привилегий*. Кое-кто, правда, говорил, что уже нет нужды отказываться — все и так уже было уничтожено. И хотя так оно и было, во все-таки этот декрет нам на пользу: ведь их потомкам теперь ничего будет от нас требовать.

Вот так и освобождался народ от старинных прав «благородной расы победителей». Силою его закабалили, силою же он и вернул себе свободу.

С этого дня Национальное собрание могло приняться за составление конституции; даже король почтил собрание своим присутствием и сказал:

— Напрасно вы мне не доверияете. Все войска, явившиеся по моему приказу, все десять тысяч, собравшиеся на Марсовом поле, все пушки, окружившие вас, — ваша охрана. Но раз вы против этого, я прикажу им отойти.

Наши представители сделали вид, будто они поверили его словам; но что было бы, если бы Бастилия не была взята, если б весь народ не поднялся, если б полки чужеземцев взяли верх, а французская гвардия двинулась на город? Не нужно быть прозорливцем, чтобы предугадать события. Наш добрый король, Людовик XVI, говорил бы тогда по-иному, а представителям третьего сословия пришлось бы бежать. К счастью, дело повернулось нам на пользу. Парижская община образовала национальную гвардию, и все остальные общины Франции последовали ее примеру; они вооружились против тех, кто снова хотел надеть на нас ярмо. Всякий раз, когда Национальное собрание выносило какое-нибудь постановление, крестьяне брались за косы и ружья, говоря:

— А ну, выполняйте сейчас же! Так будет надежнее!.. Избавим от трудов наших милостивых сеньоров.

И закон выполнялся.

И всегда с удовольствием вспоминаю, как образовалась наша гражданская милиция, или, как ее первоначально прозвали, — национальная гвардия, в августе 1789 года. Подъем был почти такой же, как при выборах депутатов третьего сословия. Крестного Жака назначили лейтенантом отряда наших Лачуг, Летюрье — младшим лейтенантом, Готье Куртуа — старшим сержантом, а остальных — кого сержантами, кого капралами. Капитана у нас не было, потому что из жителей Лачуг рота не составила.

Вообразите же себе, как мы ликовали в тот день, возглашая: «Да здравствует нация!», когда собрались спрыскать эполеты — мои и дядюшки Жана, какое выражение было на лице крестного, который наконец-то с полным основанием мог носить свои густые усы и бакенбарды. Правда, ему пришлось выставить две бочки красного лотарингского вина. Летюмье с тех пор тоже отпустил усы, длинные рыжие усы, и смахивал на старую лисицу. Жан Ра стал нашим барабанщиком. Он отбивал такт ригодонов и всех маршей, как бывалый батальонный барабанщик. Уж не знаю, где он научился всей этой премудрости: пожалуй, играя на кларнете.

Мы также получили из арсенала ружья — ветхую дребедень с длинными, в локоть, цыпками. Однако мы не плохо с ними управлялись, только сначала пришлось призвать инструкторов из Лаферского полка — несколько сержантов нас обучали на нашем Марсовом поле по воскресеньям, после полудня.

Не прошло и недели, как крестный Жан заказал себе мундир у полкового портного Купца и в следующее воскресенье явился на учение в парадной форме; его живот еще больше вынычивался под синим мундиром с красными отворотами, треуголка была сдвинута на затылок, глаза блестели, эполеты торчали, а большая сабля сэфесом волочилась сзади. Он прохаживался вдоль рядов и кричал Валентину:

— Да расправьте же плечи, гражданин Валентин, черт возьми!

Свет еще не видел такого красавца! Тетушка Катрина просто не хотела верить, что это ее муж, когда он предстал перед нею, а у Валентина все в голове спуталось: он принимал дядюшку Жана за дворянина. И от изумления дрянное желтое лицо его вытягивалось еще больше.

Вот на военных учениях, правда, оказалось, что дядюшка Жан не так силен, как другие, и верзила Летюмье забывал его. Все над этим хохотали и потешались.

Жители всех окрестных деревень: Вильшберга, Миттельбронна, Четырех Ветров, Даниа, Лютцельбурга, Сен-Жан-де-Шу — маршировали, как бывалые служаки. А вокруг инырляли городские мальчишки, и до самого неба долетали их крики: «Да здравствует нация!» Рыпочная торговка фруктами Аннета Мино была нашей маркитанткой. Она водружала посреди Марсова поля словый

столик, стул, кувшин с водкой и стаканы, раскрывала большой трехцветный зонт, защищаясь от солнца. Впрочем, и под зонтом она изнывала от жары, да и мы, наглотавшись пыли, в третьем часу уже чувствовали себя плохо. Господи, как живо мне все это вспоминается! Вот наш сержант Керю — приземистый толстяк с седыми усами, в царике, нахлобученном на уши, в большой треугольной шляпе — марширует лицом к нам, нитясь, а ружье бьет его по ляжкам. Он выкрикивает:

— Раз-два-с... раз-два-с! Стой! На право равняйся! Смирно! Вольно!

И, увидя, что пот льется с нас градом, он от души смеется и в конце коцов приказывает:

— Разойдись!

Тогда все мы мчимся к столику Аннеты Мило, и каждый почитает за честь поднести стопку сержанту, который никогда не отказывается, произнося с южным акцентом:

— Дело пойдет, граждане. Даю слово.

Сержант любил опрокинуть стопочку — да ведь в этом нет беды. Он был хорошим инструктором, добрым малым, хорошим патриотом. Он, коротыш Тренке, из третьей роты, Базю, полковой запевала, Дюшен, высоченный лотарингец, шести футов ростом, с лицом под цвет ячменному хлебу, — словом, все эти бывалые солдаты братались с горожанами. Часто по вечерам, до отбоя, мы видели, как они, притаившись в клубе, в темном углу за перегородкой, внимательно прислушивались к нашим спорам, пока не наступало время идти на перекличку. Эти люди по пятнадцати — двадцати лет служившие в армии, так и не выходя из нижних чинов, по выполняя обязанности офицеров из благородных, в дальнейшем стали капитанами, полковниками и генералами. Они это предугадали и встали на сторону революции.

По вечерам дядюшка Жан вешал в шкаф свой роскошный мундир и, засунув эполеты и треугольную шляпу в картонную коробку, облачался в просторную визанскую блузу и приступал к изучению военного дела. Иной раз, работая в кузнице, когда мы меньше всего об этом думали, он вдруг начинал выкрикивать: «Смирно! Направо! Шеренга, шагом марш! Бегом!» Делал он так, чтобы проверить себя, попробовать голос, показать, какой у него бас. Почти каждый вечер, после ужина, к нам приходил посидеть верзила Летюрье: обхватив острое колено

руками, он с лукавым видом задавал дядюшке Жану коварные вопросы, раскачиваясь на стуле. Крестный Жан видел в теории только каре и атаки штурмовыми колоннами, потому что сержант Керю считал это на войне главным. Лицо его краснело, и он кричал:

— Мишель, подай аспидную доску!

И мы, навалившись друг на друга, наклонились над доской и, слушая его подробные объяснения, рассматривали глубоко построения в три-четыре человека, затем штурмовые колонны с пушками. Летюмье щурился и, покачивая головой, говорил:

— Промашка у вас, сосед Жан, промашка!

Крестный сердился и, стуча мелом по доске, кричал:

— Нет, это так! Говорю вам, так!

Все принимали участие в споре, даже тетушка Катрина. Мы старались перекричать Летюмье, и под конец никто уже ничего не мог разобрать — так, ни до чего не договорившись, мы заспживались до десяти часов вечера. Летюмье, уходя, уже в сенях все твердил:

— Промашка у вас, промашка!

А мы все бежали за ним и кричали:

— Это у вас промашка, у вас!

И если бы мы посмели, то исколотили бы его.

А дядюшка Жан говорил:

— Ну и тушица! До чего же глуп! Ничего не понимает.

Зато на учении Летюмье отыгрывался, командовал четко, заставляя людей проходить шеренгой, решительно показывая направление своей саблей — то направо, то налево. И нужно отдать ему справедливость, он, не меньше чем крестный, заслужил право стать лейтенантом. Так считали все жители Лачуг, впрочем, само положение Жана Меру — хозяина харчевни и кузнеца — повышало его в чине. К тому же он слыл в деревне первым красавцем.

Вот из чего ясно видно, какими простофилями оказались дворяне и епископы тех времен: после взятия Бастилии они не остались в Национальном собрании — отвоевывать свои права, которых, впрочем, у них не было, собрались в путь и отправились к ланним врагам кланяться о помощи в борьбе против нас *. По дорогам вереницей тянулись сеньоры, епископы, челядь, аббаты, капуцины, знатные дамы; из Лотарингии ехали в Трир, из Эльзаса — в Кобленц или в Базель, ехали, утражая:

— Подождите! Подождите! Мы еще вернемся, еще вернемся!

Они словно с ума посходили; все в лицо им смеялись. Это и была так называемая эмиграция. Все началось с графа д'Артуа, герцога де Ковде, принца Бурбонского, Полиньяка и маршала де Броуля, того самого, что командовал армией, окружавшей Париж, и намеревался захватить Национальное собрание. Втянули они также и короля в свое безумное предприятие, а теперь, лояив, как оно опасно, эти верноподданные роялисты оставили его одного и беде.

Видя, какой они учинили разгром, дядюшка Жан восклицал:

— Пусть себе удирают! Пусть удирают! Вот-то будет облегчение для нас и нашего доброго короля! Теперь он будет один, его светлость, граф д'Артуа ему своих идей уж не подскажет.

Все ликовали. Эх, если бы и дворяне навсегда уехали от нас, мы бы их и не поминали. От всего сердца подарил бы их немцам, англичанам, русским. Но многие оставались во главе наших войск и только и думали восстановить солдат против народа. Ведь эдакая подлость! Вы увидите, что эти люди замыслили против отечества; я все расскажу по порядку, торопиться нам некуда.

Парижане в то время еще любили короля и захотели, чтобы он остался с ними. Они послали своих жеп в Версаль, чтобы упрости его приехать к ним вместе с королевой Марией-Антуанеттой, юным дофином и всей королевской семьей. Людовику XVI не оставалось ничего иного, и он принял приглашение, а бедный изголодавшийся народ кричал:

— Ну, теперь мы с голоду не умрем... с нами булочник, булочница и мальчишка-подрочный*.

Лафайет, который ехал впереди верхом на белой лошади, был назначен командиром национальной гвардии, а Байн — мэром Парижа. Вот здесь и видно добросердечие обездоленного народа, не помнящего зла.

Шовель в те дни описал нам эти трогательные сцены. Он рассказал, что Национальное собрание следовало за королем и что совещание проходило в большом машеже, позади замка Тюильри.

Раз в пять-шесть недель мы получали от него письмо со связкой газет: «Парижские революции», «Революция

Франции и Брабанта», «Патриотические записки», «Парижский публицист» и множество других — их названия мне теперь не приходят на память.

Все было написано с силою и блеском, в особенности статьи Лустало * и Камилла Демулена *.

Все, что свершалось, все, что говорилось во Франции, было описано в газетах, да так хорошо, что каждый крестьянин мог представить себе нашу точку зрения. Мы их читали на рынке в Пфальцбурге, где великан Элоф Коллен устроил первый наш клуб по образцу клуба Якобинцев * и клуба Кордельеров * в Париже. Там-то мы вечерами и собирались между складом пожарных насосов и старыми мясными лавочками. Летюмье сообщал о востоях так громко и четко, что можно было все разобрать на Оружейной площади. Со всего края сходились сюда люди, чтобы его послушать, а антекарь Триболен, Рафаэль Манк, старый солдат Дидье Горцу, шляпочник, человек весьма рассудительный, Апри Доминик, трактирщик, Фиксари, Барух Арон, Черне и другие именитые горожане выступали с речами о правах человека, о вето *, о дележи Франции на департаменты, о законе об активных и пассивных гражданах *, о допущении на должности протестантов и евреев; об учреждении гласного суда, об упразднении монастырей и религиозных орденов и о национализации имений духовенства, о выпуске ассигнатов * — словом, обо всем, о вопросах, которые обсуждались в Учредительном собрании. Вот какая наступила жизнь, какие произошли перемены.

В прежнее время сеньоры и епископы все бы порешили, сделали, уладили в свою пользу в Версале, ничуть не заботясь о нашем благе, и продолжали бы аккуратнейшим образом стричь нас; их управители, сборщики, блюстители порядка являлись бы к нам с конными жандармами и без зазрения совести заставляли бы выполнять барские прихоти, которые были законом. А наш добрый король, лучший из людей, непрерывно толковал бы о своей любви к обездоленным; дворцовые газеты были бы полны сообщениями о балах да о празднествах, о поездках на охоту — сплошь восхваления и раболепство, а тем временем холод, голод и всяческие беды по-прежнему одолевали бы простых людей. Ах, какое же счастье слушать, когда говорят о твоих собственных делах, и иметь право высказываться, поддерживать тех, кто выступает, отстап-

вая паше благо, кричать, топтать ногами, выступая против тех, кто нам не правится.

Вот это и называется — жизнь! Как сейчас, вижу я старый рынок, освещенный фонарем, подвешенным к строениям. На скамьях видимо-невидимо людей; ребятишки уселись под навесом сапожника, старика Дамьена, на столе стоит великан Коллен и вслух читает газету. Ветер врывается под навес, блики света скользят по лицам собравшихся; вдали виден часовой в старой треуголке, в истасканном белом мундире, с ружьем на плече; он то и дело приближается, останавливается и слушает.

А вот и старики, дремлющие позади весов, каменная подставка которых за полвека обросла мохом: тут и наш толстый мэр Буало с трехцветным шарфом, тут и господа эшелевы, и Жан Бокер — судебный служитель, должностное лицо из резиденции прево, — которого с некоторых пор заместил Жозеф Базайль, квартирмейстер национальной жандармерии. Вот и сам желтолицый прево с крючковатым носом, в длинноволосом парике. Все эти люди молча прохаживаются вдоль каменной стены и не думают отдавать приказ о том, чтобы нас окружили и изгнали, а то и повесили, как приказали бы два-три года назад, — да, все мне теперь вспоминается.

Ах, тот, кто не видал подобных перемен, не испытывал и счастья. Скажу лишь одно: нужно сохранять мужество и здравый смысл, чтобы никогда больше не попадать в то положение, в каком мы были до 1789 года. Пусть люди подумают об этом. Негодяи не упустят случая пожить в праздности и лени и попользоваться всеми радостями жизни за счет народа.

От тех дней великого переворота, потрясшего наш край, когда горцы спускались в долины, когда пожарам были объаты замки, монастыри и заставы, а сеньоры, монахи и епископы покидали страну — пешком, верхом и в экипажах, бывшие же сборщики, очутившись без места, норовили пролезть в офицеры национальной гвардии, чиновники фиска норовили стать во главе дистриктов, — от тех дней разгрома запомнилось мне лучше всего, как батюшка дрожал от страха, что некому будет покупать его метлы, а мать все твердила, что наступает конец света, что все мы погибнем и надо хоть души наши спасти. И еще то, как однажды Илод, мой брат, вернулся домой с посохом в руке и сообщил вне себя от огорчения:

— Пренеподобные отцы-търселенцы отбывают. Меня рассчитали. Как же теперь быть? Коров не осталось — пасти некого.

В ту пору мне было двадцать лет, я был в расцвете сил, и страхи домашних меня возмущали. Я говорил:

— Да чего вы так боитесь! Мы снесли все мытарства, пережили десятину, барщину, соляной налог и прочие повинности, своим трудом кормя мопахов да дворян. Теперь-то чего нам плакаться, когда мы от них освободились и когда нам останутся деньги, которые на них шли. Да разве перекозели все быки и бараны? Если Клоду уж так хочется пасти стадо, пусть подождет немного, может, придет день и я найму его в пастухи!

Было дерзостью так говорить, но, знаете ли, мои взгляды на подчинение давно изменились. Я уже понимал, что все люди равны, что одни становятся всемогущими лишь потому, что другие себя принижают и что хватит почитать привилегированных.

Мать, облокотившись о стол, не сводит с меня своих серых глаз. Сжав губы, кулаком подпирая голову, она говорит:

— Видно, Мишель, тебя обуяла гордыня. Вадумал, как Носиф Прекрасный, будто снопы твоих братьев склоняются перед твоими и звезды сверкают в твою честь. Но тебе не быть советником царя египетского, а болтаться тебе на виселице. Так и знай. Вороны небесные слетятся и расклюют твоё тело.

Я уходил из нашей лачуги в девятом часу и бежал в город — в клуб, подстрекал народ против бывших господ и спидиков, всех тех, кого мы называли аристократами. Голос мой заглушал голоса всех присутствующих, а когда мне возражали, глаза сверкали от гнева. В конце зимы я уже вносил предложения на собраниях, — например, хором провозглашать: «Да здравствуют друзья конституции!» или «Долой лжепатриотов!» В Лачугах ко мне прониклись уважением. В десятом часу вечера мы расходились по домам при свете луны и песни «Наша возьмет!». Пел я, как дрозд, и дядюшка Жан, положив руку мне на плечо, говорил, посмеиваясь:

— Молодец, Мишель! Мы с ним всегда будем заодно!

Вот она, восторженная юность! Мысль о Маргарите и Шовеле удваивала мой патриотизм, любовь переполняла сердце.

Год прошел быстро. Зима выдалась мягкой, шел мокрый снег, в конце февраля на полях его уже не осталось.

В марте, апреле и мае 1790 года стала сколачиваться гражданская гвардия, деревня браталась с деревней, а не устранивала побойца, как прежде, когда люди хватались за камни да палки.

Старики держали речи, и все обнимались, выкрикивая: — Жить свободными или умереть!

Женщины и девушки тоже приходили взглянуть на празднества, только они не вмешивались — тогда еще не было моды на граций и богинь.

Больше всего крестьяне радовались, когда началась распродажа церковных имений.

Понятно, что в дни революции, когда уничтожались все старые налоги, дефицит все увеличивался. Национальное собрание, представляющее народ Франции, не могло следовать примеру наших прежних королей и обанкротиться: оно не желало нас обесчестить! Но как же уплатить долги монархов? Где взять деньги? По счастью, епископ Отепский, его преосвященство Талейран Перпгорский *, объявил, что у церкви на четыре миллиона владений, разделенных между двадцатью тысячами духовных лиц всех мастей, прибравших их к рукам, что, назначив хорошие пенсии духовным лицам, можно изъять эти владения. А когда земли будут лучше обработаны, они принесут такой доход, из которого можно выплатить пенсии, — и даже еще кое-что останется.

Поистине то была мысль, неисполнимая небом! Поэтому, невзирая на то, что остальные епископы могли бы возражать, Национальное собрание постановило продать церковные владения, а духовным лицам выдавать пенсии.

Это и спасло страну от банкротства, и на первых же порах, в 1790 году, было продано владений на четыреста миллионов.

И много стариков, до сих пор не признававших революцию, стали ее пылкими приверженцами, глаза у них разгорелись, они взяли за кубышки, куда откладывали по су да по лиарду, и отправились в городскую ратушу.

Там, в мэрии, продавались земли тем, кто больше давал и набивал цену. Земли покупались в рассрочку, участками в пять, десять, двадцать и больше гектаров. Каждая мэрия отвечала за продажу. Она посылала боны государству, этими болами и выплачивался дефицит за дворян и

епископов, сделавших без нашего ведома долг, потому что с нами-то они никогда не советовались. Позже бонь стали называться ассигнатами. Ассигнаты обозначали количество земель, и никто не мог от них отказываться, ибо земля — те же деньги.

Господи, сколько я мог бы купить земли в те времена по дешевке! Да денег не было! Не выходил у меня из головы огромный ликсгеймский пруд и луга вокруг Тьерселенского монастыря. Но что поделаешь, если нет средств! Сколько раз я слышал, как под сводами мэрии объявляли о цене на отменные угодья, строевой лес, тучные пастбища. Просто сердце разрывалось оттого, что я не мог поднабавить цену — не было у меня денег в залог. Когда старик крестьянин в простой блузе уходил из мэрии, унося кучую на удачный участок земли, я смотрел на него с завистью и твердил про себя:

— Старательно работай, Мишель, и будь бережливым, тогда и у тебя на старости лет будет отрада!

И я всегда помнил об этом. На беду, лучшие возможности уже миновали; для продажи остается одно: казенные леса, и мы все ждем новых дефицитов. Но благодаря нынешнему порядку и бережливости — это дело далекого будущего. Кроме того, все теперь прибегают к займу, долги выплачивать придется нашим детям и внукам. В общем, надо довольствоваться тем, что у нас есть, хватит с нас до новых порядков.

Нет нужды описывать, как вели себя монахи и прочие духовные лица из неприсягнувших, когда продавались их земли; они вопили, возмущались и предавали проклятию всех покупателей земель, проданных по распоряжению народа. Но ради таких превосходных владений стоило угодить и в чистилнице, и дядюшка Жан не боялся, что от него будет отдавать гарью — это даже подходило кузнецу. Он купил несколько превосходных участков: отгороженный лесок преподобных отцов да сто пятьдесят арпанов в Пикхольце — тучные земли, расположенные удачно. За все он заплатил двенадцать тысяч ливров, и можете себе представить, как он подмигивал, как раздувал толстые свои щеки от удовольствия и восторга, возвращаясь с торгов. Тетушка Катрина все журила его, все твердила о спасении его души, а он в тот день все посмеивался; заложив руки за спину, он прохаживался по большой горнице и шутил:

— Да полно тебе, полно! Сожжем фунта два свечей в честь святой девы. Не беспокойся, Катрина. За все я один буду в ответе.

Он одергивал жилет на животе, тихонько насвистывая мотив веселой песенки.

Как хотелось мне тоже купить участок, несмотря на вопли старых ханжей, проклипавших в селе Жана Леру. Моя мать так никогда и не простила ему... Но крестный не чувствовал себя хуже от проклятий; напротив, про себя он рассуждал так:

«Теперь я богат. Не стану работать в кузие, если надоест. Мне пришлось по вкусу взгляды монсеньера Талейрана Перигорского. Буду сидеть сложа руки, и плевать мне на завистников — всех, кто бы хотел на моем месте быть».

От приятных мыслей он словно стал еще здоровее и до семидесяти шести лет сохранил румянец во всю щеку и жизнерадостность.

Больше всех против него ополчился отец Бенедикт — он исходил весь край, предавая проклятию покупателей церковных пмений. Наглец осмеливался проклипать революцию. С той поры он не принимал подавший от тетушки Катрины и, проходя мимо харчевни, орал, осеняя себя крестом:

— Все их имущество воровано.

А дядюшка Жан смеялся.

Надо сказать, что и Валентин стал дерзок на язык в спорах с хозяином Жаном, он подумывал даже оставить кузницу, и только я удерживал его, потому что, не перебивая, часами выслушивал его речи.

Все владения духовенства были, таким образом, распроданы, и покупка земли сразу подняла крестьянство над горожанами-мастеровыми, тем более что земли были освобождены от феодальных налогов. Земледелие стало процветать: при хозяйничанье монахов вся земля находилась под лесами, прудами и пастбищами, а половина полей — под паром. Ради чего было им — молахам — надсаживаться? Ведь монастырям всего вдоволь доставало. В ту пору, когда бедные деревенские священники еле-еле перебивались при своих скудных доходах, монахи и капуцины жили в богатстве. Завещания, пожертвования, дары на богоугодные дела — их делали из боязни перед адом, — оброки всякого рода увеличивали доходы монастырей.

Когда монахи умирали, все их достояние оставалось в монастырской общине. Люди эти жили припеваючи и обрабатывали человеческие души: это было подхожнее, чем земледелие.

Ну, а мы — другое дело: когда у тебя есть жена и дети, изволь быть расторопным. Новь мы распахали, расчистили, перекопали, засеяли; пруды мы спустили, землю, стоявшую под паром, разбили по участкам и перешли к трехполью, собрали удобрения. Старые способы нередко заменяли лучшими. И на этом мы не остановились, ибо все развивается: осушение почвы, окуливание виноградников серой, борьба с градом, большие работы по осушке болот, орошению, попытки вырастить хорошие сорта семян, новые сельскохозяйственные машины — словом, все доказывает, что революция все шире и шире распространяет свои благодеяния по свету с помощью труда и правильного ведения хозяйства.

Обидно только сознавать, что полезным нововведениям всегда противятся — темные люди восстают против прогресса. В том же 1790 году против новых законов поднял мятеж юг, монахи там слыли за святых, и бедный невежественный люд хотел пребывать в нищете и рабстве. В Монтобанае, Ниме, Монпелье, Тулузе епископы твердили в своих посланиях, что «священникам не должно быть на жалованье у разбойников». Протестантов истребляли. Беда, да и только! Пока эмигранты старались поднять Европу против нас, мы, вместо того чтобы держаться сплоченно, по-братски, начали раскол. Все видели, как это опасно, и понимали, что духовенство, именем религии поднимая простых людей, придает аристократам силу, какой им не хватало, чтобы развязать гражданскую войну, тем более что офицеры-дворяне по-прежнему возглавляли наши войска. Часто по вечерам крестный говорил, читая газеты, присланные Шовелем:

— К чему все эти справедливые законы? К чему было выводить из Парижа войска, раз теперь они стоят в двадцати, тридцати, сорока миль вокруг него в боевой готовности под командованием маркизов, графов, герцогов и всех тех, кто нас ненавидит? Вот-вот сговорятся и не сегодня-завтра двинутся враз да окружают Национальное собрание. Разгонят его, призовут эмигрантов и отнимут у нас земли, которые мы приобрели, да перевешают нас. Право же, противно здравому смыслу оставлять их в

армии: ведь дворяне — наши заклятые враги. Я бы предпочитал, чтобы во главе наших войск стояли австрийцы.

Ныне нельзя даже вообразить себе то множество подлых наветов, которые сыпались тогда на головы людей из третьего сословия в писаниях дворян и епископов, во всех этих «*Salvum fac*»¹, в «Страстях Людовика XVI, короля евреев и французов», в их Апокалипсисе, где священные слова и евангельские изречения перемещивались с площадными ругательствами. Они выпускали также «Газету франта Лафайета, генерала вассльков», «Дюшен — истинный отец», «Захват ордена Благовещения», — словом, кучу всякой сранды, не имеющей никакого смысла. Честные люди только пожимали плечами, читая всю эту галиматью.

Эти подлые газеты обранцались к Национальному собранию с жалобами на распущенность среди солдат, на падение дисциплины. Чтобы угодить офицерам-дворянам, Собранию пришлось бы отдать приказ о расстреле солдат, потому что они отказывались разогнать Собрание. Ничего подобного люди сроду не видывали. Дворяне напоминали осенних мух, которые становятся злее перед своим концом.

Но, не взирая на все, революция шествовала вперед. Народ ей верил. Уничтожение королевских, дворянских и монастырских прав всех радовало. По воскресеньям крестьяне выпугивали дичь на полях и вересковых пустошах. Приятно было слышать, как ружейные выстрелы раздаются со всех сторон, и видеть, как жарится на вертеле заяц в лачуге у бедняка, который издевается над сторожами и, посмеиваясь, говорит ребятишкам:

— Едим бездельников, живших на наш счет. Теперь мы себе господа.

Сами понимаете, офицеры гарнизона уже не приходили в «Тиволи». Времена менуэтов миновали. В нашем дворе под старым дубом сидели теперь только сержанты в поношенных белых мундирах, широкополых войлочных шляпах, изрядно потертых, всегда готовые осулить стопку и толкующие о том, что надо потребовать отчета. Что это за отчет — мы понятия не имели, но стоило увидеть, какое у них выражение лица, когда они спорили приглушенными голосами, перегнувшись через стол, чтобы быть поближе друг к другу, как становилось понятным, что дело это важное.

¹ «Боже, храни короля» — молитва во здравие короля (лат.).

Граф Буайе, лафферский полковник, шевалье Буаран из Шеф-дю-Бо, граф де Дивон и даже мелкие дворяне — де Клерамбо, де Лагард, де Данглемон, де Кменено, д'Анзер, о которых всегда шли толки, собирались в кофейне «Регентство» на Оружейной площади. Они, разумеется, тоже хотели потребовать отчет. Не очень-то им нравилось образование гражданской милиции, благодаря которой мы общались с военными. Бывало, они прохаживались взад и вперед под вязами и еще издали примечали, кто из солдат останавливался поговорить с горожанами.

Так все и шло до августа. Я записывал изо дня в день все, что происходило в наших краях, и к концу каждого месяца посылал письмо на шести страницах в Шарляк на улицу Булуа, в дом номер одиннадцать, где проживал тогда Шовель. Он нам аккуратно отвечал и присылал газеты. Маргарита приписывала каждый раз в конце письма привет Мишелю, что радовало меня и даже умиляло. По вечерам и часами засиживался в их библиотеке и перечитывал четыре строчки, вписанные ею, всякий раз находя в них что-нибудь новое.

Каким счастьем было посылать ей вести о ее маленьком садике, где пышно расцветали цветы, перевешиваясь через стену на улочку, а вишневые деревья склонялись под тяжестью веток, усыянных бесчисленными плодами. Ах, до чего хотелось бы мне отправить ей корзиночку чудесных вишен, тающих во рту, и охапку махровых роз, осмыанных утренней росой. Как бы она обрадовалась, увидев цветы, вдохнув их аромат! Когда я думал об этом, мне нестерпимо было жаль, что я один в уютном уголке, наполненном свежестью и дивными запахами, в тени деревьев у ветхой хижинки.

Вот так и текла моя жизнь посреди великих событий, споров, опасностей, которые нарастали буквально на наших глазах.

Однажды прошел слух, что во Францию через Стоней вошли австрийцы и что генерал Буайе, командующий Арденнской армией, вывел свои войска из Шарлевилля, чтобы пропустить австрийцев.

Грозная это была новость! Больше тридцати тысяч солдат национальной гвардии сейчас же вооружились. Горцы, у которых еще не было оружия, приесли нам старые косы, прося перековать на лезвия. Были барабаны, раздавались призывы к оружию. Мы уже готовы были

двинуться в поход вместе с ифальцбургцами, когда от гонцов узнали, что наш добрый король позволил австрийским полкам пройти через Арденны на подавление бельгийской революции.

Для пропуска иностранцев требовался декрет Национального собрания. Тогда-то всем стало ясно, что произошло бы, если б граждане не поднялись всем миром, и даже сам дядюшка Жан немного охладел к нашему добродушному королю. Ему, как и всем остальным, показалось подозрительным разрешение, данное австрийцам — пройти и подавить революцию в Бельгии, революцию, порожденную нами.

Министры объявили, что сделано это согласно секретному дипломатическому договору; Национальное собрание не захотело расследовать это дело из боязни узнать чересчур много.

Все это происходило в начале августа 1790 года и дела у дворян обещали все хуже и хуже. Самым же постыдным для них был еще, пожалуй, не виданный во Франции случай: солдаты задерживали офицеров, как воров. Полки из Пуату, а также Форецкий, Босекский, Нормандский и многие другие ставили часовых у дверей офицерских помещений, требуя представления счетов.

Какая грязь, гадость какая! Бедняков солдат обирали дворяне-офицеры, такие богатые, такие надменные, — все те, кто обладал чинами, почестями, пенсиями, всеми привилегиями. Никто не мог и представить себе такую грязь. Однако это была печальная истина. И вот началось расследование: Бос потребовал двести соток тысяч семьсот двадцать семь ливров, Нормандия и брестские моряки — около двух миллионов. Начальство капитулировало и занялось подсчетом. В Страсбурге семь полков восстали, в Битине солдаты выгоняли офицеров; Национальное собрание вызвало к королю, умоляя:

«назначить чрезвычайных инспекторов из генералов, дабы в присутствии полковника, штабс-капитана, поручика, подпоручика, унтер-офицера или квартирмейстера, старшего и младшего капралов или сфрейтора и четырех солдат приступить к проверке счетов каждого полка за шесть лет, разобрать все жалобы и удовлетворить их».

И вот после расследования штабные офицеры вынуждены были вернуть по двести — триста тысяч ливров, украденных у солдат от хлеба и овощей.

История эта показалась всем до того гнусной, что стали раздаваться возгласы:

— Настало время для революции!

Ожесточение офицеров против бедных солдат, потребовавших свое добро, не поддавалось описанию. В те дни эмигрировали целые толпы штабных офицеров: они переходили к австрийцам с оружием и имуществом. Не все, конечно, уехали: среди «благородных» нашлись и порядочные люди, возмущенные всем случившимся; впрочем, и бы мог назвать немало имен и иных прочих: у меня сохранились газеты того времени — страницы пестрят описанием их дезертирства. Эльзас и Лотарингия говорили об этих господах с негодованием. Вскоре нам довелось увидеть, как бесчеловечны господа, пойманные на месте преступления, — они и не думали признавать свою вину и на коленях молить о прощении, а думали только о том, как отомстить.

Целая 15 августа папаша Судэр, менявший новую посуду на тряпье, зоду и битое стекло, проезжал из Люневилля мимо Лачуг. Он остановил старую клячу, впряженную в тележку, перед харчевней дядюшки Жапа, узнать, нет ли чего у хозяйки для обмена, а заодно пропустить, по обыкновению, стаканчик вина. Папаша Судэр, седой старик с оспинами на лице, любил распространять всякие новости, как все странствующие торговцы. Его прозвали «Колодильщиком лягушек», так как его односельчан заставляли всю ночь колотить по воде — по Лендрекскому пруду, — дабы лягушки не квакали и не нарушали сон их сеньора.

Жан Перу спросил его, нет ли новостей, а он только и ждал вопроса и стал рассказывать о крупных беспорядках, происходивших в окрестностях Нанси *. Солдаты трех гарнизонных полков — Кавалерийского из Местр-де-Кана, Королевского и Швейцарского из Шатовье — перестали повиноваться офицерам, особенно сильны разногласия между солдатами и офицерами Шатовье.

Рассказывая об этом, папаша Судэр все подмаргивал нам. А немного погодя, когда Николь, привстав у печи, вышла, он сообщил, что ярость офицеров вызвана была тем, что солдаты потребовали у них денежный отчет и что Королевскому полку уже пришлось уплатить 450 000 ливров — звонкой монетой: Местрдеканскому — 47 962 ливра, а солдаты Шатовьесского требовали 229 208 ливров.

И тогда солдатских депутатов прогнали на площади сквозь строй, избивая ремнями. Ведь выгоднее убивать людей, чем давать им отчеты. Но такой способ вызвал возмущения в городе. Национальная гвардия перешла на сторону войск, а фехтовальщики, побуждаемые офицерами, стали бросать горожанам вызовы, чтобы убить на дуэли, и дело принимало плохой оборот.

Он восмеивался, нам же было не до смеха — ведь мы находились в десяти лье от границы, было у нас множество солдат, получивших отставку и увольнение от службы, которое давалось солдатам-патриотам, когда желали от них отделаться, и нам со дня на день грозило пагубное присутствие неприятеля, тем более что Фридрих Великий, король Прусский, и Леопольд, император Австрийский, только что заключили между собой мир и объявили французских революционеров своими заклятыми врагами.

Наконец, наговорившись ведасть, обменяв горшки на старье и заплатив за вино, панаша Судэр вышел и покачал по деревне, выкрикивая:

— Битые горшки, старье меняю!

А в скорости мы узнали еще одну важную новость, удивившую нас всех и показавшую, что не только Людовик XVI и эмигранты, дворяне и епископы, офицеры и монахи были в сговоре, но и многие из наших депутатов вошли с ними в соглашение, как жулики на ярмарке, решив пресечь революцию и вернуть нас снова к рабству.

Узнали мы это из письма Шовеля. Письмо пролило свет на события тех дней, и очень досадно, что оно у меня не сохранилось, но дядюшка Жан, как водится, отдал его почитать, оно обжегало весь край, и никто не знает, куда девалось. Помнитеся, в этом письме Шовель сообщал, что Мирабо и еще кое-кто из депутатов третьего сословия продались двору, что революция показалась этим мерзавцам чересчур уж великой и они испугались, увидя, что она распространяется повсюду, что один из них пожелал стать премьер-министром, а другие находили, что приятно обзавестись своими собственными дворцами, лесами, экипажами, слугами и что сам Лафайет и Байи стали пренебрегать нами, считая, что короля обездолили, принудив отдать свои права народу и довольствоваться всего лишь сорока миллионами в год, лишь бы возможности сказать: «Земля, люди, скот — все мое». Они как бы не пытались сострадание к его участи.

Помнится, Шовель рассказывал нам и о новых людях, которые появились в клубе и день ото дня становились все известнее: то был Давтон *, Робесьер *, Лежандр *, Петноп *, Бриссо *, Лустало, Демулен. Но все эти люди умерли бедными и обездоленными, а иные гильотинировали друг друга, послужив народу, который от них отступился. Те же, кто служил дворянству и духовенству, прожили жизнь в благополучии, получили повышение в чинах и умерли на удобных постелях, окруженные челядью и получив отпущение грехов за содеянное. Если бы не было всевышнего, подобные примеры приводили бы в убыток и следовало бы считать отъявленными глупцами тех, кто жертвует собою ради блага народа, который смеивается их с грязью, даже после их смерти, и позволяет врагам называть их злодеями.

Письмо Шовеля нас поразило. Хозяин Жан был явно раздосадован: он говорил, что нельзя сразу требовать слишком многого. Я же был другого мнения: я не считал, что Шовель требует многого. Я отлично понимал, что Жан



Леру и прочие буржуа, ухватив лакомый кусок, хотели передохнуть. Но ведь у нас-то, простых людей, еще ничего пока не было, и мы тоже хотели получить от революции то, что нам причиталось.

У нас не прекращались споры о письме, которое Летомье взял, чтобы прочесть в клубе. И вот в четверг, 29-го, когда в восьмом часу вечера мы пришли на рынок, то увидели три афиши, висевшие на массивном столбе, стоявшем посредине. Четверо-пятеро стариков ифальцбуржцев, моих сверстников, еще здравствующих ныне, должно быть, помнят, что между этим массивным стол-



бом — опорой толстых кровельных стропил — и помещением бывшего соляного управления висел большой фонарь, вокруг которого летом, когда мы собирались в клубе, сновали летучие мыши. Горожане отцепили фонарь и сгрудились вокруг него, наваливаясь друг на друга, чтобы прочесть афиши. Жители Лачуг подошли последними и не могли пробиться; тогда Летюмье, работая острыми локтями, врезавшимися людям в бока, все же пробрался вперед и стал читать так громко, что его зычный голос слышался под сводами кордегардии.

— «Послание господина де Лафайета к национальной гвардии Мертекого и Мозельского департаментов:

Париж, августа 17 дня, 1790 года.

Господа!

Национальное собрание, узнав о преступном поведении гарнизона в Нанси и предвидя нагубные последствия таких выступлений, приняло для их пресечения меры, означенные в декрете, который я имею честь вам препроводить, дабы вы могли заранее предвидеть приказания, которые, быть может, получите.

Позвольте, господа, тому из ваших собратьев по оружию, которого вы уполномочили выразить вашу преданность конституции и общественному порядку, ознакомить вас с обстоятельствами, полагаясь на то, что вы проявите рвение и стойкость во имя укрепления свободы, которая зиждется на уважении законов, и во имя установления всеобщего спокойствия.

Лафайет».

Мы слушали, и ужас охватывал нас. Несколькоми днями раньше мы бы все двинулись в поход, но после письма Шовеля, обрисовавшего нам Лафайета как человека слабого духом, тщеславного, его призыв идти против солдат-патриотов наполнил нас негодованием. Все мы, жители Лачуг, закричали:

— Вот подлость! Правильно солдаты требуют отчета! Солдаты наши братья, наши друзья, наши дети — мы с ними заодно будем против офицеров-дворян, которые готовы с них шкуру содрать!

Возмущение охватило всех; порядочные люди не одобряли такой способ уплаты долгов. Летюмье, подняв шляпу над головой, кричал:

— Да выслушайте же остальное... Тихо! Слушайте декрет Национального собрания!

Гнев наш рос, но мы все же замолчали и стали слушать чтение декрета, «повелевающего сосредоточить силы, стивув гарнизоны и национальную гвардию Мертекого департамента и соседних департаментов, чтобы действовать согласно приказам генерала, которого Его Величество со-благоволит назначить, дабы усмирить зачинщиков бунта». А потом он прочел последнее объявление Мертеких властей в Намси:

— «Ввиду требования прислать военную силу, датированного вчерашним днем и направленного властям Мертекого департамента генералом Буйе, командующим по воле Его Величества войсками упомянутой провинции Трех епископств и уполномоченным Его Величеством привести в исполнение декрет Национального собрания от шестнадцатого числа сего месяца, офицеры муниципальной гвардии всех поселений Мертекого департамента, где находятся вооруженные отряды национальной гвардии, обязаны потребовать от начальников помянутых отрядов национальной гвардии, чтобы они собрали возможно большее число волонтеров, составили их список и немедленно представили его офицерам муниципальной гвардии.

В соответствии с этим списком офицеры муниципальной гвардии вручат начальникам помянутых волонтеров сумму, нужную для обеспечения съестными припасами на неделю, считая в день по двадцать четыре су на человека по государственному курсу. Каждый волонтер должен иметь, по крайней мере, двадцать патронов; те, кто не в состоянии будет добыть патроны на месте, получают их в Намси. На каждый дистрикт полагается только одно знамя. Солдаты национальной гвардии будут расквартированы во время похода на тех же условиях, какие полагаются и для солдат регулярных войск, в силу чего ни один гражданин не вправе отказать им в помещении. Переход сделать возможно быстрее» и так далее, и так далее.

Толпа граждан слушала молча.

Не успел Лемютье дочитать объявление, как появился глава дистрикта Матенс из Саарбурга, прыщавый толстяк с трехцветным шарфом, повязанным вокруг пояса. Взобравшись на прилавок в бывшем соляном амбаре — офицеры держали оттуда речи, обращаясь к народу, при-

зывая патриотов к восстанию, — он слово в слово повторял посланше Лафайета, которого называл «другом Вашингтона и спасителем свободы». Многие уже стали кричать: «Да здравствует король! Да здравствует Лафайет!» Толстяк Мателс уже заранее посмеивался, как вдруг Элоф Коллеп, стоя посреди рынка, начал ему возражать. Он говорил, что национальная гвардия не для того создана, чтобы вести бои с нашими же солдатами, а создана она поддержать их в сражении против наших врагов, и если б не нападали на Местредеканский и Шатовьесский полки, а уплатили солдатам то, что они справедливо требуют, то усмирился бы мятеж и все пришло бы в порядок; что дворяне хотят восстановить народ против армии и снова стать нашими господами и что он, Коллеп, призывает всех здравомыслящих людей в это не вмешиваться. Пусть господа офицеры сами разбираются в своих грязных делишках — это народа не касается.

Тут снова раздался гул голосов — кто был согласен, кто нет. Люди, покупавшие национальные имущества — Жан Леру, Никола Ропп, трактирщик из Эгля, Мельхор Леонар, бывший старшина цеха кузнецов, мастер Луи Массон, станционный смотритель, Рафаэль Мавк, поставщик продовольствия, который недавно взял подряд на поставку фуража в Королевский гвельфский полк, Жерар, командир гражданской гвардии, — словом, все именитые люди с достатком из Пфальцбурга и окрестностей стояли за Лафайета. Они пользовались наибольшим влиянием благодаря поддержке ремесленников, которым давали работу, заключая подряд.

Муниципальный совет уже постановил, что город даст вперед тысячу франков на провиант волонтерам; это произошло утром, до собрания в клубе, и, несмотря на все, что еще собирался сказать Коллеп, припавшим голосованием, что отряд национальной гвардии наутро непременно двинется в путь, что такая-то деревня представит столько-то человек, другая — столько-то и т. д. Лачуги должны были представить пятнадцать волонтеров, и, разумеется, Жаан Леру, Летюмье и меня в том числе — как лучших патриотов.

И Жан Леру находил это справедливым! По-моему, он был непрочь немного поиграть в солдаты и к тому же похвастаться в Панси в щегольском муляре, так как здравый смысл и доброе сердце не мешали ему быть весьма

тицеславным. Летюмье, Жап Ра и я, возвращаясь в деревню, продолжали толковать об этих делах всю дорогу.

Наконец все отправились на покой, уговорившись на заре встретиться у харчевни «Три голубя» и тут же двинуться в путь.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В шесть часов мы собрались на Оружейной площади вместе с волонтерами из города и окрестностей: всего нас было сто пятьдесят человек. Перед выходом мы выпили по стакану вина в харчевне Жапа Леру, съели по доброму ломтю хлеба — остаток запрятали в походный мешок. Жители остальных деревень поступили так же. Слышались барабанныя дробь — собирали всех отстающих. Пришли еще пять-шесть человек. А затем комендант крепости сделал счет и велел раздать патронные сумки всем, у кого их не было, да по двадцати пяти патронов каждому.

Тут командир национальной гвардии, Жерар, вскочил на коня и стал говорить нам об обязанностях солдатогражданина. Затем он взмахнул саблей, и снова забили в барабаны. Ни один волонтер больше не явился, и мы вышли через французскую заставу под возгласы, которые неслись из всех окон: «Да здравствует король! Да здравствует пацзя!» Мальчишки гурьбой бежали за нами до самого миттельброевского подъема, а кое-кто — даже до Сен-Жана. Дальше мы держали путь уже одни в клубах пыли.

Этот день — тридцатого, и следующий — тридцать первого, право, были самыми жаркими днями в моей жизни. Багровое солнце припекало нам затылок до изнеможения, а пыль просто душила. К тому же это был наш первый военный поход: идти в отряде совсем не то, что в одиночку. То приходится замедлять шаг, то — ускорять, от этого сильно устаешь; вдобавок пыль стоит столбом, лезет в глотку, супит рот.

И все же в Саарбург мы пришли уже в одиннадцатом часу. Никто из горожан никуда не отправился, и люди смотрели на нас с удивлением. Мы сделали привал и передохнули, а потом шли без остановок, вплоть до Бламона, куда добрались к семи часам вечера.

В пути дядюшка Жап не раз пенял на себя за то, что

надел парадный мундир вместо удобной блузы, а бедняга Жан Ра с барабаном на плече, согнувшись в три погибели, еле плелся, будто тащил тележку панаши Судэра. Я же шагал бодро; правда, пот лил ручьями по спине, и я даже спял гетры, чтобы пообдуло ноги, однако все это я переносил легко, как и остальные деревенские парни.

Некоторым молодым людям из горожан повезло за известную мзду взобраться на попутные телеги, направлявшиеся в Бламон. Жан Ра обрадовался случаю и подвесил барабан к дышлу.

Наконец мы все же добрались до Бламона. Командир Жерар и капитан Лафрене расположились у мэра города, Буанона, крестный Жан и Летюмье — у городского чиновника, а Жан Ра, Жак Гриво и я — у торговца вином, доброго патриота. Он усадил нас за стол и угостил ужином, рассказав, что их командир, господин Фроманталь, два дня тому назад ушел с волонтерами из Бламона и Гербевиллера, что почти всем недоставало оружия, но им обещали выдать ружья на месте.

Мы выпили доброго тульского вина; встать нужно было до рассвета, чтобы воспользоваться утренней свежестью, поэтому сразу после ужина хозяин проводил нас в спальню, где стояло две кровати; Жан Ра и Гриво улеглись вдвоем на большой, а я лег на вторую и заснул так крепко, что наутро меня пришлось встряхнуть, чтобы разбудить. Жан Ра уже забил сбор на Черной улице. Было, надо полагать, три часа; а в четыре мы уже находились в пути, и нам повезло, так как даже по солнцу, всходящему позади нас, и по цвету неба было ясно, что мы не выйдем из некла вплоть до самого Люневилля.

Подшли мы туда часам к девяти. Перед входом в город нам приказали построиться с оружием в руках во главе с барабанщиком.

Здесь все нам обрадовалось. Слова раздались возгласы: «Да здравствует пацья!» Ребятишки гурьбой бежали позади. Женщины, улыбаясь, смотрели на нас из окон. Жители Люневилля всегда были хорошими патриотами, — это завянет от гарнизона.

Помните, мы сделали привал на небольшой квадратной площади, окаймленной тенистыми деревьями, и, составив ружья в пирамиду, дядюшка Жан, Летюмье и я вошли в уютную харчевню тут же на площади. Можно было с часок отдохнуть, и мы радовались этому.

— Ну что ж, — воскликнул крестный Жан, — мы продвигаемся!

— Да, только, чтобы добраться до Нанси, придется крепко налегать на ляжку, — возразил Летюрье.

— Да ведь самое трудное уже позади, — произнес дядюшка Жан. — Главное — прийти и сделать свое дело.

Площадь и прилегавшие к ней улицы кишели народом; горожане, солдаты, мужчины и женщины из разных сословий, сповали взад и вперед; некоторые останавливались, чтобы взглянуть на нас. Такой толкотни и отродясь не видал. В трактире тоже было тесно: адоровенные карабинеры в красных мундирах курили и выпивали, вытянув под столом длинные ноги; раздавался смех, и люди толковали о том, что установлен мир, что солдаты Местрдеканского, Шатовьесского и Королевского полков сдались, что теперь все восстановлено и только зачинщики будут наказаны.

Как видно, только что пришли хорошие вести — на улицах раздавались возгласы: «Да здравствует король!» Карабинеры, великаны эльзасцы, тянули пиво из кружек и, ухмыляясь в усы, говорили:

— Хорошо, что поладили.

Всеобщая радость показывала, до чего была народу тигростна междоусобица. О нас и говорить нечего: мы подкрепились и осушили бутылочку вина, довольные, что дело не дошло до драки.

Командир Жерар отправился к мэру города, командиру Друэпу. Слух о мире все ширился и ширился, поэтому мы уже не спешили и остались тут до одиннадцати часов. Но мэр и все городские власти явились на площадь посмотреть на нас. Забил барабан, и мы опять построились. Наш командир слова не сказал на коня, приветствуя всех этих господ, и мы двинулись в путь, радуясь, что придем в Нанси заключить союз, а не затевать сражение.

Около четырех часов вдали, на небосклоне, стали вырисовываться очертания двух высоких серых башен и каких-то старинных зданий. И я подумал: неужели это уже Нанси? Что-то не верилось. И вправду, оказалось — это Сен-Никола. Мы медленно шли, вздымая тучу пыли, как вдруг, справа от нас, в долине, раздались два глухих взрыва. Отряд остановился. Все с изумлением всматривались в даль, прилежничивались. Наступила мертвая тишина.

Немного погодя раздался третий, а вслед за ним и четвертый взрывы. Командир, приподнявшись на стременах, воскликнул:

— Это — пушки!.. Сражение началось... Вперед!

И тут, несмотря на усталость и огорчение, что добрые вести в Люневиле оказались ложными, мы двинулись ускоренным маршем вперед, но чем ближе мы подходили, тем больше растягивались ряды. Большинство не в силах были идти. И когда, поравнявшись с первыми заданиями Сен-Никола, мы оглянулись, то увидели, что вдали плетутся по дороге отставшие. Пришлось остановиться и подождать тех, кто был поближе.

Вот что значит начинать поход ускоренным маршем; не раз я это видел, не раз убеждался в этом и впоследствии, в Германии: все новобранцы с ног падают по дороге, счастье еще, если их не подомнет конница.

Но вот подошли барабанщики, и мы вступили в старинный город Сен-Никола, словно на ярмарке пестревшей изделиями и вывесками ткачей, суконщиков, шапочников. С той поры все изменилось, но в те времена золотая рука св. Никола привлекала множество паломников, и длилось это до того дня, пока по приказу республики золотую руку не отправили в Мец и не перелили в монеты заодно с дароносицами и колоколами.

Мы просто изнемогали.

Когда мы вступили на главную улицу, она кишела народом. Лавочники и ремесленники в растерянности спускались с лестниц, женщины бежали и тянули за руку детей. На площади старинного собора нам приказали встать с прикладом к ноге среди толпы крестьян, ремесленников и солдат национальной гвардии, стоявших в беспорядке и выславших властями из Нанси еще до начала сражения, потому что они держали сторону солдат. Суматоха царила неопишемая. Солдаты с возмущением рассказывали о том, что не успели они выйти из города, направляясь домой и воображая, что все кончилось, как у новой заставы начали атаку немцы. Командир, сухопарый старик с приплюснутым носом, лицом, изрытым оспой, приблизился к нашему командиру, поздоровался и, положив руку на шею лошади, сказал:

— Направляетесь в Нанси, командир? Не ходите туда! Военные и муниципальные власти не доверяют национальной гвардии — вот сволочь! Попадете в ловушку.

Он кипел от гнева.

— Каштан, мои люди и я выполняем свой долг, — ответил командир.

— Вот оно как! — заметил старик. — Что ж, я вас предупредил. Поступайте, как знаете.

Половина ваших людей все еще плелась позади, поэтому командир приказал разомкнуть ряды и ждать. Было время распить по стаканчику вина под парусиновыми навесами у трактиров.

Зеваки взобрались на колокольню и смотрели в подзорную трубу. А спускаясь, кричали, проходя мимо нас: «Схватка в предместье Сен-Пьер!» или же «Над Стенвильскими воротами дым!» И так далее.

Спустя полчаса подошли все оставшие. Мы снова двинулись в путь — в Нанси, и вскоре услышали ружейную перестрелку. В шестом часу она стала ужасающей. Грохот пушек стих. Уже виднелся город. И тут нам встретились первые толпы беглецов. Что и говорить — бедняги! Одеты они были в блузы без пательных рубах, или босиком, без картузов и шапок. Вот она — нищета, беспросветная нищета, царившая в городах в те времена! Горемыки шли целыми шеренгами по полям, а троечетверо смертельно бледных парней, которые нам встретились дальше, сидели у обочины дороги. Это были раненые. У одних была в крови грудь, у других — ноги, и смотрели они на нас молча, широко откинув светлые глаза. То ли они и не видели нас, то ли принимали за врагов.

В ту минуту, когда мы повстречались с беднягами, ружейные выстрелы, которые сначала раздавались справа, загремели по всему городу. Вот тут, как мы узнали позже, солдаты Шатовьесского полка и народ стали разбегаться, вот тут и началась бойня.

Мы вступили на длинную улицу с высокими домами, окна и двери которых были наглухо закрыты на всех этажах, и увидели толпу людей, бегущих навстречу нам. За ними скакали пять-шесть гусар и немилосердно их рубили. Лошади вставали на дыбы, гусары поднимали и опускали сабли, раздавались вопли, и от этих воплей, истошных воплей, кровь стыла в жилах.

А ведь стоило бы беглецам повернуть да ринуться на злодеев-преследователей, стоило бы схватить их за ноги и сбросить на землю, и они размозижили бы врагам

головы, как котятam. Но они поддались, и их перебили. О да, страх отнимает у людей разум.

Командир приказал нам взять влево, ближе к домам, пропустить беглецов и остановиться. Дядюшка Жан, Лютюмье и остальные офицеры выхватили сабли, приказали нам зарядить ружья. И каждый вложил по первому патрону.

Толпа все приближалась, вот она промчалась мимо нашего сомкнутого ряда, как мчится стадо от стаи волков. И гусары, увидев, как блеснули наши штыки, повернули и умчались во весь опор. Разумеется, они воображали, что мы будем стрелять им в спину — свернули в первый переулок и скрылись.

Длинная улица вмиг опустела. Беглецы попрятались; только некоторые так и остались лежать — ничком. И снова мы услышали грохот и ружейную стрельбу, доносившиеся из города; и среди шума побойща — гул набата.

Господи! Невеселые мысли приходят в голову, когда вспоминаешь тягостные эти события. И так жаль бедняков, которых убивают даже в тот час, когда они просят одной лишь справедливости!

Но вот все стихло, и командир дал приказ двигаться дальше. Навстречу нам от городских ворот Сен-Никола медленно приближалось, вырисовываясь на фоне неба, большое серое каре. Внезапно раздался окрик: «Ver da?»¹ — и сразу стало ясно, что в Нанси хозяйничают немцы.

Господин де Буйэ привел сюда только этих людей — если можно их так назвать; французы прекратили бы бойню чересчур рано: ему же не терпелось дать кровавый урок.

Когда командир услышал окрик, его стариковские седые усы стали топорщиться, и, выехав вперед, он ответил:

— Это — Франция! Пфальцбургская гражданская гвардия!

Немного погодя к нам подошел ликет немцев в голубых мундирах — как у теперешних инвалидов. По-видимому, нам не очень доверяли: пришлось с ружьем к ногам довольно долго ждать команды. После двух переходов форсированным маршем мы изнемогали от усталости, но только в девятом часу пришел офицер и передал приказ сменить немецкий караул.

¹ Кто идет? (нем.)

В карауле было человек пятнадцать. Негодяи охотно уступили нам место и отправились грабить жителей, как их собратья.

Мы провели ночь у городских ворот Сен-Никола; лежали на земле у стены, положив под голову походные мешки; спали вповалку; две пушки и фургоны загораживали ворота, вокруг мостовая была разворочена. Часовые сменялись каждый час и уходили в город или предместье. Вот и все, что мне запомнилось. Я совсем выбился из сил; по счастью, моя очередь стоять на часах выпала на утро.

Однако два-три раза я просыпался от криков и брани: это патрули приводили пленных; несчастных заталкивали в караульное помещение и запирали дверь, несмотря на их вопли: там печем было дышать. Вспоминаю я об этом, и кажется, что все это мне приснилось.

Что поделасянь? Если сон тебя одолевает, ты уже ничего не слышишь и не видишь. Знаю я только, что в ту ночь перебили еще не одну сотню горемык, в ту проявилась вся бесчеловечная жестокость дворян по отношению к народу. Но я ничего не могу рассказать об этом, потому что сам ничего не видел.

Другое дело все то, что произошло на следующий день, 1 сентября 1790 года.

Поднялся я чуть свет, и то, что я увидел в тот день, несмотря на прошедшие годы, сохранилось в моей памяти на всю жизнь.

В четыре часа нас разбудил барабанный бой. Спросынок приводившись на локте, я увидел в утренних сумерках, что наш командир Жерар стоит у сводчатой двери в десяти шагах от меня и разговаривает с немецким офицером. Позади них стоял, заложив руку за просторный белый жилет, офицер городской стражи, подпоясанный шарфом. Они заглядывали за почерневшие мрачные двери в помещение, где мы, вставая друг за дружкой, стряхивали пыль с вещей, поднимали с земли ружья и перевязывали вещевые мешки.

Пробил барабан к сбору; за ночь подошли еще кое-кто из наших товарищей, так что теперь нас уже стало около ста двадцати — ста тридцати, не считая часовых и патрулей в городском предместье.

После сбора командир обратился к нам:

— Вы будете конвоировать пленных в городскую тюрьму, товарищи.

Тут подъехали три телеги, устланные соломой, телеги с лестницами, и тотчас же из караульной стали выводить несчастных пленников, которые там томилась со вчерашнего вечера. Они все шли, все шли.. это было что-то невероятное — шли женщины, солдаты, крестьяне, горожане. Улица была запружена народом. Все пленные были так бледны, так измучены, что при взгляде на них душа переворачивалась. Многие были залиты кровью и не могли двигаться. Пришлось их переносить на руках. На воздухе они приходили в себя, начинали вырываться, открывали рот, словно задыхаясь, просили пить, и мы их поили из ведра. Затем переносили на телеги.

Все это длилось минут двадцать. Наконец двинулись в путь. Впереди ехали телеги с ранеными; остальные пленные шагали позади попарно между рядами наших.

С той поры немало мне довелось повидать таких конвоев, ей-богу, немало! Были и побольше — телег по тридцать — сорок вереницей, но этот конвой был первым и наполнил меня смертельным ужасом. Жуткие эти картины забудешь только в могиле. Позднее я видел раненых, которых несли в полевой лазарет по вечерам после сражений; видел, как аристократов вели на гильотину. А в тот день вели на виселицу солдат и простых людей. Мало было господину Булле умертвить три тысячи несчастных жертв, причем четыреста из них были женщины и дети — в тот же день по его приказу повесили двадцать восемь солдат из Шатовьеского полка, приговоренных военным судом, одного колесовали — хотя Национальное собрание издало декрет об уничтожении пыток, — а сорок одного сослали на королевские галеры.

Мы были еще на пути в Пфальцбург, когда весть об этих злодеяниях уже разнеслась повсюду.

Много кричали о сентябрьской резне* и осужденных 93-го года*, и правильно: это было противно природе. Но начало положили дворяне. В этом-то и беда. Те, кто умоляют пощадить близких или их самих, прежде всего должны были в свое время щадить других и не быть жестокими, одерживая победу.

Итак, пленные вереницей двигались между двумя рядами наших пштыков. Мы шагали, а вокруг царила глубокая тишина: двери и окна домов были наглухо заперты, как в тюрьме. Иначе дело обстояло в разграбленных жилищах — там настежь были отворены разбитые двери и ставни.

Нам командовал Жан Леру. Раза два-три мельком он поглядывал на меня; по выражению его глаз я видел, что он полон ужаса и сострадания. Но что нам было делать? Хозяином положения был Буйе. Приходилось по-виноваться.

Несчастные пленники, которых мы конвоировали, были полураздеты — кто был без куртки, кто — без рубахи; у кого была забинтована голова, у кого — рука на перевязи; они смотрели в землю помутившимися взором; на груди у них порою вырывался вздох — так вздыхает человек, страшась конца, созная, что надежды на избавление нет, что дома осталась старуха мать или жена с ребятишками, что, осиротев, они погибнут. Вот отчего они так вздыхали — судорожно и чуть слышно. Иных колотила дрожь. И тот, кто слышал эти вздохи, понимал страдальцев, и если мог бы, то отпустил бы с превеликой радостью.

Понятно, что теперь я уже не обращал внимания на улицы, тем более что на дороге лежали убитые солдаты, мужчины и женщины — страдальцы, распростертые в лужах крови. Приходилось перешагивать через трупы... Мы содрогались от ужаса. Кто-то из пленных — самые мужественные, обращались и вглядывались в мертвецов, стараясь опознать погибшего товарища и проститься с ним.

На небольшой площади разнузданные лошади подбирали сено с земли, а поодаль, на куче соломы, спали гусары Лаузенского полка. Вот и все, что мне запомнилось от дороги, да еще, правда, обширное здание мэрии, окна которой блестели в лучах восходящего солнца. Офицеры спускались по лестнице, ведущей к великолепным дверям, внизу стояли в ожидании приказов несколько копытных нарочных.

Два льезвских батальона расположились биваком на площади. Небо посветлело; на нем еще блестели звезды.

В ту минуту, когда мы проходили под аркой, напоминавшей триумфальную, нас снова окликнули:

— Ver da? Ver da?

Это был кавалерист, стоявший на посту близ тюрьмы, окруженной рвами. Тотчас же к нему подошел майор, сопровождавший нас вместе с офицером городской стражи. Он сказал, кто мы. Мы вышли на другую площадь, окруженную деревьями в три ряда. Телеги остановились у здания, смахивающего на лазарет, с окнами, забранными решеткой в виде корзины. Пока телеги въезжали в сводчатые

ворота, я узнал, что тюрьму охраняет караул из солдат Королевского немецкого полка.

Представьте мое смущение, когда я узнал, что Никола тут, в Нанси! Вспомнилось его письмо, и мне пришло в голову, что мой злополучный брат и здесь перебил людей во имя дисциплины, как в Париже. Не хотелось мне с ним встречаться. Но когда выгружали раненых, я подумал, что он ведь тоже мог получить увечье, и это меня смягчило — ведь мы как-никак братья. Было время, когда он меня поддерживал, да и родители были бы очень огорчены, узнав, что мы с Никола были так близко друг от друга и не обнялись, даже не поздоровались.

И, забыв обо всем, я подошел к первому понашему часовому и спросил, не знает ли он Никола Вастьена, бригадира третьего эскадрона Королевского немецкого полка. А часовой, узнав, что я брат Никола, ответил, что знает его отлично, что мне нужно лишь спуститься по одной из улочек напротив, до Новой заставы, где накануне Королевский немецкий полк напал на неприятеля, и всяк, кто служит в эскадроне, проведет меня к нему.

Дядюшка Жан был очень недоволен, узнав, что я хочу проведать Никола.

— Вот беда, что нам пришлось соединиться с этими злодеями, — говорил он. — Пожалуй, люди подумают, что солдаты национальной гвардии поддерживали немцев в преследовании патриотов, еще пронесутся об этом во всех своих газетах! Вот ведь беда!

Однако ж он не запретил мне повидаться с братом и только предупредил, что надо поторанливаться; тут, в Нанси, мы не задержимся. Нагляделись, хватит с нас.

Я тотчас же, вскинув ружье на плечо, быстрым шагом отправился к Новой заставе. И рассказы я вам об ужасных следах избиения в этом квартале, вы бы с трудом поверили. Нет, не люди здесь орудовали... Только хищные звери могли так все разорить, свершить все эти злодеяния. Народ и швейцарцы, должно быть, отчаянно завизжали в этих закоулках — все было исковеркано, сломлено, изрешечено пулями: двери, водосточные желоба, окна. Словом, все!

Кучи камней и черепицы загромаждали улицы, словно после пожара. Соломенные тюфяки, выброшенные из окон для раненых, были затоптаны и залиты кровью; су-

дорожно вздрагивали лошади, лежащие на земле. Два-три раза я слышал отчаянные вопли, проходя мимо полуразрушенных домов: там после схватки спрятались несчастные солдаты-швейцарцы, я сейчас с ними жестоко расправляюсь, ибо Вуйе дал немцам приказ — перебить всех солдат Шатоньесского полка, всех до одного.

Да будут прокляты злодеи, способные на такие преступления! Да пусть будут они прокляты! И да покарает их господь бог за гибель несчастных жертв!

С негодованием раздумываю я обо всем этом.

Но вот я вышел на другую улицу, пошире, и вдруг увидел целую гору каменных плит с мостовой, а позади Новой заставы ворота, зарешеченные пулями, и длинную переницу телег — на них, словно груды лохмотьев, были навалены тела убитых: женщины, мужчины и, страшно вымолвить — детей.

Люди разбирали плиты, чтобы освободить путь для телег с трунами и похоронить останки несчастных. Гусары следили за работой, а женщины, стоявшие вокруг, кричали жалобно, немолчно: они не хотели еще раз взглянуть на своих близких; но уже два дня стоял такой лютый мороз, что ждать было нельзя. В домах, выходивших на улицы, расквартированы были солдаты Королевского немецкого полка. И сейчас одни выглядывали из окон, другие сонли вниз и егрудивались вокруг телег, чтобы помочь гусарам, если народ прорвется, так как толпа собралась большая.

Какая-то старуха — соседка старалась увести ее силой — выкрикивала:

— Убейте и меня! Злодец, убейте и меня, раз убил моего сына! Да пропустите же... все мы — злодеи!

Все это надрывало душу, и я стал раскапывать, что пришел, и собрался было возвратиться, как вдруг среди солдат, окруживших телеги, я заметил верзилу Жерома из деревни Четырех Ветров. У него на лице выделся шрам; он все еще был квартирмейстером. Он чему-то смеялся, курил трубку. Его-то я хорошо знал и не стал спрашивать, а обратился к другим солдатам Королевского немецкого полка с вопросом, где находится бригадир Бастьер. Мне тотчас же указали на окно харчевни, стоявшей напротив. И я вмиг узнал Никола, несмотря на его мундир. Он тоже курил трубку и глядел в окно на душе-



раздирающую картину. Я перешел улицу, все же довольный предстоящей встречей с братом. Тут разум бессилев, и это естественно. Впрочем, я сознавал, что мы никогда с ним не сойдемся.

И вот, встав под окном, я окликнул его:

— Никола!

Он стремглав бежал вниз, крича:

— Это ты?.. Вы, значит, тоже пришли из Пфальцбурга! В добрый час... вот здорово!

Он смотрел на меня, и я видел, что всей душой он рад мне. Мы поднялись по лестнице рука об руку, очутившись наверху, распахнули дверь в большую

горницу, где сидели за столом, собираясь выпить, пять-шесть солдат из Королевского немецкого полка, а еще трое-четверо смотрели в окно. Никола, сияя от радости, крикнул:

— Эй, вы! Взгляните-ка на этого молодца! Это мой брат. Ну и плечицы!

Он вытался сдвинуть меня с места, обхватив обеими руками, и все хохотали. Я, разумеется, был доволен. Все эти солдаты Королевского немецкого полка, чьи сабли и медвежьи шапки висели на стене, с виду производили впечатление славных ребят. Они уговорили меня выпить стакан вина. Никола все твердил:

— Вот если б вы попали сюда вчера!.. Надо было вчера прийти к пяти часам — увидели бы потеху... Ну и порубили же мы их!

Он сказал мне на ухо, что квартирмейстер их отряда убит, а капитан Мендель inkább не хочет на его место, кроме бригадира Бастьена, так безусловно его поведение.

Представьте же себе, с каким отвращением я слушаю его после всех невероятных зверств, очевидцем которых мне довелось только что быть, но возражать при чужих я не мог и делал вид, что всем доволен.

Немного погодя раздался трубный сигнал к чистке лошадей. Все встали, нацепили сабли, надели шапки и собрались уходить. Никола тоже хотел спуститься вниз, но один из его приятелей уговорил его остаться, обещав предупредить офицера и выполнить его обязанности. Никола снова сел. Все ушло, и только тут он вспомнил о родителях:

— Ну, а как старики? Здоровы ли?

Я ответил, что дома все здоровы — отец, мать, Матюрна, Клод и малыш Этьен, что я зарабатываю теперь тридцать ливров в месяц и не позволю, чтобы они терпели в чем-нибудь нужду. Он очень обрадовался и, пожимаая мне руку, говорил:

— Хороший ты парень, Мишель! Нельзя, чтобы бедные старики терпели в чем-нибудь нужду. Я бы уже давно проведаль их, да, уже давно, но как вспомню бобы и чечевицу, грязную пору, где мы спали столько невзгод, так сразу и передумаю. Солдат Королевского немецкого полка должен блюсти свое достоинство. Ты зарабатываешь побольше моего, это верно. Зато я ношу саблю на боку. И служу королю — ведь это дело ное!.. Себя нужно уважать. А у нас такие старики — в рваных платьях и штанах ходят... Понимаешь ли, зазорно это для бригадира.

— Да, да, понимаю... — отвечал я. — Но теперь они уже не такие оборванцы. Я выплатил весь долг Робену, отцу не приходится больше отбывать барщину. У матери две дойные козы, есть масло, водятся куры-несушки. Матюрна по-прежнему работает у крестного Жапа; она очень бережлива. А малыш Этьен научился грамоте, я сам занимаюсь с ним по вечерам. Наша лачуга тоже стала по-казистее: крышу покрыли соломой, дыры заделали, а стрелынку заменили деревянной лестницей. Пол наверху настелили новый. Вместо ящиков с листьями папоротника теперь у нас две кровати да четыре пары простынь. Стекольщик Регаль приходил к нам из Пфальцбурга и вставил

в рамы стекла, которых не хватало уже лет двадцать, а каменщик Кроммер выложил две ступени на крыльце.

— Вот оно что, — произнес он, — ну, если теперь все так исправно и поесть найдется, то, пожалуй, приехать можно... непременно приеду повидать наших бедных стариков. Попрошу недельный отпуск — так и скажи им, Мишель.

У него было доброе сердце, но ни капли здравого смысла; он любовался своими эполетами, его прельщали удары саблей и пальба из пушек. Образованию все шире распространяется среди народа, и теперь уже не встретишь таких ограниченных людей. К несчастью, в те времена они встречались нередко, из-за невежества, в котором нас держали сеньоры и монахи, заставляя работать и обирая нас.

Я заговорил о резне, он слушал, облокотившись о стол и кури трубку, но вдруг заорал, пуская большие клубы дыма:

— Э, да все это — политика! Вы — энтелли Лачуг, в политике ничего не смыслите!

— Какая же это политика? — возражал я. — Ведь бедняги из Швейцарского полка требовали свои деньги.

— Свои деньги? — Он покачал плечами. — Вот еще что! Разве Местрдекашский полк не получил, что ему причиталось?.. Разве община не дала по три лундора на человека в Королевском полку, чтобы заставить солдат вернуться в казармы перед битвой? Да эти швейцарцы были просто негодяи; они заодно с патриотами!.. Мы их здорово распотрошили еще и за то, что они стреляли в воздух, а не в мерзавцев-смутьянов, когда те брали Бастилию. Понятно, Мишель?

Я молчал, пораженный его словами. А он немного погодя добавил:

— Ну, да это только начало... Королю следует вернуть свои права... А всем этим болтунам из Национального собрания следует рты заткнуть. Не беспокойся, генерал Буйе что захочет — выполнит... Для через четыре мы двинемся на Париж, и тогда берегитесь!.. берегитесь!

Он хохотал, ощерив зубы и тонорща усы: что-то ухарское, что-то оголтелое появилось в его физиономии, и он напомнил мне зверя, который чует богатую добычу, и ему кажется, будто он уже захватил ее.

И я подумал с отвращением: «Неужели эта скотина — мой брат? Да стоит ли уверждать его, втолковывать ему здравые мысли? Все равно он ничего не поймет и вдобавок на меня разозлится». И я решил, что самое время уходить.

— Ну, мне пора, — сказал я, вставая. — Очень я рад был повидаться с тобой, Никола. В половине девятого наш отряд возвращается в Цфальцбург.

— Уходишь?

— Да, Никола. Давай обнимемся.

— А я-то думал, ты с нами позавтракаешь... Сейчас вернутся приятели... Деньги у меня есть: генерал Буйе велел выдать по двадцать ливров наградных на человека.

Он похлопал себя по карману.

— Никак нельзя!.. Служба прежде всего. Если я не отзовусь на перекличке, мне недобровать.

Этот довод показался ему убедительнее всего. Я взял ружье, и мы с Николаем спустились на улицу.

— Ну что ж, Мишель, — сказал он, — давай обнимем.

Мы обнялись — оба были растроганы.

— Не забудь же сказать старикам, что на днях я получу чин квартирмейстера.

— Не забуду.

— И павещу их, в мундире с газунами.

— Ладно... Обо всем скажу.

По дороге я решил про себя так: «Чудак Никола — наречь не злой, но из пристрастия к дисциплине искрошит тебя на куски».

Когда я подходил к воротам Сен-Никола, уже били сбор.

— Ну что, видел? — спросил Жан Леру.

— Видел, дядюшка Жан.

По выражению моего лица он разгадал мои мысли, и с той поры о Николае мы с ним больше не говорили.

Я едва успел сбегать в булочную напротив и купить трехфунтовый каравай хлеба и две вареные колбасы — ведь я только выпил у Новой заставы, — как наш отряд отправился в обратный путь, в Цфальцбург.

По дороге мы совсем приуныли: то и дело нам попадались негодяи, из тех, что всегда держат сторону

сильных, трубят победу, расточая улыбки и поклоны господам положення, заводят разговоры о порядке, справедливости, преданности защитникам власти, готовности поддерживать законы и прочее. А это должно означать: «Мы с вами заодно, ибо вы сильнее всех, но мы бы первые уничтожили вас, окажись вы всех слабее».

По дороге нам попадались такие прохвосты — подлые жирные лица, огромные животы, обмотанные трехцветным шарфом. Молодчики орали во все горло, надрываясь: «Да здравствует король! Да здравствует генерал Буйе! Да здравствует Королевский пемецкий полк!»

В одной деревне вздумали было нас так приветствовать во главе с мэром, но наш командир Жерар, завидя этих господ еще издали, крикнул:

— Дайте дорогу, черт бы вас побрал! Дайте дорогу!

И мы прошли мимо них; они нас приветствовали, а мы смотрели на них с презрением, свысока. Досадно, что народ не всегда так обращался с негодями! Они бы увидели, как люди относятся к их болтовне, и если им чуждо было самоуважение, то, по крайней мере, они бы уважали скорбь порядочных людей.

В Люпевиле муниципальные власти держались с твердостью, но все же и там воцарилась тревога, когда мы пришли туда часа в два. Здешняя гражданская гвардия еще не вернулась, поэтому нас останавливали у каждого дома, расспрашивали о новостях, особенно женщины — ведь их сыновья и мужья еще были там. Мы с трудом продвигались вперед. На площади нас окружила толпа, и мы не знали, как всем отвечать. Вдруг кто-то из толпы крикнул:

— Э, постойте, да ведь это дядюшка Жан и Мишель Бастьен! Ха-ха-ха! Лачуги отличаются!

Оказалось, это Жорж Мутон — сын нашего бывшего эшевена, содержателя харчевни «Золотой баран», что на площади в Ифальцбурге, — рослый двадцатилетний парень, сильный, крепко сколоченный, веселый. Впоследствии он пошел далеко. Мы всегда покупали белый хлеб у его отца — он был также и булочником. И не раз дядюшка Жан в урожайные годы отправлялся вместе с ним в Эльзас; они закупали по пятидесяти — шестидесяти бочек вина в Барре по сходной цене. Так вот оказалось, у

нас тут нашелся знакомый, и мы обрадовались встрече с сыном Мутона. Он пригласил нас:

— Идемте, пообедаем и харчевие «Два карна».

— А ты что в Люневилле делаешь, Жорж? — спросил его крестный, который говорил ему «ты».

— Я-то, дядюшка Жан? Да я тут на побегушках у бакалейщика, — отвечал он, посмеиваясь, — продаю сахар да корицу для чужой выгоды, пока не обзаведусь своей лавкой.

— Вот это дело, — заметил крестный. — Твой отец умно поступил, направив тебя по бакалейной части. Товар тут никогда не залеживается, перец, свечи, масло всегда нужны, а если товар ходкий, значит, будешь с прибылью.

Мутон шагнул впереди, и мы вошли в одну из тех небольших харчевен, где прямо у прилавка пьют вино, водку, пиво. Люди сидели взад и вперед, только несколько чужеземцев угощались, сиди за столиком, и ели жаркое. Мутон даже хотел заплатить за яичницу с салом и тульское вино, да крестный, как старший, не мог этого допустить: он уплатил за все, а под конец даже велел подать кофе.

Разумеется, толковали о событиях в Нанси. Мутон кричал:

— Вот беда, не удалось мне все это увидеть. Хозяин — человек тщеславный. Он начальник отряда своего цеха, свалил на меня дела лавки — отличиться хочет. Хоть бы ему там досталось — я бы немного утешился. Да я его знаю — будет кричать «вперед», прыгнет за спину других.

— Э, да ты только бы и увидел что подлость дворян, — ответил Жан Леру.

— Тем более я всегда терпеть не мог офицеры, оно ставит нам рогатки, не дает продвигаться в армии и заставляет нас торговать бакалейными товарами в ожидании лучшего будущего. Я бы их еще больше не взлюбил — себе на пользу.

Дядюшка Жан опасался, что лобовище отразится на деле свободы. Мутон возразил:

— Да что вы: комедия кончена! Действовали бы аристократы не снеша, они бы еще десять, пятнадцать и даже двадцать лет получали пенсии из государственной казны, по бой завязался: идет сейчас между офицерами и солдатами. Пусть схватятся, и не на жизнь, а на смерть, и, помните, дворянам будет крышка! И черт возьми, пусть

бы поскорее, господин Леру, потому что, говорю вам прямо, ружье, на плече подойдет мне куда лучше, чем фартук, завязанный на поясище.

Жан Леру расхохотался:

— Ну, с такими помыслами ты лавочкой не обзаведешься. Но на войне как на войне, я с тобой согласен: скоро для молодых людей дорога будет открыта. Буйе, которому сейчас удалось первый удар, наверняка захочет привести немцев в Париж.

— Тем лучше! — воскликнул Мутон. — Большой услуги он нам оказать не сможет.

На площади прозвучал сбор — пора было идти. Мутон проводил нас до ронццы, пожал нам руки, передавая поклоны всем своим ифальцбургским друзьям и знакомым. Затем мы двинулись в путь, а он вернулся в лавку. Думали ли мы тогда, что в один прекрасный день он заметит Лафайета и станет во главе национальной гвардии Парижа!

Чудные дела творятся на свете, особенно в дни революции! Тот, кто в обычные времена стал бы виноторговцем, бакалейщиком, сервантом — становится маршалом Франции, королем Швеции, императором французов. А те, которых считали по праву происхождения орлами, скидывают перед ним шляпу, кланчут тепленькое местечко.

В тот же вечер мы без всяких приключений пришли в Бламон, а на следующий день — домой.

Дурные вести опередили наш отряд. Весь край был в смятении, все ждали, что в Лотарингию, как к себе домой, войдут австрийцы. Хуже всего то, что никто не смел слова сказать — добрый наш король играл роль блюстителя порядка, а подкупленные члены Национального собрания, о которых нам рассказал Шовель, заставили голосованием принять благодарность генералу Буйе. Но, слава богу, граф д'Артуа и его приспешники не обладали властью, которой добивались. Только много времени спустя они снова оказались в Париже со своим правом первородства, законом о наказании за святотатство и всеми прочими бреднями *. Революция пустила на французской земле глубокие корни, которых не вырвать аристократам и капуцинам всего света, корни, которые дадут нашей стране могущество и вечную славу.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

После нашего возвращения в Лачуги волнение и тревога стали усиливаться день ото дня. Жан Леру, Летюмье, Клод Гюре, все те, кто приобрел земли церковников, начали тревожиться, как бы с ними не обошлись так же, как с солдатами Шатовьесского полка: как бы земли не отобрали, а денешки не придержали у себя. И вот эти осмотрительные люди превратились в самых яростных приверженцев революции. Назывались они «активными гражданами», так как платили поземельный налог и налог за движимое имущество, или торгово-промышленный, стоимостью в три дня работы. Почти все они были отцами семейства, и только они одни имели право голосовать на выборах депутатов, муниципальных чиновников, судей, священников и даже епископов.

Мы же, бедняки, которые для отечества не жалели ни труда, ни крови своей, назывались «пассивными гражданами», и у нас не было права голоса на выборах. Вместо того чтобы обледенить всех граждан по справедливости и равенству, Национальное собрание поступило так, как в прежние времена поступали наши короли, которые разделяли всех по сословиям, чтобы противопоставить одних другим, а всех вместе держать под ярмом. Все наши невзгоды за последние шестьдесят лет и произошли из-за этого. Но тогда еще никто не предвидел всего того зла, каким был чреват такой декрет, и все мы — бедные и богатые — стояли за революцию, ибо тот, кто ничем не владеет, надеясь, что со временем станет имущим с помощью терпения, труда, бережливости.

Надо было видеть в ту пору, как приветливо улыбались граждане активные гражданам пассивным, как дядюшка Жан похлопывал меня по плечу, называя настоящим защитником свободы, как самому последнему деревенскому бедняку низко кланялись те, кто приобрел церковные земли, как пожимали ему руку, говоря:

— Ведь мы с вами заодно и должны друг друга поддерживать. Негодяи дворяне и епископы хотят разграбить нас и восстановить старые порядки... Но пусть поберегутся! Все граждане скорее погибнут во имя родины!

И так далее.

По вечерам в харчевне только и слышались такие разговоры. Дядюшка Жан заводил со всеми дружбу; он открыл кредит самым отъявленным пьяницам, отмечая на грифельной доске пять-шесть бутылок вина, которые он ставил им в счет, не надеясь получить ни лиарда. Вот как под влиянием плохого декрета поступают порядочные люди, стараясь привлечь к себе друзей. Сколько сражений выиграли солдаты, несмотря на ошибки командиров, и сколько здравого смысла надо иметь народу, чтобы эти ошибки исправлять!

Когда Жан Леру говорил о защите прав, многие, не стесняясь, возражали.

— Так-то так, сосед Жан, так-то так. Но нам, беднякам, беречь печего, и сами мы — ничто и ни за что не голосуем, — даже за то, что касается нас самих. Всем управляют буржуа, они все себе присвоили... Пусть же каждый старается соразмерно тому, что имеет!..

Другие заступались за него и кричали:

— Сосед Жан прав, мы все братья, мы стоим за свои права... Ну-ка, тетушка Катрина, еще бутылочку... За здоровье добрых патриотов!

И никто не посмел отказаться, когда Лафайет приказал принять голосованием благодарность своему кузену, генералу Буйе, за побойще в Нанси, а иррепешники короля возвестили, что его величество Людовик XVI объедет всю страну, чтобы восстановить порядок в провинциях. Разумеется, монахи и капуцины подняли головы; они повсюду сновали и проповедовали, отрешали от причастия и предавали проклятию; они торчали перед дверями лачуг, увещевали женщин поддерживать господ бога наперекор мужьям. А господь бог означал их монастыри, аббатства, их леса, пруды, которые они метили заполучить обратно, посеяв смуту среди нас и даже внеся раздор в лоно семьи.

Дома я не сказал, что ходил проведать Никола. Пришлось бы подробно описать, как он вел себя во время побойща, как смотрит на дворянство, на дисциплину и все прочее. Батюшка был бы очень огорчен, а мать, конечно, оправдывала бы Никола. Теперь, увидев меня, она всегда кричала:

— Ты жизни не пожалеешь ради соседа Жапа! Под удар себя подставишь, только бы сохранить для него краденое, если только тебя не вздернут на виселице

заодно с теткой Катриной и их дружкой Шовелем. Ты готов отречься от веры и нести проклятие ради этих злодеев.

— Ну, ну, не кричи так громко, — кротко увещевал ее отец.

Но она кричала еще громче. И было ясно, что она повторяет слово в слово речи отца Бенедикта.

Ко всему этому не было у меня покоя и в кузнице! Валсгтин не осмеливался открыто проявлять радость при хозяине Жане, зато мне прожужжал все уши:

— Наши сеньоры оплатили за Бастилию. Все это должно было свершиться рано или поздно, ибо право есть право. И тех, кто происходит от наших сеньоров, не должно смешивать с чернью, подобной нам. Помни, Мишель, Национальному собранию скоро будет крышка. Его королевское величество все уничтожит, и всяк понесет наказание за свои преступления. Ну, а хозяин Жан напрасно старается — в долг поит Кристофа Магдуара и Пьера Турпашона. Когда явится армия его величества, всё заберут у него начисто. Все угодья будут возвращены нашей святой церкви. И люди вишювые поплатятся кару и лишатся всего. Дай-то бог, чтобы нам дали своим ремеслом заниматься, ибо преступления наши велики — ведь мы доверились беззакония. Дай-то бог, чтобы они закрыли глаза на прошлое: ведь голосованиями да выборами все мы заслужили веревку.

Так рассуждал этот остолоп. И не будь он так глуп, мы бы уже давно с ним схватились, и наверняка не раз. Но я выслушивал его разглагольствованья, как слушаешь рев осла, — не отвечая.

То же происходило во всех домах, во всех селениях. Если бы Буйе мог устроить второе побоище в Париже, то революция, пожалуй, и погибла бы — столько людей ее боялись, столько попов ее оговаривали.

Но вы увидите, что, хоть мы и пали духом, патриоты в Париже не так-то легко впадали в уныние, и у них достало мужества не только давать отпор двору, но и подкупленным членам Национального собрания.

Дядюшка Жан велел мне описать Шовелю все, что произошло на наших глазах в Нанси. Ну, а так как письмо я, как всегда, уже писал, то сделать это было мне нетрудно. По вечерам после работы я шел в библиотеку,

отдающую мне на попечение Маргаритой. Там, в полном одиночестве, при свете крохотной лампы, я описывал все по порядку, когда же оставалось время, принимался за чтение — читал часа два-три, а потом, мечтая, шел по деревне, погруженной в тишину, разглядывал наши Лачузи, и множество мыслей теснилось у меня в голове. Я раздумывал о жизни, о людях, о глубочайших познаниях одних и невежестве других.

С отрядным чувством читал я Энциклопедию, ничего не пропуская: по-моему, все статьи превосходны, а особенно — статьи Дидро. Я прозрел, и все меня изумляло и умиляло, начиная от шччтожной биллики и кончая звездами. Хотелось мне научиться и считать, но самому освоить это не удалось, а учителя не было, чтобы преподать мне начатки знаний. Я думал о Маргарите, думал и об отце — то с тоскливым, то с отрядным чувством. Размышлял я также об ожесточенных сражениях и о том, что истинные представители народа борются за права народа. Это возвыпало мой дух, и часто я возвращался домой поздно — после полуночи, не соскучившись ни на минуту.

Так я и жил! По воскресеньям я отправлялся в библиотеку Шовеля не вечером, а с семи часов утра. Лучшей жизни я и не желал, особенно после горького своего детства, неудержимого желания учиться, в те дни, когда у меня не было ни секунды времени — ведь все свое время я отдавал хозяину. А теперь я был счастлив.

Когда в первых числах сентября дядюшка Жан поручил мне описать горестные события в Напси, я уже почти закончил письмо, и на последних страницах поведал об этой прискорбной истории. Итак, в тот вечер — я поставил точку в одиннадцатом часу — я был доволен, рассказав обо всем, что видел собственными глазами. И, отворив окно, я отдался мечтам. Ночь была темная, светлая. Я смотрел на тенистый садик, на заходящую луну и заметил, что яблоки — крупные ранеты уже созрели, и подумал о том, с каким удовольствием Маргарита и ее отец посмотрели бы на красивые сочные плоды и отведали бы их! И я решил: «А вот и отведают! Сорву самые отборные, положу в листья на дно прочной корзины — одно на другое, рядами, да и отправлю в Париж с возчиком Жаном Мером. Добирается он туда за две недели, а яблоки и подольше двух недель сохраняются».

И так мне понравилась эта мысль, что я всю ночь обдумывал свою затею, лежа в нашей лачуге. На следующий день, придя к крестному прочесть свое письмо, я поделился с ним своим замыслом.

— Здорово ты придумал, Мишель, честное слово! Лучшее на свете удовольствие — посылка из дому, когда ты в чужом краю. Помню, во время похода по Франции в тысяча семьсот шестидесятом году встретил я возле Мецера старого товарища — эльзасца, Христиана Вебера. У него в котомке принасеена была копченая и кровяная колбаса. В жизни я не едал ничего вкуснее, чем в тот день. Мне почудился запах ели, померещились наши горы. И если б не товарищи, которые смеялись и пели на веселой пирушке, я бы заплакал от умиления. Вот потому-то завтра, в воскресенье, ты сорвешь отборнейшие яблоки в саду Шовеля: смотри только привяжи мешок к полюсу, тогда и влезай на дерево, потому как упавший плод долго не сохранится. Еще положим в корзину — выберешь ее у своего отца покрепче и повместительнее — копченую свищую щечку, это, можно сказать, отменнейший кусочек свищины, да пять-шесть колбас повкуснее, две бутылочки эльзасского вина да две красного лотарингского — наилучших из моего погреба. И еще не забыть бы несколько горстей крупных свежих орехов, до них Шовель большой охотник. Помнишь, он все колол их у камелька, в кармане приносил. Все это мы уложим, только выбери корзину побольше да покрепче.

И Жан Леру, которому понравилась моя затея, все восклицал:

— Большого удовольствия им и не доставишь!

Я был с ним согласен и, видя, что он одобряет меня, обрадовался еще больше.

Никогда, кажется, я не был так счастлив, как в то воскресенье, когда ранним утром среди груды корзины, которые отец складывал, как шляпы, ровными рядами за лестницей, выбрал плетушку, что носят на ремне за спиной, и, повесив ее на плечо, отнес в харчевню «Три голубя», а потом — когда я влез на яблоню, и, раздвигая ветви, срывал отборнейшие яблоки и осторожно опускал их в мешок. Нет, никогда не было так отрадно у меня на душе; я смотрел на чудесные плоды и словно видел, как Маргарита вливается белоснежными зубками в их мякоть.

Затем я зашел за харчевню и стал сбивать орехи с большого дерева — под ударами дубинки они посыпались градом, и я подумал: «Папаша Шовель будет доволен! Уж он потешится!» И я будто увидел, как он щелкает орехи и заверняка думает:

«А Мишель, право, славный малый».

Это меня умиляло, и я твердил про себя:

«Да, папаша Шовель, я, право, славный малый и люблю вас. Знайте: я жизнь за вас отдаю. А Маргарите вовек не найти человека, который так бы ее полюбил и сделал такой счастливой. Нет, не найти!»

Так я раздумывал со слезами на глазах. Я не буду описывать, как мы укладывали принасы и корзину, потому что все сделали по указке дядюшки Жана. Свиную щеку и колбасы уложили на самое дно, яблоки, переложившие сеюм, посредине, сверху — орехи в зеленой кожуре, чтобы сохранились свежими, а уж на самом верху — бутылки с вином, потом еще слой соломы. Корзину мы завернули в холст и крепко-накрепко зашили толстыми нитками, а на карточке написали адрес: «Г-ну Шовелю, депутату Национального собрания, Париж, ул. Булуа, № 11».

Все мы — дядюшка Жан, тетушка Катрина, Николь и я — собрались в большой горнице и уложили все там в корзину.

Прослышав, что мы посылаем Шовелю съестное, многие патриоты просили положить в корзину гостинцы и от них: конченное сало, соты, кое-кто — отборные плоды или бутылочку киршвассера. Мы их благодарили, но, к сожалению, это было невозможно: корзина и без того оказалась претяжелой, весила, пожалуй, фунтов сто вьдесят; но все равно, силач возчик Жан Мер, перевозивший тысячи фунтов на своей вместительной телеге, которую тянула шестерка лошадей, взял посылку. Он прикрыл ее брезентом и отправился в путь вечером в понедельник.

С того дня мы стали поджидать вестей из Парижа, но письмо пришло только в конце сентября. А за это время у нас в «Трех голубях» люди, собираясь, вели немало споров.

Вот тогда-то впервые и была получена в Лачугах Красная книга *, напечатанная по повелению Национального собрания. Старик Рюго, получивший небольшое наследство в городе Туль, привез ее оттуда; все вечера мы

читали ее, кричали и негодовали. Из нее мы узнали, что не только офицеры и дворяне грабили солдат, но что всех нас долгое время обирали важные сеньоры, называвшиеся царедворцами, что они обирали нас без стыда и совести. Вот как свершалась самая большая кража: когда из-за дефицита королевским министрам приходилось делать новый заем, их друзья, так же как и друзья графа д'Артуа, королевы, принцев, и всякие их прреспешники якобы давали некую сумму государству и получали на эту сумму квитанцию, называвшуюся купоном, — каждый получал соразмерно своей подлости, не затрачивая ни единого лярда. А нам, многострадальным, приходилось выплачивать новые налоги и платить вечные проценты ворам, которые ничего не одаляживали народу. Да разве можно счесть, сколько денег они переманили у нас таким способом!

Гамилл Демулен в своей газете писал, что царедворцы заслуживают виселицу двадцать четыре миллиона раз, ибо они обобрали двадцать четыре миллиона обездоленных — да так просто, будто залезали в собственный карман. А еще позорнее было то, что все считали их честными, ибо они выдавали себя за людей честных и все доверяли им.

У меня цела Красная книга, и я бы вам рассказал обо всем подробнее, да история очень уж длинная.

Валентин кричал, что Шовель и его дружки, мол, сочинили Красную книгу, чтобы обесчестить дворян. Что поделать? Если человек от природы слеп, то пусть солнце с ног до головы зальет его светом, а ему все равно ни зги не видать, и никакие объяснения уж тут не помогут.

В том месяце, то есть в сентябре, 1790 года Людовик XVI дал отставку Неккеру: после победы Буёе король полагал, что тот ему больше не нужен. Одни считали Неккера негодяем, потому что он тоже наделял своих приятелей пенсиями и долго противился распространению Красной книги. Остальные же, вроде дядюшки Жана, говорили, что всегда следует взвешивать добро и зло, содеянные человеком, что Неккер сам не обогатился, как обогатился кардинал Бриенн, и что если б Неккер не обнародовал своего отчета в 1778 году, то революция не наступила бы так быстро, и обо всем этом народу должно помнить. Я тоже считаю, что он был прав. Во всяком случае, после отставки Неккера Людовик XVI только п

слушал одних лишь врагов революции, они толкали его по скользкой дорожке, и он катился с такою скоростью, что два года спустя оказался на краю пропасти.

Впрочем, об этом речь впереди. Забегать вперед не стоит.

В конце сентября 1790 года мы наконец получили ответное письмо от Маргариты вместе с большим пакетом газет. Вот оно, письмо, — я перепису его слово в слово: радостно будет мне вспомнить дни молодости, и к тому же каждый из вас узнает, что происходило тогда в Париже; как люди там жили и что думали о короле, о Буйе, об эмигрантах, о клубе и о Национальном собрании. Так рассказать обо всем этом мне бы не удалось.

«Мой славный Мишель! Мы получили твое письмо и корзину с чудесными яблоками, вкусными колбасами и прекрасным вином. Ты нам доставил превеликое удовольствие, хоть и печален твой рассказ обо всем, что у вас происходит.

Не следует падать духом, напротив, надо бодриться. Чем сильнее аристократы запутаются, тем скорее мы от них освободимся. Изюм в день все больше раскрываются глаза народа, а когда народ настойчиво добивается цели, всем его бедам наступает конец. Батюшка очень много работает в Национальном собрании и в клубе Якобинцев. Вот он и поручил мне поблагодарить тебя, соседа Жана, тетюшку Катрину и всех, кто хотел послать нам гостинцы. С радостью я пишу вам: давно уже собиралась сделать это. Отец в своих длинных письмах на шести страницах пишет вам только о делах Национального собрания и о делах страны. Для соседа Жана, Летюрье и всех остальных это, разумеется, всего интереснее. Но тетюшке Катрине, Николь и даже тебе, я уверена, хотелось бы также знать, как мы здесь живем, в каком месте поселились, что я делаю по утрам и вечерам, сколько стоит масло и яйца на рышке; рано ли встают здесь и собираются ли по вечерам, — словом, как нам живется.

Вот я и опишу все, что мне придет в голову, расскажу обо всем, и вы как бы перенесетесь к нам, увидите различие между Лачугами и Парижем. Займет это у меня много времени. Ведь за год и три месяца, которые я пробыла здесь, я много всего передумала о жизни. Но все равно, читать тебе не заскучит, милый мой Мишель, а

мне будет казаться, будто мы с тобой разговариваем, сидя за печкой в харчевне «Трех голубей».

Начну с того, что поселились мы на шестом этаже превысокого дома, — он вроде башни в Го-Бар. А выше живет семья сапожника. Жизнь идет на всех этажах: кто тклет, кто шьет, один сосед доикает нас музыкой, а другой занимается делами, и у него на двери вывешена табличка: «Г-н Жак Пишо, судебный пристав при Шатле». Лестница тут витая, скользкая, темная; живем все мы в одном доме, а друг с другом не знакомы. До тебя никому дела нет; сосед пройдет мимо и даже не посмотрит, не поздоровается. Так водится во всех парижских домах! Внизу, вдоль улиц, пока хватает глаз, тянутся лавки, мастерские, магазины с вывесками: вывески сапожников, бакалейщиков, жестянщиков, фруктошников и всех прочих.

Дома серые, улицы залиты черной грязью; множество всяких экипажей: «кукушки», коляски с откидным верхом, ландо, кареты, повозки разного вида — округлые, квадратные, продолговатые; на телегах — груды всяких отбросов, а на запятках экипажей великоленные лакеи. С утра до вечера все в движении, будто по улице поток несется. Со всех сторон слышишь выкрики разносчиков: они задирают головы — посмотреть, не подаст ли кто из окна знак подняться. Тут и торговцы водой, и старьевщики, и зеленщики, подталкивающие тележки с овощами, и продавцы игрушек и всякой всячины, лишь для того и придуманной, чтобы вытянуть из твоего кармана деньги. Здесь все продается, всякий товар выкрикивается. Газетчики с ворохом газет под мышкой избегают по лестнице в дома, входят в кофейни, останавливают тебя на перекрестке улиц, задерживают тебя на перекрестке улиц, задерживают тебя на перекрестке улиц, задерживают тебя на перекрестке улиц, суют тебе под нос газеты.

Невыятный гул раздается по всему городу с самой зари, даже раньше, и вплоть до полуночи, даже часов до двух утра. А в три — снова шум. Между двумя и тремя часами — у тебя передышка: водворяется тишина, разве только проедет коляска врача или патруль подберет пьяного на улице. Наконец-то — тишина, но ненадолго. Не думайте, что вас разбудит итутинный крик или лай собаки соседа Риго, как в Лачугах, — нет, разбудит вас грохот телег: это крестьяне повесят товар на соседний рынок. Иной раз заревет осел, зазвенят бубенчики на

лошадях. Весь этот люд едет на телегах из селений, расположенных в двух-трех лье от Парижа; мужчины правят, а женщины восседают среди корзины с овощами, яйцами, маслом и всякими другими припасами. Еще совсем темно, а уже хлопают кнуты, мужчины хрипло кричат «по-но», шум все усиливается, превращается в неумолчный гул и не смолкает весь день.

Но все, что я вам описала, — только крупница жизни огромного Парижа. Дело в том, что жителей здесь семьсот тысяч с лишним — люди всякого рода, от богачей до нищих, да еще ежедневно сюда навзывают около ста тысяч человек со всей Франции и из предместья, заполняют товаром рынки, базары, лавки и погреба. Вот почему голод здесь так страшен, когда подвоз продовольствия задерживается на несколько дней. Ведь у большинства жителей припасено совсем темного хлеба, дров, растительного масла, чуть-чуть вина. И ничего больше. Их подстерегает нищета, да такая лютая, что даже у нас самой суровой зимой такой ты себе не представишь. Бывает, где-нибудь над тобой, хоть ты этого и не знаешь, дрожат от холода и умирают от голода целые семьи. Но жаловаться люди не идут — в этом огромном городе живут отчужденно. Да и порою бедняки бывают гордецами.

Но, пожалуй, не стоит рассказывать об этом, милый мой Мишель! Мы-то с тобой хорошо знаем, что значит быть бедным, мучиться, работая на других; знаем также, что значит видеть нищету и не иметь возможности помочь. Очень это тяжело.

Теперь ты представляешь себе, как живется в Париже. Здесь можешь ходить часами и, куда ни пойдешь, повсюду видишь те же серые дома, те же грязные улицы, одни поуже, другие пошире, — вот и все; те же ряды лавок, поток тех же экипажей и толпы тех же горластых разносчиков. То тут, то там попадается площадь пошире, с водосмом, вокруг толпятся женщины и водовозы. Попадают высокие здания, наподобие дворца кардинала де Роана в Северне, или мост, рынок, театр — и все это производит невеселое впечатление. Зимой грязь доходит до щиколоток, снег то и дело тает, все покрыто завесой тумана, и тебе становится тоскливо, даже когда сидишь подле камелька. Да, все тут не так, как в наших краях, где снег белесет на плетнях и деревьях, яркий свет слепит глаза, морозец взбадривает, подгоняет, и ты согреваешься,

шагая по затвердевшей земле. Здесь — все в тумане, он застывает стекла и словно пронизывает тебя насквозь. Повсюду разлит тусклый свет, будто уже сморкается, хотя еще полдень. А летом дышать нечем — так густо, так душно пахнет.

Все это — суцая правда. Без мужества, которое необходимо для защиты и поддержки своих прав, жизнь в таком городе немыслима. Во всяком случае — для меня. Батюшка же только и думает о декретах Национального собрания, занимается только ими да спорами в клубах, речами и газетными статьями. Ему все безразлично — какой у нас дом, дождь ли идет или снег, светит ли солнце. Он все находит прекрасным, лишь бы дела шли хорошо в Собрании и в Якобинском клубе. К тому же, с первого дня нашего пребывания в Париже все житейские заботы лежат на мне: я за все плачу, распорядкаюсь деньгами, хожу на рынок, занимаюсь починкой, отдаю белье прачке, веду счета. А когда я говорю отцу о хозяйстве, он отвечает:

— Хорошо... хорошо... Некогда мне думать об этом... После расскажешь... Нынче вечером у нас собрание, нужно просмотреть газеты, обдумать учреждение судебного комитета и выпуск ассигнатов. Отстань от меня, Маргарита.

Да я и сама по его лицу вижу, что не следует ни о чем говорить; ведь дела в Национальном собрании идут не так, как ему хочется, он сердится и, пожалуй, еще захворает от раздражения.

Зато когда все идет гладко, он водит меня в театр или в Якобинский клуб, в Национальное собрание, на трибуны. Я придеиусь, приколю к муслиновому чепчику трехцветную кокарду. Батюшка ведет меня под руку и представляет патриотам, говоря: «Это моя дочь». Знакома я со всеми патриотами: Дантоном, Камиллом Демуленом, Фрероном, Робеспьером, Антуаном (из Меца) — словом, со всеми! Но о них после. Вернусь к моему хозяйству, ведь для тетушки Катрины и Николь это — главное. Ничего бы только не забыть.

Прежде всего о нашем жилье. У нас две спальни, столовая и кухня в три шага. Столовая и спальня батюшки окнами выходит на улицу, кухня и моя спальня — во двор, куда я просто боюсь заглянуть — даже сквозь стекла. Все мне кажется, что только высунусь, как упаду вниз



головой. А двор мрачный-премрачный, весь в окнах и глубокий, как колодезь. А знаете, сколько нам стоит это помещение? Шестьдесят ливров в месяц! В десять раз дороже, чем мы платим за наш домик в Лачугах. Конечно, тетушка Катрина и Николь всплеснут руками и воскликнут: «Да разве это мыслимо!» Да, это так. Не был бы отец депутатом, квартира у нас была бы гораздо меньше, под самой крышей за двадцать — тридцать франков. Но ведь депутат третьего сословия принимает у себя много народу, и поэтому нужно ему жить в хорошем помещении. На этом экономить не следует: ведь он на представительство деньги от народа получает. Не простая это должность. Он выполняет свой долг перед избирателями, а не обогащается.

Так вот, мы платим шестьдесят ливров в месяц. Ну, а теперь я расскажу обо всем остальном.

Встаю я в шесть часов утра, потому что в половине девятого батюшка идет в Национальное собрание и приготовить завтрак нужно пораньше. Я одеваюсь, беру корзину и отправляюсь на рынок, что в конце нашей улицы. Это бывшее кладбище Невпишоубиенных младенцев, застроенное ветхими замшелыми домишками, с красивым

высоким фонтаном посредине. Позади, вокруг ограды, кое-где видны могилы. В девятом часу, когда сходятся хозяйки, тут такой гам, что ничего не слышно. К этому времени крестьяне уже распродают привезенный товар, а перекулищцы — их здесь называют хозяйками рынка — занимают снятые места, крестьяне же спешат уложить оставшийся товар или продают его подешевле. Все толкаются, кричат, но это совсем не то, что делается на ярмарке в Саверне.

Я всегда покупаю овощи у одной славной старушки в стеганом капюшоне, с седыми волосками на подбородке. Старушка называет меня «маленькой патриоткой» и всегда приберегает для меня кочан капусты, несколько морковок и репу для похлебки. Понимаешь, Мишель, теперь мне часто приходится покупать всякую провизию, например, рыбу, птицу, яйца, масло. Да и в мясную лавку надо пойти. Ах, как же все дорого! И нужно смотреть в оба, чтобы тебя не обсчитали. Вот, к примеру, фунт масла, доставленного из Шартра, стоит шестнадцать су, из Лопжюмо — двадцать пять, из Турне — тридцать четыре денье, из Изпны — тридцать два су. По виду — все масло одинаковое, а если спутаешь, то заплатишься. Ну да я с первых же дней все разумела, и теперь меня не проведешь! Я могу сообщить вам все цены: на сыр, что продается здесь дюжинами, на яйца разного качества — из Мортаньи или Пикардин; на оливковое масло, свиное сало, мыло — словом, на все.

Говядина в нынешнем году подешевела — пятнадцать су и пять денье, баранина — шестнадцать су девять денье, телятина — шестнадцать су пять денье, свинина — пятнадцать су два денье.

Все это, я уверена, будет интересно тетушке Катрине: вероятно, большое различие в ценах здесь и в Лачугах.

А чтобы дать вам представление о том, во сколько здесь все обходится, достаточно сказать, что дрова, уголь древесный и камешный продаются на фунты. И продают его овершцы. Народ это трудолюбивый; торгуют овершцы всем — вплоть до воды. Они на плечах приносят вам ведра — за два лиарда ведро, поднимаются на шестой да на седьмой этажки. Для растопки печей здесь продаются небольшие связки щепок. Две сотни связок обходятся в девятнадцать ливров, шесть су, восемь денье. Но двести связок забили бы мою кухню, поэтому я беру одну



связку за два су. Щепки бьют разные — одни рубленные, другие строганные, и если не обратишь внимания, то оверицы, а они слынут честнейшими людьми на свете, подсунут тебе не то, что ты выбрал.

Да это еще не все! Я не сказала, что молоко здесь называется сливками, а жиденький бульон — консомэ. Впрочем, приготовить обед еще полбеда. Надо еще заготовиться свечами, сахаром, перцем, солью. После рынка идешь в мясную, потом делаешь закупки у бакалейщика, потом спешешь к прачке, сапожнику, портному — и так без конца. И все приходится покупать да покупать! Три четверти жалованья, которое нам выдают, так и уходят; батюшка тратит до последнего лиарда на покупку книг, газет и на подписку для пуждающихся патриотов.

Но дела идут, а это главное. Несмотря на измену депутатов Национального собрания, продавшихся двору, народ добьется своих прав. И мы можем сказать, что он выиграет.

Если бы настоящие представители народа, честные члены Национального собрания, патриоты, допустили, чтобы всем завладели изменники, те давно уже надели бы на нас прежнее ярмо и вам по-прежнему пришлось

бы на них работать, мучиться и страдать, как бывало до созыва Генеральных штатов. На счастье, клубы пресекли им путь, и прежде всего — Бретонский клуб. Он рядом с нами, в бывшем монастыре якобинцев. Батюшка туда каждый вечер ходит. Там, в старой пустой библиотеке, с той поры, как эмигрировали монахи, собираются истинные патриоты. Клуб этот, да еще клуб Кордельеров, что в торговом дворе по ту сторону реки, считаются наилучшими.

Вначале там собирались одни лишь представители Национального собрания. Но несколько месяцев назад туда стало ходить много патриотов — не членов Собрания, и дель ото дня все больше растет о нем молва. Так Дантон, Лежандр, Фрерон, Петитон, Бриссо, Камилл Демулен чувствуют себя там, как дома. Когда дворяне стараются им помешать в Национальном собрании, крича друг другу: «Послушайте, виконт, уйдем отсюда! Неужели вам не наскучила вся эта галиматья?» или «Эй вы, горлодеры, потише! Нужно прикладами заставить эту сволочь замолчать!» — якобинцы и кордельеры на следующий день собираются в клубах. Повсюду звучит набат, созывая патриотов, торговый люд, мужчин и женщин. Все бегут в Национальное собрание с котлами, кастрюлями в руках — все бьют в них с шумом и грохотом, все кричат: «На фонарь! На фонарь! На фонарь аристократов! Наша возьмет!» А аристократы, конечно, трясутся от страха и прячутся. Вот бы посмеялись сосед Жаан и Летюмье, увидев эту картину! У нас это называется манифестацией. Аристократы же говорят, что это — восстание. Господин Лафайет садится на белого коня, сейчас же собирает национальную гвардию и произносит речь. Он неистовствует вместе с господином Байи, мэром города. Но на другой же день народ смеется и говорит: «Испугались аристократики! Теперь они приутихнут недели на две, потом снова начнут свое. Ну и мы тоже возьмемся за свое».

Лафайет все время торчит тут. Он заставляет бить в барабаны, приветствует короля, королеву и иногда обращается к народу. Иной раз он пытается даже хватать патриотов, и, не будь тут женщин, которые стоят за революцию и запрещают мужьям повиноваться ему, он давно натворил бы всяких бед.

Я рассказываю обо всем этом, милый Мишель, потому что там, в Лачугах, вам не понять того, что тут происходит. Там у нас только и знают, что говорят про военную

службу да про палогн; по если бы парижане не давали отпора всем этим графам, маркизам, епископам, революция погибла бы и кучка знатных вельмож снова стала бы обирать Францию. Другу народа Марату удастся лучше всех раскрывать их заговоры *. Он избочнчает всех — короля, королеву, ирищев, попов, дворян; старые парламенты, муниципалитет, суд, дистрикты, главный штаб наемной гвардии и, как он говорит, его генерала Мотье; прокуроров, финансистов, биржевых игроков, расхитителей, кровопийц государства — бесчисленную армию врагов общественного блага.

Ипой раз он уж чересчур далеко заходит — батюшка говорит, что он зря перегибает палку. Ведь надо полагать, что и среди наших противников есть честные люди, только они получили дурное воспитание и ошибаются. Им внушали с детства, что они особенные, что они люди другой породы, вот они постепенно и забрали себе в голову дурь. Обо всем стали думать превратно и сами без труда этому верили. Отец говорит, что и среди нас найдутся честолюбцы, лжепатриоты, которые только и коровят выбраться в дворяне, отречься от своих отцов и с головы до ног увешать себя орденами, получать незаслуженные пенсии и обращаться с себе подобными, как с лаксеями, а при случае даже продатья любому проходимцу, если что-нибудь дадут. Отец говорит, что просто нехоро льстить народу, уверяя его, будто он обладает всеми человеческими добродетелями, ведь это неверно: и среди буржуа, и среди простого люда найдется немало мошенников. И, быть может, после победы народа те, кто прежде жили в бедности и унижении, возгордятся и станут заносчивее бывших сеньоров, и это тем прискорбнее оттого, что все они будут жадны, невежественны и грубы, и тогда всем придет на ум, что эти отщепенцы отреклись от кровного своего дела, стараясь пробраться па чужие места, и в спешн своей забыли, что их матери — коровницы, а отцы — конюхи. Только бы не увидеть нам, милый Мишель, такой мерзости, чреватой позором и бедою для рода человеческого.

Батюшка теперь частенько гневается. Пример аббата Морнн приводит его в негодование. Правда, успокаивается быстро и говорит: «Все это ничего не значит. Самое главное — установить справедливые законы, помешать мошенникам — будь они из народа, буржуа или дворян — возвыситься над честными людьми и подчинить их себе, ва-

ступив им на горло, да жить за их счет. Всего важнее иначе, чтобы все люди были такие, как Дантон, Робеспьер, Грегуар, Демулен и им подобные, — с их бы помощью растолковать, внушить народу, что спасение наше в единении. Эти люди спасут Францию. Они сметут все продажные душопки на первых же выборах, и не пройдет и нескольких месяцев, как о них заговорят повсюду. Пусть будут клеветать на них, возводить напраслину, стараться погубить, все равно — справедливость восторжествует. Народ терпелив, он исправит свои ошибки и укажет негодным их место.

Пошмаешь ли, Мишель, пока мы жили бок о бок со священником Жаком, патриоты из клуба Якобинцев не посещали нас: батюшка не решался их приглашать — ведь, обсуждая многие вопросы, они наверняка вцепились бы друг другу в волосы. Зато теперь они иной раз заходят, чтобы поговорить о некоторых решениях, которые примут на собраниях, и ты не представляешь себе, до чего же просто и естественно они держатся. Интриганы разыгрывают комедии и всячески изворачиваются, чтобы придать себе вес, эти же люди действуют открыто, и в их обществе дышится так легко!

В среду, 14 июля, во время праздника Федерации*, Дантон, — он шел в рядах солдат национальной гвардии со своим батальоном, — добыл мне хорошее место возле алтаря отечества, сам меня отвел и познакомил со своей молоденькой женой, сказав: «Садитесь рядом, поговорите: право, вы друг с дружкой не соскучитесь». Жена его очень хороша собою, и мы с нею разговаривали, как давние подруги, и, хоть шел проливной дождь, чувствовали себя превосходно. И когда господин Дантон пришел за ней, чтобы отвезти в коляске домой, она протянула мне руку и взяла с меня обещание навестить ее. Господин Камилл Демулен, встретившись с батюшкой на Марсовом поле, шел к нам в экипаже. Очень он сердит на короля: ведь король, под предлогом, что льет дождь, спрятался под балдахином, не дав присягу на алтаре отечества, как призывал его долг. Услышав возгласы: «Да здравствует нация!» — Демулен развеселился и все твердил: «Ничего, Шовель, народ с нами! Сердца простых людей бьются за отечество, справедливость и свободу». Его глаза сверкали, мне же хотелось плакать от восторга. А народ все шел и шел с оглушительными возгласами. Все несли в руках зеленые

ветки тополя, в воздух взлетали шапки и колпаки, украшенные трехцветными кокардами, и людскому потоку по видно было конца. В городе стоял звон множества колоколов. Снова засияло солнце.

В пятом часу мы вышли к Тюильрийскому дворцу, где живет король. Господин Кампль Демулен взял меня под руку, и мы зашли в кофейню Олло под террасой клуба Фельянов — подкрепиться. Было там много патриотов и воинов национальной гвардии с женами и детьми. Все смеялись и веселились. Господину Демулену пора было идти — работать над газетой. Он с нами простился и поблагодарил за компанию. Видишь, Мишель, как обходительны и просты эти люди. У нас в Лачугах и полевой сторож взирает на всех с высоты своего величия, считая, что учтивость его унижает. Очень жаль, что ничтожества, которым цену придают лишь защищаемые ими места, ведут себя так же. И в Париже, и в самой захудалой деревне их узнаешь по смехотворной кичливой осанке.

Познакомился мы с Камплом Демуленом в день приезда. Отец считает, что он один из лучших патриотов, и постарался распространить его газету во все уголки зала, где заседает Национальное собрание, а он тотчас же прислал нам билеты в Национальный театр, в театр мадемуазель Монтансье, в Пале-Рояль, и на представление труппы Божоле. Я была на вершине блаженства, когда смотрела «Осаду Кале» и «Патриотический дуб». Актеры расхаживают по сцене, выкрикивают слова и со стенающими простирают руки. Все это берет за сердце. С удовольствием я посмотрела также «Эзопа на ярмарке» и «Двух фермеров» в Пале-Рояле. Крестьяне, разодетые в шелка, пастушки в красных башмачках мне понравились. Но потом я изменила свое мнение. Батюшка скучал, говоря, что только время теряет. Он все позевывал в кулак, глядя на сцену. А вечером он вот что сказал мне:

— Вот видишь, Маргарита, как его величество знакомится с жизнью крестьян: он видит их только здесь, на сцене! Все крестьяне тут здоровые, дородные, хорошо одетые, сытые, а солдаты только и думают что о славе короля, а не о своей лачуге. Когда говорят о голоде, король, вероятно, удивляется. Парижане тоже должны возмущаться, слыша, что мы недовольны, хотя у нас якобы все есть в изобилии: закрома наши полны пшеницей, рожью и ячменем; погребя — молоком и сыром, подвалы — доб-

рым вивом. Что ни день мы ходим танцевать на лужайку, на берег речки, с пастушками. Время от времени молодой сеньор или принц похищает у нас девушку и в конце пьесы женится на ней. Вот уж не думал, что мы такие счастливы! И если мы будем судить по этим поселянам о королях, придворных, обо всей знати, то суждение наше будет так же соответствовать правде, как песенка девушки, пасущей гусей, о том, что она, мол, станет королевой; впрочем, в конце пьесы она ею наверняка станет. А солдаты при осаде крепости Кале балагурят, сидя по шею в грязи, не получая рациона — и это такая же правда, как и все прочее. А боги держат совет на Парнасе в позолоченных картонных коронах и рассуждают, как дураки. Я все сваливаю в одну кучу. Господа эти толкуют обо всем с тем же знанием дела, какое проявляют, толкуя о наших деревнях: о королях и об Аполлоне им известно столько же, сколько и о нас. Такие спектакли смотришь с пользой для себя: кое-чему научишься.

И тут я поняла, что батюшка прав, я с той поры предпочитаю сидеть дома, гладить белье или штопать чулки — только бы не видеть вещи, противные здравому смыслу.

Вот, Мишель, и бумага подходит к концу. Не забыть бы мне рассказать об одной вещи, которая тебе и всем патриотам из Лачуг доставит удовольствие. Когда пришло твое последнее письмо, все толковали о событиях в Нанси: еще никто не знал, можно ли верить похвалам, которые воздавал г-н Лафайет своему двоюродному братцу, г-ну Буйе. Национальное собрание превозносило его до небес, и король приказал, чтобы национальная гвардия проголосовала г-ну Буйе благодарность. Твоим письмом батюшка был очень доволен: «Вот где правда! — говорил он. — Мишель — молодец. Он ясно изложил нам то, что видел сам: это тебе не театральное представление, не «Эзоп на ярмарке», а речи, исполненные здравого смысла. Мишель делает успехи. Он читает Дидро, и это ему на пользу. Что ж, тем лучше!»

Представляешь, как мне было приятно слышать это. Потом он сложил письмо, спрятал его в карман, говоря: «Вчера в клубе выступал люневильский депутат Реньо. Он жаловался, что никто не благодарит Мертскую национальную гвардию за ее усердие, и сердился, что мы хотим сначала все проверить, а потом уж и благодарить. Так вот

я и прочту им это письмо. Посмотрим теперь, что ответит Реньо!»

Я уже не раз посещала клуб без особого удовольствия, но, когда батюшка сказал, что он прочтет твое письмо патриотам, я тотчас спросила, чтобы он взял и меня.

— Хорошо, только поскорее одевайся, — сказал он. — Опаздывать не хочется.

Мы только что поужинали. Я живо вымыла тарелки, надела хорошенькое ситцевое платье, с букетиками цветов, и чепчик. Батюшка уже торопил меня, кричал из своей комнаты: «Пора, Маргарита, пора». Я подхватила его под руку, и мы вышли из дома в половине восьмого.

Бретонский клуб недалеко от нас, — минутах в двух, не больше. Ворота старинного монастыря выходят на улицу Сент-Оноре, над ними развеваются большое трехцветное знамя, а во дворе возвышаются два тополя. Помещение клуба — направо, какходишь во двор; дверь все время открыта, только если пойдет дождь, ее закрывают. Те, кто опаздывает, остаются у входа, слушают, хотя и мешают шум экипажей.

Когда мы пришли, почти все места уже были заняты. Председатель — господин Робеспьер, молодой человек, бледный и худой, во фраке небесно-голубого цвета с широкими отворотами, в жилете и с белым галстуком, уже звонил в колокольчик, объявляя этим, что заседание началось. Я тотчас же прошла на хоры, где сидели женщины, и увидела, как г-н Прер* и г-н Дантон, которые пришли велед за нами, пожали батюшке руку, а потом уж сели. Старик секретарь, Лафонтен, читал протокол вчерашнего заседания. Когда он окончил, батюшка, поднявшись со скамьи, произнес:

— Я хочу ответить на жалобы люневильскому депутату Реньо, требующему, чтобы мы выразили благодарность г-ну Буйе и мертвой национальной гвардии, которой он командует. Я прошу разрешения прочесть письмо солдата национальной гвардии из моего бальяжа. Он пишет мне как раз по этому поводу. За него я ручаюсь как за себя; он сам принимал участие в походе.

— Предоставляю вам слово, — сказал председатель.

Так в Париже принято: тут в один голос двое да трое не говорят, не стараются перекричать друг друга. Каждый выступает, когда придет его очередь, и все довольны.

Стало очень тихо, и отец принился читать твое письмо. Нечего и говорить, как у меня заколотилось сердце. Начал он с того места, где ты описываешь, как вы услышали первый пушечный залп на дороге у Сен-Никола, и кончил вашей встречей с гусарами, которые учинили побоище, ступив несчастных людей. Звучный голос отца проникал всюду. Трудно представить себе, в какое негодование пришли все собравшиеся, когда узнали, что патриотов национальной гвардии отослали до атаки, чтобы немцы могли в свое удовольствие грабить и забивать народ. Да, вообразить это невозможно. Произошло нечто неописуемое: люди, словно сговорясь, вскочили — и на трибуне и на скамейках слышался невнятный гул голосов, и, хотя Робеспьер изо всех сил тряс колокольчик, длилось все это минут десять, а то и больше. Наконец люди все же снова сели, и батюшка принился читать письмо дальше. Но закончить ему не удалось: негодование охватило всех с новой силой, когда он прочел твой рассказ о злодеяниях, которые вы увидели у Новой заставы. Он прервал чтение и, побледнев как смерть, крикнул:

— Да нужно ли продолжать? Вы теперь узнали о делах в Нанси и видите, может ли лотарингская национальная гвардия восхвалять господина Буйе. Вы хорошо видите, хотели ли наши патриоты запятнать руки кровью своих братьев! Я так и знал, я был уверен, что все они оплакивают загубленных. Отривем же кубок этот от наших губ, пусть немцы заодно с Буйе сами осушат его: нам он омерзителен.

Отец сел. В зале бушевала буря и выделялся только громовой голос г-на Дантона, который благодарил отца за то, что он сообщил клубу об ужасном побоище. Дантон говорил, что патриотически настроенные жители восточных провинций нашего государства не способны поддерживать проделки чужеземцев и что клевета не затронуть патриотов.

И знай, Мишель, что, несмотря на одобрение Национального собрания, обманутого продажными людшками, несмотря на интриги Буйе и Лафайета, несмотря на все роялистически настроенные газеты, двадцать восемь батальонов национальной гвардии отказались голосовать за благодарность, которую король требовал для Буйе. А весь батальон из Валь де Грас даже выступил против, утверждая, что Буйе далеко не герой, воодушевляемый патрио-

тизмом, а человек, жаждущий кровопролития, и что за победу в Ханси он, если судить беспристрастно, заслуживает казни, а не лавров.

Вас обрадуют добрые эти новости. Да, мы не одни радуем за справедливость и свободу; доблестные парижане на нашей стороне, и, можно сказать, все порядочные люди свлачиваются.

Ну, скоро мне уж не хватит бумаги, а о стольком хочется порассказать — и о смерти доброго нашего Лустало, о похвалах, которые все воздают его мужеству и самоотверженности. Вас бы это очень тронуло, но уже не остается места, да и пора кончать! Скоро — я надеюсь, в будущем году — мы поговорим обо всем, мирно сидя у очага в харчевне дядюшки Жана. Тогда конституция уже будет завершена и права человека завоеваны. Ах, как же мы будем счастливы тогда! Запасемся же терпением. А пока, Мишель, хорошенько заботься о нашем садике. Стоит мне вспомнить о нем, и я словно чувствую вкусный запах плодов, словно вижу нашу комнату сверху, вдыхаю аромат сочных груш и паливных ранетов, что по осени рядами лежат на полках.

Господи, какой у нас чудесный край! Одно у меня утешение — мысль о том, что ты каждый вечер поднимаешься в нашу комнату вместе с малышом Этьеном и вы лакомитесь фруктами. Очень это меня радует.

Ну, я кончаю. Прощайте, прощайте все... Обнимаю вас. Скажи всем добрым друзьям нашим из Лачуг, пожелавшим положить в корзину гостинцы, что нам так и кажется, будто мы получили их подарки, и благодарим всех несчетное число раз.

Прощайте, дядюшка Жан, тетушка Катрина, Николь, Мишель, прощайте!

Маргарита Шовель.

Париж, сентября 24 дня, 1790 года.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Письмо Маргариты оказало благотворное действие на многих наших земляков. Помнится, я читал его раз сто, если не больше, потому что слушателями были не только жители Лачуг, но также все возчики, торговцы зерном —

словом, все проезжие, что останавливались в харчевне «Трех голубей». Люди входили, здоровались и, заказав кружку вина, тотчас же начинали кричать:

— Эй, хозяин Жан, говорят, вы получили вести из Парижа. Хорошо бы и нам послушать, что там делается!

И тогда Жан Леру звал меня:

— Принеси-ка, Мишель, письмо!

Я доставал из шкафа письмо и читал его от точки до точки в кругу слушателей, которые внимательно слушали, так и застыв с корзиной за спиной или с кнутом на плечо. Люди удивлялись, просили объяснить непонятные места, и хозяин Жан пространно рассказывал обо всем — о клубах, рынках и даже театрах, которых он и в глаза не видел, зато представлял себе хорошо благодаря природному уму. В конце концов, подивившись всему, каждый возвращался к своим делам, восклицая:

— Ладно! Пусть только патриоты крепко держатся в Париже и всегда берут верх. Вот в чем суть.

Пришло время подбодрить народ — дело в том, что дворянам, бывшим судьям, епископам больше не удавалось поддерживать несправедливые законы в Национальном собрании, так как депутаты третьего сословия ясно доказали их неправоту, их стремление жить за счет народа, вот они и решили вновь силою захватить власть над нами. Но биться за это сами они не хотели — это было слишком опасно. Они стремились натравить нас друг на друга, а в случае если это не поможет, призвать на помощь немцев. Дворяне уже попробовали нанести первый удар в Понси, столкнув национальную гвардию с войском; теперь епископы собрались нанести второй удар, и это было не менее опасно. Они столкнули религиозных людей, уповавших на жизнь вечную, с патриотами, уповавшими на земные блага. Захватив снова земные блага, религиозные люди должны были отдать все епископам и довольствоваться их благословением.

Такова суть вещей, и вы это сами увидите.

В конце ноября 1790 года, за несколько дней до первого снега, у нас в краю, к всеобщему изумлению, вдруг стали появляться люди, которые числились в эмиграции: отец Гаспар из Пфальцбурга, проповедник Роос и многие другие, кто якобы проживал уже с полгода в Трире. В те дни священники — оплот дворян и князей церкви — сновали туда и сюда по всем дорогам, собирались в Не-

виле, в Генридорфе, в Саверне и других местах. Что же это означало? Неспроста это было, по мы и понятия не имели, в чем тут дело. Патриоты, главным образом все те, кто приобрел земли духовенства, были встревожены. Рассуждали все так:

— Они возвращаются из эмиграции — не к добру это!

И вот мы узнали новость, напечатанную в газетах: после горячих споров в Национальном собрании наши депутаты вынесли постановление о том, что священники обязаны принести присягу конституции.

Вот как произошло все это: епископы, уже не решаясь противиться продаже церковных имений и боясь обнаружить, что все их помыслы направлены на блага земные, прибегли к новой уловке — потребовали, чтобы Национальное собрание призвало догмы вселенской римской апостольской церкви для всей Франции. А это означало, что у нас будет два короля: властелин нашей плоти — в Париже, властелин наших душ — в Риме. Но Национальное собрание им отказало, заявив, что «для наших душ нет иного короля, кроме всевидящего, всезнающего господа бога, и нет у него нужды в наместнике, который вместо него правил бы душами».

Тогда эти негодии дошли до неслыханной наглости, и наши депутаты, желая их образумить, вынесли постановление о том, что отныне епископов и священников будет выбирать народ, как во времена первых апостолов.

Разумеется, ярость епископов все росла и росла. Кардинал де Рогап, архиепископ Трирский и множество других князей церкви восставали против декрета, продолжая по-прежнему назначать священников по своему усмотрению. И вот тогда из Трира, Кобленца и Констанца возвратились отец Гаспар, настоятель Ифальцбургского монастыря, отец Барнабе из Хагенау, отец Жанвье из Мольсгейма, отец Тибер из Шлештадта, ученый богослов Роос, архиепископ Гольцер из Анделау, Мере — ректор Бенфельдский, — словом, сотни духовных лиц, и снова страну наводнили книжонки, да так, что можно было подумать, будто все эти «Апокалипсисы», «Народные волшебные фо-нари», «Страсти Людовика XVI», «Размышления г-на Бурке о французской революции» посыпались на нас — так с деревьев по осени сыплются сухие листья. Все эти гадкие книжонки призывали к отмене налогов, гласили,

что нам правят евреи и протестанты, что лучше подчиниться недалекому королю, чем тысяче двумстам разбойникам; что права человека — подлинный фарс, что ассигнаты слезятся в цене до двух лиардов. Одним словом, много они всего придумывали, чтобы народ пал духом.

В те же дни позобовились кровавые стычки на юге, И вот, видя, что Франция угрожает гибелью, если не будут предприняты новые меры, Национальное собрание вынесло постановление о том, что священники и епископы должны присягнуть конституции *, полагая таким образом заставить их выполнить наконец свои обязательства, а не раздувать гражданскую войну.

Слышали бы вы, как раскричались тогда у нас женщины! И стало ясно, какие у нас в деревнях отсталые люди.

Будто сейчас вижу отца Бенедикта, притрусившего на ослепце поутру в Лачуги. Он так вошел, будто настал конец света:

— Да, теперь-то вы видите, в какую бездну мы пизвергнуты. У нас все отняли, нас разграбили — взяли именно немущих, исконно века отданное на сохранение в руки нашей святой церкви! И мы все терпели! Мы ничего не требовали, только творили крестное знамение. Но вот ныне хотят отнять у нас душу, душу отнять!

И он, стоная, все твердил:

— Душу отнять!

Тетушка Катрина, жена Летюрье и другие соседки сбежались, простирая руки, охали, вторя ему в утешение.

В тот же день являлся в Лачуги ученый богослов, отец Жанье, и другие капуцины — все они тоже прикидывались обездоленными перед жителями. Валентин видал от всего этого в отчаяние: он кричал, что король никогда не утвердит такую присягу и что с небес спустится целая рать ангелов и помешает присягнуть грешным священникам. Все жители соседних селений — Миттельбронна, Четырех Ветров, Бншельберга думали так же, сами не зная почему, — конечно, по наущению капуцинов.

Даже сам крестный приуныл, и его толстые щеки отвисли. Когда тетушка Катрина после обеда вышла, приложив к глазам передник, он побледнел и, посмотрев на меня, спросил:

— А что ты, Мишель, думаешь обо всем этом?

— Они строят все эти козлы, — отвечал я, — чтобы запугать покупателей церковных земель. Да разве монахи — истинные пастыри! В то время, когда деревенские священники-бедняки выполняли долг священнослужителя, зимою и летом, и в дождь и жару поднимались в горы, принося утешение страждущим, несчастным жертвам, обобраным и ограбленным алчными сеньорами, когда они получали только малую десятину от урожая шпеленцы, которая почти ничего не давала в нашем краю, где сеют ячмень, тунейдцы-монахи жили вельестью, навлекали на себя позор, на глазах у людей предаваясь пьянству, лени и ведя распутный образ жизни... Они пользовались всеми земными благами. А ныне, когда церковные имущества проданы, наибеднейшие викарии получают семьсот ливров, а скромный священник — тысячу двести, неужели же они до того уж глупы, что пожертвуют собою ради тех монахов, которые всегда косились на них, или ради епископов, которые презирали их и называли «попами», а когда кому-нибудь из этих «попов» и случалось стать епископом, то называли его «епископом для лакеев». Я уверен, что разумные и смелые священники присягнут. А если большинство откажется, то откажется лишь из страха перед надменными князьями церкви, которые ничего не прощают, откажутся не потому, что совесть им не позволяет или они думают о долге перед страной, а оттого, что опасаются себялюбцев-епископов.

Дядюшка Жан слушал с довольным видом и, положив руку мне на плечо, сказал:

— Ты прав, Мишель. К несчастью, парод, особенно женщины, воспитаны у нас в невежестве. Нам остается одно — присоединиться к патриотам, а когда монахи нападут на конституцию — встать на ее защиту.

И только вернувшись тетупка Катрина, он сказал:

— Послушай, Катрина, вот надоест мне смотреть на твою унылую физиономию, возьму и верну все земли в Пикхольце тьерселенцам. Заплатил я чистоганом, звонкой монетой. И мы разоримся; отец Бенедикт и все пегодья вволю посмеются, а ты увидишь, вернут ли мне денегки монахи-тьерселенцы, епископы, сеньоры и даже сам король. А ведь эти деньги пошли на уплату долга, который они сделали без нашего ведома и согласия.

Он так и впел, и его жена послешла на кухню, не зная, что возразить.

Сцены, происходившие в харчевне «Трех голубей», происходили в каждой семье; всюду царило смятение. И, возвращаясь в тот вечер в нашу лачугу, я уже заранее знал, что мать заведет разговор о присяге, будто это зависело от меня. И я не ошибся. Она держала сторону тех, кто довел нас до нищеты; в тот вечер она предрекала мне вечное проклятие, потому что я не считал Национальное собрание кучей евреев и протестантов, собравшихся для того, чтобы сбросить Христово вероучение. Она осыпала меня упреками. Но я отмалчивался. Уже давно я покорно переносил материнские упреки — даже несправедливый ее гнев. Батюшка не смел слова сказать, и я жалел его от всего сердца.

Так все шло дня три-четыре. В декрете Национального собрания было сказано, «что епископы, бывшие архиепископы и священники будут приносить присягу в верности народу, закону и королю, в ревностном и заботливом отношении к благу их дистриктов или приходов и во всемерной поддержке конституции» через неделю после обнародования декрета, в воскресенье после обеда. До их сведения доводилось, что все эти бывшие епископы, архиепископы, викарии, настоятели и директора семинарий должны присягать в соборной церкви, а священники, кюре и все прочие церковнослужители — в их приходской церкви, в присутствии общинного совета коммуны и всех верующих. О своем намерении дать присягу они должны оповестить муниципалитет дистрикта за два дня, те же, кто в означенный срок присяги не принесут, будут объявлены отрекшимися от своего сана и заменены на выборах другими, согласно новой конституции, утвержденной декретом от 12 июля.

Все ждали воскресенья — хотелось посмотреть, кто из священников принесет присягу. А монахи тем временем снова принялись за свои козны, все упраздненные братства и ордена снова зашевелились, и смута в народе все росла. Меж тем всем было ясно, что епископы и дворянство взялись за большую игру и, если бы выиграли, захватили бы все свои прежние блага и привилегии, поэтому горожане, ремесленники, солдаты и крестьяне крепко сплотились — я имею в виду тех, кто считал за честь, за славу подчиняться законам своей страны, для кого Франция выше всего, так же как справедливость и свобода.

Жан Леру предложил мне сходить вместе с ним в Лютцельбург, провести его друга Кристофа, который до сих пор высказывал одинаковое с нами мнение относительно монахов-дармоедов. Но у нас ходили слухи, что ни один священник в наших краях не поднимет руку для присяги, вот мы и стали сомневаться, гадая, как он поступит. Но он — человек большого ума и доброго сердца — смотрел на все разумно и никогда не тяготился своим долгом. И вот 3 января 1791 года, когда мы работали в кухне, а на улице шел густой снег, перед нами предстал священник Кристоф со своим большим зонтом, в треуголке и старой сутане. Наклоняясь, чтобы пройти в дверцу, он крикнул:

— Здорово, Жан! Ну и снегу навалило! Если так будет продолжаться, завтра вырастут двухфутовые сугробы.

— А, это ты, Кристоф, — приветствовал его дядюшка Жан, откладывая в сторону молот. — Пойдем-ка в харчевню.

— Да нет, ведь на дворе ночь! Я из города, сделал заявление. Вот зашел сказать, что присяга состоится в воскресенье, после обедни. Рад буду, если ты и Мишель придете.

— Значит, присягаешь?

— Да, в воскресенье. Но меня ждет бабушка Стеффен. После поговорим.

Дядюшка Жан вышел вслед за ним. Я обернулся к Валентину и увидел, что лицо его вдруг как-то осунулось. Казалось, он пребывал в полном замешательстве; глаза у него стали круглыми, рот открылся. Я же был очень доволен. С радостью видел я, как спокойно разговаривают г-н Кристоф, старая Стеффен и Жан Леру, стоя на улице под снегом, падавшим огромными хлопьями. Вот они пожали друг другу руки. И, собираясь уже двинуться в путь по широкой белой улице и прикрывая зонтом старуху Стеффен, г-н Кристоф крикнул издали:

— Приходи, Мишель! Рассчитываю на тебя.

И он ушел, а дядюшка Жан вошел в кухню, сияя от радости.

— Кто же, однако, пускает слухи, что священники якобы отказываются от присяги? — воскликнул он. — Ясно, что все толковые люди, а их, слава богу, во Франции еще довольно, согласны с нами, а не с теми дурнями,

которые упрямо придерживаются старых идей, превозносят монастыри-аббатства, права сеньоров, толкуют о величии знати и подлости народа, как будто все мы не происходим от отца нашего Адама, будто не все — благородные. Ха-ха-ха!

Уж если крестный, бывало, разоидется, ему все нипочем: честит и негодяями и канальями всех, кто не разделяет его мнений. Неприятно мне было за нашего старого товарища Валентина, который целыми днями ходил мрачнее тучи и все молчал. Разумеется, так долго не могло продолжаться, и если б хозяин вскипел, Валентин вышел бы из терпения и нагрубил бы ему.

К счастью, в тот день Николь вовремя позвала нас ужинать. Мы надели куртки и расстались, как всегда, без неприятностей. На другой день стало известно, что пфальцбургский кюре Отт и викарий Гиммель не заявили в муниципалитете о присяге; зато капеллан Лаферского полка Жозеф-Гектор заявление сделал. Об этом событии много толковали — дело по тем временам было важное. В воскресенье дядюшка Жан, я, Летюмье, Копар и многие другие городские и сельские патроты отпраздновали в Лютцельбурге.

Снег перестал валить; белая церковка была полна горцами, пожелавшими присутствовать на церемонии. Надо полагать, многие явились с дурными намерениями, но Кристофа парод любил и уважал, и подстрекатели не могли восстаповить людей против него. Кроме того, его брат Матери и еще несколько рыжих молодцов из их родни спустились из Дагсбурга и расположились на хорах. Стоило лишь взглянуть на их длинные сухопарые фигуры, саженные плечи и крючковатые носы, когда они нелюбили, и у вас проходила охота затевать ссору, потому что они — десорубы и возчики — своими здоровенными ручищами могли схватить вас и, перекидывая от одного к другому, преспокойно перебросят к самым дверям, где бы вам задали изрядную трепку.

Все сошло мирно. Кюре Кристоф отслужил обедню и только после службы подошел к ступеням хора и, встав лицом к толпе и подняв руку, произнес звучным, твердым голосом, так что каждый мог услышать его:

— Клянусь усердно блюсти вверенную мне паству. Клянусь быть верным пароду, закону и королю. Клянусь поддерживать всеми своими силами французскую

конституцию и, в частности, декрет, относящийся к гражданскому устройству духовенства.

Вскоре толпа разошлась. Г-н Кристоф задержался в ризнице, а дядюшка Жан, я, великан Матери и родственники ждали его в церкви.

На улице все было спокойно, народ расходился по домам.

Наконец г-н Кристоф вышел и повел нас к себе домой. Дорогой крестный со смехом сказал ему:

— Ну вот, все сошло хорошо: капуцны кричат, а толку мало.

Господин Кристоф о чем-то размышлял.

— Быть может, опасность еще впереди, — заметил он. — Но все равно, мы обязаны выполнять свой долг.

Придя к нему, мы уселись вокруг небольшого круглого стола. Он прочел молитву перед трапезою, и мы молча съели вкусный суп, большое блюдо капусты, приправленной салом, а на десерт — орехи и сыр.

У матери священника были заплаканные глаза. Она прислуживала нам молча, и это нас огорчало. К концу обеда она вышла, и Кристоф сказал:

— Вот видите, сколько у нас душевной тревоги, сколько печали. Вот что произойдет во всех семьях, и скоро. Бедняжка плачет. Капуцны оказывают на нее больше влияния, чем я... Она считает, что я предаю проклятию. А что ей сказать? Как быть?

— Полно тебе, — сочувственно произнес крестный. — Вот моя жена тоже льет слезы, но все это позади останется. Отвыкнем негодовать, и здравый смысл восторжествует.

И тут юре Кристоф произнес слова, которые мне никогда не забыть:

— Все это не так просто, как ты думаешь, Жан, — ведь наши благородные князья церкви предпочитают, чтобы все погубило, только бы не потерять свои блага и привилегии. Потому-то они и запрещают нам прикоснуться к присяге конституции, — она ведь отнимет у них то, что они ставили выше религии. Конституция не противна святому Евангелию? Нет... И они это хорошо знают. Она согласна с нашей святой верой. Тысяча семьсот лет назад господь возвестил права человека. Он говорил: «Возлюбите друг друга, ибо вы — братья». Он говорил: «Продайте свое имущество, раздайте деньги нищим и следуйте за мною». Но

продавать свое добро они не думали, а все умножали его, но всеобщему равенству они и не стремились, а все помышляли об одном: как бы приобрести новые почести, новые привилегии и новые чины. Они отсюда не хотели, чтобы пришло царство божье на небесах и на земле, и в энеи своей и корыстолюбия тешили себя, унижая себе подобных. Конституция, согласная с Евангелием, вызывает у них ярость. Да, они не потерпят, чтобы народ, который признает только добродетель, выбирал священников и епископов, чтобы он поставил во главе церкви скромных безвестных пасторов, как это бывало во времена святых мучеников. Они предпочитают, чтобы назначали их все эти распутные помпадурши, дюбарри и прочие *, которым подавай только светские маперы, ухаживание, коленипреклонение, известность и приятные речи. А у сельского священника ничего такого нет и в помине. И вот всплыли все эти де рогапы, дюбуа и им подобные, и они будут вечно бесчестить нашу святую религию. Разве их избрал парод? Нет! Народ вышвырнул бы их, как навоз, ибо всякий порядочный человек, увидя их, отворачивается. А вот в те дни, когда конституция объявляет, что эти распутники не получают из милости ничего в будущем, что измученный наш народ сам, по своему усмотрению, будет решать свои дела, им становится понятно, что, если этот справедливый закон утвердится, царству их пришел конец, что время их миновало. И если бедные священники, которых они так презирали, останутся во главе паствы, если они будут проповедовать мир, порядок и новиневные законам, созданным депутатами народа, считая, что это их долг, то прекрасная эта конституция упрочится. Священники будут сильны, почитаемы, уважаемы, — они убедят людей жить по Евангелию. И если какие-нибудь непогоды появятся у нас в стране и начнут смуту, они первыми пожертвуют собою и подадут пример мужества в борьбе со злом волей; и славная революция, возвещенная Спасителем, свершится с миром, и навеки. Вот этого и не хотят князья церкви. Они жаждут смуты, подстрекают нас на междоусобицы, и когда братья поднимутся на братьев, когда все будет разобщено, разгромлено... тогда явятся во главе пруссаков, австрийцев и русских те, кто сейчас в Кобленце, Вормсе и иных местах, явятся, чтобы снова закабалить нас и восстановить свои привилегии на руинах Евангелия и прав человека. Вот чего они хотят!

И все это они называют политикой. Разве господь бог или Иисус Христос преследовал политические цели? Если б он придерживался политики, он не дал бы распять себя ради спасения несчастных. Неужели же он, потомок Давида, не мог заодно с властителями пойти против народа? Разве он не мог бы послушаться демопа гордыни, говорившего ему на вершине горы: «Взгляни на край этот, селенья эти, на реки и горы. Стоит тебе преклониться передо мною, и все — твое». Поверьте, де Роган и все прочее на его месте немедля пали бы ниц. Но создатель политикой не занимался. И я, бедный сельский пастырь, послушен ему и беру в пример его, а не высокомерных епископов, живущих под стать язычникам. Да, я всегда буду послушен одному лишь Евангелию и никогда не пойду на сделку с чужеземцем.

Он побледнел и умолк. Его брат, великан Матери из деревни Гуи, протянул ему руку со словами:

— Ты прав, Кристоф. Мы всегда будем верны творцу нашему Иисусу Христу и будем против кардинала де Рогана... Я его видел. Он был с женщиной, а она — жена другого. Какая мерзость!

И все горцы осенили себя крестным знамением, меня же пробрала дрожь. А дядюшка Жаи сказал:

— Да, много мы видели мерзких выходов. Но народ сберег веру свою, несмотря на всех этих негодяев. Ошибаются они, воображая, что их повеления после всего, что было, непреложны, как Евангелие.

— Именно так, — сказал г-н Кристоф, — больше нет у нас к ним уважения. Но знайте, скоро они примутся клеветать на бедных священников, которые подчинились закону своей страны, приняв присягу. Они объявят их отступниками. Много еще нам предстоит выстрадать. Но если все: отец, мать, братья, сестры, друзья — словом, все и покинут меня, я все равно буду верен гослоду богу и совесть моя будет чиста. Остальное мне безразлично. Только одного я хочу, чтобы люди эти, политика которых ведет к смуте и междоусобной войне, не погубили нашего короля, несчастную королеву и тех, кто их окружает. А если уж народ ринется в бой, то его натиск превзойдет все ожидания. Ну, а если уж прольются реки крови, в этом будет их вина, ибо, запрещая священникам принимать присягу, они вводят в сомнение народ, отдаляют священников от наставы, заставляют честных людей смо-

треть на религию как на заклятого врага свободы, рабства и братства и всех великих христианских устоев, посвященных новой конституцией. И бог знает, что из-за этого может произойти в дни смуты.

Так говорил этот мужественный человек. А спустя два года, в 93-м, когда я видел телеги, отвозившие на гильотину женщин, стариков, священников, горожан, мастеровых, крестьян, не раз я повторял про себя:

«Вот она, политика епископов и эмигрантов!»

Кардинал де Роган, граф д'Артуа и их приверженцы были тогда по другую сторону Рейна, а князья церкви в Констанце заминались толкованием Апокалипсиса, по-смастривали издалека, но сами не появились в Вандее и на юге, где священники, отказавшиеся принести присягу, смело шли во главе мятежников крестьян *. Наверно, они думали так: ну и дурачье же этот народ — подставляют себя ради нас под удары. И это правда, несчастные крестьяне запада могли бы начертать на своих знаменах: «Рабство, невежество и нищета!» — ибо они все это и защищали в борьбе.

Два-три раза граф д'Артуа объявлял, что встанет во главе вандейцев; он подплывал на английском судне, но, когда крестьяне подняли мятеж, когда все было объято пожаром и до него донеслись залпы республиканских пушек, храбрец поспешил наутек, бросив обреченных в одиночку сражаться за его божественное право. Дальше вы это увидите — свет не знал еще такой подлости!

Помните, мы просидели у г-на Кристофа часов до двух, разговаривая о присяге и о других делах нашего народа. Затем гости из Гупа заторопились домой, чтобы вернуться затемно, — дорога была дальняя. Взяв дубинки и пожав всем руки, они отравились в путь. Мы пошли домой, а Кристоф — в церковь, служить вечерню.

На перевале стоял собачий холод. Крестный, ускоряя шаги, оживленно говорил:

— Все идет хорошо, Мипель. Капуцины промахнулись. Мои земли в Пикхольде с позавчерашнего дня поднялись в цене.

А я все размышлял о словах господина Кристофа. То, что он сказал о политике князей церкви и эмигрантов, заставило меня призадуматься: будущее не сулило ничего хорошего.

К этому времени у нас в кузнице тоже произошли большие изменения, о чем я должен вам рассказать по-подробнее, ибо они послужили для благоденствия моей жизни, несмотря на все огорчения первых дней.

Я еще не говорил, что Валентин столовался у нашего соседа старика Риго. Его забавляло, что старая чета по всякому поводу величала его господином Валентином. При его взглядах на различие в рангах эти знаки уважения доставляли ему удовольствие. Как только вечером он садился в кресло у стола, выткнув ноги, обутые в изношенные башмаки, перед ним ставили пышную яичницу с салом или жаркое, справа стакан с вином, слева графин с водой. Старик хозяйка стояли по другую сторону стола, облупливали вареную картошку и ели простоквашу. Валентин находил, что все это в порядке вещей — ведь он был первым подмастерьем кузнеца, — и, должно быть, думал так:

«Я человек другого ранга, чем эти Риго; вот поэтому я ем вкусную еду, а они только ее прохают».

Когда у Риго выпекался хлеб, а это бывало раз в две-три недели, он заставлял нечь ему отдельно две сдобные лепешки на масле и приглашал меня полакомиться. Он откупоривал бутылку лотарингского хмельного вина, которое хранилось у него в погребе. Никогда ему не приходила мысль угостить нашего Риго стаканчиком вина. Мне это было очень неприятно, тем более что старикки поглядывали на нас с завистью; но я не решился сказать об этом Валентину, его бы возмутило, что я не способен с честью поддерживать звание кузнеца, и, пожалуй, он бы уж меня больше не приглашал.

Иногда он звал и моего братишку Этьена, который раньше носил своим лоснящимся носком, учуяв запах лепешек. Мы посмеивались над его аппетитом. Валентин очень любил Этьена и открывал ему по воскресеньям после вечерни все тайны приманки птиц, прикорма и ири-ручения перчатых. Он был без ума от птиц, охотник был полакомиться мясом синиц и дроздов, послушать песни малишвок и соловьев — вот в чем заключалось его счастье. К концу июля его жилье на втором этаже дома Риго было полно птиц, пойманных в лесу; стекла окон были пе-

репачканы. Он держал сотни птиц всяческих пород: тех, что кормятся червячками и мошками, как соловей и коноплянки, он выпускал до наступления зимы, других, что питаются семенами, он оставлял. С трудом пробирасься, бывало, по сеням в его каморку под крышей: пол усеян сухими головками мака, коноплей; какие-то комочки свисают с перекладки; он сам высевал семена для подкорма птиц на клочке земли позади дома.

Так он и жил. Зимой, в пору дождей, он сам заготавливал силки, всякие западни, петли для ловли птиц и только и говорил о перелете дроздов, прилете синиц и о том, сколько он надеется поймать птиц в этом году.

До революции он никогда и не говорил ни о чем другом, кроме птиц, и всегда был весел; но со времени Генеральных штатов впал в дурное расположение духа и стал придирчивым. Всякий раз, когда мы за беседой проводили вечер вместе, он, прилаживая манки для птиц, все время жаловался на чванство и глупость хозяина Жака, кричал, пожимая плечами:

— Да он чуть несет: только и мечтает, чтобы сапожники стали полковниками, дровосекы — припцами, а кузнецы Жаны депутатами. Воображает, что таким патриотам, как он, море по колено, что уже владеет лесами монсееньера кардинала-епископа и уплатил за них ассигнатами. Его несколько не беспокоит ни отлучение от церкви, ни бесчисленная королевская армия, ни поддержка христианского мира.

Он извительно усмехался и даже в кузнице давал волю языку, отпуская злые, едкие замечания о Национальном собрании, национальной гвардии и всех тех, кто стоял за народ. Крестному, принужденному все это выслушивать, было очень неприятно держать такого подручного — человека, мешавшего ему свободно высказывать мнение о дворянах и епископах. Он сдерживался, как мог; но в те дни, когда до нас доходили плохие вести, он раздувал щеки и, пощелкав языком, восклицал, не называя имен: — Ну и сволочь... Ну и прохвосты...

Валентин хорошо понимал, что он имел в виду сеньоров или епископов, и отвечал, тоже не называя имен:

— Что верно, то верно. Подлецов и прохвостов всех мастей хватает на этом свете!

Тут крестный Жан, взглянув на него искоса, добавлял:

— ...и безмозгих дураков тоже достаточно!..

А Валентин подхватывал:

— Верно. А особенно таких, которые воображают себя мудрецами. Они-то всех хуже.

Так продолжалось довольно долго. Частенько крестный багровел, а Валентин бледнел от злости, и я все думал, что они схватятся.

Но до тех пор, пока священник Кристоф не принял присягу, все их недолгие распри поспели мирный характер. Так было до января 1791 года, когда стали ежедневно доходить до нас новости: то мы узнавали, что священник такого-то селения принял присягу, то еще кто-то, и наконец, священник миттельбронский, г-н Дюзабль, только что замешал пфальцбургского — г-на Отто и все священники Национального собрания во главе с аббатом Грегуаром дали присягу и т. д.

Хозяин Жан воодушевился. С торжествующим видом, посмеиваясь, он напевал: «Наша возьмет... наша возьмет». А Валентин все мрачнел и мрачнел. Я даже подумывал, что он из страха не осмеливается дать волю гневу. И вот однажды пришло известие, что епископ Отенский, Талейран Перигорский, будет посвящать епископов, давших присягу, вопреки папскому запрету. Дядюшка Жан по этому случаю пришел в самое веселое расположение духа и принялся кричать, что моисеньер Талейран Перигорский — истинный апостол Христа, ведь он-то и придумал, что надо продавать пшеница церковников; он-то и служил обедни на Марсовом поле на алтаре отечества в день Федерации, и теперь, когда он посвящает епископов, слава о нем донесется до небес; что этот разумный человек достоин уважения всех порядочных людей, а неприсягнувшие епископы по сравнению с ним — ослы.

И вот тут-то Валентин, который до сих пор хладнокровно слушал его за работой, вдруг срывается и, наступая на крестного поскосу, вопит:

— Все это вы говорите для меня, да? Верно ведь? Так вот слушайте: ваш Талейран Перигорский — подлый предатель. Попяли? Он — иуда! И все те, кто его почитают, тоже пуды.

Дядюшка Жан был до того удивлен, что даже отпрянул. А Валентин все кричал:

— Вы говорите, что наши епископы — ослы! Ослы! Да сами вы — осел, тварь кичливая, зазнавшийся дурак.

Тут крестный протянул руки, собираясь схватить его за шиворот, но Валентин поднял молоток и заорал:

— Не смейте трогать!

Вид у него был страшный, и, если б я не бросился, не встал между ними, произошла бы непоправимая беда.

— Заклинаю вас господом богом! Дядюшка Жан, Валентин, опомнитесь!

Оба побелели. Дядюшка Жан все хотел что-то сказать, но не мог; негодование его душило. А Валентин, отбросив молот в угол, произнес:

— Кончено! Хватит с меня, терпел два года. Ищите себе другого подмастерья.

— Да, с меня тоже хватит, — отвечал крестный, закаясь от волнения. — Я тоже натерпелся от эдакого аристократа.

Валентин на это отвечал:

— Рассчитайте меня и свидетельство дайте, что я проработал у вас пятнадцать лет. Слышите! Свидетельство, хорошее или плохое — все равно. Я хочу знать, что скажет такой патриот, как вы, о таком аристократе, как я.

И, схватив куртку и падевая ее на ходу, он выскочил из кузницы и направился к дому Риго.

Дядюшка Жан был потрясен.

— Ну и негодяй! — произнес он наконец, а немного погодя обратился ко мне:

— Как тебе нравится эта скотина, а?

— Что говорить — он не в своем уме, — отвечал я. — Но все же он честный малый, надежный подручный, хороший работник. Вы не правы, дядюшка Жан: зря его вот уже сколько времени поддразнивали.

— Как это я не прав? — воскликнул он.

— Да так, — продолжал я, — вы потеряли хорошего подручного, человека преданного. Потеряли по своей вине: напрасно вы его из себя вывели.

— Но ведь я же — хозяин! А не будь я хозяином, задал бы ему трепку. Ну, да ладно. Хорошо, Мишель, что ты прямо говоришь мне, что думаешь. Мне досадно, что все так случилось, да, досадно! Но что поделать! Да разве я думал, что на свете есть такие дурни!

Видя, что он раскаивается, я, не говоря ни слова, накинул куртку и побежал к дому Риго — постараться все уладить. Я любил Валентина, и мне казалось, что мы не

сможем жить врозь. Крестный Жал, поняв, что я намеревался сделать, не удерживал меня и пошел в харчевню.

Я распахнул дверь к Риго — Валентин был там и рассказывал старикам обо всем, что произошло; они слушали его, оторопев. Я прервал его:

— Валентин, вы не должны нас покидать. Это немислимо. Позабудьте обо всем! Хозяин тоже забудет, право же, не станет он сердиться на вас. Напротив, он вас уважает, любит — это уж точно.

— Верно, он и мне об этом сотни раз повторял, — подтвердил старик Риго.

— А мис-то какое дело! — отрезал Валентин. — До созыва Генеральных штатов я тоже любил этого человека. Но с тех пор, как он воспользовался смутой и прибрал к рукам церковное имение, я считаю его грабителем. И к тому же, — крикнул он, с силою ударяя кулаком по столу, — спесивец воображает, будто все люди равны; его чванство возмущает меня. Алчность грабителя его погубит — предупреждаю вас. Так ему и надо. Ты, Мишель, ни в чем не повинен; твоя беда в том только, что ты попал в общество Жана и Шовеля. Тут нет твоей вины. Было бы все в порядке, лет через пять-шесть ты бы обзавелся кузницей — я бы тебе помог. Ведь я скопил тысячу шестьсот ливров — они лежат на сохранении у дядюшки Булло, в Ифальцбурге. Ты бы жепился по-христиански; мы, пожалуй, и работали бы вместе, и старого подмастерья уважали бы твои дети и вся семья.

Говоря так, он сам расчувствовался, а я все повторял:

— Ну, не уезжайте, Валентин. Нельзя вам уезжать.

Вдруг он провел рукой по лицу, поднялся и проговорил твердо:

— Иначе у нас четверг. Я уезжаю послезавтра, в субботу, ранним утром. Каждый обязан выполнить свой долг. Оставаться в вертепе, где тебе грозит опасность загубить свою душу, не только заблуждение, но и преступление. Я и так патерился. Давно бы мне следовало уйти, да малодушие и привычка удерживали. Ну, а теперь — решено. И я очень доволен. Скажешь мастеру Жану Леру, чтобы он все приготовил к завтрашнему вечеру. Слышишь? Разговаривать с ним я не желаю. Еще вообразит, что в сплах меня с пути сбить.

С этими словами он вышел в сени и взобрался по лестнице на чердак, в свою каморку. А я побрел по улице,

засыпанной снегом, и в унынии вошел в большую горницу «Трех голубей», где Николь накрывала к обеду. Тетушка Катрина, чем-то озабоченная, помогала ей: хозяин, разумеется, рассказал жене о своей размолвке с Валентином; он прохаживался взад и вперед по комнате, заложив руки за спину и понурив голову.

— Ну, как дела? — спросил он.

— Да вот так, крестный: Валентин уезжает послезавтра, в субботу, спозаранок. Он велел предупредить вас, чтобы все было в надлежащем порядке.

— Хорошо, пусть так. Шестьдесят ливров за этот месяц тут. Свидетельство сейчас будет составлено. Но ступай к нему и скажи, что я не злопамятен, скажи, что я приглашаю его к обеду и мы не будем толковать ни о сеньорах, ни о капуцинах, ни о патриотах. Скажи-ка ему об этом от моего имени. Да еще скажи, что два таких старых приятеля все же могут на прощанье пожать друг другу руки и распить бутылочку доброго вина, хоть и по сходятся во мнении насчет политики.

Я видел, как он огорчен, и не решился сказать, что его подручный не желает с ним разговаривать.

Как раз в эту минуту Валентин проходил мимо наших окон, с палкой в руке, направляясь в город. Очевидно, он шел к нотариусу за деньгами. Крестный распахнул окно и окликнул его:

— Валентин! Эй, Валентин!

Но тот, даже не обернувшись, продолжал путь. И дядюшка Жан снова вскипел и крикнул, захлопнув окно:

— Негодяй не желает меня слушать! До чего ж злопамятен! И я кое в чем виноват... но раскаивался, что, бывало, горячился. Ну, а сейчас я доволен. Вот мерзкий аристократышка, и слушать меня не желает!

Тут он открыл небольшую конторку, стоящую в углу комнаты, и сказал:

— Садись-ка, Мишель, я продиктую тебе текст свидетельства.

Я думал, что он даст свидетельство с плохим отзывом, и позволил себе сказать, что лучше написать, отобедав, — он поуспокоится, так будет лучше.

— Нет, нет, — резко возразил он, — я предпочитаю покончить с этим сейчас же, — в пз головы вои.

Я уселся, и Жан Леру продиктовал мне свидетельство для Валентина, — несмотря на все его негодование, лучший

отзыв и представить себе трудно. Он говорил, что это превосходный работник, честный человек, надежный, добросовестный, исправный; что он сожалеет об его уходе, но особые обстоятельства разлучают его со старым подмастерьем и что он рекомендует его любому мастеру кузнечных дел как образцового работника. Копчив диктовать, он заставил меня перечитать написанное.

— Хорошо, — произнес он, подписывая. — Отнесешь вечером или завтра утром. Захвати и деньги. Пусть проверит, правильно ли, и даст расписку. А попросит проводить его, как это водится между подмастерьями, отпуская тебя в субботу на весь день. А сейчас давай обедать.

Суп уже стоял на столе, и все уселось.

За весь день не произошло ничего нового; Валентин больше не появлялся в Лачугах. Только на другой день я зашел к нему домой. Он приводил в порядок клетки, западни для птиц и силки. Я передал ему свидетельство. Прочитав, он молча сунул его в карман, потом пересчитал деньги, дал мне расписку.

— Теперь все в надлежащем виде. Тебе и твоему брату, малышу Этьену, я оставляю всех птиц, все клетки и корм; делайте что хотите.

Со слезами на глазах я поблагодарил его за братишку и за себя. Потом он сказал вот еще что:

— Завтра в восемь часов ты меня проводишь до савернского подъема. Там мы и обнимемся на прощанье. Хозяин не может отказать тебе в этом.

— Да он меня уже отпустил на целый день, — ответил я.

— Так уж водится среди подмастерьев, — заметил он. — Значит, отправимся ровно в восемь.

Мы расстались, а наутро, в субботу, как было условлено, отправились в путь. Я нес его мешок; он шел следом за мной и опирался на палку, руки у него были сильные, а вот ноги быстро уставали.

Никогда мне не забыть того дня, не только оттого, что нам пришлось перелезть через огромные снежные сугробы и сверху, с подъема вдруг перед нами показался Эльзас, белый от снега и растопившийся лед на двадцать до самого Рейна, с деревушками, перелесками и лесами, а оттого, что сказал мне Валентин в трактире «Зеленое дерево», куда мы пришли часов в девять.



Обычно тут останавливались возчики, но в январе никто не отваживался избрать эту дорогу.

Небольшой трактир, словно погребенный под снегом, стоял в густом ельнике у самого обрыва. По склону сбегала узенькая тропка — с утра по ней прошли два-три путника. С малевьких окон кто-то венком смахнул снег. Над крышей дым не вился, — право, казалось, что ты в мертвом царстве.

Мы вошли и увидели старуху, дремавшую у очага; нога ее словно застыла на прялке. Пришлось ее разбудить, и только тут из-под стола раздалось тьяканье — лаял длинношерстный белый шниц с острой мордочкой; хвост его распушился султаном, а уши стояли торчком. Он испугался нашего приближения и залез под стол.

Старуха говорила лишь по-немецки: на голове у нее был чепец с черными лентами. Муж ее только что отправился в Савери за припасами. Она принесла нам вина, каравай белого хлеба и сыр.

Валентин положил мешок на скамью, сел сплной к окошцу, держа палку между коленями и скрестив над ней руки. Я сел напротив. Старуха взялась было за прялку, но снова задремала.

— Здесь мы расстанемся, Мишель, — проговорил Валентин, — выйдем за твоё здоровье.

— И за ваше, — с грустью ответил я.

— Так... так... — вышив, произнес он со значительным видом, — теперь я доволен. Совесть моя спокойна... Я покинул несчастную землю. Я взял посох для странствия, и я на пути к спасению. Давно бы следовало уйти, я ви-

новен в том, что так долго пребывал в оковах этого Вавилона. Да, я виновен и корю себя, это мой грех... тяжкий грех. Виной этому попустительство слабостям человеческим...

Он продолжал говорить в том же духе, а мне все казалось, будто я слышу речи матери, которые она вела, вернувшись от обедни в горах и наслушавшись неприсягнувших попов: то капуцин Элеонор венчал устами моей матери. В конце концов Валентин закатил глаза и, протирая свои ручищи, возвестил:

— Час спасения настал... Бог не без милости! Я прихожу последним, но покаяться никогда не поздно. Милосердие твое, господи, бесконечно!

— Но куда вы все же направляетесь, Валентин? — спросил я.

— Тебе я могу сказать куда, — говорит он, смотря на меня, будто раздумывая, должен ли мне отвечать. — Твое сердце с нами заодно, помимо твоего ведома. Твое заблуждение исходит от других; и ты об этом никому не скажешь. Ну, а если даже и расскажешь кому-нибудь, то это ничего не значит. Предначертанное сбывается, час гибели Вавилона пробил. И прежде, чем стают снега, каждый получит по заслугам... Но тебя пощадят! Да, тебя пощадят! Но эти деревья, взгляни на них, Мишель, согнутся, отягченные телами висельников, ваших патриотов, и ветви надломятся от бремени.

Тяжко стало у меня на душе от его разглагольствовавший; я сказал:

— Конечно, Валентин, я вам верю — все возможно. Ну, а пока, куда же вы держите путь?

— Я иду в Майнц, — ответил он, поглядывая на спящую старуху. — Я хочу присоединиться к нашим добрым принципам, и прежде всего к благочестивому графу д'Артуа. Мы уповаем только на него. А из Майнца мы отправимся в Лион, который будет столицей, ибо прежняя осквернена и от нее не останется камня на камне. Генерал Бэндер уже образумил нидерландских патриотов. Теперь очередь за патриотами оскверненной Франции. Увидишь, Мишель, увидишь! Кавалерия, пехота, пушки, уланы и пандуры двинутся в поход разом. И они вторгнутся сюда через Савойю, они вторгнутся через Льеж, вторгнутся через Швейцарию и с берегов Испании. Наши сеньоры двинутся впереди нас на освобождение бедного мученика,

который страдает за наши прегрешения. И да будет тогда мир для всех благонамеренных! Мир для покорных!.. Мир для смиренных, мир для верноподданных!.. И да будет объявлена война гордецам, задирающим голову, антихристам, всем, кто приобрел краденое добро. Да не будет пощады всем этим Жапам Леру, Летюмье, Элофам Колленам. Им уже уготованы пеньковые галстуки! Тебе печего бояться, Мишель. Ты добрый сын, кормилец родителей, и это похвально... Ты образумишься. Только когда наши принцы будут в Эльзасе или станут подходить к Мецу, ты в схватку не ввязывайся, буштовщиков не поддерживай. Ни одному из них гибели не избежать. Так и знай. Граф д'Артуа все уладил. Не двигайся с места. Пускай Летюмье, Кошар, Жан Леру идут одни. И солдаты повернут против них — ведь все они стоят за наших привцев. И прежде всего двинутся на истребление несчастного Вавилона и прощельяг парижан.

А я смотрел на голову Валентина, напоминавшую сахарную, и думал:

«Вот ведь беда!.. Рехнулся, бедняга!»

Отвечал я ему спокойно:

— Вы идете в Мец, — что ж, хорошо. Но что вы будете там делать? Ведь вы не солдат, да и в ваши годы!..

— Ну, работы у меня хватит, — воскликнул он, — мне уже назначено место — буду кузнецом в кавалерийском полку и стану зарабатывать себе спасение души.

Я промолчал. Бутылку мы распили, и я постучал, чтобы спросить вторую, но он отказался:

— Нет, нет, Мишель, хватит. Стакан вина — на пользу, два — во вред.

Он завязал мешок, уплатил за бутылку, и мы вышли под твяканье шницца, который под конец осмелел.

На улице Валентин протянул мне свои длинные ручки, и мы обнялись. Затем чужак спустился к Сен-Жаке-де-Шу, направляясь в Виссенбург. Я посмотрел ему вслед. Шагая, он проваливался в снег, но отважно оттуда выбирался, будто двадцатилетний юноша.

Я прошел по дороге в Лачуги. Все, что сейчас сказал Валентин, представлялось мне пустыми бреднями. Тогда я еще не знал, что дворяне и короли Европы образовали нечто вроде фрякмасонского сообщества, — для них не было ни французов, ни немцев, ни русских, а прежде всего были дворяне: они оказывали друг другу помощь,

содействие и поддержку, чтобы держать народы в ярме.

Одна мысль об этом мне казалась до того возмутительной, что я даже не перил, что все это возможно.

Было около полудня, когда я вошел в харчевню «Трех голубей».

— А, вот и ты! — встретил меня крестный. — Как раз подоспел к обеду. Ну, укатил?

— Да, дядюшка Жап.

— И куда же?

Я не знал, как ответить, да он и не нуждался в моем ответе.

— Так, так, — произнес он, щуря глаза, — значит, присоединится к эмигрантам в Кобленце. Я и не сомневался.

И, усаживаясь за стол, он воскликнул:

— Давай обедать. И нечего думать об этом дуралее. За обедом он был очень весел.

— Вот, Мишель, — говорил он, — мы остались одни и можем потолковать по душам. И прежде всего о том, что пора кое-что предпринять. Я доволен тобою, ты вполне мне подходишь. Правда, тебе еще далеко до Валентина, как работника. Надо быть справедливым: Валентин — превосходный работник, но по разуму ты в тысячу раз выше; все остальное придет. Мы с тобой всегда будем в согласии.

После обеда, когда я собрался встать из-за стола, он положил мне руку на плечо, сказав:

— Погоди, нам надо поговорить. Принеси-ка, Катрина, бутылочку. Сегодня нам пужно все выяснить.

Тетушка Катрина вышла.

Хорошее расположение духа дядюшка Жапа меня удивляло. Я чувствовал, что он собирается сказать мне что-то приятное. Его жена принесла бутылку вина и ушла на кухню — помочь Николь мыть посуду, и мы остались вдвоем в большой горнице.

— Сейчас нам не помешают, — заметил дядюшка Жап, наполняя стаканы. — Вот какой валит снег — в харчевню никто не пойдет.

И, прихлебнув вина, он сказал с озабоченным видом:

— Да будет тебе известно, Мишель, что мои земли в Пикхольде слывут лучшими во всем Ликсгеймском округе. Сам я убедился в этом недавно, обойдя их вдоль и поперек. Почва плодородная — с примесью извести и песка. Стало быть, урожай там снимать можно богатые. Но

у лежебак — тьрселенских молахов все захирело: река по занружена, луга заболочены, позаросли тростником да осокой, а их скотина не ест. А ведь чего проще было отвести реку и очистить ее от ил, падавших веками в воду. Но эти негодяи ни о чем не заботились. Возвращаясь по утрам и вечерам в монастырь, они несли в мешках вдвоем собранной спеди; в амбарах у них портилась окорока! Ну и мерзкое же отродье! Их земля лежала под паром, все сохло. Старые ореховые и грушевые деревья повсюду простирали ветви и все закрывали тенью. Плугу здесь придется поработать, чтобы вспахать повь, да и топору тоже — наберется немало хвороста и дров: запасусь на три-четыре года. Не простое дело привести в хорошее состояние полтораста арпанов, упавозить, обработать, да и засеять землю, которая веками не получала ни капли удобрения. Полторасти арпанов могли бы принести мне в этом году две тысячи четыреста ливров. А получу я всего лишь шестьсот. Вот до чего доводят лень и подлость, свойственные этим негодяям. В этом — разоренье края. Ну да теперь мы все изменим. Я уже велел обновить развалившуюся крышу жилого домика, заменить прогнившие балки крытого гумна, вымостить конюшню. Сейчас все более или менее в порядке, но мне понадобится много навоза, а чтобы получить навоз, нужен скот. И я им обзаведусь. Во Флешгеймской усадьбе Катрины земля не переставая плодоносит, харчевия тоже доход приносит изрядный, так что мы со всем справимся. Только вот жить здесь постоянно мне уже нельзя. Первейшее дело для крестьянина — на земле жить и все время следить, выполняет ли каждый свою работу, хорошо ли ухожена скотина, хорошо ли вспахана земля и все прочее. Нужно там, на месте, быть. Весю весну и осень буду там проводить. В Лачуги стану наведываться раза два в неделю. Катрина и без меня с харчевней справится. Но мне необходим человек — хозяин в кузнице. И я выбрал тебя: будешь вместо меня главным в кузне. Подберешь себе подмастерье — ведь ты один за все в ответе будешь, а подмастерье должен подходить мастеру. С нынешнего дня плачу тебе по тридцать, а пятьдесят ливров в месяц. И это еще не все: труд и хорошее поведение вознаградится. Тебя я люблю: ты — честный парень. Я, так сказать, тебя воспитал: я — твой крестный отец. Детей у меня нет... словом, сам поминаешь!

Под конец он совсем растрогался; я же был несказанно счастлив. И я сказал ему:

— О, дядюшка Жан, вы меня вывели в люди, и, право, я этого заслуживаю — заслуживаю потому, что крепко люблю вас.

— И благодаря хорошему поведению, — добавил он, пожав мне руку, — благодаря работе и своей привязанности к семье. Был бы у меня сын, я бы хотел, чтобы он был таким, как ты. Словом, решено: до весны поработаем вместе, я еще подучу тебя... А пока ты подыщешь себе помощника, и все будет так, как мы с тобой решили.

Он протянул мне руку. Да, хотя в жизни и бывают тяжелые времена, зато выпадают и светлые деньки! Когда мастер Жан Леру сделал меня мастером, я почувствовал гордость — значит, я что-то представляю собою, значит, не вечно мне исполнять приказания других. Мысль о том, как эта важная новость обрадует Маргариту, наполнила меня ликованием. Но больше всего радовало меня то, что, благодаря пятидесяти ливрам в месяц, я смогу платить за содержание брата Этьена в Лютцельбурге и он будет учиться у г-на Кристофа, пока не подготовится к должности школьного учителя. Это радовало меня больше всего, потому что я все боялся, что, если попаду в беду, мой немощный брат останется на попечении нашей деревни. Представляя себе радость отца, я отпросился домой, и дядюшка Жан сказал:

— Ступай, ступай, порадуйтесь все вместе!

Я мигом добежал до дому. Батюшка, Этьен, Матюрена плели корзины; все удивлились, увидев меня в неурочный час — обычно я в это время работал в кузнице. Мать у очага кончала стряпать; она только повернула голову и снова принялась за работу.

— Что случилось, Мишель? — спросил батюшка.

И я, не помня себя от счастья, крикнул:

— Хозяин Жан назначает мне пятьдесят ливров в месяц. Валентин уехал, теперь я замещаю его и получаю пятьдесят ливров! Хозяин Жан сказал, что к концу зимы он отправится в Пинхольц наблюдать за полевыми работами в своем именье, а я останусь за него мастером, всем буду заправлять и сам выберу себе под ручного.

Тут отец воздел руки к небу и произнес:

— Боже мой, да возможно ли это? Теперь, сынок, можно сказать, что ты получаешь награду за хорошее поведение и заботы о нас.

Он встал. Я бросился к нему и сказал, сжимая его в объятиях:

— Да и для Этьена какое это будет счастье! Я уже давно подумывал, как бы устроить его на ученье к господину юре Кристофу, чтобы он стал учителем, да не хватало денег...

Но мать не дала мне договорить. Она крикнула:

— Не пойдет он туда!.. Не хочу, чтобы он стал язычником!

Только она произнесла эти слова, как отец круто повернулся к ней. Он побледнел и, глядя на нее, сказал недоумющим, гневным тоном — такого тона мы у него никогда не слышали:

— А я говорю, что пойдет! Кто же здесь хозяин? Ты, значит, не хочешь? Ну, а я хочу... Так-то ты благодарить своего сына — лучшего из сыновей, когда он спасает своего увечного брата от нищеты. Ты других любишь — таких, как Ишкола, Лизбета, не правда ли? Отцепенцев, которые нас бросают и оставили бы на голодную смерть всех — тебя, меня, ребятинек, всю семью... так, значит, ты их любишь!

Его гнев был так страшен, что все мы задрожали. Мать, стоя подле очага, с недоумением смотрела на него, не в силах ответить. Он медленно приблизился к ней и, остановившись в двух шагах, произнес глухим голосом, глядя на нее сверху вниз:

— Черствое у тебя сердце! Не нашлось у тебя доброго слова для сына, для твоего кормильца.

И она в конце концов бросилась мне на шею, крича:

— Да, да, ты хороший мальчик, добрый сын.

Я почувствовал, что мать все-таки любит меня, и был очень растроган. Дети расплакались, а отец никак не мог успокоиться. Он все стоял, без кровинки в лице, и обводил нас безумным взглядом; но вот он подошел ко мне, взял за руку и сказал:

— Дай-ка я еще раз обниму тебя. Счастье иметь такого сына, как ты. Да, счастье!

И он громко разрыдался, а мать разохалась. Так поность, которая должна была осчастливить нас, казалось, свергла всех в отчаяние.

Однако все наконец успокоилось. Батюшка отер лицо, падел камзол, праздничную шапку и сказал, беря меня за руку:

— Иначе я больше не работаю. Пойдем, Мишель. Я хочу поблагодарить друга моего Жана — нашего благодетеля. Ах, какая удачная мысль пришла мне в голову, когда я выбрал его твоим крестным отцом. Она неисполна мне небом.

Немного погодя мы поднимались по улице, заваленной снегом. Батюшка шел, опираясь на мою руку; радостью светились его глаза. Он объяснил мне, что я при крещении наречен Жаном-Мишелем. Это казалось ему великой удачей. И как только мы вошли в горницу «Трех голубей», он крикнул:

— Жан, я пришел поблагодарить тебя.

Дядюшка Жан обрадовался ему. Мы сидели у очага до темноты и весело толковали о моем будущем, о замыслах хозяина Жана и обо всяких семейных делах. Подошло время ужина, и батюшка сел за стол вместе с нами. Поздно, около половины десятого, мы вернулись к себе в лачугу, где все уже спали.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

И вот наступил 1791 год. Этьена я устроил на полное содержание в Люпельбурге к старой мастерице-матраснице, Гертруде Арноль, за двенадцать франков в месяц. Теперь он стал посещать школу г-на Кристофа; с той поры мальчуган доставлял нам одну лишь радость.

Дядюшка Жан весь январь учил меня всему, что теперь от меня требовалось: ведь я не только должен был присматривать за кузницей, но и делать записи в его приходо-расходных книгах обо всем, что покупалось и продавалось в его харчевне — ведь его жена грамоты не знала. Я должен был составлять счета: возвратившись с фермы, он по записи сразу мог бы выяснить состояние своих дел.

Мать была очень удивлена отпором, который ей осмелились оказать в нашем доме, и, казалось, все о чем-то раздумывала; батюшка же время от времени восклицал:

— Вот теперь я доволен... все идет хорошо! Только бы Матюрина еще устроилась у честных людей, тогда нам и желать больше нечего!

Я тоже подумывал об этом, но в то смутное время богачи не очень-то стремились обременять себя новыми слугами, да и у меня выросло чувство собственного достоинства: не хотелось мне, чтобы сестренка пошла в прислугу к буржуа. И ведь это так естественно — всякий меня поймет.

Итак, мы были счастливы!

На беду, гроза все усиливалась и усиливалась. Никогда еще не эмигрировало так много наших врагов, как за эти два месяца — январь и февраль. В то дни всю Францию обошла Красная книга: из нее мы узнали обо всех пенсиях и неслыханных наградах, доходящих до пятидесяти миллионов в год, которые получали дворянские семьи в ту пору, когда, обездоленные, отягченные налогами, умирали с голоду. Из страха перед гневом народным дворяне бежали толпами; дороги были забиты их экипажами, на почтовых стапциях не хватало лошадей; день и ночь слышалось, как щелкают бичами их форейторы. Когда в двенадцатом часу городские ворота закрывались, беглецы, не дожидаясь, чтобы сторож напаша Лебрей открыл им, объезжали крепостные стены. Дело принимало такой оборот, что патриоты стали тревожиться.

В Национальном собрании обсуждался закон о паспортах. Мирабо кричал, что подло мешать людям свободно передвигаться, но отряды национальной гвардии все-таки выполняли свои обязанности; эмигрантов допрашивали, осведомлялись, что они собираются делать в Кобленце, Копстанце, Турине. Когда же эмигранты отказывались отвечать, дамам предлагали проследовать в городской острог в ожидании приказов из департамента. И вот тут-то нужно было видеть, как меняются важные особы, забыв о высокомерии, вот тут-то нужно было видеть, как они занскивают, какжимают руки патриотам, называя их «друзьями», попивая за здоровье народа дешевое вино в харчевне по соседству! Они ломали комедию, и солдаты национальной гвардии хохотали над ними и, выпустив из рук поводья, кричали:

— Счастливого пути, господа!

Что поделаешь: французы всегда любили шутку, уж это заложено в их натуре.

Волнения по поводу гражданской присяги все ширились: до тысячи двухсот — тысячи пятисот мятежников Эльзаса объединились под именем католических, напских и римских граждан, чтобы протипвиться выполнению декрета. Они собирались толпами и вопли:

— Да здравствует граф д'Артуа!

Национальное собрание отравило туда комиссаров, чтобы выяснить, чего хотят мятежники, но они совсем облагдели и стали орать:

— Комиссаров на фонарь!

Во главе их были кавалеры ордена св. Людовика и даже бывшие советники парламента. И тогда патриоты Кольмара и Страсбурга схватили здоровые дубины и разогнали напских граждан.

Все роялистские газеты объявляли нам о вторжении. И когда через Пфальцбург проходили саксонские гусары, направляясь в Саргемин, солдаты Лаферского полка, заподозрив, что гусары скоро перейдут на сторону врага, хватали под уздцы лошадей и принуждали гусаров кричать: «Да здравствует нация!» И тогда все гусары, как один, выхватили сабли, осыпали солдат градом ударов и умчались через французскую заставу. Лазарет наполнился ранеными солдатами. Бесчестно поступили гусары, напав на безоружных воинов Лаферского полка. Это не помещало Людовику XVI похвалить саксонских гусар, которые некоторое время снузья двинулись ему навстречу, собираясь охранять его по пути к австрийцам. А Лаферскому полку был сделан строгий выговор, и его вывели из Пфальцбурга. На смену был прислан Королевский льезвский полк, который полгода назад так отличился под командованием генерала де Буиё.

Представьте же себе, в каком негодовании были патриоты. Во все время, пока полк стоял в наших краях, ни один порядочный человек — в городе ли, в окрестностях — не ответил на приветствие его офицеров. Тогда-то нам пришлось расстаться с нашим добрым серикантом Керю и остальными инструкторами гражданской гвардии. Жители толпой провожали их до Саарбурга, и на прощание люди по-братски обнялись.

В разгар всех тревожений мы узнали, что теткы короля скрылись и увезли в колясках двенадцать миллионов

золотом, без зазрения совести оставив трехмиллионный долг, который нам надлежало оплатить. Вскоре их арестовали в Арис-ле-Дюк, в Бургундии, и вот что они в страхе написали Национальному собранию: «Мы хотим быть только гражданами, коими являемся и по закону. Остаемся с почтением к вам, ваши покорнейшие и послушнейшие слуги».

Смехотворное письмо тем не менее обнаруживало их здравый смысл — ведь они высказали всего лишь простую истину.

Поэтому Национальное собрание разрешило им отправиться, куда угодно. Дядюшка Жан гневаяся, говорил, что следовало с триумфом препроводить их в Париж, а же считал, что Национальное собрание поступило правильно и что даже следовало бы широко открыть все заставы Франции и предложить всем остальным дворянам убраться вон да предупредить, что возврата им уже нет.

В конце концов каждый волен думать по-своему, — я вот убежден, что если б Людовик XVI добрался до Германии или Англии, он произвел бы там точь-в-точь такое же впечатление, как его братец, граф д'Артуа; я убежден, что наши государи, которые уехали в более поздние времена, многое бы дали, чтобы остаться у нас, увидев, что вернуться труднее, чем уехать.

Но я возвращаюсь к теткам короля. Они отправились в Рим и больше о них ничего не было слышно.

Беспорядки начались повсюду, особенно безудержны они были в Париже. Мы узнавали об этом из газет, которые по-прежнему присылали нам Шовель. Народ не доверял дворянам и епископам и все время ожидал от них подвоха. Камилл Демулон, Бриссо, Фрерон — все отважные и провинциальные люди без устали внушали нам:

— Будьте начеку! Не попадайтесь врасплох! Множество депутатов третьего сословия продались... Леопольд и Вильгельм заключили между собой мвр, чтобы захватить нас силой. Берегитесь!.. Будьте наготове... Будьте бдительны!

Однажды жители парижского предместья Сент-Антуан решили взять Венсенский дворец, как взяли Бастилию. Лафайет приложил все силы и отвел удар. В тот день пятьсот дворян, вооруженных книжалами, прокрались в

королевский дворец через одну из задних дверей — вслед за отрядом швейцарской гвардии. Их обнаружили, и они заявили, что именно они — настоящая охрана короля. Их выгнали, надавав им тумаков. А Людовик XVI заявил, что он не желает иных телохранителей, чем солдат национальной гвардии; но все это не мешало народу впоследствии не снискать с него глаз. Ходили слухи, что король болен, что врач, лечивший его, советовал ему уехать в Сен-Клу. Тут рыночные торговки обратились к королю с просьбой остаться. Вот доказательство тому, как наивны люди, выросшие в невежестве. Жалкие эти создания были уверены, что отъезд Людовика XVI — большая потеря для Франции; право, можно было подумать, что народам труднее найти короля, чем королю — народы. Да ведь не сразу же к нам является здравый смысл.

В конце марта дядюшка Жан отправился на свою ферму — проследить за работами, а я остался в кузнице один со своим новым подмастерьем, Симоном Венеротом; это был здоровенный малый со щетинистой бородой и могучей спиной. Почти целыми днями шел дождь, как это бывает весной; мимо Лачуг проезжало мало телег, но мы получили хороший заказ: сделать для пфальцбургской церкви решетку, которую и поныне видно на хорах. Перед отъездом дядюшка Жан поручил мне ее поставить, и я каждое утро отправлялся работать в город, а Венерот оставался в кузнице.

В это время Королевский льежский полк, вызывавший всеобщую неприязнь, получил приказ вернуться в Мен. Говорили, что генерал Буйе хотел, чтобы у него под рукой были все полки, преданные Людовику XVI, а для чего — стало известно позднее. Итак, полк отправился туда в марте, а его заменил Овернский полк, состоящий из истинных патриотов. Он отличился в войне с Америкой и отказался идти против Нанси. Элоф Коллен отозвался о нем с похвалой, выступив в клубе; он вспомнил битвы, в которых полк участвовал, и мы в первый же день побратались со всеми унтер-офицерами и солдатами, как побратались с солдатами Лаферского полка.

Но Овернский полк собирался свести старые счёты: офицеры из дворян продолжали избивать подчиненных, и вскоре нам довелось быть очевидцами небывалого события — было отчего аристократам призадуматься.

В тот день, в начале апреля, я вместе с двумя поденщиками собирался поставить решетку, как вдруг около часу дня со стороны ратуши донеслась барабанная дробь. Я удивился и выбежал узнать, что случилось. Подойди к поротам церкви, я увидел, что Овериский полк, под командой унтер-офицеров, вступает на Оружейную площадь и строится в каре под старыми визами. Офицеры из дворян в это время сидели в кофейне «Регентство», на углу улицы Старого Водоема, где теперь находится винокуренный завод Гофмала. Они преспокойно пили кофе и играли в карты. Заслышав барабан, они врассыпную бросаются из кофейни, не успев надеть треуголки. Вот приближается полковник, маркиз де Курбон, — он кричит, в ярости спрашивает, что все это означает, а барабаны продолжают бить, люди не считают нужным ему отвечать. Три старых унтер-офицера выходят из рядов с ружьем на плече и соединяются посредине каре.

Это седоусые великаны с треуголкой набекрень, косою на спине. Недоброе у них выражение лица. Все горожане бросаются к окнам, а кто и на площадь, смотрят, не понимая, что все это означает.

Вдруг барабанный бой стихает. Кто-то из бывалых унтеров вытаскивает бумагу из кармана и громко произносит:

— Сержант Равет, выйдите из строя!

И сержант приближается к нему с ружьем на плече.

— Сержант Равет, Овериский полк назначает вас своим командиром!

И новобранный полковник приставляет ружье к дереву и выхватывает саблю. Под бой барабанов над ним склоняется знамя и весь полк отдает ему честь.

Ничего удивительнее я в жизни не видел. Ясно, что, сделай офицеры из дворян попытку вмешаться, полк ринулся бы на них, орудуя прикладами и штыками. У меня дух захватило. На свое счастье, офицеры быстро сообразили, что затевается дело для них опасное, и вернулись в кофейню, а назначения в полку все продолжались.

После полковника назначили подполковника, майора, капитанов — словом, всех офицеров и даже много унтер-офицеров. Около трех часов все было закончено.

Каре стало разворачиваться, и тут офицеры-дворяне вдруг выскочили из кофейни и стали выражать несогласие.

Но новонабранный полковник — такой чернявый, невысокий — резко оборвал их:

— Госнода! В течение шести часов вы оставите город. Потом он скомандовал:

— Салево кругом, шагом марш! Вперед, чаще шаг!

И солдаты вошли в казармы.

Наутро ни одного бывшего офицера в городе не осталось. Вот что довелось мне увидеть!

Спустя три недели, 24 апреля, Национальное собрание получило послание от военного министра, сообщавшего о том, что Овернский полк взбунтовался: «Полк этот прогнал своих офицеров, действует по своей воле и признает одну лишь свою власть». Об этом я прочел в газетах той поры наряду со всякими другими измышлениями. Правдой было то, что солдаты Овернского полка держали сторону народа: что им padосли оскорбления, наносимые офицерами из дворян, что им больше неумоготу было подчиняться людям, способным предать их на поле боя. К тому же, невзвирая на послание военного министра, множество других полков поступило так же. И если б вся папша армия последовала примеру Овернского полка, главнокомандующие не попытались бы натравлять солдат против Собрания представителей народа и генеральные штабы всем составом не переходили бы к врагу.

Прошло несколько дней, и в воскресенье приехал дядюшка Жан. Он нашел, что все дела в порядке, и был доволен. Привез он куду газет из гостиницы «Большого олеца», что в Ликсегейме, и тогда-то мы узнали о смерти Мирабо, о том, что король, королева, придворные и все вообще сожалели о нем, прославляли его и что Национальное собрание издало такой декрет: «Новое здание церкви св. Женевьевы предназначается для принятия праха великих людей. Только Законодательный корпус вправе решать, кто достоин этой чести. Оноре-Рикетти Мирабо присуждена эта честь». Декрет этот нас удивил, после всего что писал Шовель о Мирабо.

Те же газеты сообщали, что Людовик XVI во что бы то ни стало угодно подышать воздухом в замке Сен-Клу, что национальная гвардия и народ восстали против его отъезда и что он пожаловался Национальному собранию на то, что ему не доверяют. Да и кто из здравомыслящих и порядочных людей мог доверять ему, замечая, что во

дворце вечно толнятся вельможи да неприсягнувшие поны и нет ни одного патриота, читая роялистские газеты, печно кричавшие о недисциплинированности войск, выступавшие против декретов Национального собрания, против простых людей, видя целые потоки вредных книжонки, которые восхвалялись этими газетами и — до того доходило — иногда выпускались под именем Камилла Демулепа, Марата и Дюшена * для более успешной продажи и клеветы на порядочных людей; да, зная о всех этих подлых и низких поступках, о всех этих кознях и паветах, доверять было нельзя!

Уже одних речей Валентина, капуцинов — «католических, папских и римских граждан», как они себя называли, — было предостаточно, чтобы прозрели самые ослепленные и обнаружилась измена, которую враги подготовляли. Да, никто ему не доверял, и тут не было нашей вины. То была его вина. Чтобы добиться доверия народа, действовать надо прямо и честно, не следует выставлять вперед обманщиков, представляющих вас; если хоть один раз предательство обнаружится, на смену доверию появится презрение, это — истина.

Дядюшка Жан, найдя, что в Лачугах все идет хорошо, на другой же день вернулся к себе на ферму. Несколько дней спустя папа Пий VI предал анафеме священников и епископов, присягнувших конституции. Разумеется, им-то от этого было ни тепло, ни холодно, зато враги облагдели. Они подняли мятеж в Корсике; они напали на патриотов в Авиньоне *, они перебили стекла в клубах Парижка. В ответ на это сожгли папскую буллу в Пале-Рояле, останки Вольтера перенесли в церковь св. Женевьевы, поставили перелить колокола в монеты, потребовали, чтобы принц Конде вернулся во Францию, угрожая в противном случае лишить его всех прав на Францию, и прочее и прочее.

Но добрые католики ничуть не уговорились. Они удвоили свою жестокость: так, в Бри-Конт-Робере гусары из Эно выискивали патриотов, даже женщины вытаскивали из кроватей, связывали по рукам и ногам и подвергали постыднейшим оскорблениям. Положение становилось все ужаснее: мысль, что нам придется попасть в их руки, приводила нас в ярость, тем более что все сулило урожайный год. В мае в Лачугах все цвело — фруктовые деревья, живые изгороди, леса; раскидистая груша Маргариты

снежным шаром поднималась за домиком Шовелей. Люди говорили:

— Вот бы счастье было, если б мы жили теперь мирно. Натерпелись мы и холода и голода в тяжкие годы — хватит с нас. Выдастся урожайный год, а нам грозит беда — вот-вот явятся австрияки или пруссаки и опустошат наши пажиты, а изменники с ними сговорятся и предадут нас.

И все же работа закипела. Но вот в одно прекрасное утро разнеслась весть, будто его величество дал тьгу, а солдаты национальной гвардии Шампани и окрестностей Меца заурюдили все дороги, чтобы его перехватить, будто всюду бьет набат, гремят барабаны; парочные вереницей несутся друг за другом, и тот, кому удастся поймать беглеца, получит целое состояние.

О новости мы узнали от трех здоровенных эльзасцев и их жен — они проезжали мимо нас из Страсбурга в телеге. Женщины вошли:

— Господи Иисусе! Дева Мария! Святой Иосиф! Гибель пришла неминуемая!

А мужчины в треуголках и красных жилетах, сидя впереди, изо всех сил погоняли лошадей. Я крикнул:

— Что случилось?

И эльзасец, державший вожжи, обернулся и ответил:

— Дьявол с цепи сорвался.

Выпив лишнее, он с хохотом отшучивался, но одна из женщин крикнула с сокрушенным видом:

— Король сбежал!

Немного погодя то же повторили человек пятьдесят, — все, кто возвращался из города с рыжка, возвращался впопыхах, торопясь к себе в деревни, чтобы сообщить спогсшибательную новость. Трое-четверо проезжих зашли в харчевню и добавили, что вместе с королем бежали королева и дофин.

Вот тут я возненавидел короля: ведь до сих пор, несмотря на все, я доверял его присяге, зная о его великой набожности. Симон Бенерот очень удивился, когда я, весь дрожа, швырнул молоток о стену, словно ядро, и закричал:

— Вот негодяй! Он обманул нас.

Но ко мне тут же вернулось спокойствие. Перед «Тремя голубями» собралось множество людей: мужчины и женщины обсуждали новость, спорили, и я им громко стал говорить о том, что король удрал, собираясь соединиться с

нашими врагами в Кобленце, что немцы только его и ждут, собираясь вторгнуться к нам, что Вильгельм и Леопольд не решились напасть на нас до его прибытия, опасаясь каких-либо неожиданных событий в Тюльри, а теперь-то им опасаться нечего.

Был бы сейчас в Лачугах крестьянин Жан, он бы наверняка приказал бить сбор, но и он, и Летюмье, и все остальные унтер-офицеры нашей роты были на полевых работах. Меня охватило отчаяние. Теперь-то мне кажется это смешным: ведь тысячи патриотов охраняли дорогу от Парижа до Страсбурга, и Людовик XVI ехал не по этой дороге — бельгийская или мецкая была гораздо короче, по не так рассуждаешь в юности.

Во всяком случае, все приняли к единодушному согласию: король отправился на соединение с нашими врагами и нечего мешкать и ждать, пока враг вторгнется, — таково было мнение народа, и Национальное собрание не сомневалось в этом; вот почему наутро следующего дня, 25 июня, всюду — на дверях церквей и ратуш и даже на стенах харчевен — был расклеен декрет, призывавший всех патриотов быть готовыми к сбору. Сам дядюшка Жан даже прискакал из Пикхольца и, ругая короля самыми последними словами, обзывая его лицемером, наклеил в большой горнице «Трех голубей» этот декрет. Вот он:

«Нюня 21 дня, 1792 года.

Национальное собрание постановляет:

- Ст. 1-я. Национальная гвардия всего королевства должна быть в состоянии боевой готовности.
- Ст. 2-я. Департаменты Севера, Па-де-Кале, Юры, Нижнего и Верхнего Рейла и все департаменты, расположенные на границе с Германией, должны представить по возможности большее число людей.
- Ст. 3-я. Прочие департаменты представляют от двух до трех тысяч человек.
- Ст. 4-я. В силу этого каждый гражданин, желающий стать под ружье, будет внесен в списки в своем муниципалитете.
- Ст. 5-я. Солдаты национальной гвардии, внесенные в списки, образуют батальоны по десять рот каждый; каждая рота будет состоять из пятидесяти человек.
- Ст. 6-я. Роты будут находиться под командой двух подпоручиков, поручика и капитана.

- Ст. 7-я. Батальоны будут находиться под командой двух подполковников и одного полковника.
- Ст. 8-я. Роты выбирают своих офицеров, батальоны — свой штаб.
- Ст. 9-я. Каждый солдат национальной гвардии будет получать пятнадцать су в день. Барабанщику будет полагаться полуторный оклад, квартирмейстеру в два раза больше рядового, подпоручику — в три, поручику — в четыре, капитану — в пять, подполковнику — в шесть и полковнику — в семь.
- Ст. 10-я. Солдаты национальной гвардии по прекращении военной службы жалования не получают и возвращаются в свои прежние роты.
- Ст. 11-я. Будет составлен незамедлительно устав для войск этого рода».

Я переписал декрет, потому что это был первый образец созыва всеобщего ополчения. Он выдвинул великих полководцев революции, простых сыновей народа, всех тех, кто на протяжении многих лет, не десять, не двадцать, а несчетное число раз разбивал генералов Фридриха, Фрайца, Павла, Вильгельма, Александра. Прежние полководцы происходили из благородной расы, были «потомками наших гордых победителей», а наши — республиканцы — были из «смиренного потомства побежденных». Вот как все меняется на белом свете!

Декрет этот показывает также, какое доверие питало Национальное собрание к нашему королю, ибо оно призывало народ к восстанию не против врагов, а против Людовика XVI, который бежал, чтобы перейти на их сторону. Он был уверен, что скоро снова затянет нас в свои сети; но, слава богу, дело обернулось совсем иначе — как ему и не снилось. Вот когда пришла пора поверить, что верховное существо на стороне народа и присягнувших священников, а не на стороне двора и епископов; вот когда пришла пора восхвалять провидение, потому что, несмотря на все козни и ухищрения, несмотря на измену Буйе* и множества прочих мерзавцев, которые перешли к врагу, потерпев неудачу, сын почтмейстера, патриот Друз*, разрушил все их гнусные замыслы и принудил Людовика XVI вернуться в Париж. Короля арестовал муниципальный совет Варенна — небольшого селения, расположенного в девяти лье от границы: гусарам, посланным Буйе навстречу

королю для охраны его экипажа, преградила путь самая обыкновенная двуколка для перевозки домашней утвари — Друэ и его друзья опрокинули ее на небольшом мосту.

Да, воля божья проявляется во всех этих событиях, о которых я читал с волнением в газетах тех дней. По требованию дядюшки Жана я читал вслух новости, взобравшись на стол в большой горнице, до того набитой людьми, что дышать было нечем, хотя окна были отворены настежь; в сенях, на улице перед харчевней, до самой кузницы толпились люди, стоя плечом к плечу, и, пока я читал, они топтали ногами, ахали от удивления, возглашали «да здравствует нация», и возгласы эти разносились по всему селению.

Но особенно возбуждало негодование народа послание генерала Буйе, у которого достало дерзости писать Национальному собранию после того, как король в целостности и сохранности вернулся в Париж. Негодий пытался запугать нас, угрожая вторжением врага. Прочтите-ка это послание. Переписывать его я не стану целиком, а приведу несколько выдержек, из которых яснее ясного видна измена.

«Люксембург, июня 26 дня, 1791 года. Король попытался разбить свои оковы, но слепая судьба, во власти которой находятся империи, решила иначе».

Вот как оно начинается! Что же означает: «Слепая судьба, во власти которой находятся империи»? Это означает, что для них бога нет, доказывает, что все аристократы — безбожники, что нас, христиан, они считают своими рабами, ибо не верят словам создателя: «Все вы братья, все вы равны... Возлюбите друг друга!»

Но это еще не все: я приведу его угрозы. Он заявил, что король уехал, следуя его советам и намереваясь поехать к верным ему немцам, в Монмедп, и оттуда повелеть о роспуске Национального собрания и призвать другое — по своей воле, чтобы восстановить привилегии дворянства. Кончает же Буйе так:

«Поверьте мне: вельможи всего света знают, что им угрожает чудовище, порожденное вами, и в скором времени обрушится на вашу многострадальную родину. Мне известны ваши силы; чаяние ваше призрачно, и недалеко то время, когда кара, постигнувшая вас, послужит памятным уроком для потомства — так говорит человек, у которого вы сначала вызывали чувство сострадания. Вы

отвечаете за жизнь короля и королевы перед всеми королями вселенной. Если с их головы падет хоть один волос, от Парижа не останется камня на камне. Дороги мне известны, я сам возглавлю иностранные армии... Письмо это лишь предвестник заявления самодержцев; они предуведомят вас более решительным образом в войне, которой вам следует страшиться! Прощайте, господа!»

Все было ясно! Мы отвечали за жизнь короля и королевы перед королями вселенной, а ему, Буйе, известны были наши силы, он собирался привести врага к нам — на свою родину, и дотла разрушить Париж.

Вечером, когда я прочел это послание батюшке, он стиснул кулаки и, подняв руки над головой, воскликнул:

— О господи, господи! Да неужели же существуют такие негодяи на свете! Если б Никола — а ему тоже известны дороги в наших краях — привел бы врага в Лячуги, я бы умер от горя!

Я отвечал:

— Что и говорить, батюшка... по ведь вы-то не дворянин... вы не потомок победителей... вы не генерал, назначенный королем, не получали больших пенсioнов, не имели почестей, власти. Вы — бедняк крестьянин, всю жизнь вы маялись. Родина вам ничего не дала — ни единого лиарда... Вы обязаны ей лишь своим рождением — и за одно это вы любите ее. Вы содрогаетесь при одной мысли об измене ей. А для дворян родины без пенсioнов и почестей не существует. Истинная родина для них там, где существуют рабы, работающие на них, и короли, осыпавшие вельмож щедротами. Пришлось бы им, как нам, копать землю, ковать, работать с утра до вечера, чтобы содержать короли в роскоши, они бы сразу перестали быть роялистами.

Что я говорил отцу, то и вышло: вернувшись в Тюильри, Людовик XVI уже не был самодержцем, не мог больше осыпать царедворцев милостями, и множество вельмож тогда бежали. Стало известно, что все офицеры полка Колонель-Женераль из Дюнкеркского гарнизона перешли за одну ночь к австриякам, а те, что находились в Лиле, попытались сдать город врагу, что и сделали бы, если б не патриотизм солдат и горожан. Все мы сокрушались; поутру было страшно пробуждаться: а вдруг уже тут Конде или Леопольд с Вильгельмом да с ними сто тысяч мерзав-

цев. Весь французский народ считал, что Людовик XVI недостойн править страной, все говорили, что он нарушил присягу и устроил заговор против родины, что он самый опасный враг наш, потому что те военные силы, которые он черпал из народа для нашей защиты, должны были помочь ему выдать нас врагу. Невозможно было жить с такой ужасающей язвой, и все здравомыслящие люди признавали это.

Из парижских газет мы знали, что тамошние патриоты такого же мнения. Но кого поставить на его место? Одни настаивали на том, что короля необходимо отстранить, и предлагали согласно конституции возвести на трон дофина с регентом; другие предлагали назначить кого-либо исполнителем законов, иные стояли за республику. Но в клубе Якобинцев Робеспьер восставал против создания республики. Он говорил, что одно название ничего не стоит, что можно жить счастливо и быть свободным и при монархическом строе и быть рабом и обездоленным при ином республиканском. Дантон был только за отстранение Людовика XVI в присутствии совета и опеки над ним, как над слабоумным. Петлон разделял мнение Робеспьера, а Бриссо, Кондорсе * и герцог Орлеанский склонялись к республике. Однако я думаю, что если бы в ту пору кто-либо имел возможность назначить герцога Орлеанского вместо короля, то, невзирая на свои республиканские убеждения, он принес бы себя в жертву родине. Только пужно было ему дать понять, что он стал бы сильнее всех, ибо такой осторожный человек сознавал, как опасно принять на себя эту роль, когда за спиною Мараты, Камиллы Демулены и Фрероны. Никто об этом тогда не подумал: опыта революции у народа в те времена еще не было, и все полагали, что возвести на престол королей, учредить республику или государство — самое трудное. Впоследствии все убедились, что труднее всего их сохранить.

Споры длились недели три. Национальное собрание ничего не решало. Большое число его членов — епископы и дворяне, которых называли правой стороной, — выступили против оскорблений, нанесенных монарху и его августейшему семейству, заявляя, что они будут присутствовать на заседаниях Собрания, но не станут ни участвовать в обсуждениях, ни признавать законности его постановлений. Остальные члены Собрания, о которых упоминалось, явно труслили. А Барнав, Ламет и Дюпор, названные

«фелъянами» *, втайне посетили его величество и, как всегда, выступали, ничего определенного не предлагая. И так все тянулось и тянулось. В конце концов терпение народа лопнуло, и он направил в Национальное собрание петицию, требуя низложения короля. Национальное собрание отложило петицию в сторону. Разгневанный народ ринулся на Марсово поле и там, на алтаре отечества, подписал еще более грозную петицию. Однако мэр города, г-н Байи, задержал в дороге посланцев, которым было поручено отнести ее в Национальное собрание, и они попали туда в тот час, когда Собрание уже постановило, что король, как особа священная, суду не подлежит; другими словами, *король мог призвать во Францию пруссаков и австрийцев и распорядиться нами по своему усмотрению, ничем не рискуя.*

Тогда-то народ понял, что почти все Национальное собрание вконец испорчено, не считая нескольких человек — таких, как аббат Грегуар, Шовель, Робеспьер, и еще кое-кого. Гнев народный нарастал. В клубах гремел гром возмущения. Дантон в клубе Кордельеров говорил, что надо укрепить силы революции, и тогда патриоты решили обратиться на Марсовом поле, чтобы составить новую петицию, которую должны были подписать тысячи и тысячи французов.

Но Национальное собрание воспротивилось. Оно понимало, что такая петиция принудит его уступить. И тогда Лафайет и Байи получили приказ применить закон военного времени — ужасный закон, дающий право стрелять в народ после трехкратного предложения разойтись. И они тотчас же стянули войска.

Ранним утром народ, который уже начал собираться, обнаружил под алтарем отечества двух шпионов — они там спрятались, чтобы потом донести двору обо всем, что тут происходило. Их тотчас же обезглавили и на двух длинных пестях понесли головы по всему Парижу. Тогда, во втором часу дня, Лафайет и Байи явились на Марсово поле и применили закон военного времени. Одни говорят — после предупреждения, другие — без всякого предупреждения. Да не все ли равно как! Много безоружных жертв — женщины, старики и дети — были убиты. Дворяне, епископы, двор и эмигранты, должно быть, ликовали!

Впервые по приказу Национального собрания стреляли в народ: началась война между буржуа и народом — это

было ужасно! Большей беды не могло произойти, потому что война эта идет и поныне, и из-за нее у нас военное правительство и деспотизм.

По приказу Байи и Лафайета подверглись преследованию Камилл Демулен, Дантон, Фрерон *. Они скрылись. Но они вернулись, вернулся и Марат, вернулись и родственники убитых. Ох, эта гражданская война, война между членами одной семьи — она была первым следствием бегства Людовика XVI; всему остальному суждено было произойти позже.

И вот Национальное собрание, свершившее столько великих дел, создавшее такие справедливые законы, провозгласившее права человека и гражданина, сохранившее величие среди неслыханнейших испытаний, дошло до того, что согласилось с презренной идеей — идеей божественного права, противной здравому смыслу, справедливости и всей конституции, созданной им же.

Когда размышляешь о подобных делах, то волей-неволей признаешь всю несостоятельность человеческого разума, и в особенности то, какую опасность представляют *цивильные листы!* По счастью, этому несороченному, изжившему себя, продажному собранию не суждено было продержаться долго; составление конституции почти было закончено и приближались новые выборы.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Надо было видеть, как ликовали у нас в краю все бывшие судейские, прево, начальники полиции и эшкены, отрешенные от должности, когда узнали о кровопролитии на Марсовом поле. На их лицах была написана радость, и скрыть ее они не могли. Папаша Рафаэль Манк, почтенный вфальцбургский буржуа, председатель нашего клуба, произнес по этому поводу язвительную речь, заявив, что Марат, Фрерон, Демулен и прочие мерзкие газетчики — виновники беды, ибо они всех оговаривали, Лафайета — друга Вашингтона изобразили изменником, а Байи, председателя собрания Генеральных штатов в Зале для игры в мяч — дурнем, и что люди эти вам досаждают, вас подстрекают, да так, что вы теряете голову, а

пз-ва минутной вспышки гнева и произошли неслыханные беды.

Вот так он объяснял суть дела. Но ликование наших врагов показывало нам, что все обстоит иначе, гораздо серьезнее и происходит из более значительных причин. Между тем начались съезды избирателей для назначения депутатов в Законодательное собрание. В ратуше повесили список активных граждан — мы же, пассивные граждане, не платившие *прямых налогов* ценностью в три рабочих дня, не имели права голосовать, как в 1789 году; однако мы платили в двадцать раз больше *косвенных налогов* на вино, водку, пиво, табак и прочее и по своей работе и расходам являлись более активными гражданами, чем те сквалыги, что все свои сбережения вкладывали в недвижимое имущество. Отчего же произошло такое различие?

Вот что говорил тогда даже сам дядюшка Жан:

— Плохо дело! Дали маху наши депутаты! В дальнейшем многие честнейшие патриоты потребуют равенства!

Однако выборы произошли; выбрали богатеев, плативших по меньшей мере полтораста ливров прямого налога; теперь деньги решали все; образование, здравый смысл, мужество, честность оставались на задворках, можно было даже обойтись и без них.

Спустя некоторое время, в дни жатвы, Шовель написал нам, что с составлением конституции покончено, что король на днях приехал ее и он с Маргаритой собираются в Ифальцбург — приедут с дилижансом на улицу Петуха и Цанли. И через неделю мы с Жаном Леру ранним утром ждали их во дворе харчевни «Красный бык». И вот в восьмом часу подкатил дилижанс, белый от пыли. Мы обняли Шовеля и Маргариту, — нечего и говорить, сколько было радостных возгласов — это каждый может себе представить! Господи, как повзрослела Маргарита! Из девочки она превратилась в женщину — прелестную брюнетку с живыми глазами, задорным выражением лица. Да, она была истинной дочерью папаши Шовеля! Когда она вынырнула из экипажа с криком: «Мишель!» — я еле осмелился обнять ее своими ручищами — ручищами кузнеца — и поцеловать в обе щеки, так я был смущен, так восхищен. Ну, а Шовель не изменился, будто он при-

ехал из странствий по Эльзасу или Лотарингии, распро-
дав свои брошюры. Он смеялся и все твердил:

— Ну вот, сосед Жан, мы и дома, все налажено! Я доволен тобой, Мишель! Твои письма доставляли мне большое удовольствие.

Господи, какая же была радость снова свидеться с ними! Какое счастье вместе возвращаться в Лачуги, идти корзиной Маргариты и шагать с ней рядом. И вот мы в харчевне «Трех голубей», в большой горнице, и я помогаю Маргарите вынимать подарки, которые она привезла нам из Парижа: тетушке Катрине — большой чепец с кокардой, Николь — стальные спицы в красивом футляре взамен ее старых деревянных; мне — прехорошенькие красные брелоки для часов, сделанные по последней моде, я храню их до сих пор в секретере, как хранят золотые молитвы. Они лежат там в коробочке... Они понетерлись, пожелтели, да и тогда стоили недорого; Маргарита умница и не стала тратить зря: она отлично понимала, что самый пустяк, подаренный ею, для меня — драгоценность. И вот теперь пынцели и вотускиели эти вышедшие из моды брелоки, но только еврач мог бы их у меня отнять; я, старик, защищал бы их с неустовством: ведь это первый подарок Маргариты. Тогда ей было восемнадцать лет, а мне — двадцать один, и мы любили друг друга. Что же еще можно сказать?

Но я должен подробно передать вам речь, произнесенную Шовелем в нашем клубе вечером следующего дня. Шовель очень устал — ведь целых шесть дней он трясся в дилижансе, и дядюшка Жан все его отговаривал:

— Помилуйте, Шовель! Да вы этого не вынесете. Завтра, а то и послезавтра уснете!

Но этот честнейший человек не хотел откладывать, он хотел без промедления дать отчет в том, как выполнил наказ избирателей. В тот вечер собралось много народу из окрестных селений, и вот какую речь он произнес — я сберег ее, понимая, что она стоила ему большого труда и что нам захочется потом перечесть ее:

— Господа! Конституция, которую вы поручили нам учредить, составлена. Король принял ее и клянется ее соблюдать. Она будет отныне руководить нами: это первый закон нашей страны. И сделал все возможное, чтобы конституция была у нас справедливой, всеми силами и поддерживал ваши интересы, и вот теперь я хочу

дать вам отчет в том, за что я голосовал в Национальном собрании, ибо это долг мой: никогда я не забывал, что несу ответственность перед вами за депутатский мандат, который вы мне доверили.

Без сознания своей ответственности нельзя выполнить ни единого благородного начинания. Тот, кто поручает нам вести свои дела, имеет право и спрашивать с нас отчет. И вот я пришел отчитаться перед вами. Если будете довольны — пожалуйте меня своим уважением; если же я обманул вас, то заслужу одно лишь ваше презрение.

Тут многие закричали:

— Да здравствует наш депутат Шовель! Да здравствует наш представитель!

Но он, казалось, был раздосадован. Сжав губы, он протянул руку, как бы говоря: «Хватит! Хватит!» И когда все умолкло, он воскликнул:

— Друзья! Берегитесь таких бездумных порывов энтузиазма — они помешают вам отличить честного человека от мошенника. Пожалуй, так бы вы встретили и любого проходимца, раз вы, не раздумывая, рукоплещете всем?

Но люди не слушали его, рукоплескания стали еще громче. Шовель, перевернув плечами, подождал, пока все не утихнет, и только тогда заговорил вновь:

— Итак, вы довольны — одобрили мое поведение, ничего о нем не узнав. Что же вы скажете потом, если будете недовольны мною?

И он продолжал:

— Когда я расстался с вами, десятого апреля тысяча семьсот восемьдесят девятого года, Франция была разделена на три сословия: дворянство, духовенство и народ, или третье сословие. Первым двум сословиям достались все блага, все привилегии, все почести; вашему же, последнему сословию, во сто крат более многочисленному, чем два других, вместе взятых, — один лишь тревоги и невзгоды.

Каждый из вас помнит о том, что довелось ему выстрадать в те времена, какое несметное множество податей его обременяло, помнит оскорбления, которые приходилось ему терпеть, и лютей голод, терзавший его раз в два-три года. Да сами знаете, какое жалкое существование мы владели, как разорена была наша страна — нечего об этом и говорить.

Так вот, теперь посмотрим, что вместо этого дало Национальное собрание, каких преимуществ мы добились и

какие недостатки, помимо нашей воли, пришлось оставить в конституции.

Невозможно подробно рассказать вам о двух тысячах пятистах законов или декретов, которые мы оставили на голосование за эти два года и четыре месяца. Остановлюсь на главных. Прежде всего — уничтожены сословия. Вот она — первая статья конституции: «Статья первая. Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. Национальное собрание, желая уредить французскую конституцию на основе прав человека, безвозвратно уничтожает установления, которые затрагивают равноправие. Отныне нет больше ни дворянства, ни наследственных различий, ни сословных различий, ни феодального вассалитета, ни феодального суда, ни титулов, ни рыцарских орденов, корпораций и знаков отличия — для которых требовались бы дворянские титулы — и никакого иного превосходства, кроме тех, которые имеют должностные лица, исполняющие свои обязанности. Нет больше ни продажности, ни наследственной преемственности должностей. Нет больше ни цехов, ни корпораций, объединяющих разные профессии, искусства и ремесла.

Закон отныне не призывает больше религиозных обетов и клятв — либо иных обязательств, противных естественному праву. Конституция объявляет, что все граждане имеют доступ ко всем местам и общественным должностям и нет между ними иных различий, чем те, что дарованы добродетелью и талантом, что все налоги будут распределены равномерно между всеми гражданами, соответственно их способностям; что одинаковые преступления будут караться одинаково, невзирая на лица».

За все это я голосовал, ибо, по-моему, равенство и справедливость означают одно и то же. Эта статья первая, и вы видите, что в этом отношении большего и желать нечего.

Статья вторая — это свобода. Все права тесно связаны между собою, они зависят друг на друге, и если бы граждане не имели свободы говорить, писать, печатать и распространять свои идеи, то для чего же им были бы права, раз они не могли бы жаловаться, требовать и заставлять нарушителя этих прав уважать их в силу справедливости требований, обсужденных всепародно, даже заставлять его искупать свою вину. Все законы стали бы мертвой буквой; сильный по-прежнему оставался бы

всегда правым; затыкая вам рот, он мог бы обокрасть вас и даже удавить безнаказанно где-нибудь в закоулке. Поэтому конституция обеспечивает каждому и человеческие права, и гражданские — свободу говорить, писать, печатать и распространять свои мысли любыми способами.

Затем следуют остальные свободы — передвигаться, приходить, оставаться, уезжать, причем арестовать, обвинить, задержать вас могут только в случае, предусмотренном законом и в законном порядке; затем — свобода вероисповедания; свобода обращения к установленным властям с частными прошениями; свобода собраний для обсуждения насущных дел народа; и, наконец, свобода делать все то, что не может повредить праву другого человека и общественной безопасности.

За все это я голосовал без всяких исключений, ибо если равенство — это сама справедливость, то свобода — это обеспечение справедливости. Одно без другого не существует.

Статья третья — это братство. Конституция объявляет, что будет создано и организовано всенародное учреждение общественной помощи, как для облегчения участи немощных бедняков, так и для трудоспособных бедняков, не имеющих работы. Это уже не имеет ничего общего с милостыней благотворителей, позорищей человека: человек теряет достоинство, милостыня унижает его, принуждая гнуть спину перед ему подобными. Она порождает рабство. Конституция больше этого не допустит, ибо это вредит величию народа. Поэтому она объявляет, что благотворительность — не только личная добродетель, а общественный долг.

Но с точки зрения милосердия или, лучше сказать, сплоченности людей, объединенных в общество, есть еще более великое благо, чем все остальные: общественное просвещение; ибо, как глаголет Иисус Христос, — «не единым хлебом жив человек, но и духом своим». Конституция, принимая эти прекрасные слова, объявляет, что создается общественное просвещение для всех граждан — бесплатное для обязательного всеобщего обучения, как-то: чтение, письмо, счет; причем учебные заведения будут распределяться согласно государственному делению.

Таким образом, господа, вы видите, что первая часть конституции выражается в трех словах: Равенство, Свобо-

да, Братство. Это права личные. Остается добавить имущественные права народа.

Вы не забыли, что до 89-го года существовали сословия, а также различные имущественные состояния, владения всех видов: удельные имения, пэрства, большие лены, простые лены, лены, зависящие от других ленов, нан общинные угодья, отданные в пользование духовным лицам или заведениям, цензивы и тому подобное. Чем ты был беднее и униженнее, тем сильнее обременяли подати твой клочок земли; чем ты был могущественнее, тем меньше были твои земли отягчены налогами. Конституция упразднила все эти сословные различия. Налоги будут распределяться равномерно, и право собственности будет неприкосновенно для всех на едином законном основании.

Кроме того, конституция передает народу, а уже не королю, все владения и суммы, прежде предназначавшиеся для нужд общественных, например, на возведение крепостей, на устройство улиц, мест народных гуляний, памятников. Она отдает в распоряжение народа, для продажи и уплаты налогов, владения, которые содержались на общие средства, а именно: приорства, аббатства, монастыри и всевозможные имения, к ним относящиеся. Итак, теперь все в порядке; один из наших последних декретов гласит, что будет составлен свод гражданских законов, дабы упорядочить доходы людей и владения во всем королевстве. Этот гражданский свод законов дополнит наши установления и сотрет последние следы римского права и обычного права, которые еще так отличны друг от друга в каждой провинции и нарушают общий порядок.

Иначе я не буду вам говорить о нашем общественном праве: о новом делении королевства; о введении собраний выборщиков и избирательных собраниях, о собрании представителей в Законодательное собрание, о королевской власти, о регентстве и о министрах, о взаимоотношениях Законодательного собрания с королем, об обязанностях исполнительной власти, о сношениях Франции с иностранными державами: все это четко и подробно определено в конституции. Но нас, простых людей, особенно близко касается один вопрос — он имеет для нас значение не раз в два года, а ежегодно, всю нашу жизнь — это денежный вопрос! Поэтому, пока длились заседания Национального собрания, я все время с тревогой выяснял, как обстоят дела с вашими и моими деньгами, чтобы узнать,

что же с ними произойдет, кто может их потребовать, захватить, присвоить и как их будут расходовать. Я бывал во всех комиссиях, проверял эту статью и знал, что вы будете этим довольны, потому что ни у кого нет желания работать на туеядцев и никто не хочет, чтобы блюдопизы проедали то, что заработано другими, — это и возмутительно и несправедливо.

Тут уж, несмотря на наставления Шовеля, старая рыночная площадь дрогнула от рукоплесканий, и сам он несколько улыбулся — ведь он задел за самую чувствительную струнку крестьянской души.

Дядюшка Жан говорил, смеясь и сияя от радости:

— Ах, как он прав! И до чего здорово нас знает.

Наконец шум стих, и Шовель продолжал:

— В прежние времена вся наша страна была подвластна королю, нашему сенатору и верховному властителю, безответственному главе государства. Наши земли и мы сами принадлежали ему. Когда он спрашивал деньги, провинциальные собрания хотя иной раз и с неудовольствием, но все же голосовали за требуемую сумму, а начальники провинций и сборщики производили раскладку; приходские советы вместе с господами судьями оценивали стоимость каждого участка, принадлежавшего простолюдину, и многострадальный народ платил. Его величество отчета нам не давало. И вот конституция ныне постановила, что Законодательное собрание будет ежегодно обсуждать и назначать общественные налоги и изменять их будет запрещено до последнего дня следующей сессии. Итак, вы видите, что отныне вы будете сами назначать налоги, которые пожелаете унаследовать, поскольку будете назначать своих представителей, которым поручите одобрить их. Если вы пошлете крестьян, то они, разумеется, не так-то легко согласятся на налоги в пользу царедворцев, а других пошлете — дело ваше. Порядочные люди есть во всех условиях, но надо их хорошенько узнать, а потом уж и посылать.

Законодательный корпус должен обновляться каждые два года, поэтому налоги не могут оставаться в действии после этого срока, если они вновь не были приняты голосованием, и никто не имеет права требовать с вас ни единого лиарда. Вот в чем сила нашей конституции; стоит Законодательному корпусу отказаться утвердить налоги, все приостанавливается, король вынужден уступить.

Кроме того, чтобы все вы, налогоплательщики, могли убедиться, верны ли вам депутаты, не готовы ли они поступиться вашими деньгами — будут опубликованы подробные отчеты расходов в начале деятельности каждого нового состава Законодательного собрания. Будут печататься также поступления различных налогов и всех общественных доходов. Таким образом, гражданину, который рачительно относится к своим делам, придется лишь раз в год прочесть газету, чтобы узнать, хорошо ли его депутат защищает интересы налогоплательщиков, не голосует ли, закрыв на все глаза, или недостаточно об этом печется. И если гражданин не дурак, то поймет, что надо делать.

Я считаю, что лучшего контроля нельзя было и придумать. Сами увидите, удовлетворяют ли вас расходы, ибо конституция гласит, что ни под каким видом нельзя отклонять или приостанавливать выдачу денег, необходимых для оплаты национального долга. Справедливейшее дело — оплачивать национальный долг, и я голосовал за это. Такой великой стране, как Франция, не подобает стать несостоятельной должницей, и тем, кто дает ей в долг деньги, должно знать, что нет на свете надежнее помещения средств, каждый из нас отвечает за это своим последним шардом, и, разумеется, мы были бы возмущены, если бы наши представители вознамерились сделать нас банкротами.

А что до гражданского листа, то разве расходы по нему важнее всех других расходов государства? Да разве нашим судьям, магистратуре, чиновникам, солдатам не должно так же твердо рассчитывать на оплату, как и королю? Почему король должен получать жалование прежде тех, кто составляет оплот нации? Смысла я тут не вижу. Я голосовал против и считаю это изъяном в нашей конституции. Но не стоит останавливаться на нем, ибо это изъян незначительный. И, кроме того, конституция сохраняет за Законодательным собранием право определять к концу правления каждого монарха общую сумму гражданского листа для правления следующего. Это — средство действительное, и наши представители, без сомнения, воспользуются им, и тогда при дворе выйдет из моды старый обычай содержать целую толпу лакеев, слуг и низкокочетников и все поймут, как прискорбно ввергать в нищету труженника,

чтобы власть жили спесивые бездельники, способные лишь позорить род человеческий.

Да, все это придет, когда воцарятся здравый смысл и справедливость, а пока народу, пережившему столько невзгод, сетовать, право, нечего. Нет числа нашим победам. Мы завладели тем, о чем наши предки, простирая руки, молили небо в течение веков. У нас есть незабываемые права и оружие для их защиты, мы больше не жалкие, униженные рабы — мы стали людьми.

И ныне, когда мы одержали верх, несмотря на вопли, проклятия и клевету подлого отребья, живящего за наш счет, несмотря на козни и старания натравить нас друг на друга, ныне, когда эти предатели тысячами бегут отсюда и хотят восстановить против нас Германию, Англию, Россию, меж тем, как другие, оставшиеся во Франции, обманно прикрываясь законами и религией, проповедующей милосердие и братство, восстанавливают против конституции цезарезастенное население на юге и западе страны, ныне, когда эти «истинные» французы готовят междоусобную войну и вторжение врага, стремись во что бы то ни стало вернуть свои привилегии, я заклинаю вас, друзья, держаться сплоченно. Отбросим распри, и пусть никогда не встает между нами вопрос об активных и пассивных гражданах — это единственный нигде не годный закон, который нашим врагам удалось провести в Национальном собрании, единственный крупный недостаток в нашей конституции. Но он исчезнет: буржуа скоро поймут, что в одиночку их раздавят церковнослужители и аристократы и чтобы собрать и, главное, сохранить плоды общей победы, им совершенно необходимо соединиться с народом и своими руками уничтожить несправедливые деления между гражданами активными и гражданами пассивными.

И еще — последнее слово.

Мы выиграли, постараемся же сохранить наш выигрыш, а для этого, господа, пусть каждый твердо помнит, что он — хозяин, занимает ли, хозяин, что все должностные лица от первого до последнего, от короля до сельского стражника, поставлены не для своего личного блага или блага династии, а для нашего, ради нас — тех, кто призвал их и кто работает, чтобы их оплачивать. *Тот, кому я плачу — мой слуга.* Вот, что нужно хорошенько

понять, это нужно внушить и нашим детям, это создает силу и величие страны нашей. И вот еще что помните: один за всех, все за одного. Так не дадим же никому во веки нарушить права ни одного нашего согражданина. А если он будет кричать, взывать о помощи, мы бросимся на его защиту, как бросаешься на пожар. Если же чиновник из аристократов вознамерится ущемить нас в правах, восстанем, кликнем клич, призовем на помощь всех сограждан.

Объявляю открыто: тот, кто самовольно нарушит закон, — негодяй и заслуживает презрения и крепостного рабства, а тот, кто не приходит на помощь гражданину, терпящему угнетение, — предатель народа. Довольно мы пострадали от несправедливости и произвола в продолжении веков, пора нам утвердить крепкую веру друг в друга, принять конституцию, как наш оплот, и каждого, кто нарушает ее, считать нашим злейшим врагом. Таким вот образом мы и обречем счастье. И пускай хоть вся Европа ринется на нас, стремясь нас уничтожить, мы будем хладнокровно смотреть в лицо врагу: великий народ, защищающий свои права, основанные на справедливости и здравом смысле, непобедим; он может бросить вызов вселенной.

Представьте же себе, какой энтузиазм охватил патриотов после речи Шовеля, о которой сохранили воспоминание все старики и наших краях. Председатель клуба Рафаэль при всех выразил ему благодарность, и Шовель под общие клики одобрения выбрали членом клуба. Мы отирались в Лачуги в десятом часу, когда в обеих казармах прозвучал сигнал к тушению огня.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В октябре 1791 года, когда начало свою деятельность Законодательное собрание, Шовель проявил себя человеком предприимчивым. Недели за три он продал домик в Лачугах верзиле Летюмье, который выдал дочку Кристину за одного парня из Миттельброна. Шовель снял первый этаж в доме старика Арона Баруха, против

рынка в Пфальцбурге, заставлял помещенье полками для газет, книг и брошюр — получают их огромными кипами, а Маргарита разбирала и в безукоризненном порядке их раскладывала. Книгогоши, Тубак и Марк Дивес, обходили Эльзас и Лотарингию с тюками за спиной; словом, дело шло — в наших краях никто отродясь еще не видывал такой оживленной торговли.

С легкой руки Шовеля возникла мода на трехцветные косынки, на которых оттиснены были права человека и гражданина. Все патриотки их носили. Тогда те, бывшие, тоже завели косынки, только с изречениями из Апокалипсиса и такой надписью по краю: «Если покупатели будут недовольны, им вернут деньги, когда народ выкупит ассирийцы».

Чего только не продавал Шовель! Были тут и книжницы для святош, были и политические катехизисы, и эмигрантские газеты, и вбѣра «Друга народа» *, «чертовски патристические» письма отца Дюшена, а когда однажды дядюшка Жан позволил себе заметить, что он, мол, поступает неправильно, Шовель насмешливо ответил:

— Да полно, сосед Жан! Наши принцы, сеньоры да епископы, аббаты и все ханжи оказывают нам значную услугу своими книжочками: они проевенчают народ и возвышают наше дело лучше нас самих.

В то же время, чтобы патриоты могли позлакомиться с последними новостями, плати подешевле, он устроил по соседству с лавочкой, на улице Алое Сердце, нечто вроде школы: в помещении стояли большой стол и скамейки. Стол был завален газетами, полученными утром, — входи любой, садись за стол и читай в свое удовольствие что хочешь за одно су.

Отлично придумано! С давних пор так велось в Париже, и только Шовель, человек здравого ума, мог извлечь из этого пользу для нашего городка и окрестностей.

Все это не мешало Шовелю неустойчиво заниматься делами нашего клуба, так как его выбрали председателем вместо Рафаэля Манка, и три раза в неделю, в восьмом часу, рынок наполнялся народом.

Появлялся Шовель; он поднимался на возвышение, садился в кресло, клал справа табакерку и посевой платок и, захватив изрядную поюшку табаку, восклицал:

— Господа, заседание открыто!

Затем он развертывал «Монитор» * и принимался читать вслух речи членов Законодательного собрания, а иногда — якобинцев и «Журналь де Деба» *. Он объяснял то, что большинству было непонятно, а покончив с новостями, говорил:

— Вот, госнода, каковы дела. Не хочет ли кто свое мнение высказать?

И то у одного, то у другого находилось, чем поделиться. Людей выслушивали... людям отвечали. Сюда приходили не только ремесленники, буржуа и городекой служилый люд — являлся и полковник Базлер, присланный Национальным собранием взамен сериканта Равета, который недостаточно был сведущ в больших маневрах. Каждый держал речь, и так все шло, пока не было десять часов вечера. В мэрии звонили к тушению огня, и Шовель подшмалялся, восклицая с довольным видом:

— Ну, друзья, с общественными делами покончено! До встречи в следующей понедельник, среду или в субботу!

Обо всем этом я рассказываю для вашего сведения; по-вы-то, конечно, понимаете, что меня занимали совсем иные помыслы. В ту пору я ухаживал за Маргаритой, являлся к ней по воскресеньям в треуголке, в сапогах, до блеска начищенных янчим белком, с крупными алыми брелоками, подаренными Маргаритой и картинно висевшими у меня на груди. Да, теперь я уже был не тот простачок, Мишель Бастьен, который воображал, что он — чистюля, раз бреется дважды в месяц.

Со дня приезда Маргариты я понял, что так больше вести себя нельзя, что немало парней тоже находят ее прехорошенькой и заглядываются на ее большие карие глаза, чудесные черные волосы, и многие, как и я, вероятно, думают, что она отличается умом и благоразумием. Да! Многие были такого же мнения, и не только ремесленники и крестьяне, но и цеголи, молодые офицеры из Оверни, бывшие госнода в пудренных париках: они наполняли лавку благоуханием, покупали газеты, смеялись, любезничали, добываясь от нее улыбки. Все это я быстро заметил. И уж как я намывался, как брился! Господи! Надо было видеть меня в воскресное утро! Стою перед зеркальцем, подвешенным к слуховому окошку, собираюсь бриться во второй или третий раз подряд. Щеки у меня блестят, как новенький тонор, но, по-моему, я еще

недостаточно хорош собой; раз десять провожу рукой по подбородку — не осталось ни волоска. В десятом часу, когда мать, увязая в снегу, шла в Генридорф прослушать мессу священника, не присягнувшего конституции, старенький мой отец неслышно поднимался по лестнице и, глядя за перегородку, негромко говорил:

— Мишель, она ушла. Хочешь заплету косу?

Он всегда заплетал мне косу, черную косу, толщиной в кулак — в будни приходилось засовывать ее под рубашку: уж очеьь она была меня по плечам, мешала во время работы. Добрейший мой батюшка плел ее не спеша, старательно. Как сейчас, вижу эту сцену: я сижу верхом на стуле, а добряк отец со счастливой улыбкой причесывает меня. Он гордился моими плечами и станом и все твердил:

— Право же во всем крае такого силача не сыщешь — говорю так не только потому, что я отец твой.

Я умилялся, готов был поведать ему о своей любви, но не смел; слишком я почитал отца. Впрочем, я был уверен, что он и так хорошо знает о моей любви к Маргарите. Да и мать подозревала; она готовилась к битве. Отец и я, ничего не говоря друг другу, готовились тоже. Вой предстоит жестокий, но мы надеялись взять верх.

Словом, в каморке на чердаке, под соломенной крышей мы мечтали о прекрасном будущем. И вот я тщательно выбрит, принаряжен, и батюшка, пройдясь еще разок щеткой по моему платью, говорит:

— Хорошо!.. Теперь можешь отправиться! Повеселись вволю, сынок!

Сам-то он не часто развлекался за всю свою долгую трудовую жизнь, и не часто выпадали для него счастливые минуты; теперь же, когда мать уходила из хижины, устремляясь куда-то, чтобы послушать мессу священника, надругавшегося над законами своей страны, бедняге самому приходилось чистить картошку и готовить обед. Вот что значит быть чересчур уж добрым.

Облив его, я в отличном расположении духа спекался в путь. Батюшка с улыбкой смотрел мне вслед, стоя в дверях, а все старухи, оставшиеся в Лачугах, провожали меня взглядом, уткнувшись в заиженные окольца. Наскоро пообедав в харчевне «Трех голубей», я бежал задом через садик, боясь задержаться: часто в дни первых заморозков возчики, останавливаясь проездом, про-

силы подковать лошадей; тут уж, разумеется, пришлось бы спать парадное платье и приняться за работу.

Проходит четверть часа — и уже я в городе, в переулке, где живет аптекарь Триболен — он умер лет шестьдесят тому назад. Он кивает мне, желая доброго дня, но я на него и не смотрю... я уже издали вижу лавку Шовели со сводчатой дверью, невысокой тесовой крышей и столками брошюр, выставленными на подоконниках. Люди входят и выходят с газетами: патриоты, военные, «бывшие». И вот я у дверей. Маргарита в белом чепчике стоит за конторкой в горнице — она оживленная, все время в движении. Она разговаривает с вами, подает вам книгу, какую попросите: «Вот, сударь. «Революции Парижа»*, стоит шесть двардов. Сударю угодно «Газету двора и города»? * Последние номера кончились».

Продажа в самом разгаре; но вот Маргарита видит меня, и как же она сразу меняется — кричит, радостно улыбаясь:

— Ступай в библиотеку, Мишель, батюшка там. Я сейчас приду.

Мимоходом я пожимаю ее руку. Она смеется.

— Ступай, ступай туда, болтать некогда.

И я вхожу в библиотеку, где за бюро сидит папаша Шовель и что-то пишет. Он оборачивается ко мне:

— А, это ты, Мишель! Хорошо. Сядись... Дай только мне докончить три-четыре строчки.

И, продолжая писать, он осведомляется, как дела у крепостного Яна, тетушки Катрины, о кузнице — обо всем подробно. Три-четыре строчки затягиваются. В конце концов я встаю со словами:

— Пойду почитаю новости.

— Да, ступай, ступай... А мне надо счет проверить.

Я направлюсь налево в большую горницу, где патриоты читают утренние газеты. За столом сидят, склонившись с серьезным видом, дядя Тевено, член генерального совета общины, толстяк Дидье Горцу, ильичник с Оружейной площади, место которого позже занял Брюссус, молодой врач Штейнбриннер, который был у нас мэром целых двадцать лет, трактирщик Роттенбург, ковровщик-коротышка Лафрение и главный аптекарь военного лазарета Даурео; кое-кто пишет письма, а я прикидываюсь, будто читаю, а сам поглядываю сквозь застекленную дверь на Маргариту — она сидит по лавке, то же

поглядывает в мою сторону через небольшие стекла и улыбается. Иногда она вихрем вбегает в комнату, сует мне в руки газету и шенчет па ухо:

— Прочти, Мишель, тебе поправится!

Я проводил здесь целые часы и затруднился бы сказать, что я прочел. Я набирался счастья на всю неделю, глядя на Маргариту, и не променял бы эту жизнь на бесчисленное множество иных.

Папана Шовель, видя, как я тщательно выбрит, как тщательно заплетена у меня коса, что одет я, как говорится, с иголочки, лукаво посмеивался и называл меня щеголем. И щеки у меня пылали. Он частенько протягивал мне свою табакерку:

— Возьми же попоношку, гражданин Мишель!

Но стоит ли ни с того ни с сего марать себе нос — что еще, пожалуй, подумает Маргарита! И я отвечал папане Шовелю, что от табака у меня голова болит, а он хохотал, называл меня аристократом, которому не угодно пачкать жабо. Папана Шовель, большой насмешник, в глубине души любил меня и хорошо понимал, что не ради него одного я торчу тут по воскресеньям с часу до шестисемьи часов вечера, делая вид, будто читаю и занимаюсь молитвой. Уж очень он был наблюдателен, все подмечал и позволял мне улыбаться Маргарите лишь потому, что считал меня честным малым, иначе, резуместся, выгнал бы меня воп, без стеснения. Он бывал мне рад, одобрял мои взгляды, только всякий раз, при случае, всегда советовал мне читать хорошие книги. Он давал мне на прочтение, из своей библиотеки, все, что я хотел, а собирал он только серьезные книги.

Домик свой он продал, и ходить туда я уже не мог, поэтому читал по вечерам у себя в камерке на чердаке, и расходы на ламповое масло бесили мать. Из-за этого у нас дома шли споры. Если б я каждый раз предусмотрительно не закидал книги в сундук перед уходом, она бы, пожалуй, сожгла их: уже годами капуцины проповедовали, что книги — пагуба для души, что они как древо познания добра и зла, с которого змей сорвал яблоко Адама, чтобы нас изгнали из рая, — словом, несли всякую чушь. Больше всего они ратовали против Библии и Евангелия, потому что народ благодаря этим книгам понял, что негодян действовали наперекор заповедям Спасителя. Поэтому можно себе представить, в каком глубоком пеле-

жестве коснел народ до 89-го года. Шовель приглашал в клуб людей, стремясь к их просвещению, и он был прав: если лихорадка — страшнейшая язва, то слепота невежества — еще страшнее.

А ведь, пожалуй, наш край — Эльзас и Лотарингия — был самым отсталым во Франции; помните, как негодовал весь клуб, когда Шовель прочел нам донесение Жансонне *, гражданского комиссара, посланного в департаменты Вандей и Два Севра, — он подал его в Законодательное собрание по поводу религиозных волнений. В тот день мы поняли, что там невежество беспробуднее нашего и чревато весьма большой опасностью для народа.

В донесении было сказано, что крестьяне преследуют священников, пришедших присягу конституции, осыпают их палочными ударами среди бела дня, а по ночам стреляют в них из ружья, что неприсягнувшие священники продолжают делать свое дело: служат мессы, неведуют людей и освящают воду у себя на дому, что дороги там так шлохи, а несчастные крестьяне, воспитанные в преклонении перед образами святых, так невежественны, что обратить их к новому символу веры — к правам человека, весьма трудно, просто невозможно, тем более что в письме главного vicария Борегара, которое передавалось из прихода в приход, священникам Вандей запрещалось служить мессы в церквях из опасения, что присягнувшие священники окажут пагубное влияние на верующих, а повелевалось собирать прихожан в местах уединенных, где-нибудь под скалою или в овинах, обзавестись простым переносным алтарем и ризой из ситца или какой-нибудь грубой ткани, оловянной церковной утварью и так далее, утверждалось, что такое небогатое убранство при богослужении произведет большее впечатление на простой народ, чем золотые сосуды, напоминая ему гонения, которым подвергалась первая христианская церковь, когда было столько мучеников.

Да, тут-то мы и поняли, как все это было опасно. В тот же день Шовель, прочтя донесение, так нам все объяснил: неприсягнувшие священники, должно быть, поджигали приказ разжечь во Франции междоусобную войну, а тем временем эмигранты по главе с немцами попытаются к нам пагрянуть. Он сказал, что наверняка таков план наших врагов и, если мы хотим дать им отпор, нам нужно держаться еще сплоченнее.

Всегда с удовольствием я вспоминаю другое — приятное событие, свершившееся у нас в 1792 году, — свадьбу Кристины Летюме и Клода Бонома, сына Миттельбропского конесника — первую конституционную свадьбу в Лачугах. Летюме, ставший за богача с той поры, как он так удачно купил национализированные поместья, пригласил на свадьбу свою большую родню из Мессена. Явились на приглашение только его свояк Морле Брюпе, председатель Курсельского клуба, да двоюродная сестра, Сюзанна Шассен, дочка курсельского оружейника.

Бедняжка Кристина не таила на меня зла за то, что я любил другую, и выбрала меня кавалером Маргариты. Славная девушка! Даже хотелось полюбить ее за это! Когда она взяла меня под руку и сказала:

— Вот ваша дама! — глаза у меня наполнились слезами. Я с удивлением посмотрел на нее, она же улыбнулась чуть печальной улыбкой и спросила: — Вы довольны, Мишель?

— Да, да, очень доволен, — ответил я. — Будьте и вы счастливы, Кристина. Желаю вам всех земных благ.

На свадьбе были Шовель, крестный Жан в мундире лейтенанта национальной гвардии, Кошар, Гюре, наш бывший председатель Рафаэль Манк и многие другие. Патриоты явились в мэрню; а когда Жозеф Буало, подпоясанный трехцветным шарфом, с важным видом произнес слова конституции: «Закон соединяет вас!» — от возгласов: «Да здравствует нация!» — задрожали стекла в окнах высокого зала и крики донеслись до Оружейной площади. Да, это уже была не простая запись на дому у священника, на листках, которые частенько терялись, так что ты не знал дня своего рождения или женитьбы. Многие попадали в такое положение, и, когда пришлось приводить в порядок старые приходские бумаги, чтобы вписать имена в книгу гражданского состояния, общинному секретарю Фрейлиху пришлось потрудиться немало.

Небывалая церемония всем понравилась. Затем Жан Ра, надев треуголку, украшенную трехцветными лентами, проводил нас до Лачуг, играя на кларнете.

Мы очутились в открытом поле и, несмотря на мороз, смеялись и бежали, чтобы согреться. Маргарита шла мелкими шажками под руку со мной. Кристина шагала впереди с Клодом Бономом и, видимо, совсем утешилась;

старикки замыкали шествие, толкая о чем-то и потораниваясь. Даже Шовель был прересел, а веранла Летюме, придерживая рукой шляпу, чтобы ее не сдуло ветром, кричал:

— Запомним мы третье января тысяча семьсот девяносто второго года и что жарко не было.

Говори по правде, до слезы прошиб нас мороз, пока мы добирались до харчевни «Трех голубей». И до чего же приятно было войти в обширную, хорошо натопленную горницу, где уже нас ждал накрытый стол: праздновали свадьбу в «Трех голубях», ведь тетушка Летюме готовила дома только по воскресеньям, и то — суп. Да как опипень огромнейшие блюда с сосисками и канустой, отменные окорока, буфет, уставленный сладкими пирогами, фруктами, бутылками, и умиленье тетушки Летюме, и завидный аппетит гостей, и речь Шовеля о новых патристических церемониях, которые заменят в скором времени все дикие галльские обычаи; и застольные разговоры, тосты за здоровье молодой, взрывы хохота, грубоватые шутки стариков, которые чинно пропускала мимо ушей молодежь. Счастливая пора! И все проходит, все минует!

Да о чем мне думать — ведь со мной рядом сидит Маргарита; беленький чепчик у нее завязан под розовым подбородком, сбоку — маленькая кокарда, мы смеемся, болтаем; я заглядываю в ее карие очи и спрашиваю:

— Хочешь этого, Маргарита? А вот этого? Еще немного вина? Еще кусочек сладкого пирога?

Какое счастье говорить с ней без стеснения, оказывать ей услуги, называть своей дамой, видеть, что она смотрит на меня ласково и обращает внимание только на меня. Да обо всем этом не расскажешь!

А когда к вечеру дом наполнился парнями и девушками, которые пришли потанцевать, — ведь в мое время без танцев не обходилась ни одна свадьба, — до чего было приятно услышать, как кларнет Жана Ра выводит вальс Эстергази-Гузара в большой горнице, что выходит в сад, взять Маргариту за руку и сказать ей:

— Пойдем, Маргарита, слышишь — это кларнет Жана Ра.

Маргарита изумилась, спросила:

— Куда мы идем, Мишель?

— Да танцевать!

— А ведь я танцевать не умею!

— Пустилки, пустилки! Все девушки умеют танцевать! Многие уже с увлечением танцевали, вот и я сейчас закружу Маргариту в вихре танца, и сердце мое прыгает от радости. Но представьте же себе мое удивление: она и вправду не умела танцевать — совсем не умела. Пожми ее плечики, я просто не мог этому поверить.

— Ну попробуем еще разок, — говорил я, — побольше смелости, ну посмотри же, ведь это совсем нетрудно!

Я в уголке показывал ей па. Мы слова пробовали, но у нее ничего не получалось! Вот ведь беда! Я был разочарован. В конце концов нас окружали, все смеялись, и Маргарите это надоело. Она вдруг сказала с легкой досадой:

— Не получается у меня... и все тут. Сам видишь, не получается. Да ты танцуй, а я буду помогать тетушке Катрине.

И хотя я огорчился, она все же ушла. Хорошенькие девушки поглядывали на меня, словно говоря: «А мы-то умеем танцевать, Мишель! Пойдем!»

Но я, я предпочел бы шею себе сломать, чем пойти танцевать с другой. И я тоже вышел в сени. Маргарита уже была в кухне, где женщины — тетушка Летюрье, Николь, тетушка Катрина, родственница Летюрье Сюзанна Шассен вне себя от негодования кричали:

— Вот безобразие... Неть такие песни — песни против королевы! У мужчин нет здравого смысла... и даже наилучшие ничего не стоят!..

И так далее. А меж тем в большой соседней горнице патриоты хохотали прямо как безумные, притопывали и пели песенку о «Мадам Вето»*. Занесвал свояк Морис, остальные подхватывали припев.

Разумеется, я пошел взглянуть, что же там происходит. И, открыв дверь, увидел презабавное зрелище: свояк Морис в небесно-голубом фраке с широкими отворотами и при двух часах с брезонками, свисающими на желтые панталоны, в рубашке с жабо и большим трехцветным галстуком, в огромной треугольной шляпе, заломленной набок, отплясывал какой-то дьявольский танец — то выбрасывал ногу кверху, то прижимал колено к подбородку, покачивался, подпрыгивал, вертелся, изгибался всем телом, да так, что и представить себе невозможно, и еще при этом пел «Мадам Вето» — непристойную песню про королеву, остальные патриоты сидели за столом с красными

носами, выкатив глаза от удовольствия, и иногда, изнемогая от хохота, откидывались на спинки стульев, свесив руки, разевая рот до ушей; стены дрожали, а Морис все отплясывал, склонив голову, выделывая колена и пел:

Мадам Вето и то и се,
Мадам Вето и се и то!

Велась песня еще со времени истории с ожерельем кардинала, и в ней были дюжины куплетов, одни хлеще других; мне стало даже как-то неловко. Но патриоты, собравшиеся здесь, так долго бедствовали из-за мотовства двора, что теперь веселились вволю, и все им было ничем.

Даже сам верзидка Летюрье в конце концов до того был захвачен этим бешеным танцем, что пустился в пляс вслед за кузеном, пошел плясать и дядюшка Жан, а потом и бывший председатель клуба, Рафаэль.

Однако ж как все меняется в этом мире! В харчевне «Трех голубей», куда прежде являлись потанцевать с дамами-горюхаками офицеры Руэргского, Шенауского и Лаферского полков, вся бывшая знать — графы, герцоги, маркизы — и танцевали степенно, важно, склоняясь и сметаясь, словно цветочные гирлянды, под звуки скрипок, где они пили вино, охлажденное в ручье, и лакомилась широкими, которые приносил в корзинах на согбенной спине какой-нибудь старый служака, ныне в этой харчевне отплясывали новый танец — танец патриотов. Да у знатных господ глаза бы на лоб полезли, если б они увидели, как люди отплясывают новый танец — прыгают и беснуются, словно одержимые пляской св. Витта, как падевают лад всеми старинными менуэтами, если б услышали эту немолчпую песню:

Мадам Вето и то и се,
Мадам Вето и се и то!

Нет, таких выходов у нас еще не видывали. И женщины, возмущавшиеся за стеной, пожалуй, были правы, но это не мешало патриотам хохотать.

Шовель не танцевал. Он сидел в конце стола, смотрел, подмигивал, наблюдая от веселого возбуждения... Он выбивал такт рукояткой ножа и время от времени насмешливо выкрикивал:

— Ну, смелей, Летюмье!.. Вот-вот, попал в точку. Эй, сосед Жап, вперед! Вот так, здорово! Да вы делаете успехи, господин председатель Рафаэль!

Вот тут и проявился насмешливый его ум. Именно такой Шовель и писал нам, что он должен был бы явиться на свет в Париже.

Ну, а теперь, коли вам угодно знать, что это были за тапец и песня, впервые занесенные к нам свояком Летюмье, Морисом Брюно, то скажу вам, что это и была знаменитая «Карманьола»*, о которой с тех пор, должно быть, все слышали, — позике парижане танцевали этот тапец на площади Революции и даже шли на неприятельские пушки.

Стапцуюем «Карманьолу»,
Пушки гремят, пусть же гремят!
Стапцуюем «Карманьолу»,
Пусть же гремят — виват!

В этой песне — вся революция: новый куплет добавлялся каждый раз, когда что-нибудь происходило. Старые куплеты забывались, а над новыми все хохотали.

Возвращаюсь к тому дню. Был уже одиннадцатый час, когда Шовель воскликнул, увидев, что все выбились из сил и снова уселись подкрепиться теплым вином:

— Граждане, вы досыта наплясались, и мы все вволю повеселились. Пора на покой, надо с утра приняться за дело.

— Вот те на! — возразил дядюшка Жап. — Есть время до полупочи.

— Нет, довольно! — произнес Шовель, поднимаясь и снимая с крючка свой каррик. Патриоты-горожане последовали его примеру.

— Да выйдите еще по стакачку теплого вина! — потчевал дядюшка Жап.

— Нет, благодарю: всему есть предел, — ответил Шовель, уже на прощанье пожимая руку Летюмье. — Пора! Спокойной ночи, гражданин Морис!

Я закутал Маргариту в плащ с капюшоном, говоря:

— Закрывайся хорошенько, мороз лютый!

Она была задумчива, зато напана Шовель был очень весел, он кричал из сеней:

— В путь, Маргарита, в путь!

Мне, понятно, не хотелось так рано с ней расставаться. Она взяла меня под руку. Я нахлобучил на уши свою

большую шапку из выдры, и, выйдя из дома, мы пошли впереди всех, поднимаясь по тропинке, запыленной снегом. Выдалась одна из тех прекрасных январских ночей, когда белеет и голубеет гряда холмов, теряясь вдаль, и то здесь, то там ты видишь невысокие сельские колокольни, крыши старых ферм, длинные ряды тополей, посеребренные инеем. Стоят самые холодные ночи в году, и обледенелый снег под ногами звенит, как стекло.

А как прекрасны небо и звезды, что искрятся то голубым, то красным, и еще тысячи других светил, совсем белых, которые обнаруживаешь, взглядываясь и вышину, они как пылинки, и душа твоя воспаряет, и ты как-то смягчаешься перед безграничным величием вселенной с ее бесчисленными мирами. А когда вдобавок к этому на твоей руке покоится теплая ручка любимой девушки и ты чувствуешь, как ее сердце бьется рядом с твоим, когда восхищение и любовь охватывают нас обоих, что вам тогда до стужи? Да о ней и не думаешь — ты слишком счастлив, ты готов спеть хвалебный гимн, как пели в античные времена. Да ведь такая чудесная зимняя ночь — это собор, храм божий!

Позади шагали, разговаривая, Шовель, Рафаэль, Коллеи и все остальные патриоты — жители города. И вдруг, приближаясь к спуску, я, как-то помимо воли, зазел старинную песню крестьянина, занавшую мне в душу с детства; мой голос звучно раздавался в глубокой зимней тишине. Я был в самозабвении — то была любовь. Еще нежнее прильнула к моей руке ручка Маргариты, тихонько повторявшей:

— О, какой у тебя красивый и сильный голос, Мишель! Как ты хорошо поешь!

Все, кто шли позади, примолкли — все слушали. Когда мы уже подошли к откосу, Маргарита промолвила:

— Надо их подождать.

И мы повернули обратно. Поравнявшись со мной, нашаша Шовель сказал:

— А я-то и не знал, что ты так хорошо поешь, Мишель: прежде не слышал. У тебя отцовский голос, но сильнее, мужественнее — поистине голос крестьянина. Когда сложат песню о «Правах человека», в нашем клубе споешь ее ты.

— А вот бы мне очень хотелось, чтобы он спел «Карманьолю», — сказал председатель Рафаэль.

— Ну, нет, — ответил Шовель серьезным тоном, — «Нарманьола» — это шутка! Ее хорошо послушать, по-смеяться, осушив бутылку вина, в кругу патриотов. Но нам нужно другое... нечто величественное и могучее, как сам народ.

Тут все пожелали мне доброй ночи и вереницей стали подниматься по узкой обледелой тропе вверх по откосу, срезав путь напрямик. А я стоял, смотрел вслед Маргарите, и сердце мое сжималось. Она шла позади всех. Когда они дошли до того места, где тропинка сливается с дорогой, она оглянулась.

Как памятна мне тот день и та дивная ночь! Они запечатлелись в моем сердце, и рассказывал я о них без прикрас.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В ту пору все только и думали что о войне, потому что дерзость наших врагов росла с каждым днем. Неприязнившие воны не только подстрекали мятеж в Вандес, но по указке Трирского и Майнцского архиепископов и бывшего епископа Страсбургского, достопочтенного кардинала де Рогана, виновника стольких постыдных историй, вербовали на границе всякий сброд, подготавливая вторжение врага. Вербовщики, бывшие сборщики соляной пошлины, досмотрщики на заставах и прочие служители управления акцизных сборов и их подручные, чины, выше уиращенные, раздавали деньги, вербовали негодяев из наших соотечественников в контрреволюционные войска. Все это делалось в открытую; но народ возмутился. Сперва Шовель, затем и Даллеман из Ликсгейма, да и все председатели клубов, примкнувшие к якобинцам, заявили об этой гнусной махинации. Несмотря на молчание королевских министров, которые закрывали глаза на происки эмигрантов, Камилл Демулен, Фрерон, Бриссо забили тревогу, и пришлось отправить туда войска, чтобы остановить папештине.

В Ликсгейме один из вербовщиков расположился в трак-тире «Большой олень», и все знали, что он вербует солдат за счет эмигрантов, потому что дворяне желали всеми командовать, но ни одному и в голову не приходило взять-

ся за оружие — им нужно было бросить крестьян на защиту своих интересов; ведь они-то сами милостью божьей рождались готовыми лейтенантами, капитанами и полковниками.

И вот однажды утром, когда вербовщик подговаривал перейти на сторону неприятеля парией, которых к нему прислали неприязнившие священники со всего края, в дверь постучали солдаты национальной гвардии. Тут он выглядывает в окно и видит большие треуголки; мерзавец удирает через черный ход — на сеновал. Но люди видели, как он туда вскарабкался, и бригадир взбирается вслед за ним, никого не обнаружив наверху, медленно вопзает саблю в вороха сена, приговаривая:

— Куда же негодий делая! Здесь его нет... так, значит... нет его здесь!

Но проназательный вошь обнаружил, что все же он тут, и бригадир, выдернув окровавленную саблю, заметил:

— Э, да и ошибся! Пожалуй, он здесь, тут... под соломой.

Негодяи вытацили — это был кривой Пассаван. Сабля прошила ему почки, и он умер в тот же вечер, на свое счастье: у него в комнате обварукивали шельма от дворян, которые снабжали его деньгами, чтобы он селл раздор, подстрекая на гражданскую войну, и еще шельма от альзасских и лотарингских неприязнивших попов, по-сылавших ему парией для вербовки. Его бы повесили без пощады. Итак, тело закопали, и за тот месяц арестовано было множество вербовщиков, неприязнивших священников и всякого сброда. Отец Элеонор на время скрылся; мать горевала, не зная, куда же теперь ходить молиться. Негодяи только и думали, как бы посеять смуту среди нас, и многие церковники, впоследствии перебитые в тюрьме Аббатства, были из той же породы — без стыда и совести, — способны были продать родину чужеземцу за деньги и привилегии.

Было известно, что на берегу Рейна существует три сборных пункта: у Мирабо-Тоино * близ Эттенгейма, у Конде близ Вормса; и самый большой — в Кобленце, где находились наши сеньоры — граф д'Артуа и граф Прованский *.

Лишь один прищ крови, герцог Орлеанский, названный впоследствии Филиппом Эгалите, оставался во Франции; сын его, драгунский полковник Шартрского полка, служил в Северной армии.

Теперь представьте себе, какая тревога охватила наши края: ведь орда эмигрантов могла до нас форсированным маршем за одну ночь. Однако не думайте, будто мы боялись их: мы бы их на смех подняли, кабы они были одни. Но их поддерживали прусский король и австрийский император; кроме того, дезертировав, они подорвали нашу армию. Но мы, по крайней мере, знали, что всю свою силу они теряют у наших врагов. И все яснее и яснее мы сознавали, до чего глупо было отдавать им свои деньги столько столетий — ведь они одни ничего не могли предпринять против нас.

Помнитея, 6 декабря, в день святого Николая, у нас в клубе было весело — все из-за эмигрантов. Жозеф Госсар, виноторговец из окрестностей Тулы, рослый, сухопарый малый с красным лицом и курчавой головой, постоянный лотарингец-весельчак, рассказывал нам, как он съездил с образцами вина в чемодане в Кобленц, откуда только что вернулся.

Как сейчас его вижу: он стоит, наклонившись над прилавком, и в лицах изображает растерянных дворян, монахов, настоятелей монастырей, каноников и канонисс, вельмож, знатных дам и целую свиту служанок и лакеев, которые сопровождали их, чтобы причесывать, умывать, чистить одежду, брить бороды, обрезать ногти, одевать и раздевать, как детей, и уже не могли существовать за счет господ, ибо у тех не осталось ни гроша.

Ничего подобного в жизни никто не слышал. Госсар показывал, какие они делали ужимки, когда очутились среди злополучных немцев, не понявших ни слова, когда он с ними заговорил. Изображал он старую маркизу в платье с львиными оборками, с длинной тростью и целым ворохом набрякушек; дело было на постоялом дворе в Вормсе. У старухи еще оставались деньги, и она командовала — то одно ей подай, то другое, а служанки, уставившись на нее, спрашивали друг друга:

— Was? Was? ¹

— «Was? Was?»! — кричала старуха. — Сказано — егрейте мне постель, безмозглые дуры!

Весь клуб хохотал до упаду.

А потом он подражал старым вельможам, которые тапцеливали ригодоны, прикидываясь, будто беззаботны и ве-

¹ Что? Что? (нем.)

гелы, как и Версале; молодых дам, бегавших за мужьями, которые совсем потеряли голову; капуцинов, что несли караул на Трирской площади заодно с остальными духовными лицами, завербованными в эмигрантские войска; оторонь тех, кто, посещив на почту в надежде получить весть на Амстердам или Франкфурт, получил лишь простое письма, в которых управитель сообщал, что народ наложили секвестр на замок, леса, земли молсеньера.

Глаза Госсара выходили из орбит, лицо вытягивалось, перед нами словно представляли люди, привыкшие жить за чужой счет, которых теперь, вот уже полтора месяца, дожимали трактирщики, требуя уплаты. А потом он изображал, как вел себя в гостинице на Рейне лютый генерал Бэндер, который намеревался образумить нас, описывал его последний поход в Бельгию, где по его приказу вешали и расстреливали патриотов, так что в стране теперь тишь да гладь. Но всего потешнее показывал он отчаяние курфюрста, узнавшего, что эмигранты, и не подумав испросить у него позволения, поселили принцев в его дворце, словно были хозяевами. Дядюшка Жан просто за бока держался, и даже Шовель уверял нас, что никогда еще он так не веселился.

Жозеф Госсар рассказывал об этом во всех клубах по пути, и всюду его встречали криками восторга, и, сказать правду, он мог бы заработать кучу денег, изображая и лица свое путешествие в Кобленц, — ему бы охотно заплатили, лишь бы увидеть, как он разыгрывает этот своеобразный фарс, но делал он все это из патриотических чувств, довольствуясь тем, что увеселяет граждан и продает им вино.

Рассказываю я вам эту историю, чтобы показать, каких туеядцев кормила своим трудом Франция до 89-го года. А о том, что им не хватало здравого смысла, лучше всего доказывает ответ Господина — впоследствии Людовика XVIII — Законодательному собранию, которое пригласило его вернуться, пожелай он сохранить свои права на регентство, если представится возможность.

Вот как он ответил:

«Члены французского Собрания, именуемого Законодательным, на основании параграфа 1-го, главы 1-й, статьи 1-й законов, неотъемлемых от здравого смысла, рассудок предписывает вам образумиться в течение двух месяцев

начиная с шестнадцатого дня, иначе, по истечении вышеозначенного срока, будет считаться, что вы отказались от права называться существами разумными, и на вас будут смотреть как на умалишенных, которых следует держать в «Малых домах» *.

Вот как ответил принцип народу, призывавшему его править страной в случае смерти брата! Стоило ли обременять великий народ убийственными налогами да вдобавок оставлять ему миллиардные долги, чтобы вынестовать таких олухов? Да последний мальчишка из нашей деревни толковее воспользовался бы деньгами, предназначенными ему на обучение.

Все эти эмигранты, вместе взятые, не справились бы с народом, но нам по-прежнему угрожали государи Европы, напуганные тем, что нашелся народ, который начал сознавать свои права и, пожалуй, покажет пример мужества другим народам. Уже повсюду только и толковали о войне, и в клубе Якобинцев возник спор между Бриссо и Робеспьером. Бриссо считал, что нужно немедленно начать войну против эмигрантов, прусского короля и австрийского императора. Робеспьер утверждал, что подлинная опасность угрожает нам внутри страны и что следует прежде всего покарать изменников, которые готовы предать родину, только бы вернуть себе привилегии. Такова суть этих речей. Шовель распродал их тысячами, а все — буржуа, солдаты, крестьяне — охотился за брошюрами, в его лавке всегда было полно народу и Маргарита едва справлялась с делом.

Битва разгорелась. Клуб раскололся: Дантон, Демулен, Гарра *, Бийо-Варенн * поддерживали Робеспьера; они утверждали, что королю, королеве, двору, эмигрантам война нужна, чтобы возвыситься снова, и они толкают нас на нее, что для побежденного деспотизма война — это последняя ставка, поэтому необходимо быть на страже и нельзя подвергать опасности жизни завоевания. Бриссо стоял на своем: он был членом Законодательного собрания, которое в эту пору, как и клуб Якобинцев, разделялось на две партии: на жирондистов * и монтаньяров *. Монтаньяры хотели сначала покончить с врагами внутренними, жирондисты хотели начать с внешних.

Людовик XVI склонялся на сторону жирондистов; тут ему терять было нечего: окажись мы победителями, он

благодаря победе стал бы могуществен и пресек революцию, ибо армии всегда стоят на стороне короля, который выигрывает сражения и раздает чины! Если б победили нас, король прусский и император австрийский установили бы порядок, который был у нас до Генеральных штатов. Именно на это уповала королева Мария-Антуанетта: ей хотелось быть обязанной тронем нашим врагам.

Таким образом, жирондисты Бриссо, Верньо, Гаде, Жансоне и прочие занимались дворцовыми делами; а якобинцы — Робеспьер, Дантон, Кутои*, Бийо-Варени, Демулен, Мерлен из Тивонвилли — занимались делами народными. Вот и все, что я могу вам про это сказать.

И чем ближе была война, тем больше росло волнение, тем все сильнее становилось недоверие к королю, королеве, их министрам, их генералам. Было ясно: то, что выгодно этим господам, невыгодно народу, и мы считали, что самая большая вина жирондистов в том и заключается, что Людовик XVI выбрал министров среди них.

Впрочем, все это общеизвестно, я же расскажу только о нашем крае и о том, что я видел своими глазами.

С 1 января до марта 1792 года люди все больше и больше убеждались в том, что вражеское вторжение неизбежно. Пфальцбург вооружался, на крепости водрузили пушки; в стенах проделывали бойницы, вдоль въезда в крепость возводили заграждения; военный министр Нарбош* объезжал пограничные крепости, чтобы подготовить их к обороне. Таким образом, все здравомыслящие люди видели близкую опасность.

Меж тем наши внутренние враги обнаглели вдвое; общество граждан папско-римско-католического вероисповедания укрепилось; присягнувших священников убивали на поворотах дорог, дома их грабили, сады опустошали. Страсбургский депутат по неуслышанье жаловался якобинцам на то, что власти Нижнего Рейна не принимают никаких мер, дабы пресечь эти преступления. Уже свыше пятидесяти священников-патриотов было убито; граждан, выступавших против этого, арестовывали те, кому должно было их защищать и поддерживать. Весь Нижний Эльзас обвинял мэра Дитриха* в том, что тот проявил небрежение к своим обязанностям. Ассигнаты из-за всех беспорядков снизились на семьдесят процентов. Этого-то и добивались аристократы.

Судите сами, в каком отчаянии был народ, в каком был гнев. И нет ничего удивительного в том, что позднее генеральный викарий страсбургского епископства Швейдер* в отместку за убийства присягнувших священников приказал гильотинировать неприсягнувших дюжины. Братся за ремесло палача ужасно, но нельзя же вечно быть овцами, подставлять горло под нож. Вольготно бы жилось злодеям, если б они не страшилась кары; убийцам должно ждать участи своих жертв.

В ту пору, когда патриотов истребляли на всех дорогах, иностранные лазутчики шныряли по нашему краю, распространяя ложные слухи и фальшивые ассигнаты, изготовленные эмигрантами во Франкфурте. Иностранцам мы больше не доверяли, мещанам больше не обменивались, даже в клубе все были начеку — те, кто хотел вступить в него, должны были записаться заранее.

Меж тем работа в кузнице шла своим чередом. Дядюшка Жан все надеялся снова приступить за обработку участков в Никхольце; вотерпеть надо было всего два месяца — пора сева начинается у нас в марте, но он все опасался, что к тому времени разразится война, нагрянут эмигранты со своими друзьями — пруссаками да австрийцами, сожгут ригу, которую он построил, и отличную новую крышу, которую повел на ферме, опустошат его поля, да еще, пожалуй, самого задернут на сук в его же фруктовом саду! От этой мысли он приходил в такое неистовство, что по вечерам, сидя за столом с вылатоющими щекми, стучал кулаком, без передышки проклинал аристократов и кричал, что сидеть до их прихода тут нечего — куда лучше двинуться на Рейн, разогнать их сборница, поджечь усадьбы, риги и зерно курфюршества, не дожидаясь, чтобы выродки-аристократинки подошли наши, разграбили наше зерно, распили наше вино, словом, потешились за наш счет. Он держал сторону жирондистов и утверждал, что не будет недостатка и патриотах-волонтерах, заявляя, что и сам он, в случае необходимости, встал бы во главе своего отряда и спустился в долину Саара, отбрасывая всех, кто окажет сопротивление.

Эльзасских и лотарингских крестьян, которым случалось проезжать мимо «Трех голубей», тешили его выкрики; лица их сияли от удовольствия, они стучали о столы,

заказывали вино бутылками и пили хором: «Наша возьмет!.. Наша возьмет!..»

Так, со дня на день ширилось всеобщее возмущение.

В февралье погода стояла дождливая. Говорили, что посевы гниют в земле, что год выдастся неурожайный. Ходили слухи о голоде, во всем была пехватка; на юге же страх перед голодом и вдобавок проповедь неурисиягнувших священников о спетовреставлении порождали отчаяние и те ужасающие бедствия, свидетелями которых мы потом стали.

Лозунгом нашего клуба было: «Долой войну». Шовель войны не хотел; он утверждал, что она обернулась бы для нас величайшей бедой, что надо дать срок хорошим идеям укорениться, а главное — воспользоваться оставшимся временем и вырвать плевелы, которые вредят добрым семенам, заглушая их, отнимая у них питательные соки. Он без конца твердил нам о согласии и единении, которых нас пытаются лишить враги рода человеческого, стараясь посеять между нами рознь и вражду и действовать всем скопом, чтобы полегче было с нами разделиться.

— Не забывайте — это единственное средство, — возглашал он, — покуда патриоты — ремесленники, буржуа и крестьяне — держатся за руки, им бояться нечего. А возникнет рознь — они пропадут. Вернутся бывшие привилегированные. И у одних будут все блага жизни, у других — лишь невзгоды.

Это была великая истина. И позже, как известно, она послужила нам: тесно держась вместе, патриоты свершили великие дела не только для пользы Франции, но и всех народов.

Не упоминалось больно ни о Лафайете, ни о его друзьях — Байи, Дюпоре, братьях Ламет, которые прежде назывались фельянами, и, говорят, продались двору. Когда король принял конституцию, Лафайет вышел в отставку, покинув пост генерала национальной гвардии; позже он пожелал именоваться мэром Парижа, но избиратели предпочли Петитона, и Лафайет отбыл в Овернь.

«Курьер», «Народный оратор», «Дебаты якобинцев» и другие газеты, которые получал Шовель, не проявляли больше к ним интереса, пока Законодательное собрание не потребовало, чтобы триевские и майнцские курфюрсты разогнали сборище эмигрантов. Сдесать это курфюрсты отказались и выставили требование: восстановить владения

немецких принцев в Эльзасе. Император австрийский Леопольд даже объявил, что придет на помощь курфюрстам, если они подвергнутся нападению. Тогда король заявил, что он применит военную силу, если сборище эмигрантов не рассеется к 15 января, а указом Законодательного собрания братья короля, принц Конде и Мирабо-младший, были обвинены в преступлении как заговорщики. Было создано три армии в пятьдесят тысяч человек каждая, под командованием Люкнера *, Лафайета и Ролпамбо: от Дюнверка до Филиппвилля, от Филиппвилля до Лаутербурга и от Лаутербурга до Базеля.

Все думали, что вот-вот разразится война, но все так и тянулось до марта, а за это время роялисты яростно обрушились на клуб Якобинцев; их газеты возили, что это — разбойничий вертеп. Статьи фельетонов, подписанные Барнавом, Андре Шенье * и еще кое-кем, повторяли те же обвинения. Но якобинцы им уже не отвечали — считали, что не стоит труда. Настоящая битва назревала между монтаньярами и жирондистами. И вот в феврале 1792 года она разразилась, и всем известно, что она могла кончиться только истреблением тех или других.

Вероятно, еще никогда в эпоху века не доводилось никому читать столько прекрасных речей о войне. Каждый смелый человек был принужден принять участие и выступить «за» или «против», ибо дело шло о его собственных правах, его жизни, крови, его семье и его стране. Так ведется и поныне. И каждый может убедиться, не чересчур ли я превозношу силу духа этих людей.

Мы были в таком неистовстве, народ в Париже и в провинциях так стремился освободиться от кабалы, которая ему мешала, досаждала и угрожала, он так непоколебимо решил сохранить свои права и имущество и так ненавидел всех тех, кто ловкостью, хитростью или силой пытался отнять у него завоеванное, что в конце концов мы ринулись бы на прага, как неуступленные; но внезапно умер из-за своего беспутства Леопольд, император австрийский, только что пославший сорок тысяч человек в Нидерланды и двадцать тысяч на берег Рейна. Он принимал всякие слабости для поддержания сил, и у него начался антонов огонь.

Тогда кое-кто решил, что его сын Франц, король Богемский и Венгерский, получив корону императора Германии, поступит благоразумнее и отзовет войска от наших

границ, поскольку лани распри его не касаются. Но не тут-то было, — не успев вступить на троп, молодой принц, подстрекаемый аристократами и священниками своей страны, предъявил требование Законодательному собранию: не только возвратить эльзасские поместья немецким князьям, но и восстановить три сословия во всей Франции и возвратить все бывшие имения духовенству.

Это уж было чересчур! Видно, он решил обращаться с нами, как с челядью, окриком, чтобы добиться повиновения. Узнав об этом, ни один патриот не остался безучастен. Мы были возмущены, и 23 апреля, хоть Шовель противился и неустанно повторял, что война всегда ведется для выгоды вельмож и никогда не ведется для выгоды народа, все были настроены воинственно. Жан Леру внес в клуб предложение сделать запрос о войне в Национальное собрание — он хотел переспорить самого Шовеля, упрекая его в том, что тот не поддерживает честь страны — самое большое ее богатство.

Гнев заставлял меня соглашаться с дядюшкой Жаном, а здравый смысл — с Шовелем.

Весь день — это был пошедельник — или дождь, мы были огорчены, возмущены и совсем приуныли; то и дело мы бросали работу, проклиная непогодья, из-за которых терпим столько невзгод. Наконец вечером, после ужина, около половины восьмого, мы пустились в путь, увязая в грязи. Впереди шел поцуря голову дядюшка Жан под большим красным зонгом, за ним Летюрье в пономешном каррикe, а следом, вереницей, остальные патриоты.

Придя в Пфальцбург, мы увидали, что всюду царит волнение; люди перебегали из дома в дом, как это бывает при необычайных событиях; о чем-то оживленно переговаривались в узких темных сенях. Мы решили, что все это из-за запроса, который собирался сделать клуб. Но, очутившись на небольшой площади, мы поняли, что дело обстоит совсем иначе: лавка Шовеля открыта настежь, и народу набилось в ней столько, что места не хватило, и целая толпа теснилась на улице. В лавке, посреди скопления людей, припавших друг к другу, на стуле с газетой в руке стояла Маргарита.

До конца жизни образ Маргариты, которую увидел я в тот вечер, не сотрется из моей памяти: темноволосая головка, склоненная под висячей лампой, сверкающие

глаза, вдохновенное лицо и воодушевленное, с каким она читала велух.

Она только что окончила читать, когда вбежали и стали пробиваться через толпу, орудуя локтями, жители Лачуг, забрызганные грязью. Тут, конечно, поднялся шум; Маргарита обернулась, и раздался ее ясный, звонкий голосок:

— Слушайте же теперь декрет Национального собрания. Это говорит сама Франция!

И она стала читать:

— «Декрет Национального Законодательного собрания.

Законодательное собрание, обсуждая предложение короля, учитывая, что Венский двор, вопреки договорам, продолжает оказывать явное покровительство мятежным французам; что двор этот заключил со многими монархами Европы союз против независимости и безопасности французского народа; что Франц I, король Венгрии и Богемии после своих заявлений от 18 марта и 7 апреля сего года отказался расторгнуть этот союз; что, несмотря на сделанное ему 11 марта 1792 года предложение сократить в мирное время количество своих войск на границах, он продолжал усиливать приготовления к враждебным действиям; что он безусловно посягнул на суверенитет французского народа, объявив о своей готовности поддержать притязания на владения во Франции со стороны немецких князей, которым французский народ продолжает предлагать возмещение за упомянутые владения; что он старался посеять рознь между французскими гражданами и вооружить их друг против друга, предлагая педовольным поддержку со стороны сообщества держав; принимая, наконец, в соображение его отказ ответить на последнее послание короля французов, Собрание считает, что нечего надеяться на то, что путем дружественных переговоров можно уладить все эти притязания и что это, по существу, равносильно объявлению войны.

Собрание постановляет: объявить чрезвычайное положение».

Тут меня охватил порыв энтузиазма — я подбросил шапку в воздух, крикнув:

— Да здравствует нация!

Все, кто стоял позади, подхватили возглас, и он про-

пелся пад площадью. Маргарита обернулась, взглянула на меня и, засияв от радости, подняла руку и сказала:

— Слушайте! Это еще не все.

И когда толпа умолкла, она продолжала:

— «Национальное собрание объявляет, что французский народ, верный принципам, освященным его конституцией, не предпримет никакой завоевательной войны, никогда не употребит силу против свободы другого народа и возьмется за оружие лишь для защиты своей свободы и независимости; что война, которую Франция вынуждена вести, является отнюдь не войной народа против народа, а справедливой самозащитой свободного народа от нападения короля, что французы никогда не смешают братьев своих со своими истинными врагами; что они всеми силами будут стараться предотвратить бедствия войны, лишь бы оградить и пощадить имущество жителей, и все невзгоды, неотделимые от войны, обратить на головы только тех, кто объединится против свободы, что Национальное собрание готово заранее принять всех чужеземцев, которые отречутся от притязаний ее прагов, встанут под ее знамена и посвятят свои силы защите свободы, — оно даже делает все, что в его власти, для их устройства во Франции.

Обсудив безоговорочное предложение короля и постановив ввести чрезвычайное положение, Собрание постановляет: объявить войну королю Венгрии и Богемии».

Тут со всех сторон раздались возгласы, и не было им числа: «Да здравствует нация!» Их услышали в казармах: солдаты Пуатвенского полка, замешившего полк Овернский, высунулись в окна, махая своими большими треуголками. Огонек свечи перебежал из комнаты в комнату; часовые, стоявшие внизу, поднимали треуголки, надеясь их на штыки, люди останавливались, пожимали друг другу руки, кричали:

— Наконец-то! Война объявлена!

Всех бросало в жар, несмотря на морозящий дождь, все вокруг застилавший мглою.

Маргарита соскочила со стула, я пробился к ней через толпу. Она протянула мне руку, промолвила:

— Ну, Мишель, будем сражаться!

И я ответил:

— Будем, Маргарита. Я разделяю мнение твоего отца. Но раз враги на нас нападают, мы будем защищать свои права, пойдем на смерть.

Я не выпускал ее руки и смотрел ей в лицо с восхищением. Право, она стала еще прекраснее: щеки разругивались, огромные черные глаза были полны отваги. В это время вошел Шовель с непокрытой головой; приди гладких волос, мокрые от дождя, прищипли ко лбу, вместе с ним вошли пять-шесть честнейших патриотов, которых он известил.

— А, вы здесь! — сказал он, увидя нас в лавке. — Значит, и дождь вас не остановил. Хорошо.., я рад.., сейчас соберемся.

— Вот вам и война! — крикнул ему дядюшка Жан. — И не по нашей воле.

— Да, — резко ответил Шовель. — Не хотел я войны, но воевать мы будем храбро, раз уж ее затевают. Пойдемте же!

И мы отправились в клуб — через улицу. Старое здание гудело от голосов: народ кишмя кишел в темноте — во всех углах. Шовель поднялся на мясной полок и стал держать речь; его звучный взволнованный голос долетал до площади. Он сказал нам, что стремился к миру — наивысшему после свободы человеческому благу, но что теперь, раз война уже объявлена, тот, кто пожелал бы чего-либо иного, а не победы своей родины, тот, кто не пожертвовал бы своим имуществом, кровью своей для защиты независимости нации, прослыв бы неслыханным педодем и последним подлецом.

Он сказал, что это не будет обычная война, что эта война означает свободу человека или рабство, вечную несправедливость или права для каждого, величие Франции или ее падение. Он сказал, что и думать нечего, будто все закончится за один день, что надо собрать все силы, вооружиться решимостью на целые годы; что деспоты бросят на нас своих злобчатых солдат, воспитанных в невежестве и почтении привилегий; что нам предстоит не брататься, а проливать потоки крови и биться не на жизнь, а на смерть.

— И тот, кто защищает свое право силой, — добавил он, — поступает справедливо, тот же, кто вознамерился попортить право других, преступен. Значит, справедливость на нашей стороне.

Потом он сказал нам еще, что для нас это война не солдат, а война граждан; что мы пойдем на наших врагов не только вооруженные пушками и штыками, но также разумом, здравым смыслом и добрыми чувствами; что мы предложим им заодно со злом и добро, и что эти народы, какими бы ограбленными мы их ни считали, в конце концов все же поймут, что, воюя с нами, они защищают собственные цели в окопы, разбить которые мы и явились, и тогда они благословят нас и соединятся с нами и права всех будут основаны на вечной справедливости. Он называл это — воевать пропагандой, ибо в авангарде, наряду с правами человека, должны выступать хорошие книги, хорошие речи, предложения о мире, союзы, выгодные договоры.

Говоря о негодях, пытавшихся напасть на нас с тыла, Шовель поблелел и возвысил голос. Он говорил о том, что война обернется страшной стороной, если предатели будут продолжать свои проделки, ибо патриотам придется для спасения родины применить к изменникам кровавые законы, которые те хотели применить к нам.

И вдруг этот твердый человек, который всегда приводил в доказательство своих слов одни лишь разумные доводы, изменился под напором чувств — весь наш клуб содрогнулся, когда он крикнул, задыхаясь:

— Негодии сами этого хотят, сами хотят! Сотни раз мы предлагали им мир! И даже теперь мы все еще протягиваем им руку и говорим: «Будем равными... забудем все ваши несправедливые поступки... не будем о них вспоминать, но не совершайте новых; откажитесь от своих привилегий, противных природе!» А они отвечают: «Нет! Вы — наши забунтовавшиеся рабы! Сам бог, создавая нас, повелевал, чтобы вы пресмыкались перед нами, из поколения в поколение содержали бы нас своими трудами. Мы по отступим ни перед союзом с врагами родины, ни перед митежками внутри страны, ни перед открытой изменой, ни перед чем не отступим, только бы снова надеть на вас ярмо». Ну, а если и мы ни перед чем не отступим, только бы остаться свободными, — в чем же они могут упрекать нас? Я все сказал, граждане: пусть же каждый выполняет долг свой, пусть каждый будет готов пойти в бой по призыву Франции. Будем же всегда едины, и пусть лозунгом

нашим всегда будет: «Жить свободными или умереть!»

Он сел, и громом прокатились восторженные клики, полные энтузиазма. Те, кто не видел подобных сцен, не могут представить себе ничего подобного. Все обнимались: ремесленники, буржуа, крестьяне, все браталось. Во всех людях мы видели только патриотов и аристократов, — одних любили, других ненавидели. Умление сочеталось с неукротимым гневом.

Произносили речи и остальные: так, говорил Буало, наш мэр, Пернетт, подрядчик по сооружению укреплений, Коллен и другие, но никто уже не произвел на нас такого впечатления, как Шовель.

Разошлись мы по домам довольно поздно. Дождь лил по-прежнему, и каждый, шагая в темноте по дороге к Лачугам, молча думал свою думу. Только дядюшка Жан время от времени подавал голос; он говорил, что при настоящем положении перлым делом нам нужны генералы-патриоты, и это наводило на размышления, — ведь могли у нас появиться и совсем иные генералы, раз назначал их король. Недоверие сменило энтузиазм, и невольно думалось, что Шовель был прав, говоря, что всего опаснее для нас — попасть в руки изменников. Не передать, сколько мыслей теснится в голове в такие минуты. Я могу сказать лишь одно: уже и тогда я отлично понимал, что жизнь моя переменится, что, конечно, я отправлюсь воевать и что любовь к родине так же, как и у несметного множества других людей, заменит мне любовь к моей деревне, к ветхой лачуге, к отцу, кузнице, Маргарите.

Раздумывая обо всем этом, я поднялся на чердак. Я понимал, что дело предстает нешуточное, и, хотя Шовель и упомянул о необходимости заступить терпением, ни дядюшка Жан, ни Летюрье, ни я сам тогда и не думали, что придется заступить им на двадцать три военных года * и что все народы Европы, начиная с немцев, двинутся на нас вместе со своими королями, принцами и сеньорами, чтобы уничтожить нас оттого, что мы хотели сделать добро и им и себе, провозглашая права человека. Да, такое тугоумие чудовищно, и трудно это поять, даже когда увидел все своими глазами.

Следует сказать, что уже несколько месяцев назад множество молодых национальных гвардейцев пошли добровольцами: то были пиццы потарнусов, сыновья служащих и торговцев. Все крепкие ребята, грамотные, мужественные — в их числе были Ротенбург, Левенгир, Дюлен, Суа. Одни отдали жизнь за отечество, другие дослужились до капитанов, полковников и генералов. Их записывали в марины, они получали жалование — восемьдесят ливров, и присоединились — кто к Рошамбо в Мобеже, кто к Лафайету в Меце, или к Люкнеру, войско которого стояло лагерем недалеко от нас, между Битнем и Бельфором.

Смотрел я на них, когда они уходили, и думал:

«Вот он, могучий оплот свободы! Легко будет замешать ребят, если австрийцы их одолеют!»

Вообразите же наше изумление, когда 29 апреля разнесся слух, будто солдаты национальной гвардии бежали от австрийцев, даже не пустив в ход штыки, и что наши brave нехотицы бежали следом за ними. Это показалось нам просто невероятным, никто не верил, все только и говорили:

— Наверняка слухи пускают неприятели цовы. Хватит, пора сделать на них облаву в горах.

К несчастью, вечером того же дня гонец из Парижа подтвердил известие: наши национальные гвардейцы и другие отряды отправились из Валансьена тремя колоннами, намереваясь захватить Флерюс, Турне и Моне, где нас уже ждали жители-патриоты. Но Рошамбо, только что произведенный королем в маршалы, как он сам пишет 20 апреля в своем дневнике, предупредив тайным письмом австрийского генерала Волье, что он намерен атаковать его, так что наши колонны, доверчиво продвигаясь вперед, встретили на своем пути вдвое и даже втрое больше войск с кавалерией, с пушками и прочим смертоносным снаряжением.

Рошамбо самолично донес об этом королю. Впоследствии Бонапарт, Гош, Массена, Клебер и другие генералы республики * вряд ли одержали бы много побед, если б предупреждали наших врагов о действиях, которые намеревались предпринять.

Те же газеты сообщали нам, что волонтеры национальной гвардии отступали с криками: «Нас предали!»

Здравомыслящие люди считали, что они не виноваты, и утверждали, что их предали офицеры-дворяне, оставшиеся в армии. Народ во всеуслышание говорил об измене. И не только в нашем клубе шли такие разговоры; вот, например, о чем пишет «Монитор» 3 мая 1792 года:

«Депутация от кордельеров является в Национальное собрание, и один из них говорит от имени всех: «Триета наших братьев погибли, их участь походит на участь спартаковцев при Фермопилах *. Народ толкует, что они жертвы измены».

И раздались сотни голосов:

— Прочь негодиев! Прочь!

Крики усиливаются; депутация принуждена удалиться. Несколько монтаньяров просит слова. Собрание переходит к обсуждению повестки дня.

Большинство членов Законодательного собрания, избранного лишь активными гражданами, равенства не желало; г-н маркиз Лафайет был их кумиром, а сам Лафайет хотел, чтобы были две палаты, как в Англии: верхняя палата — дворян и епископов и нижняя палата — община. Верхняя палата с помощью королевского вето могла бы противиться всем постановлениям нижней палаты, неудобным привилегированным особам; это означало бы восстановление трех сословий, отмененных Учредительным собранием. К счастью, король Людовик XVI и королева Мария-Антуанетта остерегались маркиза, а герцог Орлеанский держал сторону якобинцев, которые усиливались день ото дня.

А измена уже охватывала Вандею, Бретань, Юг, центр страны, пограничные области и даже Законодательное собрание. И в довершение всего именно за те две недели, когда Рошамбо подставил себя под удар австрийскому генералу Болье, когда все негодии радовались нашему поражению, когда неприятели радовались нашей победе, когда неприятели называли патриотов небесною карою, когда эмигранты называли солдат национальной армии армией сапожников, 10 мая пришло известие, которое я буду помнить всегда, о том, что накануне, в одиннадцать часов вечера, Саксонский полк — браваый гусарский полк, изрубивший саблями в свое время солдат-патриотов Лаферского полка и заслуживший этим одобрение короля, — целиком перешел на сторону неприя-

теля и что за это солдаты получили в день дезертирства по шести дивров на каждого; кроме того, в тот же день, 9 мая, в пять часов утра, Королевский немецкий полк покинул Сент-Авольд под предлогом военного передвижения и перешел через мост в Саарбрюккене во всей амуниции, с лошадыми и оружием.

Значит, замысел благородных был таков: на севере — замена командиров, на востоке — всеобщее дезертирство, у нас в тылу — мятеж провинций.

Уже давно я ждал — вот-вот произойдет что-нибудь подобное, все думал, после встречи с братом Никола и побойца в Нанси, что выльцется какой-нибудь безмозглый подлец и бевежда, с языка которого не сходит: «господин полковник, господин командир, королева да король», как у лакея, что все твердит: «Сударь», — и способен будет свершить подлейшие поступки и повернуть оружие против народа, который его вскормил. Не хотелось мне прежде рассказывать бедному батюшке обо всем, а теперь как же ему сообщить о страшной новости? Слухи о случаях дезертирства войск разнеслись по всей деревне. Люди выходили из домов, кричали, возмущались, и с минуты на минуту какой-нибудь подобный сосед мог войти к нам в лачугу, да и рассказать обо всем моим старикам — так, по злобе, как часто случается в вашем бренином мире.

И я бросился бежать домой, кое-как патянув куртку, вне себя от волнения, решив, что лучше уж я сам осторожно, мягко расскажу им о беде, — так я рассудил. Но когда я издали увидел отца, который работал у крыльца нашей хижины, и, по обыкновенно, приметив меня, улыбнулся, я пришел в величайшее смятение и уже не сознавал, что делаю; все разумные решения выскочили у меня из головы, и, когда батюшка шагнул мне навстречу из-под навеса, я крикнул:

— Какая беда у нас! Какая беда! Никола предался врагу!

Но едва я произнес эти слова, как сам содрогнулся от собственной глупости. Всею жизнью я буду помнить, как вскрикнул мой несчастный старый отец, как упал ничком на землю, словно его ударили обухом. Теперь я сам стар-престар, но до сих пор мне слышится его крик — крик отчаяния, при одном воспоминании о котором я и сейчас бледнею.

У меня подкопелись ноги, я прислонился к стене и, если б соседи не поддержали меня, упал бы рядом с ним.

Меж тем из дома вышла мать с криком:

— Что случилось? Что случилось?

И дровосек Ружеро — рослый парень, поднимая отца, сказал:

— Все произошло по милости вашего смельчака Никола, — он предался врагу.

Тут мать убежала, а я вошел в хижины. Ружеро уложил батюшку на кровать. Я сел рядом, уткнулся головой в колени. Весь я был в холодном поту, мне хотелось выплакаться, но слез не было.

В этот скорбный час великим для меня утешением было одно: я увидел, сколько у честного человека друзей, — о существовании которых и не подозреваешь до беды. Вся деревня — мужчины, женщины, дети со слезами на глазах навещали доброго дядюшку Бастьена. Наивная убогая старенькая лачуга была полна народа; люди тихоенько ступали, раздвигали ветхий полотняный полог, наклонялись и говорили:

— Эх, дядюшка Бастьен, бедняга!.. Вот ведь беда! Мерзавец Никола, пожалуй, доведет его до могилы!

Видя это, я понимал, что они-то поступили бы разумнее меня, и нещадно корил себя. А когда я услышал голос дядюшки Жана, твердившего: «Ах ты, мой бедный старый друг!.. Ах, старина-старина!» — сердце мое не вынесло, я громко застонал, вили себя в смерти отца.

Рассказываю я об этом так подробно потому, что счастье быть сыном честного человека, которого все уважали, хоть он и беден. А сколько их почитают только из-за одних денег! Но от нас выгоды никому не было, и почти все, кто пришел посочувствовать нам, были богаче нас. Вот этим я и горжусь, да, я горжусь тем, что я — сын человека, которого так любили в нашей бедной деревне.

Должен вам еще сказать, что батюшка на этот раз не умер. Г-н доктор Штейнбрэннер, которого Маргарита тотчас же прислала, как услышала о беде, заботливо его лечил, он поправился, только бок у него все побаливал, казалось, что он все задыхается. Люди по-прежнему приходили проведать его, и, улыбаясь им, он твердил:

— Все это пустяки.

Мать не могла прогнать людей. По ее лицу было видно, что она их терпеть не может — ведь их приход означал

осуждение Никола, а Никола она больше нас всех любила.

Одно только поразило ее — слова нашего соседа Жан-Пьера Миралья, который сказал ей, что если Никола поворотится во Францию, то будет арестован и расстрелян по приговору военного суда. Мираль в свое время служил гренадером и хорошо знал военные законы, и все же она не хотела ему верить, но и дядюшка Жан подтвердил, что это правда, что изменников Франция будет встречать ружейными выстрелами, и, подумав о том, что ей уже никогда не увидит Никола, она приложила фартук к глазам и убежала в поле — выплакаться.

Однажды, спустя некоторое время после всех наших бед, когда мы с отцом остались одни, он вдруг схватился рукой за бок во время работы и с трудом перевел дыхание. И я спросил его:

— У вас тут болит, батюшка?

Он ответил, удостоверившись, что мать вышла:

— Да, сынок... так и кажется, будто кто в грудь, под левый сосок кольнул.

Он вспомнил о письме Никола, мастера колотья и рубки Королевского немецкого полка, и постарался улыбнуться, но тут же залился слезами и простер к небу руки, восклицая:

— О господи, прости ему! Прости ему! Несчастный не ведает, что творит, не ведает, что творит.

Вот и все, что он сказал мне, но боль его не покидала, и иной раз вечером, когда все в лачуге уже спали и он думал, что заснул и я, слышно было, как он стонет, лежа в постели.

Я прикидывался веселым и каждый день, входя, усаживался рядом с отцом, рассказывал ему об успехах Этьена, который учился отлично. По воскресеньям я приводил братишку домой, чтобы он поцеловал родителей. В этот день все обычно шло хорошо, лицо бедного батюшки преображалось, взгляд смягчался: он больше не думал о Никола и говорил:

— Мы — самые счастливые люди на свете. Все идет хорошо.

Но за неделю, за долгие дни, что начинаются в пять часов утра, а кончаются в девять вечера, за те долгие дни, когда корзинщик сгибается над работой, только и была у отца радость по вечерам, когда он слышал, как я

паневаю или пошвыстываю, возвращаясь домой, — такую и завел привычку, чтобы скрыть свою тревогу. Всякий раз он вставал с места и, подходя к двери, спрашивал:

— Это ты, Мишель? Я тебя издали услышал... Как нянче шла работа?

— Хорошо, отлично, батюшка!

— Ну вот и прекрасно, — говорил он. — Ну-ка посиди здесь, пока я кончу корзину.

Мать не выходила из своего угла; она сидела в полумраке близ очага, сложив руки на коленях, стиснув губы. Она все время молчала: она думала о Николае.

Когда я ходил в город, Маргарита давала мне книгу газет. Каждый вечер я читал какую-нибудь газету отцу, которому больше всего нравились речи Верньо и некоторых других эжирондистов. Он удивлялся их смелости и все янее и янее понимал, что народ должен стать властелином. Новые воззрения не легко, правда, укладывались в голову старика, столько лет терпевшего произвол сеньора и аббатства. Он все время вспоминал старые времена и не мог поверить, что все люди равны и что между ними нет много различия, кроме различия в добродетелях и талантах. Косные взгляды трудно искоренить; но, несмотря на это, человек с честным сердцем в конце концов все же переходил на сторону справедливости; вот почему отец понимал суть всего, что происходило.

Иско, что после измены гусаров Саксонского и Королевского немецкого полков, маршал Рошамбо, против которого ополчились все патриоты, не мог оставаться на прежнем месте. Он сам подал в отставку, и из наших трех армий, стоящих на границе, образовалось только две: Северная (от Дюнкерка до Мозели) под командованием Лафайета, и Восточная (от Мозеля до Юры) под командованием Люккера, бывшего немецкого гусара, але говорившего по-французски.

Австрийцы не продвигались и долгое время ждали прусского короля Фридриха-Вильгельма, который не спешил, невзирая на волац эмигрантов. Для народа это было большим благом, потому что все увидели опасность; стало известно, что почти везде недостает ружей и что, если бы враги воспользовались нашей оидонностью и вторглись, обороняться нам было бы нелегко. Все патриоты захотели иметь ружья, но оказалось, что арсенал пует. Сперва пришлось вооружить волонтеров старыми карабинами времен

Людовика XV, а затворы этих карабинов не действовали. Остальное было в том же духе: старые пушки, изъеденные ржавчиной, мирно покоились на своих лафетах. Ядра то слишком маленькие, то большие или проваливались в жерло, или никак туда не входили. Только порох был сух: пфальцбургские пороховые склады высечены в скале, и, пожалуй, это лучшие склады во Франции.

Вот о чем говорили, чему были очевидцами люди, потому-то в горах возникла мысль вооружиться пиками. Весь май 1792 года у нас прошел в невероятных трудах. Образец пик прислали из Парижа. Древяно из бука было в семь с половиной футов длины, металлический наконечник в пятнадцать вершков, в виде кривого пожа, заострен был с обеих сторон с крючком внизу — чтобы зацеплять кавалеристов.

Не раз, когда я ковал такой крюк, все в моей душе кричало:

«Пусть же он свалит с коня мерзавца, который довел батюшку до слез! Пусть же зацепит его за шею!»

Я представлял себе картину боя... и мой молот взлетал. Повестине ковал я словно одержимый. Так думал брат о брате! Вот она, беспощадная гражданская война, война, которая порождает рознь не только среди соотечественников, но и среди сынов одной матери.

Мы выковали тысячи полторы пик за два месяца; мне пришлось нанять двух новых подмастерьев, да и сам крестьянский помогал и отправлялся на пикольскую ферму лишь раз в неделю.

Надо было видеть, как, засучив рукава до плеч, с растегнутыми воротами, затянув пояса, в красных колпаках с кокардой над ухом, мы ковали железо прямо на улице, а вокруг нас стояла толпа и пятьдесят — шестьдесят горцев; они каждое утро выстраивались у харчевни «Трех голубей» в просторных холщовых блузах, в широкополых поярковых шляпах с трехцветными мохнатыми шнурами. Кузница была чересчур мала для такой работы, в ней остался только горн, и пылали он с утра до вечера. Один из подмастерьев входил и выходил, брал железо, клал на наковальню и снова — в огонь.

Дядюшка Жан чувствовал себя там в своей стихии; на нем был большой красный колпак, полуоткрытый его длинные бакенбарды, и, когда пог ручейком стекала

вдоль сины, когда мы уже чуть не задыхались, он кричал громовым голосом:

— А ну-ка еще!.. Наша возьмет!.. Наша возьмет!..

И по-прежнему молоты взлетали и опускались, и их грохот напоминал стук колес diligенса на мостовой.

Да, работали мы не покладая рук. Наступила жаркая пора; пыльная зелень разрослась в нашей деревне, погода стояла чудесная, но дядюшка Жан, подмастерья и я по вечерам изнемогали от усталости и предпочитали после ужина растянуться, а не идти в клуб, не считая субботних вечеров, потому что в воскресенье спать можно было довоздья, а потом наверстать то, что упустили в воскресное утро.

Мне довелось два-три раза в жизни, странствуя в горах, обнаружить старые эти пики в хижинах дровосеков или возчиков леса — то за ветхим пологом, то за степными часами. Люди уже забыли, что это такое. Я брал заржавленную пилу, смотрел на нее, поворачивал, и сразу вспоминалась мне прекрасная пора — пора патристического подъема, и я думал:

«Ты прошла по Эльзасу, Лотарингии, Шампани. Ты отразила удары сабли вурмзерского улана*, и от грохота брауншвейгских пушек ты не дрогнула в руках, которые держали тебя».

И вновь проносились перед моим взором картины минувшего, мне мерещились крики: «Да здравствует нация! Да здравствует свобода! Победить или умереть!»

Бог ты мой! Как изменились времена! И люди тоже!

Меж тем, пока все это у нас происходило, жизнь шла своим чередом. Фельяны обзывали патриотов мятежниками, жирондисты обзывали монтаньяров анархистами; монтаньяры упрекали жирондистов в том, что они объявили войну, которая началась так неудачно; они обвиняли их в возвеличении Лафайета — предателя с Марсова поля, — того, кто просил у Национального собрания почестей для Буйе после битвы в Нанси; они говорили им: «Сместите же Лафайета, ведь все министры — ваши ставленники. Лафайет — генерал, несмотря на статью в конституции, которая запрещает членам Собрания занимать в течение четырех лет после его роспуска должность, утвержденные королем. Сместите его, это ваш долг».

Марат призывал солдат расстреливать генералов, ко-

которые их предавали. Руайу в своей «Газете» повторял, что пробил последний час революции; в Вандее великий маркиз Руари повысил налоги, именем короля строил склады оружия и военного снаряжения; дворяне, хотевшие перейти на сторону неприятеля, вступали под вымышленными именами в полк волонтеров, чтобы перебраться в Швецию или Нидерланды. Но пагубнее всего были проповеди неприятели сгубивших воев, которые изображали патриотов бандитами, а короля — мучеником; подстрекали молодых людей следовать римско-католическому вероисповеданию, раздавали им изображения сердца Иисусова, вышитые благородными дамами, белые ленты, украшенные начертаниями, дабы повязывать этими лентами шляпы.

Ярости их не было предела, особенно после вербного воскресенья, в апреле. До революции все крестьяне — мужчины и женщины — приходили в город в день этого праздника с словами ветвями — оселить их; по улицам двигались процессии, и жителям города — католикам, протестантам и евреям — приходилось украшать дома коврами, цветами и гирляндами из листьев. Лютеране и евреи с трудом добивались позволения закрывать ставни окон в то время, когда католики несли вокруг переносных алтарей. Но многие патриоты во главе с Шовелем порицали эту церемонию, и городские власти по решению общинного прокурора постановили, согласно новой конституции, обеспечивающей каждому свободу вероисповедания, что впредь никому не придется вывешивать ковры и гирлянды из листьев перед домами, что солдаты национальной гвардии больше не будут участвовать в религиозных церемониях, а гражданам нечего закрывать лавки, когда процессия будет шествовать мимо.

Ясно, что в тот день национальная гвардия была под ружьем и явилось целое множество валентинов, отцов бенедиктов и прочих негодяев им под стать с намерением учинить бунт против этого закона. Но комендант приказал зарядить ружья на площади в их присутствии, а присягнувший священник догадался устроить процессию в самой церкви, и негодяи разбрелись в ярости, так и не осмелев ничего предпринять.

К несчастью, иначе все обернулось на юге и западе. Из газет мы узнали, что даже в самом Париже неслыханно жестоко обходились с гражданами за то, что они не

пожелали обнажить головы перед процессиями. Доходило до того, что их волокли по земле, в грязи, фанатики лачалы учинять погромы, особенно в селениях Верхнего Рейна. То и дело мы получали вести о том, что у такого-то присягнувшего священника сожгли дом, вырубали фруктовые деревья, а то и убили его самого.

В наших краях эти подлецы не смели разойтись во всю — они остерегались солдат национальной гвардии и гражданской милиции. Но смута все ширилась, вести становились все тревожнее, и враги наши все смелели. Однажды утром в конце мая, когда мы ковали шки, как и вам уже рассказывал, мы еще издали увидели на улице кюре Кристофа. Впереди него шли два оборвалца в разорванных блузах без шапок. Космы волос свисали им на лицо, руки были скручены за спиною. Они были приязаны друг к другу и шагали, глядя в землю. Кюре с неизменной самшитовой дубинкой в руке и трое его прихожан е виллами через плечо вели этих людей в город. Горцы, толпившиеся перед кузницей, обернулись, а дядюшка Жан, завидя священника, крикнул:

— Что все это значит, Кристоф? Ты будто пленников захватил?

— Захватил, — отвечал кюре, — вот эти два мерзавца да еще трое проходимцев им под стать вчера набросились на меня между Шнардодом и Лютцельбургом. Напали с двух сторон с топорами и ножами и кричат: «Смерть вероотступнику». Но я их здорово огрел дубинкой! Трое удрали, а эти двое так и остались на месте! Я сам их в чувство привел и препроводил в мэрию, а там уж мои прихожане глаз с них всю ночь не слускали. Посмотрим, что хотят от меня эти людишки и что я им сделал! На первый раз я бы сам их наказал, и дело с концом. Но нападают на меня уже в третий раз. Сначала нападали с дубьем, а эти вот — с топорами да ножами. Погляди-ка, Жан, как они меня поранили.

И, распахнув сутану, Кристоф показал нам на грудь, обмотанную полотняной повязкой, пропитанной кровью.

— Три раны нанесли: одну в плечо, две в бока.

Тут мы пришли в такую ярость, что ударами молота разозжили бы головы пегодяям, если бы кюре не подтолкнул их в угол, где стоял павос. Кристоф раскинул руки и, загородив их, закричал:

— Остановитесь! Остановитесь! Я бы и без вашей помощи обошелся, если б хотел их убить. Надо, чтобы все решил закон; надо узнать, кто это подстранивает.

Толпа осыпала злодеев бранью, и он сдемая знак своим прихожанам увести пленников. Сам он пошел вслед за ними, сказав:

— Вечером буду проходить мимо — узнаете о новостях.

Весь день мы только и толковали об этом. Дядюшка Жан поминутно восклицал:

— Вот что значит быть сильным! Другого на месте Кристофа уж наверняка бы уколошили. Но его брат Жером из Генгста и сам он сильнее всех в наших краях. Все эти рыжеволосые веснучатые великаны — просто сплячи. Такова уж некая природа горцев.

И тут же он вдруг начинал хохотать, держась за живот:

— И удивлены же были подлецы, задумавшие с ним сладить! Ха-ха-ха! Ну и скорчили же, должно быть, они рожки, попав впросак!

Он так заразительно смеялся, что все тоже начинали хохотать и, вытирая глаза, говорили:

— Да, уж толковать нечего, видно, оторочели — такого отпора не ждали!

Но, вспомнив о рапах, нанесенных священнику топором и ножом, все снова впадали в ярость и сходились на том, что на этих негодных испытают в Пфальцбурге новую машину, о которой говорилось во всех газетах, — ею собиравались заменить виселицу. Вот уже две недели ее испытывали в Париже, и ужасное это изобретение называли прогрессом гуманности. Разумеется, это был прогресс, по подобные изобретения всегда служат зловещим знаком. Кануцины, кричавшие, что, мол, наступили последние времена, не ошиблись: им пришлось самим впоследствии признать, что в их проповедях оказалось истины больше, чем они сами думали.

Кюре Кристоф, проходя вечером через Лачуги, на обратном пути в Лютцельбург, занял в харчевню выпить стакан вина, как обещал Жапу Мери, и рассказал нам, что пленных посадили в городской острог и мировой судья, г-н Фике долго допрашивал их, составив обвинение и собирается отправить их в Нанси, где с делом покончат быстро.

Вот как в наших краях раздувалась эта своеобразная религиозная война; впрочем, всему были проповеди неприсягнувших попов, а еще хуже дело обстояло на юге и в Вандее. Должно быть, оттуда пришло в Национальное собрание множество других жалоб, потому что два дня спустя после того, как кюре Кристоф побывал в Лачугах, повсюду были расклеены афиши с декретом: на дверях церквей, перед мэриями и школами:

«Национальное собрание, выслушав донесение Комитета двенадцати и считая, что смуты подстрекаются в королевстве неприсягнувшим духовенством, требует немедленно принять меры к их подавлению и постановляет ввести чрезвычайное положение.

Национальное собрание считает, что все усилия неприсягнувшего духовенства испровергнуть конституцию говорят о том, что эти духовные лица не желают присоединиться к общественному договору и что дальнейшее причисление к членам общества людей, которые стремятся к его распаду, угрожает общественной безопасности; считая, что уголовные законы бессильны против лиц, которые, воздействуя на сознание людей, дабы ввести их в заблуждение, почти всегда скрывают свои преступные действия от взоров тех, кто мог бы их обуздать и покарать, и, объявив чрезвычайное положение, постановляет нижеследующее:

Статья 1-я. Изгнание из королевства неприсягнувших лиц духовного звания должно явиться мерою общественной безопасности и выполняться генеральной полицией в случаях и по правилам, указанным ниже».

Далее в десяти статьях излагались обстоятельства, при которых надлежало высылать неприсягнувших духовных лиц, и главный пункт сводился к следующему: «Если двадцать активных граждан одного и того же округа общества потребуют изгнания неприсягнувшего духовного лица, директория департамента обязана изгнать это лицо, если мнение директории дистрикта соответствует прошению».

Беспощадный это был декрет, но — или погибай, или защищайся! Когда людей предупреждают, просят и убеждают, призывая к справедливости, благоразумно, когда множество раз им предлагают пойти на мировую, а они

отказываются, без передышки павая на нас все с новым ожесточением, разжигают междоусобную войну и призывают на помощь чужеземцев, то, право, надо быть трусами или глупцами, чтобы не прибегнуть к единственному средству избавиться от предателей и не доказать им, что мы сильнее, поступив с ними уже не как с мирными жителями, а как с солдатами, взбунтовавшимися против своего отечества. Какая судьба была бы уготована патриотам, если б народ был побежден? Вскоре на это ответил нам в своей прокламации герцог Брауншвейгский *, ослеп дворян и неприсягнувшего духовенства.

Итак, декрет был необходим. А вот Людовик наложил на него вето.

Шли также слухи, что эмигранты толпами возвращаются в Париж, что они собираются там на тайные совещания и что со дня на день может грянуть беда.

Национальное собрание, стремясь помешать предателям нарушать порядок, приняло декрет о том, что в окрестностях Парижа надлежит расположить лагерем войска в количестве двадцати тысяч человек. Но и на этот декрет Людовик XVI наложил вето. Одновременно он послал Малле Дюана к пруссакам, чтобы *убедить их поторопиться* и разъяснить, что, вторгаясь на нашу землю, они должны, мол, питать злобу не к французам, а к возмутителям порядка и явиться только лишь затем, чтобы, сражаясь против смутьянов, восстановить у нас в стране законное правительство.

Вот он — честный человек, добрый король, вступивший в соглашение с врагами своего народа. Так оплакивайте же его. Хотелось ему снова надеть ярмо на нашу шею; и если б это ему удалось, мы бы с вами снова работали на монастыри, аббатства и сеньоров; мы бы несли все повинности, наши сыновья не могли бы дослужиться до чинов в армии, не могли бы занимать никаких должностей, кроме должности капуцина, лакея, конюха, слуги. Мы были бы многострадальнее всех многострадальных, а царедворцы, бездельники, поны, все бы благоденствовали и пели хвалу его величеству. Но повезло бедняге! Патриоты победили европейских государей, восстановили и поддержали у нас в стране справедливость... Вот ведь несчастье! Он достоин сожаления!.. А с ним вместе и королева, милосердная Мария-Антуанетта, которая все твердила, что пруссаки и ее племянник, король Венгрии, император Германии,

явится ей на выручку, переступив через трупы двухсот тысяч французов.

Жирондисты, в конце концов поняв, что они были группой двора, решили принудить короля объясниться, и министр Ролан * написал ему письмо, в котором просил его быть хотя бы откровенным, во всеуслышание объявить, стоит он за нацию или нет; и если он за нее, то пусть утвердит оба декрета, если же против, то пусть себе остается при своем вето и тут уж народ будет знать, что король заодно с его врагами.

Это было чество. Он писал:

«Ваше Величество пользовались великими prerogativami, которые вы позагали присудили королевскому сану. Воспитанный в уверенности, что сохраните их, Вы были недовольны, что их у Вас отняли; желание возвратить их было столь же естественно, как и сожаление об их утрате. Чувства эти должны были войти в расчеты врагов революции; они рассчитывали на Вашу тайную благосклонность, в ожидании, что обстоятельства помогут Вам оказать им явное содействие. Такое положение не могло укрыться от самого народа и должно было вызвать у него недоверие. Таким образом, Вашему Величеству постоянно приходилось делать выбор и решать, уступить ли своим личным склонностям или же войти на жертвы, чего требовала необходимость, а следовательно — ободрить ли мятежников, внести тревогу в народ, или же успокоить его, вступив с ним в союз. Всему есть предел, и предел такой перенятельности наступил.

Декларация прав стала для народа политическим евангелием, а французская конституция — религией, во имя которой он готов отдать жизнь... Все чувства его окрасились страстью. Брожение достигает предела. И развязка будет ужасающей, если только доверие, обоснованное доводами разума, не умрётворит его; но доверие народа уже не может выжить на одних торжественных заявлениях, отныне он будет признавать за основу только факты... Отступать уже нет времени, уже нет возможности выгадывать время: революция свершилась в умах, завершится она ценою крови, и будет ею скреплена, если только с помощью мудрой предусмотрительности не удастся предотвратить бедствия. Еще некоторое промедление, и удрученный народ сочтет своего короля другом и соучастником заговорщиков».

Вместо всякого ответа король сместил министров-жироидистов; однако Национальное собрание постановило выразить им соболезнование отечеству и разослать письмо Ролана по восьмидесяти трем департаментам.

Затем король назначил Дюмурье военным министром *. Хитрющий человек был этот генерал: увидев, что вопреки его советам Людовик XVI не желает утверждать оба декрета, он предпочел уйти в отставку и занять невидное местечко в армии. Король, не найдя ни одного здравомыслящего человека, который помог бы ему избежать опасности из-за двух этих вето, был совсем обескуражен. Королева ободряла его, уговаривала:

— Пруссаки скоро явятся. Еще немного терпения! Сдаваться нельзя! Да и священники нас тоже поддерживают; в Вандее все идет хорошо.

Ну и тому подобное.

Обо всем этом впоследствии рассказала служанка Марии-Антуанетты, и спору нет — все так вправду и было, вероятно, все происходило точь-в-точь, как у нас в Лачуге: когда отец, бывало, отчаивался, мать все твердила.

— Успокойся! Придет время рекрутчины, и мы продадим Никола, Клода или Мишеля: из троих-то уж кто-нибудь да вытянет белый яребий. Тогда мы наконец вздохнем, уплатим лихоимцу, а на остальные деньги купим корову или двух коз.

Та же песня, да только речь шла не о продаже Никола, Клода или меня: королева хотела, может статься, уступить Эльзас. Франция ей не доверяла, и это недоверие лежало камнем на душе — тяжело было нам, потому что последний житель Лачуг больше любил свою страну, чем вельможки, это уж верно. Истинный патриотизм живет в народе; народ-то любит землю, которую ненахивает и заселяет, а все прочие любят теплые местечки, где прихвывают, в праздном препровождении времени, нарядные пенсии. Но крайней мере, так было в ту пору.

По вечерам, собираясь в клубе, мы готовы были все истребить, и Шовель повторил без конца:

— Спокойствие! Спокойствие!.. Гнев к добру не приводит, он только вредит делу... Оба вето нам на пользу: враг разоблачает себя, а видеть его в лицо — лучше. До сих пор мы еще сомневались, а теперь нам ясно: среди

нас хотят посеять раздор, смуту, рознь. Таков замысел наших врагов, нам тем более следует хранить единение и хладнокровие. Не желают они, чтобы около Парижа собрались патриоты — федераты, именно поэтому туда надо посылать лучших. Пусть каждый готовится к походу, а те, кто останется, пусть сообща их содержат. Пусть каждый делает что может. Смотрите в оба!.. Будем же едины. И спокойствия не терять!

Так говорил Шовель. Читались и речи якобинцев, Базира, Шабо*, Робеспьера, Дантона, и мы видели, что эти люди не боятся, что отступать они не намерены, — напротив: смещение министров Жиронды считалось общественным бедствием, потому что они, по крайней мере, не столковались с иностранцами, а если и хотели войны, то затем, чтобы двигать вперед революцию, но не затем, чтобы выдать нас нашим врагам.

Из всех местных клубов, наш клуб, благодаря здравому смыслу и твердости Шовеля, был, пожалуй, лучшим: предложения, которые мы вносили, посылались якобинцам и иногда упоминались в отчетах на их заседаниях.

И вот Лафайет, которого всегда изображали хорошим патриотом, — он пользовался любовью дядюшки Жана, поддерживался жирондистами в борьбе против монтаньяров, — этот самый Лафайет вдруг открыл свои батареи, и оказалось, что они направлены против нас, что он держит сторону двора и короля, издевается над народом. Все то, что сделал он до сих пор, главным образом подсказано было тщеславием; теперь он обнаружил свою истинную натуру: он был маркизом, и маркизом опасным, потому что у него была армия и он мог попытаться поднять ее против Национального собрания.

Впервые нависла над нами такая опасность — подобная же мысль приходила впоследствии и другим генералам. К счастью, Лафайету не довелось одержать крупных побед. Он говорил после небольшой стычки при Мобеже, когда австрийцы были разбиты: «Моя армия последует за мной», — но в этом он не был уверен и удовлетворился тем, что написал в Собрание пренаглое письмо, заявив, что якобинцы — причина неурядицы, называя жирондистов интриганамп и некоторым образом приказывая Национальному собранию распускать все клубы и отменить оба декрета — о неприсягнувших священниках и о военном лагере на севере от Парижа.

Вот и доверий после этого маркизам, друзьям Вашингтона. Войска, не одержавший побед, надумал отдавать приказы представителям народа!.. Вот когда мы и распознали маркиза Лафайета, при случае — друга Вашингтона, а при случае — защитника двора. Король тоже больше не желал иметь с ним дела, как и патриоты, для него Лафайет был республиканцем, а для патриотов — маркизом. Вот каковы эти люди, как говорится, «за двумя зайцами погнались», — а считают себя умнее всех. Уехал он из Парижа, и национальная гвардия соединилась с народом; буржуа и ремесленники сиделись, как в 89-м году. Мэру Петлюцу, человеку здравого ума, удалось их примирить, и когда люди увидели наглость маркиза, то сговорились отпраздновать годовщину клятвы в Зале для игры в мяч, которая приходилась па 20 июня. Шовель сообщил нам об этом за неделю, когда мы собрались в комнате позади лавки.

— Это — величайший национальный праздник, — оживленно говорил он, облокотившись о конторку и наклонив голову. — Клятва в Зале для игры в мяч — это в своем роде взятие Бастилии! Два этих великих праздника должны быть внесены в календарь, как у евреев — переход через Чермное море и прибытие на Синайскую гору.

Говоря это, он прищуривал глаз и не спеша брал поюшку табаку. А накануне 20 июня, еще до того, как мы узнали о письме Лафайета, которое до нас дошло только 24-го, Шовель сказал:

— В Пфальцбурге мы не можем провести праздник клятвы, данной в Зале для игры в мяч, — для празднования в городе крепости требовалось бы разрешение министра. А мне не хотелось бы к нему обращаться. Ну да все равно — я все же приглашаю вас завтра после обеда выпить добрый стакан вина в честь этого дня. Не мы одни во Франции попразднуем!

И тут мы поняли, что завтра, должно быть, произойдет что-то, о чем он знал, но по своей великой осмотрительности нам не сообщил.

Теперь уже всем известно, что 20 июня 1792 года жители Парижа поднялись с раннего утра, и под предводительством пивовара Сантера, мясника Лежаудра, ювелира Россиньоля* и еще нескольких патриотов бесчисленная толпа мужчин, женщин и детей с пушками и пиками, с трехцветными флагами и с «кюлотами», ващенными

на длинные шесты, подошли к Национальному собранию с возгласами: «Долой veto! Да здравствуют министры Жиронды!» — и песней «Нанна возьмет!».

Национальное собрание открыло им двери; за три часа просуществовало двадцать пять — тридцать тысяч человек; затем они отправились во дворец Тюильри — посетить короля, королеву и их министров.

Национальная гвардия, которой Лафайет уже не командовал, не стала стрелять в парод, а с ним браталась и все вместе беспорядочной толпой поднялись во дворец.

И вот бедный люд, видевший одну лишь нищету, увидел раззолоченный дворец, переполненный разными предметами искусства — картинами, музыкальными инструментами, пикапами с хрусталем и фарфором, и все было заморожено. Люди увидели и короля, который стоял в амбразуре окна, окруженный челядью. Мясник Лежандр объявил ему, что следует утвердить декреты — народу надоело, что смотрят на него, как на скотину, народ все отлично понимает и не позволит больше себя обмазывать.

Так говорил простой человек.

Король обещал ему соблюдать конституцию. Затем он, надев красный колпак, изобразился на стол и осушил стакан вина за здоровье народа.

В зале стоял огулашительный шум. Но вот явился мэр Петюв и сказал толпе патриотов, которые с интересом осматривали дворец, что, мол, если они еще здесь останутся, то враги общественного блага истолкуют в дурную сторону их намерения; что действовали они с достоинством свободных людей и король на покос обдумает, какое решение принять. Патриоты поняли, что мэр прав. И до самого вечера тинулись вереницы людей к выходу, кланяясь королеве, принцессам и мальчику-дофину, восседавшим в одном из просторных покоев.

Немало людей представило все это как преступление против короля. Ну, а я чем больше думаю об этом, тем больше нахожу, что народ поступил так от душевной простоты, от непосредственности. Конечно, не очень-то приятно, когда твой дом наводняют целые толпы, но ведь король должен быть как бы отцом своего народа. Ведь Людовик XVI твердил множество раз:

— Я — отец своих подданных.

Ну, а если это было правдой, если так он думал, то чего ж ему было удивляться: ведь прийти повидаться с отцом да попросить чего хочешь — так естественно! Но сказать правду, я-то думаю, что смотрел он на это по-иному и приход «детей» его ужаснул, потому что вели они себя уж слишком бесцеремонно. В те времена вальсеров у нас хватало, вот с той поры они-то и начала вопить, все не унимаясь.

А патриоты, с другой стороны, паделлись, что Людовик XVI, увидев народные толпы, поразмыслит и утвердит декреты. Так думал Шовель. Но король упорствовал и вето не отменял, так что люди поняли, что дело их провалилось, а наши враги собираются извлечь из этого выгоду.

Так оно и было. Партия фельянов и так называемых конституционалистов — Барнав, Мунье, Лалли-Толендаль*, Дюпор, братья Ламет, все те, кто твердил народу об уважении к конституции, а двору давал советы, как ее уничтожить, все эти люди, половина национальной гвардии и семьдесят шесть департаментских директорий, воздев руки к небу, завопили, что все потеряно, что короля больше не почитают, что надо предать суду Сантера, Россиньоля, Лежандра, всех вожаков манифестации 20 июня, да и парижского мэра Петрона за то, что он не приказал расстрелять народ картечью, как сделал Байи на Марсовом поле. И, наконец, сам Лафайет, вместо того чтобы оставаться на своем посту и следить за восьмидесятитысячным войском австрийцев и пруссаков, которое стинуто было в Кобленце и готовилось вторгнуться к нам, все бросил и явился в Париж, чтобы от имени армии потребовать наказания оставшим 20 июня.

Собрание приняло его с великим почетом, что, впрочем, не помешало жирондисту Гаде сказать:

— Узнав, что господин Лафайет в Париже, я тотчас же решил: у нас больше нет внешних врагов, австрийцы побеждены. Но заблуждение было недолгим: враги у нас все те же, наши отношения с ивоземными государствами не изменились, а Лафайет тем не менее в Париже! Какая же могучая сила привела его сюда? Беспорядки внутри страны? Значит, он боится, что Национальное собрание не обладает достаточным могуществом, чтобы подавить их? Он взял на себя роль посредника, выступая от имени

армии и честных людей?.. А где же эти честные люди? И как же армия могла обсуждать эти вопросы? Я полагаю, что г-н Лафайет принимает пожелание своего штаба за волю целой армии, и утверждаю, что, покинув свой пост без разрешения министра, он тем самым нарушил конституцию.

Это было ясно!

Лафайет первый подал пример генералам, которые впоследствии бросали на произвол судьбы свои армии и являлись, чтобы захватить власть под предлогом спасения страны.

Следовало бы его арестовать да предать военному суду; если б его приговорили к десяти годам каторжных работ с ядром, прикованным к ноге, как рядового солдата, то другие генералы не спешили бы прибыть в Париж без приказа.

И вот, обвинив якобинцев в Национальном собрании, он поспешил к их величествам, вызвался проводить их в Компьень, откуда король мог отдать приказ о пересмотре конституции, восстановить монархию во всех ее правах, а дворянство во всех его гражданских привилегиях; сам же он, Лафайет, брался выполнить волю короля, а если б Париж оказал сопротивление, готов был поступить с ним, как с мятежным городом. Все это мы узнали позже, по письмам из Кобленца. Но королева и король недружелюбно встретили его предложение.

Королеве хотелось, чтобы ее освободили пруссаки, а не Лафайет. Она помнила, как он препровождал королевское семейство из Версаля в Париж под возгласы толпы, одетой в рубище:

— Вот булочник, булочница и мальчишка-подрочный!..

Она не могла забыть об этом, привыкнуть к мысли о какой-то конституции, и тем более не могла считать г-на Лафайета спасителем монархии. Она предпочитала самодержавную власть Пруссии и своего племянника Франца, императора германского и короля Богемии и Венгрии.

Лафайет понял, что те времена, когда он красовался на белом коне, миновали, и все-таки сделал попытку собрать национальную гвардию, и разогнать клуб Якобинцев. Но мэр Парижа Петиво запретил быть сбор. Никто не явился, и г-н маркиз, приуныв, мирно вернулся в свою армию под Седаном.

Патриоты ясно видели измену: Национальное собрание со всех сторон получало петиции, требовавшие наказать изменщиков, особенно же Лафайета.

И вот в начале июля 1792 года, когда выдался самый жаркий день в году, тысячи федератов, не обращая внимания на вето, двинулись в поход, собирались разбить под Парижем военный лагерь на двадцать тысяч человек. Шли они небольшими отрядами, по пять-шесть человек, в блузах, куртках-карманюльках, красных пизаных колпаках, сдвинутых на затылок, захватив смену одежды — рубаху, штаны, пару башмаков, связанных в узелок, боцтавший бел на налке.

— В Париж! В Париж! — кричали они.

Даже самые рассудительные и старшие из них говорили, когда их, случалось, остановишь да предложишь наскоро осушить кружку пива или стаканчик вина:

— Идем туда защищать свободу, свергнуть угнетателей и наказать изменщиков!

Пыль покрывала их белым налетом. Сердце у меня колотилось, когда я провожая их взглядом. Они оборачивались, махая нам колпаками да шапками и кричали:

— Прощайте! О нас услышите скоро!..

Так бы и я пошел вслед за ними, но удерживала мысль об отце и матери, о Матюрине и Этьене, которые обойтись без меня не могли. Тяжело бывает на душе, когда ты вынужден оставаться!

В те дни министр короля Террье отдал письменный приказ директориям всех департаментов останавливать и разгонять отряды любыми средствами, напомнить окружным и муниципальным советам, что на должностные лица возлагается вся ответственность и они должны приказывать полицейским офицерам, национальным жандармам и всем общественным властям, чтобы они мешали людям покидать свой край под предлогом, будто те отправляются в столицу. Но послание министра не произвело ровню никакого действия. Напротив, все клубы громко возроптали, а Шовель объявил, что послание это — настоящее предательство; что пруссакам дали возможность соединиться с австрийцами, что им как бы очищен путь в нашу страну, а теперь вот прибегают к вето, к угрозам законами военного времени и другим возмутительным средствам, лишь бы помешать гражданам выполнить свой долг.

Стало также известно, что слуги короля, переодетые

в солдат национальной гвардии, повсюду выступали против федератов, которых обзывали «санкюлотами» *, словно быть бедным — преступление, будто часто не бывало доказательств тому, что в бедности проявляешь больше благородства и чувства собственного достоинства, чем проявляют такие вот негодяи. Ведь стать лакеем нетрудно; лакею легче добыть деньги, чем тому, кто работает с утра до вечера, занимаясь своим ремеслом.

Все думали, что пришло время проучить это мерзкое отродье, и Национальное собрание объявило, что гражданам из национальных гвардейцев, которых привела в Париж преданность конституции, — то ли для того, чтобы присоединиться к запасной армии в Суассоне, то ли чтобы отправиться к границе, — надлежит записаться в муниципалитете; что они будут присутствовать на празднествах в честь Федерации 14 июля, получают билеты на трехдневный военный постой, а затем муниципалитет выдаст им подорожную на дальнейшее следование по этапам до места назначения, где будут составлены и приведены в боевую готовность их батальоны, состоящие на жалованье.

Декрет произвел благоприятное действие. Он был разослан с особым нарочным по восьмидесяти трем департаментам, и тут-то королю, королеве, придворной знати и министрам довелось узнать, что вето — это еще далеко не все, и хотя Люкнер по приказу правительства отступил перед австрийцами в Нидерландах, хотя в Кобленце девятью тысячами пруссаков и австрийцев соединился с двадцатью тысячами эмигрантов, готовых вторгнуться в нашу страну; хотя Буйе вынашивал свой пресловутый план и уже исполнил обещание, указав иностранцам дорогу во Францию, и вступил в союз с Фридрихом-Вильгельмом, Францем II и герцогом Брауншвейгским; хотя согласно этому пресловутому плану он уже и собирался атаковать Лонгви, Седан, Верден, которые, как он думал, плохо подготовлены для обороны, а затем двинуться на Париж через Ретель и Реймс по чудесным долинам Шампани, где амбары и гумна наших крестьян, как он думал, должны были прокормить захватчиков; хотя и звучали проповеди неприягнувшего духовенства, которое все больше и больше отторгало Вандею и Бретань от нашей революции; хотя в ширшем Лангедоке и подняли мятеж крестьяне, подстрекаемые графом Сайяном, правителем, что

орудовал от имени принцев, словом, хотя дворяне, двор и епископы продолжали свою предательскую деятельность, объединившись против нас в стремлении восстановить произвол королевской власти, все они были в явном проигрыше.

Да, если б они сохранили хоть крупицу здравого смысла, то, должно быть, увидели, что армии сапожников и адвокатов, как они нас называли, не боялись ни знаменитых гренадер Фридриха, ни уланов богемского и венгерского короля, ни благородных потомков князьях завоевателей.

Ну, а прежде всего, сражаться за свое дело это не то, что позволить переломать себе кости ради принца, который отшвырнет тебя потом в сторону, как старый ненужный костыль. Такая мысль должна была бы прийти им в голову, и, по-моему, Людовик XVI так и думал, потому что позднее были найдены у него в несгораемом шкафу письма, полные отчаяния, — в них он сетовал на то, сколько беспокойства и тревог причиняло ему стягивание войск, состоящих из сапожников и адвокатов, и как хотелось бы ему, чтобы у них началась междоусобная война.

Нивогда мне не забыть похода федератов, особенно же душераздирающего вопля, потрясшего Францию в тот час, когда в начале июля, во время великого движения патротов, была распространена по стране знаменитая речь жирондиста Верньо и мы увидели, что нашу мысль об измене Людовика XVI разделяет Национальное собрание.

Шовель сам прочел эту речь у нас в клубе. Услышав ее, все побледнело от волнения. Верньо говорил:

— Во имя короля, ради отмщения за достоинство короля, ради защиты короля, ради того, чтобы прийти на помощь королю, французские принцы водняли против нас европейские дворы, заключили Пильницкий договор, Австрия и Пруссия встали за оружие*. Король — предлог и причина всех бед, которые враг пытается обрушить на наши головы, всех бед, которые нам угрожают.

А затем, говоря о конституции, вверившей одному королю защиту отечества, он воскликнул:

— О король, вы делали вид, будто уважаете законы, лишь для того, чтобы сохранить свое могущество для их попрания, конституцию, лишь для того, чтобы она не при-

вергла вас с трона, на котором вам надо было удержаться, дабы уничтожить ее, народ, лишь для того, чтобы, внушив ему доверие, обеспечить успех ваших интриг. Не думаете ли вы обмануть нас своими лицемерными заявлениями? Да разве для того, чтобы защитить нас, вы выставляете против иностранных солдат такие ничтожные силы, которые им ничего не стоит разгромить? Да разве для того, чтобы защитить нас, вы откладываете сооружение укреплений или готовитесь к отступу, когда мы уже почти стали добычей тиранов? Да разве для того, чтобы защитить нас, вы оставили безнаказанным генерала, нарушившего конституцию, и сдерживали смелые порывы тех, кто служит ей? Нет, нет, вы не выполнили присяги, данной конституции! Пусть она будет поправа, но вы не пожнете плодов ваших клятвопреступлений. Вы не противодействовали официальным документам победам над свободой, которые одерживались во имя вас, зато вы не пожнете плодов ваших недостойных побед. Теперь-то вы уж ничего не значите для конституции, которую вы так недостойно попрали, для народа, которому вы так подло изменили.

Возглас негодования и возмущения потряс клуб и загремел на маленькой площади, куда доносился голос Шовеля. Все это было правдой! И великий об этом давно уже думал; с подобным королем, чьи интересы противны народу, суждено было погибнуть. И все говорили:

— Долой его! Пора положить этому конец, а народу — позаботиться о самозащите.

Но еще более явной стала гнусная измена Людовика XVI на следующий день, когда его собственные министры явились в Национальное собрание и объявили, что шаха казна, наша армия и флот находятся в таком плачевном состоянии, что все они сообща подадут в отставку. Сказав это, министры поспешили покинуть зал, не дожидаясь ответа, как банкроты, которым обстоятельства не судят ничего доброго, и они бегут — кто в Англию, кто в иные места, оставляя порядочных людей в нищете. Вот что это означало: «Вы нам доверяли. А мы, вместо того чтобы подготовить Францию к отступу завоевателям, не сделали ничего. Теперь же наши друзья пруссаки и австрийцы уже подготовились, они приближаются... Посмотрим, как вы вынутаетесь!»

И мы все же выпутались!

На следующее утро, 11 июля 1792 года, Национальное собрание объявило отечество в опасности, и вся Франция поднялась, как один.

Слова эти: «Отечество в опасности», — означали:

«Ваши поля, луга, дома, ваши отцы и матери, ваши деревни, все права и все свободы, только что добытые вами в борьбе против дворян и епископов, в опасности. Эмигранты возвращаются с войсками пруссаков и австрийцев, чтобы обобрать и ограбить вас, чтобы вас уничтожить, сжечь ваши овнины и лачуги; заставить вас платить десятину, полевую подать, соляную пошлину и прочее и прочее от поколения к поколению... Защищайтесь, держитесь сплоченно, а не то работайте, как волы, на монастырь и сеньора!»

Вот что это означало! Поэтому-то мы и двинулись в поход, как один, поэтому-то удары наши были сокрушительны: все мы жили идеями революции; все мы защищали наше добро, наши права, нашу свободу.

Декрет этот был объявлен во всех общинах Франции. Плушка была сжечасло, во всех деревнях гудел набат; и люди, узнав, что их поля может захватить враг, сами понимают, бросали серпы на швах и хватались за ружья — ведь поле принесет жатву и на будущий год, и спустя десять лет, и спустя век; пусть жатву сожгут, скормят лошадям пруссаков; главное — сберечь поле, на котором родится рожь, ячмень, овес и картофель для пропитания детей и внуков.

А у нас великан Элоф Коллен встал на помост посреди площади и прочел декрет, выкрикивая слова, как старый ястреб на скале:

— Граждане! Отечество в опасности! Граждане! Все — на спасение отечества!

Сначала энтузиазм охватил сыновей всех тех, кто приобрел национальное имущество: парни знали наперед: эмигранты вернутся, и их отцов повесят. Вот почему все они веревницей по пять, шесть, десять человек поднимались на помост и записывались.

У меня еще ничего не было, но я надеялся кое-чем обзавестись. Не хотелось мне вечно работать на других.

А кроме того, я придерживался идей Шовели о свободе: во имя свободы я готов был смерть принять! Даже теперь, на склоне лет, старая кровь во мне закипает, как и подумаю о том, что какой-нибудь мерзавец мог бы посягнуть на меня самого или на мой имения.

Итак, долго ждать и не стал; я тотчас же увидел, что надо делать. Как только колчли читать воззвание, я поднялся и завербовался в волоптеры. Первым в списке значился Кеенрай, вторым — Латур-Фуассак, третьим — Мишель Бастьен из Лачур-у-Дубьяка.

Неверно было бы, если б я сказал, что сделать это мне ничего не стоило. Я знал, что бедный старый отец будет жить в нужде целых три года, а дядюшке Жапу трудно придется с кузицей, но знал и также, что нужно защищаться, что нельзя допустить дворян на наше место, что надо или самим вмешаться, или тинуть ляжку вечно.

И когда я спускался, засунув за ленту шляпы билет волоптера, батюшка, оказавшийся тут, протянул мне руки. Мы обнялись на первой ступени помоста под возгласы: «Да здравствует нация!» Его подбородок дрожал, слезы струились по щекам; рыдая, он прижимал меня к груди и все твердил:

— Хорошо, сынок! Теперь я доволен... Зажина рана, пансионная Никола. Больше я недуга своего не чувствую!

Говорил он так, потому что его, честного человека, ничто на свете не могло так удручать, как измена, совершенная одним из его сыновей против своего народа и против своей страны. Теперь на душе у него полегчало.

Крестный Жан тоже обнял меня, — ведь он-то понимал, что я по-настоящему буду защищать его ферму в Пикхольде и если б бывшице вернулсь, то уж не по моей вине. И он был прав: прежде чем тронуть хотя бы один волос на его голове, пришлось бы изрубить меня в куски.

Так вот, я говорю одну лишь правду — не убавляя, но прибавляя. Нескончаемый энтузиазм питается справедливостью, добрыми законами и здравым смыслом.

Не стоит описывать возгласы, объятия, рукопожатия и клятвы победить или умереть — каждому известно, что так всегда повторяется и что с той поры спесивые и тушью людники не раз вводили народ в обман с помощью своих

мерзких газет и им удавалось разжигать такой же энтузиазм, подстрекая к войнам, которые не имели никакого отношения к Франции и принесли ей огромнейший урон. Только на этот раз народ проявлял энтузиазм по своему почину, сражался, защищал свое имущество, свою свободу, а это лучше, чем пойти на гибель ради славы короля или императора.

И я всегда с умилением вспоминаю всех этих мужчин и женщин, стариков и старух — сторбленные, усталые, обвивают они руками плечи сыновей, которых только что записали в полк волонтеров; вспоминаю бедняков, прямо сказать — несчастных горемык, жителей Дагсберга, которым нечего было оберегать — они, дровосеки и угольщики, жили в хижинах и никакого прока от войны им не было, но они любили свободу, справедливость и отечество! А все то, что патриоты жертвовали в дар и родителям волонтеров, и раненым, и на обмундирование войск, а приношения от убогих калеков, которые умоляли муниципальные власти принять и их грешную лепту, а мальчуганы, лившие слезы потому, что не доросли до того возраста, когда можно стать барабанщиками и трубачами! И все это было так естественно! Ведь каждый делал, что мог.

Но одно особенно яркое воспоминание придает мне силы и так молодит, будто мне снова становится двадцать лет — воспоминание о том, как в тот полдневный час, когда дядюшка Жан, Летюрье, батюшка и я сидели за столом в библиотеке Шовеля, когда из-за нестерпимого дневного зноя затворены были ставни, когда время от времени звонил колокольчик и Маргарита сменяла к посетителю и снова возвращалась, не смея взглянуть на меня, а я, несмотря на доброе вино и вкусную еду, не мог веселиться наравне с остальными да прикидываться, будто рад, что вот-вот отправлюсь в поход в Виссенбургский военный лагерь, Шовель вдруг взял бутылку старого вина, зажал ее между коленями и, откупоривая, сказал:

— Это вино, друзья мои, мы разольем за здоровье Мишеля! Ну-ка, опорожните стаканы!

И, ставя бутылку на стол, он серьезно посмотрел на меня.

— Слушай, Мишель, — продолжал он, — ты знаешь, я люблю тебя уже давно, а сегодня ты поступил так, что я стал уважать тебя еще больше. Поступок твой доказы-

васть, что ты — честный человек. Ты сразу, не колеблясь, выполнил свой патриотический долг, несмотря на все, что тебя здесь удерживает.. И это хорошо!. Вот ты отправляешься в поход, будешь защищать права человека, — если б у нас не было других обязательств, ты бы один не ушел, мы были бы вместе с тобой в строю. Ну, а сейчас признайся откровенно: неужели тебе не о чем сожалеть в разлуке? Неужели ты уходишь с радостным сердцем? Неужели тебе не хочется о чем-нибудь попросить нас? Попросить о таком патриотическом даре, который преподносят людям, уважаемым и любимым?

Он не сводил с меня глаз; я почувствовал, что заливаюсь краской, и невольно посмотрел на Маргариту — бледную, потупившую взгляд, но спокойную. И не мог вымолвить слова; стояла глубокая тишина. И Шовель, глядя на батюшку, сказал:

— Папаша Бастьен, наши дети любят друг друга, верно?

— Да еще как верно, — отвечал батюшка. — И уже давным-давно.

— А что, если мы их помолвим? Как вы смотрите на это, папаша Бастьен?

— Ах, господин Шовель, да это составило бы счастье моей жизни.

И пока он так говорил, сияя от радости, мы с Маргаритой поднялись, все еще не смея приблизиться друг к другу. И тогда Шовель воскликнул:

— Да обнимитесь же, дети мои! Обнимитесь!

В тот же миг мы бросились в объятия друг друга. Маргарита припала лицом к моему плечу. Отлично она моя! Какое же это счастье — обнять свою милую вот так, на глазах у всех родных и друзей. С какой гордостью ты держишь ее в своих объятиях и какую же могучей должна быть сила, которая может вас разлучить!

Дядюшка Жан смеялся громко, от души, как смеются добрые люди. А Шовель, сидя на стуле, повернулся к нам и сказал:

— Итак, вы помолвлены. Мишель, ты отправляешься в поход. А через три года, когда вернешься, она будет твоею женой. Ведь ты будешь ждать его, Маргарита?

— Вечно! — отвечала она.

И она крепко обняла меня. А я с невольными слезами все твердил:

— Я всегда любил одну только тебя.. и одну тебя любить буду!. Я рад, что иду сражаться за всех вас, потому что люблю вас.

И я снова сел. А Маргарита поспешила выйти. Шовель наполнил стаканы и воскликнул:

— Вот какой у нас сегодня чудесный день!. За здоровьем сына моего Мишеля!

А батюшка сказал:

— За здоровье моей дочки Маргариты!

И все хором мы провозгласили:

— За отечество!. За свободу!

В тот день в Пфальцбурге сто шестьдесят три человека были зачислены в национальные батальоны волонтеров.

Вся страна горела энтузиазмом и рвалась на защиту того, что мы обрели; ни единой души не осталось на полях. На площадях и улицах только и слышались возгласы:

— Да здравствует нация! Нанна возьмет!. Нанна возьмет!..

В воздухе стоял колокольный звон, и что ни час была пушка у арсенала, так что дребезжали стекла. Мы, сидя в лавке, все еще пировали. То и дело какой-нибудь патриот кричал, останавливаясь в дверях:

— А волонтеров-то сколько!

Его зазывали, подносили ему стакан вина — выпить в честь родины. Шовель брал изрядные порции табаку и возглашал, помаргивая глазом:

— Дело идет!. Все будет хорошо!

Он говорил также о том, что в Париже назревают крупные события, но какие именно — умалчивал.

Дядюшка Жан уже взял к себе на ферму в Пикхольце первым подручным моего брата Клода, — безобидный, бесхитростный мальчишка, отличный работник, ревностно выполнял все, что ему поручали, но своими мыслями не жил, а дядюшка Жан таких предпочитал, потому что ему нравилось командовать. А сейчас он пообещал пристроить на ферме и мою сестренку Матюрину: нечего было и думать, что в наших краях найдешь работника лучше, исполнительнее, рачительнее ее; пожалуй, она была слишком уж расчетлива, как бывает тот, кто живет своим трудом. Дядюшка Жан решил до моего возращения

заправлять кузницей и для этого немедленно наладил все свои дела. И у батюшки, который еще зарабатывал по восемьдесят су в день, освободился от долгов и завел две козы, вид сейчас был предовольный, тем более что Шовель обещал приискать в городе местечко для моего брата Этьена.

В пятом часу явился секретарь мэрии Фрейлиг и сообщил, что пфальцбургские волонтеры выйдут из города завтра в восемь часов утра и направятся в Виссенбургский лагерь, а в Грауфтале, где назначено место общего сбора, они подождут остальных, из других селений округа. При этом известии мы стали серьезнее, но все же веселое расположение духа нас не оставляло. Мы шировали до тех пор, пока на дворе не стало темно. Пришло время возвращаться в Лачуги. Шовель запер лавку, Маргарита взяла меня за руку и с непокрытой головой проводила до Французской заставы. Впервые люди видели нас с ней вместе на улице и, глядя на нас, кричали:

— Да здравствует нация!

Шовель, крестный Жан и батюшка шли вслед за нами. На мосту, против гауптвахты, мы с нежностью обнялись. Шовель и Маргарита воротились к себе, а мы пошли дальше, пели песни, смеялись, как беспечные счастливицы, да и что тут греха таить — чуть опьяневшие от доброго вина и от удачного дня. У всех, кто нам встречался, было такое же расположение духа — мы обнимались, кричали хором:

— Да здравствует нация!

Около девяти часов, уже темным вечером, мы расстались с дядюшкой Жаном и Летюрье у дверей харчевни «Трех голубей», пожелав им доброй ночи. Они-то, вероятно, улеглись и безмятежно уснули, нам же с бедным моим батюшкой суждено было иное. Все это я рассказываю, чтобы вам стала ясна вся моя история; кроме того, на этом свете хорошее и плохое идут рядом, да и надо вам знать, что хоть патриоты в конце концов и одержали победу, но давалась она нелегко, потому что у каждого в семье была своя Вандея.

И вот мы с батюшкой спускаемся по старой улице, покрытой рывтинами, заваленной навозом; луна озаряет нас дивным своим светом. Мы идем с самым веселым видом; впрочем, мы папускаем на себя веселье, чтобы самих себя приободрить: думаем мы о матери — ведь она

будет так недовольна, когда узнает, что я отправляюсь в поход волоштером, а еще больше — что я помолвлен с еретичкой. И поем-то мы лишь для того, чтобы чувствовать себя увереннее. Но шагах в ста от нашей лачуги всякое желание неть у нас пропало, и мы остановились: мы увидели мать. Она была в своей обычной юбке из серого холста, в большом чепце, завязанном на затылке; волосы у нее свисали прядями, худые руки торчали из коротких, по локоть, рукавов кофты. Она сидела на приступке у дверей нашей ветхой хижины, обхватив руками колени, прижавшись к ним подбородком; она издали сверлила нас взглядом, глаза ее блестели, и мы поняли: она уже знает обо всем, что произошло.

Такого ужаса я в жизни еще не испытывал. И я бы повернул вспять, если б батюшка не сказал:

— Пойдем, Мишель!

И я увидел, что на этот раз он не испытывает страха. Итак, мы приближались к хижине, и, когда оставалось до нее шагов двадцать, мать вдруг бросилась на меня с пронзительным воплем, — да простит мне бог эти слова, так вопят, вероятно, дикари. Она впилась мне в мою руками, чуть не повалила на землю, и, если б я рывком не развел ее руки, она бы меня задушила. Тогда она ударила меня ногой и закричала:

— Задумал убить Никола! Убить своего брата! Что ж, убивай, проклятый кальвинист!

И она все пыталась укусить меня. Вопль ее раздавался по всей деревне; люди выбегали из домов, переполох поднялся невероятный.

Отец схватил ее обеими руками сзади за кофту, стараясь оттащить от меня, но, почувствовав это, она вдруг в неступлении бросилась на него, обзывая якобинцем, и, если б не силач угольщик Гановр и пять-шесть соседей, она бы, пожалуй, выцарапала ему глаза.

Наконец соседи оттащили ее к нашей хижине, она отбивалась, как дикий зверь, и кричала с надеждкой:

— Ах, вот он, примерный сынок! Сменял отца и мать на кальвинистку. Но тебе ее не видать, мерзкий вероотступник! Не видать! Никола зарубит тебя! И я стану заказывать обедни, чтобы он тебя зарубил... Прочь, прочь, я проклинаю тебя!

Ее уже затолкнули в дом, но крики ее все еще раздавались по деревне.

Мы с отцом без кровинки в лице так и остались стоять посреди улицы. Когда двери в хижину заперли, он сказал:

— Она сошла с ума! Пойдем отсюда, Мишель. Если мы войдем, она, пожалуй, нас прикончит. Господи, господи, какой же я неудачник! В чем мое преступление, за что мне выпала такая горькая доля!

И мы вернулись к «Трем голубям». В харчевне еще светилась лампа. Крестный Жан мирно сидел в кресле и рассказывал жене и Николь об удачном вынешнем дне. Когда мы вошли и он увидел, что шея у меня залита кровью, а отцовский камзол разорван, когда узнал обо всем, что сейчас произошло, он воскликнул:

— Бедный Жан-Шьер, да быть этого не может! Мы бы ее тотчас же в острог упрятали, не будь она твоей женой. Все это проделки неприсягнувшего пола из Генридорфа. Да, пора кончать с полами, самая пора!

Он добавил, что придется отцу ее оставить, пусть себе живет совсем одна, а отец станет работать у него в сарае, ночевать же будет в харчевне. Но па так-то просто было все уладить: отец хотел жить у себя в хижине, вместе с матерью. Многолетняя привычка, а также и порядочность мешали ему жить врозь с женою, — несмотря на все тяжкие невзгоды, лучше жить вместе. Тех, кто живет врозь, осуждают порядочные люди, а страдают от этого дети.

Ту ночь мы провели в харчевне, а на другой день рано утром батюшка отправился к нам в лачугу за моим сундучком. Он уложил в него все мои пожитки и принес также мое ружье, ранец солдата национальной гвардии, патронную сумку и все прочее. Мать, несмотря на все уговоры добрейшего моего отца, не пожелала меня увидеть.

И я отправился в путь, не повидал матери, унося с собой ее проклятье, зная, что она хочет моей смерти. Я этого не заслужил, и мне было очень тяжело.

Дядюшка Жан рассказывал мне потом, что мать не любила меня потому, что я был похож на ее свекровь Урсулу Бастьен, которую она терпеть не могла всю жизнь, и что невестки и свекрови всегда терпеть друг друга не могут. Что ж, может быть! Но так горько, когда тебя терпеть не могут те, кого ты любишь и кому из всех сил стараешься угодить, — да, великое это горе!

И вот, друзья, пришло время покидать родной край — старые Мачуги-у-Дубляка и всех добрых наших знакомых.

На следующее утро в десятом часу мы уже были в Грауфталльской долине, по другую сторону горы, у подножья скал. Там-то и должны были соединиться волонтеры со всего округа и потом уж отправиться в Битш, оттуда в Виссенбург, а затем уж и дальше. Тем, кто пришел из деревень первыми, пришлось ждать остальных.

Мы вышли пораньше из-за жары — она чувствовалась уже с рассвета. Маргарита, Шовель, крестный Жан, батюшка и горожане — мужчины, женщины, дети — провожали нас до этого первого привала. И вот мы располагаемся за поворотом песчаной дороги в тени буков, сложив ружья в пирамиды. Перед глазами — беспредельная долина, река, окаймленная ивами, а в вышине — леса, пересеченные скалами.

Сколько раз, вот уже полвека, останавливался я на этой дороге, смотрел, раздумывал о далеком прошлом! Все пережитое вставало перед глазами, и я вспоминал: вот здесь мы обляглись в последний раз. Вот там бедняга Жак, а может, горемыка Жан-Клод, с ружьем на плече, обернулся, пожал руку старому отцу и крикнул:

— До будущего года!

По этой тропе пришли волонтеры из Сен-Жан-де-Шу, а по той — из Миттельбронна! Бой барабанов доносился из лесной чащи задолго до их появления, но они как-то неожиданно вынырнули из сосновой рощи с большими шляпами на острие штыков. И тотчас же по всей долине прокатились возгласы:

— Да здравствует нация!

Да, в далекое прошлое канули те времена, а деревья, скалы, кустарник все еще существуют и все так же плющ обвивает скалы! Но где же те, кто кричал, обнимался и обещал вернуться? Да, где они? Как подумаешь о товарищах, что поделали на берегах Мозеля, Меза, Рейна и в зарослях вдоль Аргоны, то согласишься, что творец о нас позаботился.

Одним словом, все это я вам рассказываю, чтобы обрисовать наши сборы в июле 1792 года; впрочем, всюду про-

Исходило то же самое, всюду волонтеры ждали друг друга, чтобы идти сообща.

Вот Маргарита, сидя рядом со мной на перескоковой поляне, у обочины дороги, отырывает небольшую корзиночку с хлебом, мясом и вином — все это она принесла с собой, потому что в те времена в Грауфтале, бывало, хоть шаром покати — харчевни дедушки Беккера еще и в помине не было. И все жительницы Пфальцбурга, зная, что придется ждать, принесли всякую снедь.

Шовель, батюшка, крестьянин Жан, три-четыре офицера муниципальной стражи устроились поодаль от дороги, в тени дубов, и поглядывали на нас издали: они понимали, что нам нужно о многом сказать друг другу и так приятно побыть вдвоем. Маргарита просила писать всякий раз, как выпадет удобный случай, с любовью смотрела на меня; она не плакала, как многие другие, держалась стойко — она хорошо знала, что в такие минуты нельзя наводить уныние на тех, кто уходит.

— Пока ты будешь далеко от нас, — ласково говорила она, — и все время буду о тебе думать. И ты о своем отце не тревожься... ведь он и мой отец... я люблю его, и пугаться он не будет.

Я стоял перед ней, с восторгом слушал ее речи и чувствовал, как крепнет во мне отвага. Надежда на возвращение никогда не покидала меня, даже в часы смертельной опасности; многих с ног валяли дождь, снег, холод, голод и все другие невагоды, а я выстоял — я хотел снова увидаться с Маргаритой, ее любовь меня поддерживала.

У скалы рядом с нами расположилась семья панаши Гуэна, подрядчика по фуражке. Старик отец, мать и сестры жалобно причитали; отец все твердил, что сыновьям надо было испросить его согласие, что лет нужды уходить обоям — в его-то годы в одиночку не сладить с делом. Словом, все это наводило тоску, и оба парня, как видно, утратили душевную бодрость.

Но счастью, в других местах старики вели иные речи и говорили с молодыми волонтерами лишь об отечестве и свободе.

А как только появился юре Кристоф, эхо донесло возгласы «Да здравствует нация!» до Фальберга и Черной лощины! Казалось, будто древние горы ожили и вторят

нам, простирая свои дубовые и еловые длани, будто заодно с нами вершина переключается с вершиной.

Кюре Кристоф привел люцельбургских волонтеров; принял он также и ради того, чтобы благословить наши знамена. Я заметил и узнал его издали; когда он еще спускался по тропинке, вьющейся по Бишельбергским скалам, и вел за руку моего братца Этьена. некогда мне было навестить бедного мальчугана, поцеловать на прощанье, и он сам,ковыляя, добрался сюда.

И вот, под громовые возгласы, я спустился к Зинальскому мосту. Было около одиннадцати часов; здесь, в долине, стояла такая невыносимая жара и было до того душно, что несметное множество мошкеры падало в воду, и река поблескивала от чешуи рыбешек, охотившихся за добычей, а в тени их, сверкая, точно молнии, сновали форели. Встретились мы на горбатом мосту, и господин Кристоф, по лицу которого градом катился пот, протянул мне свои спальные руки со словами:

— Я доволен тобою, Мишель. Знаю, знаю о твоём счастье — ты его заслужил.

А потом Этьен бросился в мои объятия, и мы все вместе подвылись к дому лесничего, где собрался военный совет общины. Этьен побежал к Маргарите и отцу, торопясь обнять их. Шовель и дядюшка Жан вместе с мэрами селений приняли пожать руку господину кюре.

Всего волонтеров из окрестностей Пфальцбурга собралось сотен пять-шесть — не хватало пока лишь волонтеров из высокогорных деревень. Но не успели мы собраться, как издали раздалась дробь барабана, и все закричало:

— Вот они!

Горцы пришли последними — путь их был длиннее нашего на пять лье. Это были дровосеки, угольщики, возчики дров на санках, славяцкие леса — все как на подбор крепкие, веселые парни. Они уже выбрали предводителя — башмачника, мастеровинного сабо, Клода Гюллена *, того самого, который впоследствии, в 1814 году, отчаянно отбивался от союзников. Среди них был и развесчик Марк Дивес в огромной войлочной шляпе, холщовых штанах, босой, с самшитовой палкой и в короткой блузе, подпоясанной пейным платком; за пол-лье слышно было, как он зовет отстающих, то говорит, то кричит, то подражает кукушке и зеленому дятлу; вот он стремительно завертел

длинной дубинкой, а вот он вброд переходит реку, чтобы срезать путь через обширный луг, а вода тут выше колен. Все следуют его примеру, и как это всех освежает — лучше не придумаешь!

И вот после прибытия Гюллена и его сотоварищей, Жан Ра и оба сына Леже, записанные барабанистами, начали выбивать дробь, и все поняли, что решительная минута наступает.

Тем, кому доводилось идти от Пфальцбурга до деревни Малые Камни, знакома огромная скалистая глыба, что вздымается посреди луга слева от дороги. Непонятно, как она очутилась тут? Наверное, скала скатилась сверху, но когда? Никому не ведомо. Вероятно, это случилось в незапамятные времена! И вот на этой каменной глыбе, окруженной волонтерами и толпой людей, сбегавшихся из города и деревень, в глубокой тишине кюре Кристоф благословил наши знамена, напомнив нам о наших обязанностях воинов-христиан. У каждого селения было свое знамя, их сложили пирамдой, и он, воздев руки, благословил их: благословил по церковному обычаю, произнося слова по-латыни.

И тотчас же велел за ним за тот же камень поднялся Шовель — член муниципалитета и председатель клуба. Он велел поднять к нему батальонное знамя — огромное трехцветное знамя с красным вязаным колпаком — колпаком крестьянина на конце древка. И, воздев руки, он благословил его, как должно по конституции, произнося такие слова:

— Старинный колпак французского крестьянина, веками клонившийся к земле, колпак, пропитанный потом наших многострадальных отцов, колпак раба, тысячу лет подираемый сеньором и князьями церкви, воспрянь! Иди вперед, среди сражений!.. Да пронесут тебя сквозь штыки наших врагов дети и внуки тех, кто носил тебя в рабстве!.. Пусть они держат тебя высоко, пусть никогда не дадут тебе склониться снова! И да послужишь ты утешением для тех, кто хочет вновь закабалить народ. Пусть один вид твой приведет их в содрогание и пусть потомки узнают, что стойкость, отвага, доблесть твоих защитников вознесли тебя из величайшего унижения до высочайшей славы.

И Шовель, бледный как полотно, обернулся к тем, кто с дрожью волнения внимал ему, и громко сказал:

— Волонтеры, дети народа! Поклянитесь защищать до самой смерти это знамя... знамя, которое воплощает для вас отечество и свободу, знамя, которое напоминает вам о страданиях ваших предков. Клянетесь ли вы? Отвечайте!

И раздался слитный возглас, подобный раскату грома:
— Клянемся!

— Хорошо! — сказал тогда Шовель. — Я принимаю вашу присягу от имени родины. Родина полагается на вас и всех вас благословляет!

Он произнес это просто, но с силою; голос его разносился далеко, и каждый его слышал.

Затем Шовель спустился с каменной глыбы. И почти тотчас же большинство провожающих — остались только близкие родственники волонтеров — разошлись, направляясь в свои деревни, потому что со стороны деревни Малье Кампи надвигалась огромная свинцовая туча, а жара стояла такая, что все ждали — вот-вот хлынет ливень.

Шовель велел бить сбор, и, когда мы окружили его, Жана Леру и мэров общины, он нам объявил, что по постановлению Законодательного собрания, прибыв в лагерь, мы сами выберем офицеров и унтер-офицеров; но что пока нам не мешает избрать начальника, который должен наблюдать за порядком во время похода, находить жилище для постоа, назначать час выступления и тому подобное. Он советовал нам кого-нибудь выбрать, и мы тотчас же так и сделали. Горцы выбрали башмачника Гюллена.

— Гюллена! — раздался единодушный крик.

Все повторили это имя, и Гюллен стал нашим вожак-ком до прибытия в Риксгеймский лагерь. Дел у него было пока немного: потрансливать нас да на привалах ходить в мэрию — хлопотать о нашем постоа и прощании.

Ну, а сейчас пора рассказать вам о том, как настала для нас разлука. Небо становилось все темнее; все громче шумел лес — как бывает перед грозой, когда листья на деревьях дрожат, хотя ветра и нет. И вот около полудня Гюллен, который о чем-то толковал с мэрами, спустился на дорогу и велел бить сбор. И тут все поняли, что уж на этот раз мы двинемся в поход. Мэры, Шовель, кюре Кристоф, мой батюшка и все остальные спустились на дорогу, к подножию холма. На миг я задержал взгляд на Маргарите, словно стараясь запечатлеть ее черты в своем

сердце на все эти три года так, словно видел ее в последний раз. Она тоже смотрела на меня с тоскою в глазах. Я сжимал ее руку и чувствовал, что она старается меня удержать.

— Ну что ж, — сказал я, — прощаемся!

И я поцеловал ее; она побледнела и не вымолвила ни слова. Я поднял ранец, лежавший в зарослях вереска, и застегнул его. К нам подошли Шовель, батюшка, Этьен и крестный Жан. Мы обнялись. Я отдал отцу свое жалованье — восемьдесят ливров — для уплаты за Этьена в Лютцельбургскую школу, а обнимая крестного, почувствовал, как он что-то опустил в карман моей куртки: оказалось — два лундора, которые впоследствии сослужили мне немалую службу.

Пора было уходить, иначе и меня, пожалуй, оставило бы самообладание. Я взял ружье, повторяя:

— Прощайте!.. Прощайте все!.. Прощайте!

И тут Маргарита крикнула:

— Мишель! — И голос у нее был такой, что вся душа у меня перевернулась. Я бросился к ней — она плакала. Я попытался ее утешить:

— Полно, Маргарита, будь мужественной: ведь это приказ отечества!

Люди вокруг нас плакали; на женщин жалко было смотреть. Вся кровь отлила у меня от сердца.

Но Маргарита взяла себя в руки и промолвила, крепко обняв меня:

— Защищайся стойко!

Я бежал на дорогу, так больше ничего не сказав остальным, даже ни разу не оглянулся.

Почти все волонтеры уже спустились вниз на дорогу; подошли и запоздавшие. И вот мы двинулись по три, по четыре человека в ряд — как стояли.

Уже с неба падали крупные капли, приятно пахло нагретой пылью, прибитой дождем, а когда мы повернули за крутой изгиб, который делает дорога, поднимаясь к деревне Малые Камни, сверкнула молния и вслед за ней хлынул проливной дождь. Сильная гроза прошла стороной, она бушевала за грядою гор, в Саверне, в Эльзасе; но дождь, ливший как из ведра, нас освежил.

В три часа того же дня мы прошли, не останавливаясь, через деревню Малые Камни. Привал мы устроили в трех-

четырёх лье дальше, в самом лесу, близ больших стеклодувных мастерских.

Я промечтал всю дорогу и даже ни разу не взглянул на своих спутников; совсем иные мысли теснились у меня в голове. Но вот когда мы расположились в каком-то большом крытом строении без стен, где для нас развели огонь, а здешние жители снабдили нас хлебом и пивом, Марк Дивес, сидевший рядом со мной, положил мне руку на плечо и заметил:

— Тяжело, Мишель, родной край покидать!

Тут я взглянул на него, обрадовался, признав знакомого, но промолчал: не до разговоров нам было. Мы перекусили, осушили кружки и, подложив под голову солдатские котомки, растянулись на земле где попало между столбами, подпиравшими кровлю просторного строения.

Как счастливы люди молодые — спят себе и на время забывают все горести; старикам же это не дано.

А рано поутру Гюллен уже кричал:

— В поход, товарищи, в поход!

Все уже были на ногах, застегивая свои котомки. За ночь выпала сильная роса, крупные капли свисали с черепиц, и бывалые солдаты, прежде чем перекинуть ружье через плечо, обвязывали кремневый замок платком.

Мы уже готовились выступить, когда с правой стороны от нас, из ущелья, вдруг появилась длинная вереница конных волонтеров, завербованных в департаменте Нижнего Рейна. То были национальные драгуны, как их в ту пору называли, — сыновья зажиточных крестьян, пивоваров, почтмейстеров, мясников, фермеров — словом, все это были люди с достатком и ехали на своих лошадах, не считая трех-четырех оставших солдат в старых мундирах эльзасцев. На одном из них еще была огромная треуголка и высокие сапоги, подбитые блестящими гвоздями, на другом — красный жилет, кургузая куртка и шапка с лисьим хвостом, длинные холщовые гетры на кожаных пуговицах. Признать в них драгуны можно было только по длинным саблям в кожаных ножнах с большой чашкой эфеса, лезвием, шириною в три пальца, что свисала у них с пояса и, раскачиваясь, со звоном била о стремя.

Таких красивых ребят да ловких всадников и не сыскать было во всем свете; вид у всех был веселый и решительный.

По приказу начальника, который заметил нас под павесом, они выхватили из ножен сабли и дружно запели песню — никто из нас ее еще не знал*, но скоро нам суждено было услышать ее на поле битвы.

Вперед, защитники отчизны!
День достославный наступил.

Кстати прозвучала эта песня! Мы просто вне себя были от восторга! Бесперывно раздавались возгласы: «Да здравствует нация!»

Когда эльзасцы проезжали мимо стеклодувных мастерских, выпли хозяин вместе с женой и дочерью и стали просить волонтеров остановиться. Мы столпились вокруг, удерживали лошадей за поводья, всадников хватали за руки, кричали:



— Побратаемся, доблестные эльзасцы, побратаемся! Спешитесь! Да здравствует нация!

Но начальник — статный парень, футов шести ростом, объявил, что им приказано прибыть в Саарбрюккен иначе же. И они с песней поскакали дальше.

Нет, не передать, какой душевный подъем почувствовали мы, услышав эту песню! Она словно взывала: отечество в опасности! И когда мы двинулись в путь, у каждого из нас словно прибавилось мужества. В душе моей звучало:

«Теперь все пойдет хорошо: с нами та песня, которой Шовель мечтал заменить «Карманьолу», — величественная, могучая, как сам народ».

Еще помнится мне, как все веколыхнулось в горных деревушках и селках; со всех сторон раздавался гул набата; на каждом перекрестке дороги сходились вереницы



волонтеров, неся на палке узелок с одеждой. Они полны были жизни и кричали нам:

— Победить или умереть!

Мы дружно отвечали, и тотчас же к нам присоединялись отряды, которые шли поодаль, проселками — вереница волонтеров иногда растягивалась на пол-лье. Весь край был в боевой готовности: когда дело идет о защите жизненных интересов народа, рать словно из-под земли появляется.

И вот мы пришли в городок Витш; все улицы, площади и харчевни были до того забиты народом, что нам пришлось расположиться за городом, среди садов и лугов, вместе с отрядами волонтеров из других селений. Только Гюлен отправился в город — заявить о нашем прибытии и получить провiant.

Я же тем временем рассматривал старинный городок — полуфранцузский, полу немецкий — точь-в-точь Саверн, и крепость, стоящую на вершине горы, куда ведут тропинки и подземные ходы футов на шесть вверх. Оттуда, с высоты, в двух-трех лье от долины, глядят на тебя жерла пушек. Я заметил на крепостной стене красные мундиры многострадавших солдат Шатовьесского полка; они поклялись стоять на смерть — до последнего солдата, но крепости не сдавать. И храбрые солдаты слово свое сдержали, меж тем как их палач, маркиз де Буйе, указывал пруссакам дорогу во Францию.

В Витше нам в первый раз выдали военное снаряжение, и мы оттуда отправились прямо в лагерь — в Риксгейм, который находится между Виссенбургом и Ландау.

Весь день пришлось шагать без отдыха по солончаку — леса уже остались позади, и только порою, когда мы шли вдоль фруктовых садов, попадалась реденькая тень. Множество других пеших и конных отрядов справа и слева двигались в том же направлении.

Вереницами тянулись повозки с вином и провiantом — ничего иного мы и не видели. Пыль стояла столбом; вот было бы отрадно, если б хлынул сильный ливень — как накануне!

В Риксгейм мы пришли в девятом часу вечера. Все волонтеры, расквартированные там, ликовали: оказалось, наша кавалерия утром побывала в первой стычке, и наши

национальные драгуны опрокинули гусаров Эбенского полка и драгунов из Любговица, которые, под началом офицеров-эмигрантов, намеревались отрезать от нас обоз с провиантом по дороге в Ландау. Жаркое завязалось дело. Атакой руководил Кюстин*.

С особенным душевным волнением рассказывали нам люди в деревне Риксгейм о юном барабанщике из Страсбургского стрелкового батальона волонтеров, о мальчугане, который первым издали заметил на дороге гусаров Эбенского полка и начал бить сбор. Какой-то гусар отрубил ему на скаку кисть правой руки, но бедный мальчишка все бил и бил в барабал левой рукой. Этого гусара следовало бы швырнуть под копыта лошадям!

Вот так на нас надвигалась война!

Ну, а теперь пора передохнуть. К тому же мне придется побывать в горах — проведать двух старых товарищей, оставшихся в живых, и с их помощью кое-что восстановить в памяти. А поэтому, друзья мои, пока поставим точку. Первая республиканская война стоит того, чтоб все хорошенько обдумать, а потом уж и повести о ней рассказ. Да и такое множество великих событий одновременно происходило в те дни, что надо все привести в порядок, собрать старые бумаги да написать только о том, что честные люди сочтут истинным и достоверным.

Итак, если господь бог сохранит мне здоровье, ждать этого недолго.

Конец второй части

КОММЕНТАРИИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Генеральные штаты

Стр. 23. *Пресо* — местный судья в дореволюционной Франции.

Стр. 24. *Флорин* — монета, сначала итальянская (флорентийская), затем германская и французская. Отсюда произошел потом золотой гульден.

Реваль — единица для измерения зерна, которая применялась в средние века в Эльзасе и Лотарингии.

Пфенниг — германская мелкая монета (из меди и никеля); в конце XIX века равнялась одной сотой имперской марки.

Су — французская мелкая монета (из меди и железа); с 1793 года равна пяти сантимам (одна двадцатая франка); чеканился и серебряный су.

Стр. 25. *Вальи* — окружной судья в дореволюционной Франции.

Сенешал — представитель местной судебной власти в дореволюционной Франции.

Стр. 26. *Карл III, герцог Лотарингский* (1543—1608) — правил страной с 1545 по 1608 год. При нем города Мец, Туль и Верден были присоединены к Франции. В период Тридцатилетней войны (1618—1648) вся Лотарингия подпала под власть Франции, но в 1697 году герцогство Лотарингия было восстановлено.

Аугсбургское исповедание — изложение основ лютеранской религии, составленное Меланхтоном (в двадцати восьми статьях) и представленное императору Карлу V на заседании рейхстага в Аугсбурге в 1530 году. Оно отличалось в некоторых отношениях от первоначальных взглядов Лютера и свидетельствовало о его стремлении к компромиссу с католицизмом для совместной борьбы против сторонников более радикальных религиозных течений. Император и рейхстаг отвергли «Аугсбургское исповедание». Следствием этого явилась длительная борьба между протестантскими и католическими князьями Германии. Она завершилась Аугсбургским религиозным миром, заключенным 25 сентября 1555 года. По условиям этого мира князья получили

право определять вероисповедание своих подданных (по принципу «чья страна, того и вера»). Люди, несогласные с этим положением, должны были переселиться в другие княжества. С этого момента лютеранство было — наряду с католицизмом — признано официальным вероисповеданием.

Стр. 29. *Стапислав* — Станислав I Лещинский (1677—1766), король Польши (с 1704 до 1714 г. и с 1733 до 1736 г.). По Венскому договору 1738 года должен был отречься от польского престола и удовольствоваться Лотарингией, переданной ему в пожизненное владение. После смерти Станислава вся Лотарингия была присоединена к Франции в качестве особой провинции.

Стр. 30. *Росан Луи-Рош-Эдуар*, князь де (1734—1803) — французский придворный вельможа и пролат, великий духовник (с 1777 г.), кардинал (с 1778 г.), епископ Страсбургский (с 1779 г.). Был обвинен парламентом в крупных спекуляциях. Замешан в скандальном деле об «Ожерелье королевы» (1785—1786). Оправдан, но переведен в провинцию (в Савери). В 1789 году был избран депутатом Генеральных штатов. В начале революции эмигрировал.

Однако ж никому из них не суждено было стать офицером. — По постановлению королевского совета от 22 мая 1781 года к занятию офицерских должностей во французской армии допускались лишь лица, которые могли документально доказать свое дворянское происхождение в четвертом поколении.

Семилетняя война (1756—1763) была вызвана агрессивной политикой прусского короля Фридриха II, стремившегося захватить промышленно развитую Саксонию. Пруссию поддерживала Англия. Франция, вражда которой к Англии на почве колониального соперничества резко обострилась к этому времени, заключила союз с Австрией, добивавшейся возвращения богатой провинции Силезия, захваченной Фридрихом II в 1740 году. На сторону Австрии и Франции стала Россия, стремившаяся остановить далеко идущие завоевательные планы Пруссии. К коалиции Австрии, Франции и России присоединились Швеция и Саксония. Сначала война шла успешно для Пруссии. В 1756 году пруссаки нанесли на Саксонию и принудили ее к капитуляции. В 1757 году французская армия потерпела сокрушительное поражение при Россбахе, а австрийцы были разбиты при Лейтене. Но в том же году русские войска нанесли поражение пруссакам при Гросс-Егерсдорфе. 12 августа 1759 года прусская армия была поголовно разбита при Кунерсдорфе. В 1760 году русские войска заняли Берлин. Только разногласия между союзниками и вступление на престол Петра III, поклонника прусской военной

системы, спасли Пруссию от гибели. Петр III тотчас же отозвал русские войска из Пруссии и заключил мир с Фридрихом II. В 1763 году Австрия и Франция заключили мир с Пруссией. В том же году был подписан мир между Англией, Францией и Испанией.

Стр. 31. *Политехническая школа.* — Политехническая школа была учреждена по постановлению Конвента от 11 марта 1794 года (сначала она получила название Центральной школы общественных работ). Открылась 30 ноября 1794 года, с 1 сентября 1795 года стала называться Политехнической школой. Учащиеся принимались по конкурсу, обеспечивались стипендией. Школа помещалась в Бурбонском дворце; в ней имелись физический кабинет, химические лаборатории, минералогическая коллекция и библиотека. Среди преподавателей были выдающиеся математики Лагранж и Монж, видные химики Бертолле, Гитон-Морво, Шанталь, Фуркруа. Политехническая школа выпустила большое количество видных математиков, физико-химиков, инженеров. Большинство учащихся были выходцами из мелкой и средней буржуазии; по своим политическим взглядам они принадлежали к республиканцам, резко отрицательно относились к аристократическому режиму монархии Бурбонов и приняли активное участие в июльской революции 1830 года, а затем в февральской революции 1848 года.

Стр. 32. *Солдаты Конде.* — Речь идет о солдатах контрреволюционной армии, сформированной в 1791—1792 годах французскими дворянами-эмигрантами в западногерманском городе Кобленце для борьбы против революции. Во главе этой армии был поставлен член диванции Бурбонов принц Луп-Анри Жозеф де Конде (1756—1830). Армия Конде насчитывала около пятнадцати тысяч человек, главный штаб ее состоял из восьмисот офицеров-аристократов. В августе 1792 года армия Конде вторглась во Францию вместе с австро-прусскими войсками, которыми командовал герцог Брауншвейгский, открыто заявивший в своем манифесте от 25 июля, что целью этого похода является восстановление во Франции дореволюционных порядков. Патриотический подъем народных масс и революционных войск спас Францию от гибели.

Стр. 33. *...вспоминали о кровопролитной войне между Швецией, Францией и Лотарингией.* — Имеются в виду события Тридцатилетней войны, в ходе которой шведские войска захватили Лотарингию и подвергли ее полному опустошению в 1645 году.

Стр. 45. *Руссо Жан-Жак (1712—1778)* — знаменитый француз-

ский писатель и философ, идеолог мелкой буржуазии. В трактате «О происхождении неравенства среди людей» он доказывал, что источником всех бед, от которых страдает общество, является частная собственность; но, не будучи сторонником отмены частной собственности, он высказывался лишь за ограничение ее размеров, за устранение крайностей богатства и бедности (он считал, что эти крайности нарушают «естественные права человека»). Политические взгляды Руссо отражены в его книге «Об общественном договоре», где обосновывается положение, что источником верховной власти является народная воля, доказывается, что лучшая форма правления — демократическая республика, и защищается право народа на восстание против угнетателей. Во время французской революции учение Руссо пользовалось большой популярностью среди якобинцев.

Вольтер Франсуа-Мари Аруэ (1694—1778) — знаменитый французский писатель, публицист, историк и философ, один из самых выдающихся представителей просветительской идеологии. Особенно широкую известность получили его произведения «Опыт о правах и духе народов», «Трактат о веротерпимости», «Философский словарь», «Истории Карла XII», «Орлеанская девственница». Яркий враг католической церкви, Вольтер вел неутомимую борьбу с религиозным фанатизмом, но вместе с тем считал необходимым сохранение религии как средства держать народные массы в подчинении у представителей власти. Идеолог буржуазии, Вольтер нападал на феодальные порядки и требовал освобождения крестьян от крепостной зависимости. Столбик «просвещенного абсолютизма», он высказывался иногда за конституционную монархию. Оказал огромное влияние на умы современников и на развитие свободомыслия в последующее время.

Рейналь Гийом-Тома-Франсуа (1713—1796) — французский философ-просветитель и историк. Самое значительное из его произведений — «Философская и политическая история учреждений и торговли европейцев в обеих Индиях» (за короткое время книга выдержала двадцать изданий). Парижский парламент приказал сжечь ее. Во время якобинской диктатуры Рейналь подвергался нападкам за выступления против нее.

Гельвеций Клод-Адриан (1715—1771) — видный французский философ-материалист. В своем труде «Об уме» резко выступал против католической церкви как оплота феодализма. Книга была запрещена и сожжена. Другой труд Гельвеция — «О человеке, его умственных способностях и его воспитании» — был издан уже после смерти автора. В качестве идеолога буржуазии Гельвеций считал частную собственность необходимой основой общества.

Взгляды Гельвеция оказали большое влияние на идейную подготовку французской революции.

Стр. 47. *Вашингтон Джордж* (1732—1799) — видный американский государственный деятель, главнокомандующий армией североамериканских колоний во время войны за их независимость (1775—1783). Проявил на этом посту большое мужество и большие военные способности. Пользовался широкой популярностью среди буржуазии и плантаторов. В 1789 году был избран первым президентом США, пробыл на этом посту восемь лет. Его именем названа столица США — Вашингтон.

...американцы подняли восстание... — Речь идет о войне за независимость тринадцати английских колоний в Северной Америке, закончившейся их освобождением от экономического и политического гнета со стороны английской буржуазии и английского правительства и образованием Соединенных Штатов Америки. Прогрессивные люди многих европейских стран горячо приветствовали восстание американских колонистов. Некоторые европейские государства (Франция, Испания), находившиеся во враждебных отношениях с Англией, оказали материальную и военную помощь американцам против англичан. Американская революция оказала влияние на развитие революционной борьбы против феодально-абсолютистских порядков во Франции.

Фридрих II (1712—1786) — прусский король (1740—1786) — типичный представитель «просвещенного абсолютизма», защищавший интересы помещиков-феодалов, но вместе с тем поощрявший развитие промышленности и торговли. Свою деспотическую внутреннюю политику прикрывал покровительством философам (одно время при его дворе жил Вольтер, впоследствии порвавший с ним). Вел захватнические войны против Австрии (присоединение Силезии), в Семилетней войне потерял ряд сокрушительных поражений, участвовал в первом разделе Польши (1772). Являлся одним из зачинателей прусской милитаристской системы.

Стр. 48. *Субиз Шарль де Роган, князь де* (1715—1787) — приближенный Людовика XV, ставленник его фавориток — Помпадур и Дюбарри; бездарный военачальник.

Росбах — деревня в Саксонии, где союзная австро-французская армия была наголову разбита прусскими войсками (5 ноября 1757 г.).

Стр. 62. *Нантский эдикт* о веротерпимости, данный в 1598 году Генрихом IV для умиротворения страны, допускал протестантское богослужение в городах (кроме Паризжа) и в замках дворян-гугенотов, закрепил за гугенотами (в качестве залога) ряд крепо-

стей (Ла-Рошель, Сомир, Монтобан и др.), разрешал им соби- раться раз в три года для решения своих общих дел. В 1685 го- ду Нантский эдикт был отменен Людовиком XIV. Это привело к изгнанию из Франции нескольких сот тысяч гугенотов, в том числе большого количества ремесленников и предпринимателей, перебравшихся в Англию, в Голландию, в Пруссию и в некото- рые другие страны и переносивших туда свои капиталы.

Стр. 66. *Вальми* — село в департаменте Марна (северо-восточ- ная Франция), где 20 сентября 1792 года войска революционной Франции, состоявшие большей частью из молодых добровольцев, одержали решительную победу над австро-прусскими интервен- тами и отрядами французских дворян-эмигрантов, продвигавши- мися к Парижу. Французскими войсками командовали генералы Келлерман и Дюмурье; во главе армии интервантов стоял гер- цог Брауншвейгский; в походе участвовал и прусский король Фридрих-Вильгельм II. Сражение при Вальми явилось перелом- ным моментом в ходе кампании 1792 года. Память о нем, как показали позднейшие события (партизанские отряды и патриот- ческие подпольные комитеты Вальми в 1940—1944 гг.), навсегда сохранилась во французском народе.

Старая гвардия. — Имеется в виду императорская гвардия, реорганизованная Наполеоном I из консульской гвардии через несколько месяцев после провозглашении империи (по декрету от 29 июля 1804 г.). Она насчитывала десять тысяч человек и состояла из резервных частей. В 1809 году была создана Моло- дая гвардия, предназначавшаяся для участия в боевых действи- ях. Накануне похода 1812 года в Россию Старая гвардия состояла из двадцати двух пехотных и семи кавалерийских полков, три- надцати артиллерийских рот, инженерных и транспортных ча- стей и насчитывала в общем шестьдесят тысяч человек. После реставрации Бурбонов в 1814 году Старая гвардия была распу- щена, а ее людской состав включен в королевскую армию (один батальон гренадер, один польский эскадрон и один морской экипаж сопровождали Наполеона на остров Эльбу). После битвы при Ватерлоо (18 июня 1815 г.) и вторичного отречения Наполео- на Старая гвардия была сокращена, а в 1830 г. распущена.

Стр. 70. *Провинции с выборными чинами.* — В средние века некоторые французские провинции имели обыкновенно выделять доверенных лиц для взимания чрезвычайных налогов (субсидий на войну). В 1355 году Генеральные штаты назначили для этого выборных людей; в 1630 году правительство превратило этих вы- борных лиц в чиновников. Наряду с такими провинциями, где взимание чрезвычайных налогов производилось выборными, су-

пестествовали провинции, где этим делом занимались провинциальные штаты. К 1789 году из общего числа тридцати трех генерал-губернаторств Франции и двадцати существовала система выборов лиц; в шести — система штатов.

Стр. 74 *Неккер Жак* (1732—1804) — французский политический деятель и публицист, крупный банкир (родом из Швейцарии). В 1777 году был назначен главой финансового ведомства Франции. Попытался улучшить состояние государственных финансов путем экономии расходов. В 1781 году опубликовал отчет о состоянии финансов. Был за это уволен в отставку. В 1788 году снова был поставлен во главе ведомства финансов, но в июле 1789 года вновь смещен. После восстания 14 июля король вынужден был восстановить Неккера на его прежнем посту. В 1790 году Неккер подал в отставку и возвратился в Швейцарию.

Рошамбо Жан-Батист, граф де (1725—1807) — французский маршал, командовал экспедиционным корпусом, посланным на помощь североамериканским колонистам, восставшим против Англии. В начале революции командовал Северной армией; после ее поражения при Кловерене был заменен маршалом Люксером (в мае 1792 г.). В период якобинской диктатуры был арестован, после переворота 9 термидора освобожден.

Лафайет Мари-Жозеф-Поль-Рок-Ив-Жильбер Мотье, маркиз де (1757—1834) — французский политический деятель и генерал французской армии. В молодости участвовал в войне за независимость североамериканских колоний, командовал отрядом в армии Вашингтона. Был одним из вождей умеренных либералов в Учредительном собрании, главнокомандующим национальной гвардией. В июле 1791 года руководил на Марсовом поле расстрелом демонстрантов, требовавших низложения Людовика XVI. Летом 1792 года бежал из Франции, был схвачен австрийцами и заключен в крепость. После крушения наполеоновской империи возвратился во Францию и стал одним из лидеров либеральной партии. Во время июльской революции 1830 года способствовал переходу власти в руки герцога Орлеанского, ставшего королем под именем Луи-Филиппа.

Стр. 75. *Граф d'Артуа Шарль* (1757—1836) — младший брат короля Людовика XVI. Яркий реакционер, он бежал из Франции через два дня после падения Бастилии. Возглавлял французскую контрреволюционную эмиграцию. В 1814 году возвратился во Францию. Стоял во главе партии ультра-роялистов, добивавшихся восстановления дореволюционных порядков. После смерти Людовика XVIII стал королем под именем Карла X. Проводил политику крайней реакции. Июльская революция 1830 года свергла

династию Бурбонов, выражавшую интересы крупных помещиков аристократического происхождения. Карл X бежал в Англию, а оттуда в Австрию, где и умер.

Тюрго Анн-Робер Жак, барон де л'Он (1727—1781) — французский философ-просветитель и государственный деятель. Будучи интендантом Лимузена, провел ряд прогрессивных реформ, способствовавших экономическому и культурному подъему этой провинции. В 1774 году был назначен генеральным контролером финансов, наметил программу реформ, направленных против феодальных порядков (частичная отмена цеховой системы и некоторых крестьянских повинностей), пытался сократить расходы на двор. Политика Тюрго вызывала сильное недовольство среди придворной аристократии, и в 1776 году он был смещен.

Стр. 76. *Морена* Жак-Фредерик Фелиппо, граф де (1701—1781) — французский государственный деятель, занимал должности министра двора, морского министра, государственного министра. Был уволен в отставку в 1749 году за эпиграмму на маркизу Помпадур. При Людовике XVI был назначен председателем совета министров (без портфеля). Он способствовал отстранению от власти министров Мопу и Терра, возбудивших против себя всеобщее недовольство в стране. Содействовал назначению Тюрго, но не поддерживал его реформы, вызвавшие сопротивление придворной знати.

Стр. 99. *Калонн* Шарль-Александр де (1734—1802) — французский государственный деятель, прокурор и интендант, в 1783—1787 годах занимал пост генерального контролера финансов. Разработал ряд реформ, предусматривавших введение свободной торговли зерном, замену дорожной повинности денежным налогом и т. п. Вместе с тем он усилил налоги, ложившиеся на крестьянскую бедноту. Парижский парламент отказался утвердить реформы, разработанные Калонном. В конце 1789 года он переехал в Турин, к графу д'Артуа и стал фактически главным руководителем эмиграции, предоставив в ее распоряжение все свои средства. В 1792 году уехал в Англию. После перехода власти в руки Наполеона вернулся во Францию.

«Савойский викарий» — точнее *«Исповедь веры савойского викария»* — четвертая часть педагогического романа Ж.-Ж. Руссо *«Эмиль, или О воспитании»* (1762), в котором излагаются взгляды философа на принципы воспитания детей (вне влияния семьи). Свои взгляды Руссо вложил в уста гувернера героя романа (Эмиля), которому их внушил некий савойский священник. За религиозное вольнодумство и «безнравственность» Парижский парламент приговорил роман к сожжению; автор был осужден на

тюремное заключение. Чтобы избежать ареста, Руссо уехал в Швейцарию. Однако правительство Женевского кантона создало «Эмпию» и издало приказ об аресте автора. Власти кантона Ваадт, где Руссо искал убежища, приказали ему выехать. Он нашел убежище в княжестве Невшатель, находившемся под властью прусского короля.

Бенефиции — пожизненное пожалование (преимущественно земельным участком и сидениями на нем крестьянами), в странах Западной Европы в средние века; бенефиции раздавались за выполнение какой-либо административной или военной службы. Бенефициария приносили сюзерену присягу верности; их дети, возобновляя службу, становились вассалами сеньора. Впоследствии пожизненное пожалование превратилось в наследственную фамильную собственность (леи).

Стр. 102. *Собрание нотаблей* (вместитых людей всех трех сословий) во Франции, назначавшихся королевской властью, созывалось в моменты острого политического кризиса и имело чисто совещательные права. Впервые собрание нотаблей было созвано в 1470 году. С 1626—1627 годов собрания нотаблей не созывались почти до самого конца XVIII века. Заседавшее в 1787 году собрание нотаблей отвергло предложение правительства о распространении налогов на все сословия. Собрание нотаблей 1788 года обсуждало вопрос о порядке голосования в будущих Генеральных штатах. Нотабли отказались утвердить предложение правительства о двойном представительстве третьего сословия (600 депутатов) по сравнению с количеством депутатов от духовенства (300) и от дворянства (300).

Стр. 104. *Де Бриенн* Жюзеф-Этьен-Шарль (1727—1794) — французский государственный деятель, архиепископ тулузский, позже кардинал, в 1787—1788 годах занимал пост генерального контролера финансов. Вел борьбу с Парижским парламентом, отказывавшимся зарегистрировать королевский указ о новых налогах. Произведенная по распоряжению Жюзефа де Бриенна высылка членов парламента в Труа привела к волнениям в Париже. Вступив на путь компромисса, Жюзеф де Бриенн добился согласия короля созвать в 1789 году Генеральные штаты при условии получения от них разрешения на заем, погашаемый в течение пяти лет. Парламент отказался зарегистрировать этот королевский указ. В августе 1788 года Жюзеф де Бриенн был смещен. В период якобинской диктатуры он был арестован и умер в тюрьме.

Стр. 105. *Так началась революция...* — Союз Генеральных штатов свидетельствовал о кризисе верхов. Однако началом

революции следует считать не день открытия Генеральных штатов (5 мая 1789 г.), а день народного восстания и взятия Бастилии (14 июля 1789 г.).

Заявление Парижского парламента. — Имеется в виду решение, принятое 3 мая 1788 года Парижским парламентом, потребовавшим отмены внесудебных арестов (леттр де каше) и созвва Генеральных штатов. В ответ на эти и другие оппозиционные действия парламента правительство предприняло полную реорганизацию судебной системы: вместо существовавших двенадцати парламентов (по количеству судебных округов) предполагалось создать сорок семь апелляционных трибуналов и общую палату из числа крупнейших феодалов. Но при поддержке населения парламенты продолжали оказывать сопротивление действиям королевской власти, и реформа, задуманная правительством, потерпела неудачу. Парламенты были восстановлены. Но популярность Парижского парламента сошла на нет после того, как 23 сентября 1788 года он высказался против двойного представительства депутатов третьего сословия в Генеральных штатах. И все же оппозиционные выступления парламентов (так называемая «революция привилегированных») сыграли определенную роль в образовании революционной ситуации во Франции в 1789 году, обнаружив наличие в стране кризиса верхов.

Стр. 106. *«Пакт голодовки», «Общество голодовки»* — так называли во французском народе в конце XVIII века компанию крупных хлеботорговцев во главе с Малиссе, заключившим в 1765 году с правительством договор о снабжении хлебом Парижа на двенадцать лет. Продовольственный кризис ряда последующих лет дал повод к обвинению Малиссе и его трех компаньонов в злостных махинациях с целью наживы и создании голодовки. В 1773 году генеральный контролер аббат Террэ предписал подвергать аресту лиц, распространяющих слухи о том, что существует монопольная компания, скупающая хлеб и придерживающая его с целью продажи по повышенным ценам. Однако агенты самого Террэ плаживали крупные состояния путем злоупотреблений как при покупке, так и при продаже хлеба. Факт вывоза излишне закупленного хлеба за границу (например, отправка трех кораблей с хлебом в Англию в 1774 г.) дал повод для слухов, что правительство и сам король участвуют в деятельности Общества голодовки, организованного для спекуляции на голоде народных масс. Увольнение в отставку Террэ после смерти Людовика XV было встречено в народе с большим удовлетворением.

Максимум — система твердых цен на продукты питания и

предметы первой необходимости, а также твердых ставок заработной платы рабочих, установленная во Франции во время буржуазной революции XVIII века. По требованию народных масс, жестоко страдавших от дороговизны, вызванной обесценением денег и блокадой Франции, Конвент принял 4 мая 1793 года закон о твердых ценах на зерно; 11 сентября 1793 года были установлены единые цены на зерно, муку и фураж, 29 сентября — на другие предметы первой необходимости и на промышленное сырье. Тот же закон предусматривал максимум на заработную плату рабочих. Законы о максимуме цен, проводившиеся с большой строгостью, ограждали в известной мере интересы немущих слоев населения от произвола спекулянтов, но таксация заработной платы противоречила интересам трудящихся. 20 марта 1794 года был принят закон, почти вдвое повышавший цены на продукты питания и первой необходимости (при сохранении прежнего уровня заработной платы). 23 июля были снижены ставки заработной платы. После крушения якобинской диктатуры система максимальных цен была по требованию крупной буржуазии отменена.

... в 1817 — в год дороговизны. — Осенью и зимой 1816 года и весной 1817 года в результате неурожая и громадных расходов продовольствия на содержание оккупационных войск цены на хлеб во Франции увеличились почти в полтора раза по сравнению с 1815 годом. В связи с этим в октябре 1816 года во многих частях страны начались серьезные волнения, сопровождавшиеся нападениями городской и сельской бедноты на продовольственные склады и амбары. В Тулузе 8 ноября вспыхнуло народное восстание, продолжавшееся пять дней. Вооруженные столкновения происходили и в некоторых других департаментах. Особенно большими размахами приняли они в апреле, мае и июне 1817 года. В департаменте Сены и Марны был раскрыт контрреволюционный заговор, руководители которого намеревались захватить Париж, чтобы установить цену на хлеб в два су, провозгласить право на труд и свободу, покончить с монархией Бурбонов, расправиться с роялистами и священниками. Власти жестоко подавили народные волнения. Были произведены массовые аресты, вынесены суровые судебные приговоры, несколько человек было казнено.

Стр. 112. *Наказ*. — Наказы — тетради или списки, в которые заносились жалобы и пожелания избирателей при выборах депутатов в Генеральные штаты (впервые они стали составляться около 1560 г.). В наказах 1789 года получили отражение устремления различных классов французского общества накануне революции, в особенности требования третьего сословия об ограни-

чении королевской власти и ответственности министров, об установлении свободы печати, свободы совести и других демократических свобод, о ликвидации феодальных повинностей, внутренних таможенных пошлин, цеховой системы и т. п. Хотя местные указы подвергались потом редакционной обработке, видоизменившей их первоначальное содержание, а некоторые даже составлялись на основании заранее заготовленных образцов, рассылавшихся главным образом из Парижа, все же эти указы дали представление о положении различных слоев населения страны, их нуждах и стремлениях.

«Формальности 1614 года» — речь идет о порядке созыва Генеральных штатов в 1614 году. Генеральные штаты 1614 года — общенациональное собрание представителей духовенства, дворянства и третьего сословия, происходившее в период смут, ознаменовавших собой первые годы царствования Людовика XIII. Между представителями привилегированных сословий и представителями третьего сословия обнаружилось непримиримое противоречие. Депутаты третьего сословия требовали ликвидации налоговых привилегий духовенства и некоторых других реформ, призванных оздоровить страну и спасти «бедный народ, у которого остаются только кожа да кости». Представители духовенства отказывались платить налоги государству, представители дворянства добивались запрещения выходцам из третьего сословия занимать определенные должности в государственном аппарате. Но депутаты от всех трех сословий добивались того, чтобы впредь Генеральные штаты созывались не реже одного раза в десять лет. В 1615 году собрание Генеральных штатов было распущено, и они не созывались вплоть до 1789 года (только в 1617 и в 1626 гг. были созваны собрания нотаблей).

Стр. 116. *Мирабо* Оноре-Габриэль Рикетти, граф де (1749 — 1791) — видный французский политический деятель и публицист, блестящий оратор, выражавший интересы умеренно-либеральных кругов дворянства. В начале революции резко нападал на аристократию и духовенство и стремился к сближению с третьим сословием. В марте 1791 года стал председателем Учредительного собрания. 2 апреля 1791 года внезапно скончался. После того как в ноябре 1792 года в «железном шкафу» во дворце были обнаружены докладные записки Мирабо королю, в которых содержались советы по вопросу о том, как вести борьбу с революцией, имя Мирабо потеряло всякую популярность.

Стр. 130. *«Что такое третье сословие?»* — название пашумешней брошюры аббата Спйеса, вышедшей в свет в 1789 году. На вопрос: «Что такое третье сословие?» — Спйес отвечал: «Все». На

вопрос: «Чем оно было до сих пор в политической жизни?» — следовал ответ: «Ничем». «Что оно требует?» — спрашивал Сийес и отвечал: «Стать чем-нибудь». Автор брошюры доказывал, что третье сословие — вся нация, но находящаяся в основном в холовах и под гнетом». «Чем оно было бы без привилегированных? Всею нацией, но нацией свободной и цветущей. Нет государственной жизни без третьего сословия, и все было бы гораздо лучше без остальных сословий». Сийес требовал, чтобы число депутатов третьего сословия было равно числу депутатов духовенства и дворянства, вместе вятых, и чтобы заседания Генеральных штатов происходили не по сословиям, а единой палатой и счет велся бы не по количеству палат, а по количеству депутатов (в этом случае депутаты третьего сословия могли рассчитывать на большинство голосов). Следует, однако, сказать, что, отстаивая права третьего сословия, Сийес имел в виду не всю его массу, а лишь верхушку.

Стр. 160. ...со время шавдов. — См. примечание к стр. 33.

Стр. 183. *Монтескье Шарль-Луи*, барон де (1689—1755) — видный французский философ и историк. В своих «Персенских письмах» он подверг резкой критике современное ему аристократическое общество. Главная труд Монтескье — «Дух законов», в котором изложена теория конституционно-парламентской монархии, основанной на принципе разделения властей. Политическая теория Монтескье была положена в основу конституции 1791 года и оказала огромное влияние на развитие конституционных идей в других странах.

Бюффон Жорж-Луи Локлер, граф (1707—1788) — известный французский ученый, автор многочисленных обобщающих трудов по естествознанию, директор Ботанического сада в Париже.

Д'Аламбер Жан-Лерон (1717—1783) — видный французский ученый — математик и философ-просветитель. Вместе с Дидро редактировал «Энциклопедию наук, искусств и ремесел», но в 1757 году из-за правительственных преследований вышел из редакции. Являлся сторонником конституционной монархии, выступал против вмешательства духовенства в политическую жизнь, за свободу научного творчества.

Дидро Дени (1713—1784) — выдающийся французский просветитель, философ-материалист, главный редактор Энциклопедии (до 1757 г. совместно с д'Аламбером). В понимании исторического процесса был идеалистом. Отрицательно относился к феодально-абсолютистским порядкам, Дидро не призывал, однако, к революции и считал, что прогресс общественных идей является первым средством борьбы против всех зол. Выказывался против

крайностей социального неравенства. В 1773—1774 годах Дидро побывал в России и пытался убедить Екатерину II провести прогрессивные реформы.

Стр. 184. ... были истреблены в Сент-Антуанском предместье в доме у торговца обоями по имени Ревельон... — Речь идет о восстании рабочих на мануфактурах Ревельона и Анрио в Париже 27—28 апреля 1789 года, которое было жестоко подавлено королевскими войсками.

Стр. 191. *Третья династия наших королей.* — Имеется в виду династия Капетингов, царствовавшая во Франции с 987 до 1328 года (ей предшествовала династия Каролингов, а этой, последней, — династия Меровингов). Первым из королей династии Капетингов был Гуго Капет, царствовавший с 987 до 996 года. Капетинги дали Франции четырнадцать королей и заложили основы французской феодальной монархии. На смену прямым потомкам Капета пришла династия Капетингов-Валуа, царствовавшая с 1328 до 1589 года. На смену Валуа пришли Капетинги-Бурбоны, царствовавшие до 1792 года, когда они были свергнуты революцией. В 1814 году они были восстановлены, в 1815 году свергнуты Наполеоном, в том же году вновь восстановлены и окончательно свергнуты революцией 1830 года.

Стр. 192. ...ибо она уничтожила унизительные различия «между надменными потомками победителей и униженным потомством побежденных». — Эти рассуждения представляют собой отголосок исторической теории о борьбе двух народов в истории Франции — франков и галлов — и о происхождении аристократии от победителей-франков, а буржуазии и крестьянства — от побежденных галлов. Эта теория была создана реакционно-дворянской историографией для обоснования господствующего положения аристократии и для отпора политическим притязаниям буржуазии.

Полиньяк Жюль-Франсуа, герцог де (1743—1817) — французский полковник, принадлежавший вместе с женой к ближайшему окружению королевы Марии-Антуанетты. В 1789 году эмигрировал, стал уполномоченным братьев Людовика XVI при австрийском дворе, затем поселился на Украине, где получил поместья от Екатерины II. После реставрации Бурбонов получил звание пара, но не вернулся во Францию. В истории бою известен его сын, князь Арман-Жюль (1771—1847), который был впоследствии председателем совета министров и министром иностранных дел. Своей ультрареакционной политикой он вызвал в стране огромное недовольство, приведшее к июльской революции 1830 года.

Герцог Энгиенский, Луи-Антуан-Анри де Бурбон (1772—1804) — член династии Бурбонов. В 1789 году эмигрировал; ко-

мандовал отрядом эмигрантов. После его роспуска жил в Бадоне на пенсию от английского правительства. В марте 1804 года, по приказу Наполеона, был доставлен во Францию, предан суду и расстрелян по обвинению в заговоре против Франции. Обвинение осталось недоказанным. Расстрелом герцога Энгвевского Наполеон рассчитывал запугать эмигрантов, устраивавших против него заговоры.

Принц де Конти Луи-Франсуа-Жозеф (1734—1814) — член династии Бурбонов. В 1788 году вместе с графом д'Артуа и другими привилегиями подписал «Занежку против двойного представительства депутатов третьего сословия в Генеральных штатах». В 1789 году эмигрировал, но в 1790 году возвратился во Францию и принес присягу на верность конституции. Был арестован и заключен в тюрьму. В 1795 году освобожден. После переворота 18 фрюктидора (4 сентября 1797 г.) выслан из Франции по приказу правительства Директории.

Стр. 193. *Малуэ* Пьер-Виктор (1740—1814) — французский политический деятель, депутат от третьего сословия в Генеральных штатах 1789 года. В Учредительном собрании принадлежал к партии конституционных роялистов, отстаивал королевское право вето. После восстания 10 августа 1792 года и свержении монархии эмигрировал в Англию. В период консульства возвратился во Францию. Занимал ряд видных должностей в морском ведомстве. В 1812 году был уволен в отставку. После реставрации Бурбонов (1814) был назначен морским министром.

Мулье Жан-Жозеф (1758—1806) — французский политический деятель. Депутат Генеральных штатов 1789 года. Сторонник конституционной монархии. Был инициатором присяги депутатов третьего сословия (20 июня 1789 г.). Испугавшись дальнейшего подъема народного движения, вышел из состава Учредительного собрания и в начале 1790 года эмигрировал. В 1801 году вернулся во Францию, стал префектом департамента Иль и Вилен, а затем членом Государственного совета.

Стр. 198. *Герцог Орлеанский* Луи-Филипп-Жозеф (1747—1793) — глава младшей линии династии Бурбонов. Держался оппозиционно по отношению к политике правительства. Будучи депутатом Генеральных штатов, он интриговал с целью завоевать себе популярность в кругах либеральной буржуазии. По требованию двора, вынужден был уехать в Англию, где пробыл до июля 1790 года. Член Конвента. В сентябре 1792 года он отказался от своего титула и принял фамилию Эгалито (то есть Равенство). Голосовал за казнь Людовика XVI. В апреле 1793 года после взятия генерала Дюмурье, перешедшего вместе со своим

лтабом (в нем находились и сын Филиппа Эгалите — Луи Филипп) на сторону вражеских войск, бывший герцог Орлеанский был арестован в качестве заложника. В ноябре 1793 года по приговору революционного трибунала, обвинившего его в стремлении к королевской власти, он был казнен.

Стр. 200. *Рабо де Сент-Этьен* Жак-Поль (1743—1793) — французский политический деятель и публицист либерально-монархического направления. Депутат Учредительного собрания, член Конвента. Присылал к жирондистам. В период якобинской диктатуры был казнен.

Барнав Антуан (1761—1793) — французский политический деятель умеренно-либерального направления, защитник интересов крупной буржуазии. Был депутатом Учредительного собрания 1789—1791 годов. Вместе с Дюпором и Ламеттом возглавил партию фельянов, образовавшуюся летом 1791 года. Выступал за сохранение конституционной монархии против республиканского движения, широко развернувшегося в связи с бегством Людовика XVI. В речи, произнесенной после задержания и возвращения короля, Барнав доказывал, что свержение монархии может поставить под удар интересы буржуазии. В работе «Введение во французскую революцию» (1792) он обосновывал мысль о том, что изменения в политическом строе происходят под влиянием развития хозяйственной деятельности людей. Во время якобинской диктатуры был казнен.

Буасси д'Англа Франсуа (1756—1826) — адвокат и литератор, деятель французской революции, депутат Учредительного собрания, член Конвента, член Совета пятисот в период Директории, после переворота 18 фрюктидора выслан. С приходом к власти Наполеона возвратился во Францию, получил звание сенатора и титул графа; после реставрации Бурбонов стал членом палаты пэров.

Стр. 201. *Камюз* Арман (1740—1804) — французский политический деятель и адвокат. Депутат Учредительного собрания, член Конвента. В 1793 году вместе с двумя другими членами Конвента, выделенными для расследования дела об измене генерала Дюмурье, был арестован им и выдан австрийскому командованию; впоследствии освобожден. Назначенный хранителем архивов Учредительного собрания, он основал Французский национальный архив.

Стр. 202. *...как уже происходило в 1589 году.* — В 1588 году было созвано общезападное собрание представителей духовенства, дворянства и третьего сословия, потребовавшее ограничения королевской власти. В происходившей тогда гражданской

поине Генеральные штаты отказывали в повиновении королю Генриху III и поддерживали его противника, герцога Генриха Гиза, стоявшего во главе католической лиги. В 1589 году на престол Франции вступила новая династия в лице короля Генриха IV Бурбона. Генрих IV уже не созывал Генеральных штатов.

Стр. 203. *Вольней* Константен-Франсуа (1757—1820) — французский историк, востоковед, публицист и политический деятель умеренно-либерального направления. В трактате «Руины, или Размышления о революциях в империях» (1790) резко критиковал религию и церковь, как оплот феодализма и деспотизма. За несколько лет до революции совершил путешествие в Египет и Сирию и опубликовал книгу об этом путешествии, в которой обличал угнетение этих стран Турецкой империей, высказывался за ее раздел и пропагандировал французскую колониальную политику на Ближнем Востоке. В 1790 году был секретарем Учредительного собрания. Присылал к партии жирондистов. В период якобинской диктатуры был заключен в тюрьму. Позже преподавал историю. При Наполеоне получил титул графа. После реставрации Бурбонов стал членом палаты пэров.

Стр. 204. *Байи* Жан-Сильвен (1736—1793) — деятель французской революции, депутат Учредительного собрания умеренного либерального направления. В 1789 году стал мэром Парижа. В 1791 году выступал против республиканского движения, был одним из виновников бойни на Марсовом поле (17 июля 1791 г.).

Стр. 205. *Грегуар* Анри (1750—1831) — деятель французской революции, священник, выходец из крестьянства. Будучи депутатом Генеральных штатов, настойчиво добивался присоединения низшего духовенства к представителям третьего сословия. В 1790 году первым присягнул гражданскому устройству духовенства. На первом заседании Конвента потребовал упразднения королевской власти. В 1793 году составил проект декларации, в которой выдвигал идеи народного суверенитета; выступал против рабства негров. В период Реставрации Бурбонов присылал к либеральной оппозиции.

Стр. 208. *Людвиг XI* (1423—1483) — король Франции (с 1461 г.). Вступив на престол, начал борьбу с феодальной аристократией с целью укрепления королевской власти и политического объединения страны. Герцоги Бургундии и Бретани и другие крупные феодалы объединились против короля и образовали так называемую Лигу общего блага. Но против феодальной верхушки ополчилось среднее и мелкое духовенство, а также значительная часть буржуазии. После двенадцатилетней войны с круп-

ными сенсорами Людовик XI победил своего главного противника бургундского герцога Карла Смелого и подчинил своей власти остальных. Следствием этого было объединение Франции под властью короля и присоединение девяти новых крупных провинций и ряда мелких областей. Король проводил политику строгой централизации власти. Укрепление абсолютизма сопровождалось успешным эксплуатацией крестьянства.

Стр. 208. *Ришелье* Арман-Жан дю Плессис — французский государственный деятель (1585—1642) — епископ, а затем (с 1622 г.) кардинал. В течение восемнадцати лет управлял Францией в качестве первого министра короля Людовика XIII. Вел решительную борьбу против политических притязаний феодальной аристократии, беспощадно подавлял заговоры представителей знати. С целью укрепления королевского абсолютизма ликвидировал политические права гугенотов (после взятия их крепости Ла-Рошель), ввел пытки пленных — высших чиновников, назначавшихся в провинцию и получавших всю полноту власти, ограничил права парламента, поставил под свой контроль литературу и печать. Вместе с тем поощрял развитие торговли и промышленности. Огромное увеличение налогов вызвало частые восстания крестьянских масс и городских плебеев, жестоко подавлявшиеся с помощью войск. Во внешней политике Ришелье добился присоединения к Франции ряда территорий.

Мазарини Жюль (1602—1661) — французский кардинал, выходец из сицилийского дворянства. В 1634 году прибыл в Париж (в качестве папского пунция) и вскоре перешел во французское подданство. После смерти Ришелье стал первым министром Франции. Во время Фронды вынужден был дважды бежать из страны. В 1653 году (после полного подавления Фронды) снова стал у власти и руководил всей внешней и внутренней политикой. Выдающийся дипломат, Мазарини добился больших успехов при заключении Вестфальского мира 1648 года и Пиренейского мира 1659 года. Во внутренней политике продолжал начатое Ришелье дело укрепления и централизации государственного аппарата, жестоко подавлял народные восстания.

Стр. 212. *Мори* Жан Спфреп (1746—1817) — французский священник и политический деятель, член Французской Академии. Депутат от духовенства в Генеральных штатах 1789 года. Был одним из вожаков реакционного крыла Учредительного собрания. В 1791 году эмигрировал в Италию. С 1794 года — кардинал, представитель графа Прованского (будущего короля Людовика XVIII) в Риме. В 1804 году примкнул к Наполеону. В 1810—1814 годах

управлял парижской епархией. После реставрации Бурбонов эмигрировал.

Стр. 216. ... *упразднить систему тайных арестов*... — В дореволюционной Франции широко применялась система произвольных арестов, производившихся на основе заранее заготовленных приказов за подписью короля или кого-либо на его секретарей и скрепленных королевской печатью (так называемые *леттр де каше*). Подобные приказы, представлявшие собой письма на имя команданта крепости-тюрьмы Бастилии, раздавались придворным сановникам, вообще лицам, близким ко двору. Место для фамилии человека, подлежащего аресту, оставалось незаполненным, и туда вносилась любая фамилия, удобная обладателю подобного приказа. Требование отмены системы внесудебных арестов фигурировало в наказах, составлявшихся на выборах в Генеральные штаты. С началом революции раздача *леттр де каше* была упразднена.

Стр. 222. *Карл IX (1550—1574)*, французский король (с 1562 г.). В годы его правления шла ожесточенная борьба между католиками и гугенотами. В 1570 году Карл IX заключил мир с гугенотами, сблизился с их вождем адмиралом Колigny и выдал свою сестру Маргариту замуж за одного из вождей гугенотов, короля Генриха Наваррского. Католическая партия, возглавлявшаяся королевой-матерью Екатериной Медичи и герцогами Гиз, использовала эту свадьбу (на нее съехалось много гугенотов-дворян), чтобы попытаться одним ударом уничтожить гугенотов. В ночь на 24 августа 1572 года в Париже было произведено массовое изблечение гугенотов — так называемая «Варфоломеевская ночь». Одной из первых жертв явился Колigny. К полудню было убито две тысячи человек. Резня продолжалась несколько дней; она происходила и в провинциальных городах (Орлеан, Труа, Руан, Тулуза, Бордо). Следствием Варфоломеевской ночи явилась новая гражданская война (1572—1573).

Людовик XIV (1638—1715) — король Франции (с 1643 г.). В период его несовершеннолетия (до 1651 г.) страной правила его мать Анна Австрийская (фактически ее советник — кардинал Мазарини). В годы регентства было подавлено оппозиционное движение Фронды, что привело к укреплению и расцвету французского абсолютизма (Людовику XIV приписывались надменные слова: «Государство — это я», его величали «Король Солнца»). В основу государственного управления был положен принцип строгой бюрократической централизации: всеми делами ведали королевский совет и министры, а в провинции — интенданты. Королевский двор в Версале поглощал огромные средства,

выкатые из закабаленного народа. Бесперывные войны, огромные налоги, гонения на гугенотов — все это вызывало сильное недовольство в стране. Следствием его были частые народные восстания, жестоко подавленные войсками (самым крупным из них было восстание камизаров в 1702—1705 гг.).

Стр. 222. *Людовик XV (1710—1774)* — король Франции (с 1715 г.), внук Людовика XIV. До его совершеннолетия страной правили герцог Филипп Орлеанский, герцог Бурбон, кардинал Флери. В дальнейшем вся власть перешла в руки фавориток короля (маркизы Помпадур, графини Дюбарри). Совершенно не интересующийся государственными делами, Людовик XV проводил время в развлечениях и празднествах, на которые тратились огромные средства. «После нас хоть потоп», — отвечал король людям, предостерегавшим его об угрожающей катастрофе. Расточительность короля и придворной знати привела к полному расстройству государственных финансов. Кризис французского абсолютизма резко обострился.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Отечество в опасности

Стр. 227. *...уничтожить все внутренние барьеры.* — Речь идет о внутренних таможенных пошлинах, которые взимались со всех провозимых товаров на заставах, установленных внутри страны, при переезде из одной провинции в другую, из одного монастырского или помещичьего имения в другое. Эта система приносила большие доходы королевской власти, помещикам, духовенству, но сильно затрудняла развитие торговли внутри страны и чрезвычайно удорожала стоимость товаров. В начале революции внутренние таможенные пошлины — этот пережиток феодализма — были упразднены.

...ремесленные цехи с их старшинами... — До революции во Франции не существовало свободы торговли, не существовало и свободы промышленности. Заниматься производством тех или иных товаров мог лишь тот, кто был записан в том или ином цехе — ремесленной корпорации, вступление в которую было ограничено рядом стеснительных условий и уплатой денежных взносов. Внутри цеха подмастерья и ученики были подчинены мастерам, пользовавшимся определенными привилегиями. Чтобы стать мастером, подмастерье должен был выполнить ряд обязательных условий (денежный взнос, подарок мастеру, пробное изделие и т. п.). В начале революции цеховая система, тормозившая развитие промышленности, была упразднена.

Стр. 229. ... *народ сражается на улицах с иностранными войсками...* — Имеются в виду полки королевской гвардии, составленные из швейцарских или немецких наемных солдат.

Зато наутро мы узнали о взятии Бастилии. — Бастилия — королевская тюрьма в центре Парижа — являлась символом произвола и деспотизма: туда сажали без суда и следствия (обычно на долгие годы) ил в чем не повинных людей, в угоду тому или иному влиятельному вельможе, на основании приказа за подписью короля. Вместе с тем это была крепость, пушки которой грозили Сент-Антуанскому предместью, населенному рабочими и ремесленниками. В Бастилии имелся большой склад оружия и пороха. Этим объясняется тот факт, что восставшие 14 июля 1789 года пародные массы Парижа двинулись прежде всего на Бастилию. Она была взята штурмом и разрушена, а находившиеся в ней узники были освобождены. Этот день стал ежегодно отмечаться как национальный праздник французского народа.

Стр. 233. ... *в тот день епископы и сеньоры из Национального собрания отказались от своих феодальных прав и привилегий.* — В ночь на 4 августа 1789 года на заседании Учредительного собрания некоторые депутаты от дворянства и от духовенства заявили, что отказываются от своих феодальных прав и привилегий. Эти заявления, вызванные крестьянскими выступлениями против замков и монастырей, были расценены на то, чтобы приостановить дальнейшее развитие крестьянского движения. Декреты, принятые Учредительным собранием, упразднили только часть феодальных повинностей; для ликвидации большей части повинностей были установлены высокие выкупные платежи. Только 17 июля 1793 года, с приходом к власти якобинцев, Национальный конвент отменил все феодальные повинности, без всякого выкупа.

Стр. 236. ...*собрались в путь и отправились к нашим врагам клаячить о помощи в борьбе против нас.* — Имеется в виду начавшаяся после событий 14 июля 1789 года эмиграция французской аристократии и высшего духовенства.

Стр. 237. ...*с нами булочник, булочница и мальчишка-подрочный.* — Речь шла о короле, королеве и дофине (наследном принце). Переезд короля, его семьи и приближенных в Париж произошел под давлением народа 5—6 октября 1789 года. Целью похода в Версаль, предпринятого в эти дни, было поставить королевский двор под наблюдение народных масс Парижа и пресечь контрреволюционные заговоры, которые замыслились в Версале. Вслед за королем перебралось в Париж и Учредительное собрание.

Стр. 238. *Луэгал* Элизе (1762—1790) — видный демократический публицист периода французской революции, главный сотрудник влиятельной газеты «Парижские революции», член Общества друзей конституции.

Демулен Камилл (1760—1794) — видный демократический публицист периода французской революции; участвовал в штурме Бастилии; с ноября 1789 до июля 1791 года редактировал газету «Революция Франции и Брабанта», в 1792 году — газету «Трибуна патриотов»; участвовал в восстании 10 августа 1792 года; был членом Конвента; боролся против жирондистов; с конца 1793 года издавал газету «Старый кордельер», в которой нападал на якобинский террор и требовал создания «Комитета милосердия». 5 апреля 1794 года был казнен (вместе с Дантоном и другими дантоинстами).

Клуб Якобинцев образовался в 1789 году. В конце того же года слился с некоторыми другими и получил название Общества друзей конституции, заседающих у якобинцев в Париже (название клуба объясняется тем, что он заседал в бывшем монастыре св. Якова). В сентябре 1792 года был преобразован в Общество якобинцев, друзей свободы и равенства. Членами клуба были преимущественно выходцы из средней буржуазии, среднего крестьянства и отчасти из мелких ремесленников. Клуб играл крупную роль в период якобинской диктатуры, возглавляя борьбу народных масс против внутренней контрреволюции и пострапной интервенции. После переворота 9 термидора, оставившего у власти реакционные круги крупной буржуазии, вожди якобинцев были казнены, а клуб был закрыт.

Клуб Кордельеров возник летом 1790 года под названием Общества друзей прав человека и гражданина (заседал в бывшем монастыре ордена Францисканцев). Среди членов клуба преобладали выходцы из демократических слоев мелкой буржуазии. Клуб играл видную роль в республиканском движении 1791 года, в борьбе против жирондистов, в восстании 31 мая — 2 июня 1793 года. Стал оплотом левых якобинцев (эбертистов), считавших политикой робеспьеристов половичатой. В марте 1794 года кордельеры готовили новое восстание. Но массы не поддерживали их. Вскоре после казни эбертистов клуб Кордельеров прекратил свое существование.

Вето (от лат. veto — запрещаю) — предоставленное королю по конституции 1791 года право задерживать или отказывать в утверждении законопроектов, принятых Законодательным собранием. Людовик XVI неоднократно пользовался этим правом в борьбе против демократического движения. Право вето не рас-

пространялось лишь на финансовые законопроекты и на прокламации Собрания.

...о законе об активных и пассивных гражданах... — 29 сентября 1789 года Конституционный комитет Учредительного собрания внес предложение отнести всю недвижимую часть населения к категории «пассивных граждан», то есть лишить их избирательных прав. «Активными гражданами» признавались только лица, платящие прямой налог в размере не менее трехдневной заработной платы. «Пассивные граждане» участвовали лишь в избрании выборщиков, а выборщиками могли стать только те, кто уплачивал прямой налог в размере десятидневной заработной платы. Депутатом мог быть избран лишь человек, платящий налог в размере пятидесяти четырех ливров в день. Впоследствии это условие было отменено. Зато был увеличен имущественный ценз для выборщиков.

...о выпуске ассигнатов. — 19—21 декабря 1789 года Учредительное собрание постановило для ликвидации дефицита выпустить ассигнаты — государственные денежные обязательства на общую сумму в 400 млн. ливров. Обеспечением их должно было служить церковное имущество, конфискованное и пущенное в продажу. В 1790 году ассигнаты были превращены в бумажные деньги, которые принимались в обмен на звонкую монету.

Стр. 241. *Его преосвященство Талейран Перигорский.* — Имеется в виду князь де Талейран-Перигор, епископ Отенский (1754—1838), впоследствии видный дипломат. На заседании Учредительного собрания 2 ноября 1789 года он внес предложение о конфискации и передаче в руки государства земельных владений, принадлежавших духовенству. Эти владения, составлявшие почти четвертую часть земельного фонда страны, составили «национальные имущества первой очереди» и стали распродаваться. Позже были конфискованы и пущены в продажу земельные владения эмигрантов («национальные имущества второй очереди»).

Стр. 248. *...о крупных беспорядках, происходивших в окрестностях Нанси.* — Речь идет о восстании четырех полков гарнизона города Нанси, происходившем 28—31 августа 1790 года. Восстание вспыхнуло из-за того, что командир Шатовьесского полка задержал выплату жалования солдатам. Восставшие солдаты создали комитеты, которые взяли на себя оборону города и вступили в бой с карательным отрядом генерала де Буйе. После длительной борьбы войска овладели Нанси и жестоко расправилась с участниками восстания. Каждый седьмой солдат Шатовьесского полка был повешен, многие солдаты были сосланы на каторгу или переведены в другие города.

Стр. 250. *Дантон Жорж-Жак* (1759—1794) — видный деятель французской революции, адвокат и публицист. Депутат Законодательного собрания, член Конвента и Комитета общественного спасения. Играл видную роль в организации обороны Франции от наступления австро-прусских интервентов в августе — сентябре 1792 года. В дальнейшем стал руководителем правого крыла якобинцев, выражавшего интересы «новых богачей», и выдвигал требования смягчения революционного террора. 5 апреля 1794 года вместе со своими сторонниками был казнен по приговору Революционного трибунала.

Робеспьер Максимилиан (1758—1794) — виднейший деятель французской революции, адвокат и публицист, депутат Учредительного собрания, член Конвента и Комитета общественного спасения, один из вождей Якобинского клуба, идеолог революционного крыла буржуазии. Был одним из главных руководителей диктатуры якобинцев. Проявил огромную энергию в борьбе против внутренней контрреволюции и иностранной интервенции, но одновременно резко выступал против левых группировок («безделье», «обертлеты»), выражавших интересы рабочих, мелких ремесленников, городской и сельской бедноты. Контрреволюционный переворот 9 термидора (27 июля 1794 г.) положил конец существованию якобинской диктатуры. Робеспьер и его соратники были казнены.

Лежандр Луи (1752—1797) — деятель французской революции, участник штурма Бастилии, член Конвента и Комитета общественной безопасности; впоследствии примкнул к термидорианцам.

Петлюв Жером (1756—1794) — деятель французской революции. Один из вождей левого крыла Учредительного собрания. С ноября 1791 до октября 1792 года занимал пост мэра Парижа. В Конвенте примыкал к жирондистам. После перехода власти в руки якобинцев (2 июня 1793 г.) бежал из Парижа, принял участие в контрреволюционных мятежах, после подавления которых пополнил с собой.

Бриссо Жан-Пьер (1754—1793) — деятель французской революции, философ и публицист, один из вождей жирондистов. Депутат Законодательного собрания, член Конвента. После прихода к власти якобинцев бежал из Парижа, был арестован и казнен.

Стр. 262. *Много кричали о сентябрьской резне...* — Имеется в виду расправа народа с заключенными в парижских тюрьмах контрреволюционерами. Произошло это в первых числах сентября 1792 года. Среди убитых преобладали выходцы из дворянства и духовенства, арестованные по подозрению в заговоре против революции. Существовало опасение, что сидевшие в тюрьмах контр-

революционеры ждут прихода в Париж австро-прусских интервентов, чтобы перебить патриотов и поднять мятеж в столице.

...и осужденных 93-го года... — Речь идет о лицах, казненных по приговорам революционных трибуналов в период якобинской диктатуры. Реакционные историки сильно преувеличивают размеры революционного террора этих лет и умалчивают о том, что в основном он явился ответом на дикую жестокость, которые совершались отрядами контрреволюционных мятежников, особенно в Вандее, Бретани и Нормандии.

Стр. 272. *Только много времени спустя они снова оказались в Париже со своим правом первородства, законом о наказании за святотатство и всеми прочими бреднями.* — Имелся в виду реставрация монархии Бурбонов, возвратившихся во Францию при поддержке войск коалиции европейских держав, а также реакционная политика короля Карла X (1824—1830), открыто поощрявшего притязания бывших эмигрантов, помещиков-аристократов и высшего духовенства.

Стр. 278. *Красная книга.* — Записи о выдаче и получении денег из королевской казны. По постановлению Учредительного собрания эти документы были опубликованы в виде особой книги в апреле 1790 года. Благодаря этому стало известно, что основную массу государственных расходов составили суммы, выдававшиеся в виде пенсий и подарков высшей придворной знати.

Стр. 288. *Другу народа Марату удается лучше всех раскрыть их заговоры.* — Марат отличался большой политическою бдительностью и пронзительностью; в своей газете «Друг народа», одной из самых популярных революционных газет, он призывал не доверять буржуазным либералам вроде Мирабо, Лафайета, Байи и им подобным, разоблачал их действительные намерения, их готовность к соглашению с двором и аристократией, срывал маски и с жирондистов. События подтвердили правоту многих предупреждений Марата.

Стр. 289. *В среду, 14 июля, во время праздника Федерации...* — 14 июля 1790 года в Париже состоялось торжественное празднование годовщины взятия Бастилии. В празднестве, происходившем на Марсовом поле, приняли участие не только жители Парижа, но и делегаты от провинций (федераты), присягнувшие на верность нации, закону и королю. Праздник Федерации способствовал сближению столицы с провинцией.

Стр. 292. *Приер Пьер-Луи (1756—1827)* — деятель французской революции, адвокат. Депутат Генеральных штатов, член Конвента. В период якобинской диктатуры был членом Комитета обороны и Комитета общественного спасения. Во время тер-

мидорнанской реакции боролся против крайних термидорнанцев. После второй реставрации Бурбонов (1815) изгнан из Франции.

Стр. 297. *...Национальное собрание вынесло постановление о том, что священники и епископы должны присягнуть конституции...* — Декреты о гражданском устройстве духовенства были приняты Учредительным собранием 12 июля, 24 июля и 24 августа 1790 года, 27 ноября оно издало декрет о запрещении поприсягнувшим священникам занимать общественные должности.

Стр. 303. *...все эти распутные помпадурши, дюбарри и прочие...* — Имеются в виду королевские фаворитки, хозяйничавшие при дворе, заправлявшие всеми государственными делами и располагавшие огромные средства.

Стр. 305. *...в Вандее и на юге, где священники, отказавшиеся принести присягу, смело шли во главе мятежников крестьян.* — В марте 1793 года в Вандее (область Западной Франции) вспыхнул монархический мятеж, руководимый местными помещиками-дворянами и неприсягнувшими священниками, которые поддерживали тесную связь с контрреволюционным эмигрантам и с английскими властями. Мятежи охватили Бретань и Нормандию, а также некоторые области Южной Франции. Остатки слоёв крестьянства, находившиеся под сильным влиянием духовенства и не разбиравшиеся в революционных событиях, приняли участие в контрреволюционных мятежах. Но основная масса французского крестьянства — особенно в центральных и восточных областях — выступала как активная движущая сила революции.

Стр. 327. *Дюшен.* — Имеется в виду, вероятно, французская революционная газета «Пер-Дюшен» («Отец Дюшен»), редактировалась левым якобинцем Эбером. (Дюшен — образ человека из народа, широко распространенный в литературе того времени.)

...они напали на патриотов в Авиньоне... — Город Авиньон (на юге Франции) с 1309 по 1376 год служил местонабыванием папы. Позже оставался под управлением папского легата. По постановлению Учредительного собрания от 12 июля 1790 года был присоединен к Франции. В связи с этим в Авиньоне разгорелась ожесточенная борьба между демократическими слоями населения, стоявшими за включение города в состав Франции, и аристократическими, выступавшими за сохранение господства пап.

Стр. 330. *...несмотря на измену Буйе...* — Генерал, маркиз Франсуа-Клод-Амур де Буйе (1739—1800) участвовал в организации бегства Людовика XVI из Парижа в июне 1791 года. Это бегство было началом осуществления контрреволюционного заговора, предпринятого с целью организации похода верных королю воинских частей и отрядов эмигрантов на Париж для по-

давления революции. Узнав о том, что король задержан, Буйо бежал в Англию, где и умер.

...сын почтмейстера, патриот Друз... — Друз, Жан-Батист (1763—1824) — деятель французской революции, демократ и республиканец. Во время бегства Людовика XVI из Парижа узнал его в местечке Сент-Менегульд и дал знать в Варенн, где в ночь с 21-го на 22 июня король и его семья были задержаны. В последующие годы Друз был членом Конвента и комиссаром Селерной армии; одно время находился в плену в Австрии. В период реставрации Бурбонов скрывался от преследований властей.

Стр. 333. *Кондорсе* Мари-Жан-Антуан-Никола, маркиз де (1743—1794) — видный французский философ-просветитель, математик и экономист. Депутат Законодательного собрания, член Конвента, примыкал к жирондистам. После перехода власти в руки якобинцев скрывался от преследований. Будучи арестован, покончил с собой.

Стр. 334. *Фельяны* — умеренно-либеральная конституционно-монархическая партия, существовавшая в период французской буржуазной революции XVIII века (интересы крупной торговой буржуазии (особенно купечества торговых портов)). Название партии объясняется тем, что члены клуба Фельянов собирались в Париже в бывшем монастыре ордена фельянгийцев. Наиболее видным представителем партии фельяпов был Барнав, братья Александр и Шарль де Ламет. Антинародная сущность фельянов отчетливо обнаружилась летом 1791 года (во время политического кризиса, вызванного бегством короля). В связи с острыми разногласиями, возникшими тогда среди членов Якобинского клуба, он раскололся, и правое крыло его образовало клуб Фельянов.

Стр. 335. *Фрерон* Луи-Мари-Станислав (1754—1802) — деятель французской революции, публицист. Редактировал газету «Оратор народа». Депутат Конвента, примыкал к правому крылу якобинцев. После переворота 9 термидора возглавлял группы «золотой молодежи».

Стр. 346. «*Друг народа*» — См. примечание к стр. 288.

Стр. 347. «*Монитор*» (точнее «Монитор юниверсель») — французская газета, основанная в ноябре 1789 г.; с 28 декабря 1799 г. — официальная газета правительства. Впоследствии (в 1848 г.) была переименована в «Журналь оффициель».

«*Журналь де Деба*» — французская буржуазная газета умеренно-либерального направления, основанная в 1789 году. Во время наполеоновского господства называлась «Газета империя». В ней сотрудничали многие видные публицисты и писатели. В августе 1944 года перестала выходить.

Стр. 349. «*Революции Парижа*» — демократическая газета, издававшаяся под редакцией видного журналиста, якобинца Камилла Демулена.

«*Газета двора и города*» — французская газета, основанная 15 сентября 1789 года. После свержения монархии (10 августа 1792 г.) перестала выходить.

Стр. 351. *Жансонне Арман* (1758—1793) — деятель французской революции, член Конвента, примыкал к жирондистам. 31 октября 1793 года был казнен по приговору Революционного трибунала.

Стр. 352. ...а именья их будут конфискованы и переданы в пользу народа. — На основании этого декрета и декрета от 9 февраля 1792 года было конфисковано и пущено в продажу большое количество дворянских поместий.

Стр. 353. *Верньо Пьер-Викторьен* (1753—1793) — деятель французской революции, по профессии адвокат. Депутат Законодательного собрания, член Конвента. Один из вождей жирондистов. После прихода к власти якобинцев был арестован и казнен по приговору Революционного трибунала.

Гаде (или *Гюаде*) *Маргерит-Эли* (1758—1794) — деятель французской революции, по профессии адвокат. Один из вождей жирондистов. Депутат Законодательного собрания, член Конвента. После прихода к власти якобинцев бежал из Парижа, был арестован и казнен по приговору Революционного трибунала.

Дюма *Гийом-Матье* (1753—1837) — французский генерал и политический деятель умеренно-либерального направления. Адъютант Лафайета. Депутат Законодательного собрания. После свержения монархии уехал за границу, возвратился во Францию после переворота 9 термидора. После переворота 18 фрюктидора (4 сентября 1797 г.) был сослан, возвратился во Францию в период консульства. В 1805 году получил звание генерала, стал военным министром короля Жозефа Бонапарта (брата Наполеона) в Неаполе, а затем в Мадриде. Участвовал в июльской революции 1830 года. Стал членом палаты пэров Июльской монархии.

Базир *Клод* (1764—1794) — деятель французской революции, депутат Законодательного собрания, член Конвента, примыкал к правому крылу якобинцев. Был казнен (вместе с Дантоном и его сторонниками) по приговору Революционного трибунала.

Мерлен из Тионвилля — *Мерлен Антуан-Кристоф* (1762—1833) — деятель французской революции, депутат Законодательного собрания, член Конвента. После переворота 9 термидора примкнул к реакционерам.

Стр. 356. ...пели песенку о «Мадон Ветто» — «Мадон Ветто» — кличка, данная королеве Марии-Антуанетте во время конституционной конституции 1791 года, одна из статей которой предоставляла королю право налагать запрет на законопроекты, принятые Законодательным собранием. Кличка эта была дана королеве в связи с тем, что ее считали главным инициатором всех реакционных мер, замышлявшихся при дворе.

Стр. 358. ...это и была знаменитая «Карманьола» — «Карманьола» — французская революционная песня, чрезвычайно популярная в период якобинской диктатуры; была запрещена при Наполеоне.

Стр. 361. *Мирабо-Тонно* Андре-Бонифас-Луи Рикетт, виконт де Мирабо (1754—1792) — французский политический деятель (брат известного оратора, Мирабо-младший), депутат Учредительного собрания, ярый монархист, эмигрировал в 1790 году. За свой звонкий голос получил прозвище «Мирабо-Тонно» («Мирабо-бочка»).

Граф Прованский Станислав-Ксаверий (1755—1824) — брат короля Людовика XVI. В 1791 году эмигрировал. В 1814 году возвратился во Францию и стал королем под именем Людовика XVIII (Людовиком XVII родственники считали никогда не царствовавшего малолетнего сына Людовика XVI). В марте 1815 года после возвращения к власти Наполеона бежал в Бельгию. Победа англо-прусских войск над армией Наполеона при Ватерлоо (18 июня 1815 г.) привела к вторичной реставрации Бурбонов. 16 сентября 1824 года Людовик XVIII умер и на престол вступил его младший брат, граф д'Артуа.

Стр. 364. ...как на умалишенных, которых следует держать в «Малых домах». — «Малые дома» — психиатрические лечебницы.

Карра Жан-Луи (1742—1793) — французский политический деятель и публицист, депутат Конвента, жирондист; во время якобинской диктатуры был казнен.

Вийо-Варени Жан-Никола (1756—1819) — деятель французской революции, якобинец, депутат Конвента и член Комитета общественного спасения. Считая политику робеспьеристов недостаточно радикальной, участвовал в подготовке переворота 9 термидора. В 1795 году был сослан термидорианцами в Гвиану.

Жирондисты — партия буржуазных республиканцев во Франции в период революции 1789—1794 годов, выражавшая интересы крупной торгово-промышленной и землевладельческой буржуазии и стоявшая у власти с сентября 1792 до июня 1793 г. Название этой партии объясняется тем, что многие видные деятели ее были выходцами из департамента Жиронды; современ-

ники называли их роландистами (по фамилии одного из руководителей — Ролана), или бриссотинцами (по фамилии редактора главной жирондистской газеты «Французский патриот» Бриссо). Жирондисты восстановили против себя народные массы тем, что пытались спасти свергнутого короля от смертной казни, боролись против требования об установлении твердых цен на продукты первой необходимости, поддерживали генералов, оказавшихся впоследствии предателями. Народное восстание 31 мая — 2 июня 1793 года свергло власть жирондистов. Они подняли ряд мятежей на юге и на западе страны. Но эти мятежи были быстро подавлены.

Стр. 364. *Монтаньяры*, или якобинцы — партия буржуазных демократов во Франции в период революции 1789—1794 годов, выражавшая интересы средней и отчасти мелкой буржуазии и собственного крестьянства. Якобинцы сыграли выдающуюся роль в революции. Став у власти 2 июня 1793 года, они за тринадцать месяцев своего господства осуществили много важных прогрессивных преобразований (выработка новой, демократической конституции, окончательная ликвидация феодальных повинностей крестьянства и т. д.), проявили огромную энергию в борьбе против контрреволюционных мятежей и иностранной интервенции. Но после того как основные общенациональные задачи буржуазной революции были успешно решены, усилились противоречия между правительством якобинской диктатуры и широкими слоями трудящихся, городской и сельской беднотой. Этими воспользовались представители «новых богачей», недовольные суровым режимом якобинцев, революционным террором и мерами против спекулянтов. Переворот 9 термидора положил конец существованию якобинской диктатуры.

Стр. 365. *Кутон* Жорж-Огюст (1755—1794) — деятель французской революции, по профессии юрист. Депутат Законодательного собрания, член Конвента и Комитета общественного спасения, соратник Робеспьера. После переворота 9 термидора был казнен.

Нарбонн Луи-Мари-Жак, граф де (1755—1813) — французский политический деятель, генерал и дипломат. В 1791—1792 годах был некоторое время военным министром. После свержения монархии эмигрировал. В период наполеоновского господства возвратился во Францию. Был адъютантом Наполеона во время его похода в Россию.

Дитрих Филипп-Фредерик, барон (1748—1793) — французский политический деятель, мэр Страсбурга, после свержения монархии эмигрировал. По возвращении во Францию был арестован и казнен по приговору Революционного трибунала.

Стр. 366. *Шнейдер* Эйлож (1756—1794) — немецкий священник и профессор богословия, в 1791 году присягнул на верность конституции в Страсбурге, стал мэром города Хагенау и общественным обвинителем в Революционном трибунале. Был арестован и казнен по подозрению в контрреволюционных замыслах.

Стр. 368 *Люкнер* Никола (1722—1794) — французский генерал, родом из Баварии, с 1791 года маршал, командовал Рейнской армией, затем Северной армией, позже армией Центра; в августе 1792 года был назначен главнокомандующим; в октябре был смещен. В октябре 1793 года был арестован по подозрению в измене и казнен по приговору Революционного трибунала.

Андре Шенье (1762—1794) — французский поэт-монархист, выступал в защиту Людовика XVI, был арестован и казнен по приговору Революционного трибунала.

Стр. 374 *...не думали, что придется завестись им на двадцать три военных года...* — Из этих слов видно, что авторы не разграничивают освободительных войн французской революции (1792—1794) от завоевательных войн Директории и Наполеона (1795—1815).

Стр. 375 *Впоследствии Бонапарт, Гош, Массена, Клебер и другие генералы республики...* — *Бонапарт* Наполеон (1769—1821) — знаменитый французский полководец и выдающийся государственный деятель, генерал, затем командующий армией в Египте и в Италии. В результате переворота 18 брюмера (9 ноября 1799 г.) захватил власть во Франции, стал первым консулом, а с 18 мая 1804 года императором. Вел несколько захватнических войн и одно время подчинил себе почти всю Западную Европу. В 1812 году потерпел сокрушительное поражение в России, в 1813 году — в Германии. В 1814 году, после занятия Парижа войсками европейской коалиции, отрекся от престола. В 1815 году снова завладел властью, но вскоре был разбит англо-прусскими войсками под Ватерлоо, после чего вторично отрекся от престола, сдался в плен англичанам и был сослан на остров Святой Елены. *Гош* Лазар-Луи (1768—1797) — один из самых талантливых военачальников французской революции. Будучи сержантом, участвовал во взятии Бастилии. С 1792 года сражался в рядах революционной армии. В 1793 году был произведен в генералы. Командовал армией, отбросившей австрийские войска за Рейн; руководил подавлением контрреволюционных мятежей в Западной Франции в 1794 году; разгромил десантные отряды эмигрантов в Вандее (1795); в 1797 году одержал две новые победы над австрийцами. Пользовался большой популярностью в армии и среди демократических слоев населения. *Массена* Андре (1756—

1817) — видный французский военачальник. Как сын торговца, вышел в отставку после указа, запретившего лицам незнатного происхождения занимать офицерские посты. В 1792 году вступил в революционную армию и уже в 1793 году был произведен в генералы. Впоследствии стал маршалом наполеоновской империи и получил титул герцога Риволи. *Клебер Жан-Батист* (1753—1800) — видный французский военачальник, начал службу офицером австрийской армии, потом перешел во французскую армию. В 1793 году был произведен в генералы. Участвовал в борьбе против австрийских мятежников. Отличился в 1794 году в битве при Флерюсе. Принял участие в египетском походе. После отъезда Наполеона стал во главе французских войск в Египте. Жестоко подавлял восстание местного населения. 14 июня 1800 года был убит в Каире.

Стр. 376 *...их участь походит на участь спартанцев при Фермопилах.* — Фермопилы — горный проход из Фессалии в Среднюю Грецию. Здесь в 480 году до н. э. семитысячный отряд греческих воинов (в том числе тысяча спартанцев) под начальством спартанского царя Леонида I героически сражался против стотысячного персидского войска. Отряд спартанцев во главе с Леонидом, стремясь задержать продвижение персов, весь погиб в неравном бою.

Стр. 382. *...удары сабли вурмзерского плана...* — Вурмзер Дагоберт-Зигмунд (1724—1797) — австрийский фельдмаршал. В 1792—1795 годах командовал войсками, действовавшими с переменным успехом против французских войск на Рейне.

Стр. 387. *Вскоре на это ответил нам в своей прокламации герцог Брауншвейгский...* — Герцог Брауншвейгский, Карл Вильгельм Фердинанд (1735—1806) — главнокомандующий австро-прусскими войсками в войне против революционной Франции, 25 июля 1792 года подписал манифест, в котором заявлял о своем намерении вторгнуться во Францию для восстановления в ней дореволюционных порядков и грозил населению Парижа беспощадной расправой. Этот поход окончился полным поражением. 14 октября 1806 года герцог Брауншвейгский был наголову разбит и смертельно ранен в битве при Ауэрштедте.

Стр. 388 *Родан Жан-Мари* (1734—1793) — французский политический деятель, экономист, инспектор мануфактур. В марте 1792 года стал министром внутренних дел, но в июле смещен (за письмо, в котором он уговаривал короля утвердить декреты Законодательного собрания). Впоследствии избран депутатом Конвента, но отказался от своего мандата. Примыкал к жирондистам. После перехода власти в руки якобинцев покончил с собой.

Стр. 389. *Затем король назначил Дюмурье военным министром.* — Дюмурье Шарль-Франсуа (1730—1823) — французский генерал и политический деятель, близкий ко двору. В 1792 году примкнул к жирондистам, был назначен министром иностранных дел, а затем военным министром. Осенью 1792 года командовал Северной армией, одержавшей победы при Вальми и Наманше. После поражения при Неервиндоне (март 1793 г.) вступил в переговоры с австрийским командованием об организации похода на Париж с целью восстановления монархии. Солдаты не поддержали изменника-генерала. Дюмурье бежал в Англию, где и жил на пенсию английского правительства.

Стр. 390. *Шабо Франсуа (1759—1794) — деятель французской революции, выходец из духовенства, депутат Законодательного собрания, член Конвента. Замешанный в спекулятивных махинациях, был казнен по приговору Революционного трибунала.*

Стр. 391 *...под предводительством пивовара Сантера, мясника Лежандра, повелера Россиньоля... — Сантер Антуан-Жозеф (1752—1809) — деятель французской революции. Активный участник штурма Бастилии, похода на Версаль. 5—6 октября 1789 года, посетивши 10 августа 1792 года. Получил звание генерала. С мая 1793 года участвовал в борьбе против вандейских мятежников. После переворота 9 термидора отошел от политической деятельности. Россиньоля Жан-Антуан (1759—1802) — деятель французской революции, участвовал во взятии Бастилии; в 1793 году командовал войсками против вандейских мятежников. В 1794 году был смещен. Привлекался по делу о заговоре Бабефа. После покушения на Наполеона (в декабре 1800 г.) был сослан на Сейшельские острова.*

Стр. 393. *Лалли-Толендаль Жерар, маркиз де (1751—1830) — французский политический деятель. Депутат от дворянства в Генеральных штатах 1789 года. В 1790 году эмигрировал, но в 1792 году возвратился во Францию с целью организовать бегство Людовика XVI. Был арестован, но затем освобожден; эмигрировал в Англию. После реставрации Бурбонов возвратился во Францию.*

Стр. 396. *...выступали против федератов, которых обзывали ессанкюлотами... — Санкюлотами называли во время французской революции ее активных участников, выходцев из народных низов. Объявляется этот термин тем, что, в отличие от дворян и богатых буржуа, носивших короткие бархатные штаны (кюлотт), бедняки носили длинные панталоны из грубой материи (то есть не носили кюлотт).*

Стр. 397. *...французские принцы подняли против нас европейские дворы, заключили Пильницкий договор, Австрия и Пруссия*

взялись за оружие. — 27 августа 1791 года в замке Пильниц, по инициативе братьев Людовика XVI император Леопольд II и король Фридрих-Вильгельм II подписали декларацию, в которой заявляли, что готовы помочь французскому королю в борьбе с революцией и отдать своим войскам соответствующие приказы. Пильницкая декларация была шагом на пути к организации вооруженной интервенции Австрии и Пруссии с целью восстановления во Франции «старого режима».

Стр. 409. *Они уже выбрали предводителя — башмачника, мастеровившего сабо, Клода Гюллена...* — Гюллен Пьер-Огюстен-Клод — французский генерал (1758—1841). Будучи сержантом королевской гвардии, перешел на сторону народа и играл руководящую роль при штурме Бастилии. В период якобинской диктатуры был заключен в тюрьму. В марте 1804 года был председателем военного суда, приговорившего к расстрелу члена династии Бурбонов — герцога Энгиенского. С 1805 года — генерал французской армии, с 1808 года — военный губернатор Парижа и граф наполеоновской империи. После второй реставрации Бурбонов был выслан; в 1819 году возвратился во Францию.

Стр. 414 ... *они выхватили из ножен сабли и дружно запели песню — никто из нас ее еще не знал...* — Это была «Песнь Рейнской армии», сочиненная офицером Руже де Лиль в Страсбурге в июне 1791 года и получившая впоследствии название «Марсельезы» (в Париж ее принес батальон федератов Марселя, принявший затем участие в восстании 10 августа 1792 г. и свержении королевской власти).

Стр. 417. *Атакой руководил Кюстин.* — Кюстин Адам-Филипп, граф (1740—1793) — французский генерал. В 1792 году во главе французских революционных войск взял Майнц и Франкфурт-на-Майне. В 1793 году был отозван в Париж, предан суду по обвинению в измене и казнен.

А. И. МОЛОК

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Н. А. Дорогова. «История одного крестьянина»</i> <i>Эркмана-Шатриана</i>	<i>5</i>
--	----------

История одного крестьянина

Перевод А. А. Худадовой

<i>Часть первая. Генеральные штаты</i>	<i>21</i>
<i>Часть вторая. Отечество в опасности</i>	<i>225</i>
<i>Комментарии А. Н. Молока</i>	<i>419</i>